

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Наша общественная жизнь



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Наша общественная жизнь

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22136960

Наша общественная жизнь:

Аннотация

«...Предполагая помещать в «Современнике» периодические очерки о ходе нашей общественной жизни, мы считаем не лишним предварить читателей, что нас будет занимать не петербургская собственно жизнь с ее огорчениями и увеселениями, с ее мероприятиями и мероизъятиями, но общий характер русской общественной жизни в ее величественном и неторопливом стремлении к идеалу. В этом случае нас руководит то соображение, что петербургским читателям нашим все увеселения и мероприятия Северной Пальмиры известны лучше, нежели нам самим, по тем последствиям, которые они оказывают на их бока; что же касается до читателя провинциального, то ему решительно все равно, чем увеселяется и что извергает из себя Петербург. Читатель провинциальный живет совершенно иною жизнью; она не распадается в глазах его на мелочные подробности, но представляется в одном общем фокусе, доходит до слуха его, как общий гул, в котором он стремится уловить господствующую ноту...»

Содержание

<I. январь – февраль 1863 года>	4
<II. Март 1863 года>	36
Повесть I	46
Повесть II	49
Повесть III	54
Бедная племянница	59
<III. Апрель 1863 года>	79
<IV. Май 1863 года>	123
<V. Сентябрь 1863 года>	187
<VI. Ноябрь 1863 года>	250
<VII. Декабрь 1863 года>	304
<VIII. Январь 1864 года>	381
<IX. Февраль 1864 года>	439
<X. Март 1864 года>	497
<XI. Апрель 1864 года>	566
<XII. Октябрь <?> 1864 года>	622

Михаил Евграфович

Салтыков-Щедрин

Наша общественная жизнь

<1. январь – февраль 1863 года>

Предполагая помещать в «Современнике» периодические очерки о ходе нашей общественной жизни, мы считаем не лишним предварить читателей, что нас будет занимать не петербургская собственно жизнь с ее огорчениями и увеселениями, с ее мероприятиями и мероизъятиями, но общий характер русской общественной жизни в ее величественном и неторопливом стремлении к идеалу. В этом случае нас руководит то соображение, что петербургским читателям нашим все увеселения и мероприятия Северной Пальмиры известны лучше, нежели нам самим, по тем последствиям, которые они оказывают на их бока; что же касается до читателя провинциального, то ему решительно все равно, чем увеселяется и что извергает из себя Петербург. Читатель провинциальный живет совершенно иною жизнью; она не распадается в глазах его на мелочные подробности, но представляется в одном общем фокусе, доходит до слуха его, как общий гул, в котором он стремится уловить господствующую ноту.

В этой-то именно ноте он и ищет настоящего, действительного жизненного установа. Какое ему дело до того, например, что такого-то числа Петербург был осчастливлен прибытием композитора Верди, который самолично дирижировал оркестром во время и представления новой его оперы «Сила судьбы», или до того, что в Михайловском театре даётся драма «Les beaux messieurs de Bois-Doré»,¹ в которой г-жа Стелла-Колас оказывается племянником своего дяди? Я полагаю, что он останется вполне равнодушным, если я доложу ему даже такой факт, что такого-то, например, числа г. М. исчез из своей квартиры неизвестно куда. «Об чем это они пишут! – воскликнет огорченный провинциал, – ну, исчез М., ну и нашла его, конечно, полиция!» И, сказав это, бросит книжку под стол, прокляв раз навсегда летописцев, бесплодно смущающих его веселые сны изображениями Стеллы-Колас в costume племянника.

Совсем другое будет, если я доложу ему, отчего у нас на Руси развеселое житье завелось. Он это чувствует, ибо сам как сыр в масле катается. Он бросится на мою хронику с жадностью и прочитает ее всю от начала до конца. Он сам участник того неторопливого поступания к идеалу, которым проникнулась современная русская жизнь, и только не всегда может объяснить себе, почему мы стремимся именно к идеалу, а не от идеала. Иногда ему кажется, что было бы гораздо легче бежать под гору, нежели взбираться, бог весть с ка-

¹ «Красавцы из Буа-Доре».

кими усилиями, на крутизну, которая, в довершение всего, носит название «Дураковой плеши». Мое дело растолковать ему, что и как. Мое дело сказать ему: любезный провинциал! если ты побежишь под гору, то уткнешься в «Дураково болото», тогда как если взберешься на крутизну, то, напротив того, уткнешься в «Дуракову плешь»! Пойми.

Услышав это, провинциал поймет и станет карабкаться; я же буду взирать на его усилия и проливать слезы умиления.

Это маленькое введение должно достаточно определить характер и направление нашей хроники. Читатели предупреждены, и те из них, которые более интересуются текущими новостями, нежели величественным течением русской жизни, пусть не читают меня, а обратятся к моим собратам по ремеслу.

Да, это «ремесло», – я откровенно должен сознаться в этом, – это ремесло горчайшее всех ремесл! И к удивлению моему, я не чувствую даже, чтобы краска стыда выступала на лице моем в то время, как я искренно признаю себя ремесленником. Да, я обязан быть веселым даже в то время, когда мне докладывают, что приятель мой М. исчез неизвестно куда из своей квартиры. Я не смею пролить ни единой слезы, я не имею права выбежать на улицу и огласить стогны Петрограда отчаянным криком: нет Агатона! нет моего друга!

Я не могу сделать это, потому что прежде всего должен сделать мою хронику. Я обязан быть веселым даже в то время, когда служитель мой, посланный мной разменять ка-

кие-то особенные деньги, возвратясь, докладывает мне, что за эти деньги никто не даст больше восьмидесяти копеек на рубль. Я не смею заскрежетать зубами, не смею броситься на улицу и огласить стогны Петрограда криком: грабят! несмотря на то что ни один, даже самый невинный, помещик не отказывает себе в этом удовольствии. Я не могу это сделать, во-первых, потому, что прежде всего обязан сделать свою хронику, а во-вторых, потому, что я со всех сторон окружен публицистами и экономистами, которые мне докажут, что явление, меня огорчающее, есть естественное последствие естественного хода вещей.

Я должен быть весел не потому, чтобы мне лично было весело, а потому, что явления, проходящие передо мной, веселы.

С другой стороны, по временам я должен принимать торжественный тон и возвышаться до гражданской скорби. Например, я встречаю в обществе очень молоденькую и миленькую девушку, до того молоденькую, что еще вчера родители выводили ее в панталонцах; мы начинаем разговаривать; я, натурально, спрашиваю ее, читала ли она произведение Анны Дараган и как оно ей понравилось; она, напротив того, отвечает мне, что недавно вышло в переводе новое сочинение Шлейдена и что Тургенев, написавши «Отцов и детей», тем самым доказал, что он ретроград. Мне делается весело. «Какой милый пузырь! – думаю я, – и как ведь все это бойко... ах, черт побери! ах, черт тебя побери!» Но увы! весе-

лость моя неуместна! Сообразив хорошенько происходящий передо мной факт с общим величественным течением российской жизни, я чувствую, что обязан относиться к нему с меньшею игривостью и что, говоря о девице, обзывающей Тургенева ретроградом, я должен принять тон торжественный и даже скорбеть... Разумеется, торжествовать по случаю девицы, а скорбеть по случаю Тургенева.

Итак, я должен отречься от самого себя, отречься от своих воспоминаний; одним словом, я целую жизнь должен ходить по орлецам. Неужели же это не ремесло?

Приступим.

По всей вероятности, читатель, который возьмет в руки эту первую книжку возобновленного «Современника», прежде всего спросит себя: очистились ли мы постом и покаянием?

Что пост был – это достоверно; в этом, в особенности, убедилась сама редакция «Современника». Не то чтобы идея поста была совершенно противна «Современнику», но, конечно» было бы желательно, чтобы сроки воздержания были назначаемы несколько менее щедрою рукой. Это тем более желательно, что было бы вполне согласно и с постановлениями святых отцов, которые нигде не заповедали, чтобы пост продолжался восемь месяцев. Будем надеяться, что это случилось нечаянно и что, с обнародованием новых законов о книгопечатании, будут изысканы иные, более приятные и не

менее полезные мероприятия. . .

Что же касается до вопроса о покаянии, то на него мы постараемся ответить в продолжение последующих десяти месяцев настоящего года. Но, во всяком случае, мы обещаемся быть благонамеренными, потому что все нас к тому призывает: и желание беседовать с читателями именно двенадцать, а не пять раз в году, и современное настроение российского общества, и, наконец, разные другие обстоятельства.

Но прежде всего я обязан определить, что такое благонамеренность. Признаюсь откровенно, обязанность эта заставит меня несколько врасплох, ибо слово это произошло на свет так недавно, что даже значение его не вполне определилось. Толкуют его больше фигурами и уподоблениями. Так, например, если я вижу человека, участвующего своими трудами в «Северной пчеле», в «Нашем времени», в «Северной почте», – я говорю себе: это человек благонамеренный. Если я вижу человека, посещающего балы гг. Марцинкевича, Заллера, Наумова и других, – я говорю себе: это человек благонамеренный. Почему я так говорю, – я не знаю, но чувствую, что говорю правду, и всякий, кто слышит меня говорящим таким образом, тоже чувствует, что я говорю правду. Совсем другое дело, если я вижу человека, таинственно пробирающегося в редакцию газеты «Голос»; тут я прямо говорю себе: нет, это человек неблагонамеренный, ибо в нем засел Ледрю-Роллень. И напрасно Андрей Александрыч Краевский будет уверять меня, что Ледрю-Роллень был, да

весь вышел, — я не поверю ему ни за что, ибо знаю стойкость убеждений Андрея Александрыча и очень помню, как он, еще в 1848 году, боролся с Луи-Филиппом и радовался падению царства буржуазии.

Но отворотим наши взоры от этого печального зрелища и будем продолжать фигуры и уподобления. Прежде всего, благонамеренный человек должен обладать хорошим поведением. Хорошее это поведение состоит в следующем. Утром благонамеренный человек встает и читает «Северную почту» (он может не ходить к обедне, и бог ему простит это за его благонамеренность); фельетонист Заочный сорвет с его уст улыбку, Илья Арсеньев заставит вздохнуть о черногорцах, И. А. Гончаров вырвет из груди стон, а секретарь редакции Лебединский найдет его равнодушным.

Испытав таким образом все ощущения, которым может подвергаться натура человеческая, и узнав, сверх того, в чем должна заключаться сегодняшняя благонамеренность, благонамеренный отправляется побеседовать с г. Старчевским, который сообщает ему, что подписчики «Сына отечества» получили привилегию уплачивать за пересылку этого журнала не по три рубля, как подписчики прочих газет, но по одному рублю в год. Под влиянием этой беседы благонамеренный заходит к Доминику, где съедает три пирожка, а буфетчику сказывает, что съел один. Затем до обеда он гуляет по Невскому, пожирая глазами флигель-адъютантов, потом обедает в долг у Дюссо, а вечером отправляется в Михай-

ловский театр и день оканчивает блистательным образом на бале у безземельных, но гостеприимных принцесс вольного города Гамбурга.

Если вы спросите меня, каким образом я во всех описанных выше действиях нахожу благонамеренность, я могу истолковать вам это. Сколько я мог понять из объяснений людей сведуших, слово «благонамеренность», в современном его значении, имеет смысл весьма ограниченный и притом совершенно специальный. Человеку, который решается стать в ряды благонамеренных, стоит только сказать себе: «Друг мой! ты можешь, если хочешь, заимствовать платки из чужих карманов, ты можешь читать «Сын отечества» и «Петербургскую клубничку»,² но в вознаграждение за это ты обязан иметь хороший образ мыслей». Отсюда другая черта благонамеренности – хороший образ мыслей. Что такое этот «хороший образ мыслей» – этого я объяснить не умею, потому что это выражение скорее чувствуется, нежели понимается.

Тем не менее если судьба заставит вас потолкаться некоторое время между людьми благонамеренными и если вы возьмете на себя труд вдуматься в их речи и действия, вы поймете и это. Вы поймете, например, что отличительный признак хорошего образа мыслей есть невинность. Невинность же, с своей стороны, есть отчасти отсутствие всякого

² Да; есть в Петербурге журнальчик и с этим названием. Это истинные геркулесовы столпы петербургской благонамеренности. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

образа мыслей, отчасти же отсутствие того смысла, который дает возможность различить добро от зла. Любите отечество и читайте романы Поль де Кока – вот краткий и незамысловатый кодекс житейской мудрости, которым руководствуется современный благонамеренный человек. И благо ему. Если он утаил о двух излишне съеденных пирожках, то это простится ему, потому что от этого нет ущерба ни любви к отечеству, ни общественному благоустройству. Одно только может повлечь для него за собой неприятность: это если факт утаения вызовет за собой протест; но и тогда Доминик ему только заметит, что на будущее время он должен быть осмотрительнее, то есть скрадывать пироги ловчее и глотать их быстрее. И более ничего. Потому, главное все-таки в том заключается, чтобы любить отечество и не размышлять. Танцуйте канкан, развлекайтесь с гамбургскими и отчасти ревельскими принцессами, но, бога ради, не мыслите. Посещайте Михайловский театр, наблюдайте за выражением лица г-жи Напталь-Арно в знаменитой ночной сцене пьесы «Nos intimes»,³ следите за непрерывным развитием бюста г-жи Мила, но, бога ради, не мыслите. Ешьте, пейте, размножайте человеческий род, читайте «Наше время», но, бога ради, не мыслите. Если же вам непременно нужно мыслить, то беседуйте с «Сыном отечества», ибо мысли, порождаемые этими беседами, не суть мысли, но телесные упражнения...

Таким образом, с помощью фигур и уподоблений, мы до-

³ «Наши близкие».

гадываемся наконец, что такое этот «хороший образ мыслей», который в последнее время пустил такие сильные корни в нашем обществе. Сидите ли вы в театре, идете ли по улице, – вы на каждом шагу встречаете людей, которых наружность ничего иного не выражает, кроме того, что их отлично кормят. Тут не может быть речи об убеждениях, а тем менее о недовольстве кем и чем бы то ни было: в этих ходячих могилах все покончено, все затихло. Самый добродушный из них на ваши приставанья ответит: «*Mon cher! qui est-ce qui en parle!*»,⁴ но менее добродушный фыркнет и огрызнется, как пес, к которому неосторожно подойдут в то время, когда он ест. Следовательно, благонамеренность не исключает и некоторого остервенения, которое и составляет третью характеристическую черту ее.

Какая причина этого остервенения, где источник этой благонамеренной плотоядности? Устали ли мы от политических потрясений? Испытали ли мы на себе бесплодность и вредоносную силу утопий? Разочаровались ли мы? Очаровывались ли когда-нибудь? Где та сирена, которая нас, гибнущих плователей, соблазнила сладкогласным своим пением?

Странное дело? мы не можем указать на какие-либо политические потрясения (слава богу!), мы не можем сослаться ни на какие утопии (ух, слава богу!), и в то же время не можем скрыть, что сирена все-таки существует. Многие да-

⁴ Дорогой мой, кто же об этом говорит!

же видели ее и уверяют, что она ходит в вицмундире.

Увы! пение сирены отразилось даже на литературе нашей. Из загнанной и трепещущей она превратилась в торжествующую и ликующую, из скептической в верующую, из заподозренной в благонамеренную и достойную доверия. Деятели, целую жизнь дразнившие и уськавшие общественное мнение, всенародно бьют себя в грудь, всенародно раздирают на себе одежды и признают себя удовлетворенными. «Мальчишки!» – стонет на все лады один; «нигилисты!» – подвизгивает ему другой. И хотя это обвинение есть единственное, которое успела ясно сформулировать кающаяся русская литература, но, вероятно, оно признается достаточно капитальным, если журналы серьезные и, по-видимому, благонамеренные решаются настаивать на нем.

Вновь спрашиваю я: что за причина такого беспримерного наплыва благонамеренности в нашу литературу?

Увы! я просто думаю, что всему причиной четвертак, тот самый четвертак, об отношениях которого к русской литературе и ее деятелям так остроумно выразился московский публицист М. Н. Катков: четвертака, дескать, при них плохо не клади – стащат! «Как! – воскликнет читатель, – эта самая русская литература, которая так много тщеславилась своею гордою неприступностью, которая так строго преследовала Булгарина за его легкие нравы, – вдруг соблазнилась на четвертак!» Да-с, так именно рассказывает М. Н. Катков, и, к сожалению, некоторые признаки заставляют сознаться,

что он не неправ. Во-первых, г. Катков не решился бы взвести столь важное обвинение без достаточных оснований; если он заявляет об этом, стало быть, действительно у него или у присных его кто-нибудь из литераторов стянул четвертак. Ведь заявлял же он некогда, что некто стянул у него сочинение Гнейста – и что ж? оказалось, что стянул, до такой степени стянул, что даже следующая книжка «Русского вестника» не могла быть своевременно выдана именно по этому случаю. Во-вторых, как-то поразительно видеть, как та же самая литература, которая столько времени уподоблялась жалкой салопнице, трепещущей в холодном манто, вдруг является торжествующею и самоуверенною; как та же литература, которая так долго надсаживала себе грудь, доказывая, что зерно всего лучшего таится исключительно в молодом поколении, вдруг поворачивает назад и начинает надсаживать себе грудь, выкрикивая на все лады: «мальчишки! нигилисты!..» Переменилось ли что-нибудь? Перестало ли молодое быть молодым?

«Нет, тут что-нибудь да не так! – рассуждаю я ввиду всех этих внезапных перемен, – или, лучше сказать, это так... это он... это четвертак!»

Но положим, что М. Н. Катков ошибся; положим, что не буквально же четвертак соблазнил нашу литературу, что эта мелкая монета служит лишь фигурою уподобления – тем не менее это обидно. Это обидно, потому что слово «четвертак» представляет здесь идею дешевизны; это обидно, потому что

четвертачизм, претерпевавший доселе в русской литературе постыднейшее крушение, несмотря на гигантские, в своем роде, усилия Ф. В. Булгарина, начинает приживаться в ней именно в такую минуту, когда всего менее можно было этого ожидать. Тут еще не было бы дива, если б во времена Булгарина четвертак обладал обаятельною силой: тогда и провиант был дешевый, да и политические интересы сосредоточивались исключительно на разъяснении вопроса, откуда произошла Русь. Ясно, что это были интересы четвертаковые и что защищать за четвертак происхождение Руси от норманнов было и не предосудительно и не обременительно. Но и за всем тем наша литература выказывала ироизм неслыханный: защищала норманнское происхождение Руси даром. Напротив того, теперь, когда, с одной стороны, жизненные припасы поднялись в цене необычайно, когда, с другой стороны, политический горизонт с каждым днем расширяется, когда с каждым днем обнажаются, так сказать, новые и новые срамоты, литература, вместо того чтобы быть на страже, вместо того чтобы грудью стоять именно за такую, а не за иную срамоту, оказывает малодушество беспримерное и выделяет из себя публицистов, которые за четвертак поют хвалебные гимны всем срамотам без различия, а за гривенник призывают кару небес на мальчишек и нигилистов!

Что сей сон значит?

Или мы были героями во времена Булгарина потому только, что перед глазами нашими не блистал заманчиво четвер-

так? Может быть.

Или мы были так слабы и ничтожны в то время, что нам и четвертака никто не считал за нужное посулить? Может быть.

Или наша изобретательная способность до такой степени притупилась об варягов, что, когда настало наконец время для вопросов более серьезных и жизненных, мы не отыскиали в себе никаких ответов на них, и потому нашли для себя более покойным и выгодным дуть в нашу маленькую дудочку на заданную тему? Может быть.

Или же, наконец, тут имеется с нашей стороны тонкий расчет? Быть может, мы думаем, что со временем наши фонды поднимутся и что мы незаметным образом с четвертака возвысимся до полтинника? Может быть.

Я не решаю этих вопросов, а только излагаю их. Я считаю себя летописцем; я даже не группирую фактов и не выжимаю из них нравоучения, но просто утверждаю, что в 1862 году в нашу общественную жизнь, равно как и в нашу литературу, проникла благонамеренность. С одной стороны, общество убедилось окончательно, что оно таки подвигается; с другой стороны, литература, удачно воспользовавшись этим настроением, начала сочувственно и весело строить целые политические системы на мотив: «Чего же тебе еще нужно?»

Я уверен, что известие это в особенности порадует провинциального читателя. В самом деле, видя, какой переполох царствовал в наших журналах до 1862 года, какими сло-

весными подзатыльниками угощали в них друг друга россияне, бедный, удаленный от света провинциал мог и невесть что подумать. Ему могло показаться, что старому веселью конец пришел, что хороших людей моль поела и что на месте их неистовствуют всё мальчишки да нигилисты... Ничуть не бывало! утешаю я его; все это было до 1862 года, но в этом году россияне вступили в новое тысячелетие и соорудили себе в Новгороде монумент... шутка! Как же тут не созреть, какие пойти в семена при одной мысли о монументе!

Из всего сказанного выше явствует, что один из существенных признаков нашей благонамеренности заключается в ненависти к мальчишкам и нигилистам. Что такое нигилисты? что такое мальчишки?

Слово «нигилисты» пущено в ход И. С. Тургеневым и не обозначает, собственно, ничего. В романе г. Тургенева, как и во всяком благоустроенном обществе, действуют отцы и дети. Если есть отцы, следовательно, должны быть и дети, — это бы, пожалуй, не новость; новость заключается в том, что дети не в отцов вышли, и вследствие этого происходят между ними беспрестанные реприманды.

Отцы — народ чувствительный и веруют во всё. Они веруют и в красоту, и в истину, и в справедливость, но больше прохаживаются по части красоты. Они проливают слезы, читая Шиллерову «*Résignation*»⁵ они играют на виолончели, а отчасти и на гитаре, но не остаются нечувствитель-

⁵ «Покорность судьбе».

ными и к четвертакам. Да, люди, о которых я докладывал выше, как о поддавшихся обаянию четвертака, – это всё отцы. Вообще, это народ легко очаровываемый. Когда-то они были друзьями Белинского и поклонниками Грановского, но, по смерти своих руководителей, остались как овцы без пастыря. Очарования их приняли характер беспорядочный, почти растрепанный; с одной стороны – *Laure am clavier*,⁶ с другой – тысяча рублей содержания, даровая квартира и несколько пудов сальных свечей – вот две мучительные альтернативы, между которыми проходит их жизнь. Тем не менее надо отдать им справедливость: Лаура с каждым днем все дальше и дальше отодвигается на задний план, и все ближе и ближе придвигается тысяча рублей содержания. Способность очаровываться осталась та же, но предмет ее изменился, и изменился потому, что нет в живых ни Белинского, ни Грановского. Будь они живы, они, конечно, сказали бы «отцам»: «цыц!» – и тогда кто может угадать, чем увлекались бы в настоящую минуту эти юные старцы?

В противоположность отцам, дети представляют собой собрание неверующих.

– Вы не верите ни во что... даже? – вопрошает Базарова один из старичков Кирсановых.

– Даже, – отвечает Базаров, вовсе не заботясь о том, что он делает этот ответ в доме Кирсановых и что, по всем правилам гостеприимства, гость обязан говорить хозяевам лишь

⁶ Лаура за клавесином.

приятные и угодные вещи.

Не верит в «даже», а верит в лягушек! Соблазняется красивыми плечами женщины, и при этом не содрогается мыслью, что красивые плечи составляют лишь тленную оболочку нетленной души! Кроме того: а) на красоту вообще взирает с той же точки зрения, с какой г. Семевский взирает на русскую историю, то есть с точки зрения клубнички; б) не тоскует по истине, ибо не признает науки, скрывающейся, как известно, в стенах Московского университета; в) эстетическими вопросами не волнуется, на виолончели не играет и романсов не поет; и г) обаятельную силу четвертака отвергает положительно... Спрашиваю я вас, как назвать совокупность всех этих зловредных качеств? как назвать людей, совокупивших в себе эти качества? Я знаю, госпожа Коробочка назвала бы их фармазонами, полковник Скалозуб назвал бы волтерьянцами; но И. С. Тургенев не захотел быть подражателем и назвал нигилистами...

Как бы то ни было, но «благонамеренные» накинулись на слово «нигилист» с ожесточением; точь-в-точь как благонамеренные прежних времен накидывались на слова «фармазон» и «волтерьянец». Слово «нигилист» вывело их из величайшего затруднения. Были понятия, были явления, которые они до тех пор затруднялись, как назвать; теперь этих затруднений не существует: все это нигилисты; были люди, которых физиономии им не нравились, которых речи производили в них нервное раздражение, но они не могли дать

себе отчета, почему именно эти люди, эти речи производят на них именно такое действие; теперь все сделалось ясно: да потому просто, что эти люди нигилисты! Таким образом, нигилист, не обозначая, собственно, ничего, прикрывает собой всякую обвинительную чепуху, какая взбредет в голову благонамеренному, и если б Иван Никифорыч Довгочун знал, что существует на свете такое слово, то он, наверное, назвал бы Ивана Иваныча Перерепенко не дурнем с писаною торбою, а нигилистом. Человек, который ходит по улице без перчаток, – нигилист, и человек, который заявит сомнение насчет либерализма Василья Александрыча Кокорева, – тоже нигилист. «Он нигилист! он не верит ни во что святое!» – вопят благонамеренные, и само собой разумеется, что Василию Александрычу это нравится. Одним словом, нигилист есть человек, беспрерывно испускающий из себя какой-то тонкий яд, от которого мгновенно дуреют слабые головы мальчишек!

Это переносит меня к далеким дням моей молодости. Знал я тогда одно семейство, жившее очень почтенно и патриархально и состоявшее из большого числа членов, между которыми были и старики, и взрослые, и подростки. Семейство наслаждалось тишиною и благоденствовало: оно имело тот форменный взгляд на нравственность и человеческие обязанности, который составляет счастье людей, желающих прожить свой век без тревог и волнений. Конечно, так и прожили бы эти добрые люди, если бы, к несчастью, не замешал-

ся тут Сенечка.

Сенечка был просто добрый малый, живший большею частью в отдалении от родных, и потому несколько отвыкший от этого бесшумного, обрядного жизненного строя, который царствовал в его семействе. Нельзя сказать, чтоб его не любили домашние; напротив того, на него возлагались даже какие-то честолюбивые родовые надежды, так как он один из всего семейства состоял на государственной службе и обещал когда-нибудь чего-нибудь достигнуть и тем прославить род Горбачевских. Тем не менее обольщение было непродолжительно; за Сенечкой во время побывок его в родном доме стали замечаться какие-то прорухи, какое-то не то чтобы озлобление, но полное равнодушие к родным интересам.

Но это все бы еще ничего: оказалось, что Сенечка разливает яд и действует посредством его на подростков.

Выходит из института невинная девица, внучка и дочь семейства, и поселяется у родных. Она уважает дедушку, боготворит бабушку, целует ручки у папеньки и маменьки, беседует и спорит по вечерам с приходским батюшкой насчет того, действительно ли существовали на свете Лазарь богатый и Лазарь бедный, или это только так, притча? Одним словом, родные не налюбуются милым ребенком и все в один голос кричат: что за милое, что за невинное создание! Но вот приезжает в побывку Сенечка... Он привозит с собой несколько французских романов – наша институтка слышит это верхним чутьем; она украдкой от родных бегаёт в Сенечкину

комнату и читает... Сенечка рассказывает, на каких он балах в Петербурге бывает (он бывает исключительно у Марцинкевича), какая в Петербурге опера и в какие неслыханные платья облекается г-жа Напталь-Арно, изображая маркиз. Институтка слушает это сначала одним ухом, потом обоими, потом она задумывается, потом ей плохо спится ночь... В одно прекрасное утро она начинает плакать и не хочет диспутировать с батюшкой; она не называет бабушку «божественной» и после обеда забывает поцеловать руку у папеньки. Мало того: она вдруг начинает резвиться и бегать по комнате; она садится за фортопьяно и не то чтобы играет, но как-то беспорядочно стучит по клавишам; наконец, она открыто называет родных тиранами, желающими заесть ее молодые годы.

– Это Сенечкин яд! – шепчут родственники, – это все Сенечкин яд действует!

– Помилуйте, маменька! – оправдывается Сенечка, – какой тут яд! просто-напросто Катеньке повеселиться хочется! просто-напросто молодая кровь в ней играет!

– Нет, это твой яд! – твердят хором родственники и спешат удалить Сенечку.

Приезжают на каникулы дети – гимназисты; бабушка осматривает их и говорит: молодцы! папенька спрашивает, какие у них отметки, и получает ответ, что всё пять да четыре. Петров пост; дети кушают постное вместе с Катенькою и прочими членами семейства; они делают это даже с неко-

торую восторженностью, думая посредством гороха спасти свои грешные души. И вдруг приезжает Сенечка.

– Дяденька! у нас постное! – спешат сообщить ему гимназисты.

– Стану я ваши пробки есть! – огрызается Сенечка и объявляет, что будет есть скоромное.

Декорация меняется. На другой день, за обедом, все едят постное, одному Сенечке подают скоромное. Гимназисты едят плохо.

– А что, друзья, вкусны пробки? – подшучивает Сенечка, видя, как они заглядываются на его котлетку.

Родитель гимназистов слегка бледнеет; бабушка строго посматривает на Сенечку. Но дело уж сделано; гимназисты плачут; Катенька, которая тоже надеялась спасти свою душу, вторит им; жаренный в постном масле картофель так и уносятся обратно нетронутый.

– Это Сенечкин яд! – шепчут родственники, – это все Сенечкин яд действует.

– Помилуйте, маменька! – оправдывается Сенечка, – какой тут яд! просто-напросто детям есть хочется, потому что они растут.

– Нет, это твой яд! – решает семейный ареопаг и спешит как-нибудь удалить Сенечку.

Все, даже рабы и рабыни, находятся под влиянием Сенечкина яда. Кормили их прежде, например, кислым молоком, и они не жаловались, и вдруг дернула же нелегкая Сенечку

спросить у Ионки-подлеца:

– А что, брат, с кислого-то молока, чай, живот подвело?

И вот на другой день история: кислое молоко в помойную яму вылили; и хотя все-таки им ничего другого не дали, однако огорчились.

– Это все Сенечкин яд! – шепчут родные.

– Да помилуйте, маменька! чем же я виноват, что у вас люди голодны? – оправдывается Сенечка.

– Нет, это твой яд! – решает семейный ареопаг и спешит как-нибудь освободиться от Сенечки.

Подобно этому Сенечке, нигилисты обязаны выносить на себе все грехи мира сего. Тявкнет ли на улице шавка – благонамеренные кричат: это нигилисты подучили ее; пойдет ли безо времени дождь – благонамеренные кричат: это нигилисты заговаривают стихии! Этого мало: летом 1862 года, по случаю частых пожаров в Петербурге, ходили слухи о поджогах – благонамеренные воспользовались этим, чтоб обвинить нигилистов; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература – благонамеренные возопили: это они! это нигилисты! Злорадство дошло до той степени безобразия и нелепости, что благонамеренные готовы были, чтоб у них поснимали головы, лишь бы иметь право сказать: это они! это нигилисты!

Вот какую страшную услугу оказал г. Тургенев. Хорошо еще, что он заблагорассудил уморить Базарова почти насильственной смертью, но что было бы, если б Базаров выдержал,

если б пришлось писать вторую часть романа и показать Базарова в соприкосновении не с госпожою Одинцовой и братьями Кирсановыми, но с жизнью действительною, если б, одним словом, пришлось изобразить Базарова деятелем общественным и политическим? Ужели же и впрямь оказалось бы, что выводы, делаемые людьми благонамеренными, суть выводы, естественно вытекающие из самого романа?

Но оставим Базарова. Я совершенно согласен, что люди, поджигавшие Петербург, суть нигилисты, но в таком случае какой же резон слово «нигилист» смешивать с словом «мальчишки»? Допустим, что слово «нигилист» выражает собой совокупность всех возможных позорных понятий, начиная от неношения перчаток и кончая отрицанием кокоревского либерализма, – чем же тут виноваты мальчишки? Посредством какого адского сцепления идей приплетаются они к нигилизму? Умышленно ли это делается или неумышленно?

Прежде всего, примем в соображение, что слово «мальчишки» имеет смысл нарочито презрительный. Оно пущено в ход московскими публицистами, которые в этом случае оказали благонамеренным услугу столь же незабвенную, как и И. С. Тургенев.⁷ И действительно, сила заключается не в

⁷ Заметим здесь кстати, что судьба вновь изобретаемых выражений не всегда одинакова. Например, г. Чичерин, по поводу какой-то трогательной истории, случившейся с ним самим, изобрел в 1861 году слово: «казачество в науке». Казалось бы, и метко, и замысловато, и образно – а в ход не пошло! Между тем М. Н. Катков только и изобрел что «мальчишек», а какой произвел фурор! Счастье! (Прим. М. Е. Салтыкова.)

слове, а в том понятии, которое оно выражает; «мальчишки» же выражают собой еще более, нежели «нигилисты». Нигилистом может быть человек всякого возраста; так, например, Аркаша Кирсанов покидает ремесло нигилиста тотчас же, как только собственным умом доходит до убеждения, что никакие нигилизмы на свете не стоят ничего перед теми положительными утехами, которые может доставить ему соединение с милой Катей (сестра г-жи Одинцовой). Стало быть, по этой теории, ничто не мешает быть нигилистом Н. Ф. Павлову, хотя, быть может, у него, от преклонности, ни одного волоса на голове нет, и благонамеренным – г. Чичерину, хотя он еще очень молодой человек. Напротив того, слово «мальчишки», так сказать, подрывает будущее России, ибо обращается преимущественно к молодому поколению, на котором, как известно, покоятся все надежды любезного отечества. Под этим словом подразумевается все, что не перестало еще расти; М. Н. Катков взирает на П. М. Леонтьева и говорит: вот мера человеческого роста! и затем, всякий индивидуум, который имел несчастье родиться двумя минутами позднее г. Леонтьева, поступает в разряд мальчишек. Не хитро, но зато просто и удобно.

Таковы физические условия мальчишества, в чем же должны заключаться условия нравственные? Очевидно, в том же, в чем и нравственные условия нигилистов, то есть в отсутствии всяких нравственных условий. Мальчишки не верят в науку, ибо не читают статей г. Молинали; мальчиш-

ки не верят в бессмертие души, ибо не читают статей г. Юркевича (во все это верят помещики, преимущественно подписывающиеся на «Русский вестник»); мальчишки – это, по счастливому выражению «Времени», «пустые и безмозглые крикуны, портящие всё, до чего они дотронутся, марающие иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют; мальчишки – это свистуны, свистящие из хлеба (какая разница, например, с «Временем»! «Время» свистит и в то же время говорит: «Из чести лишь одной я в доме сем свищу!») и только для того, чтобы свистать, выезжающие верхом на чужой украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающие себя маленьким кнутиком рутинного либерализма»...⁸

Одним словом, мальчишество есть нечто вроде греха первородного; мальчишка уже тем виноват, что он мальчишка; мальчишка фаталистически обречен на нигилизм.

Он не может ни серьезно мыслить, ни серьезно думать – потому что он мальчишка; он не смеет ни о чем иметь своего суждения – потому что он мальчишка; его мысль, его действия, его телодвижения, все его существо, одним словом,

⁸ Справедливость требует, однако ж, сказать, что «Время» не прилагает этих эпитетов собственно к мальчишкам; по своему обыкновению, оно беседует в пустыне и о пустыне. Но этот «маленький кнутик рутинного либерализма» – прелесть! Как должно было взыграть сердце Н. Ф. Павлова при чтении этих строк! Что должен был он сказать! Очевидно, он должен был сказать: все это я уж целых два года думаю, а М. М. Достоевский только возвел в перл создания! (Прим. М. Е. Салтыкова.)

необходимо должны заключать в себе нечто озорное, имеющее особый пасквильный смысл, – потому что он мальчишка. «Угодно вам папиросу?» – спрашивает мальчишка у благонамеренного, и благонамеренный фыркает и злится, потому что думает: «Га! это он неспросту мне папиросу предлагает! он хочет этим показать, что я до такой степени ослаб, что даже папиросу выкурить не в состоянии!» Каждое слово мальчишки подвергается толкованию самому инквизиторскому, в каждом его действии видится поползновение протанцевать карбонарский канкан.

Ожесточение благонамеренной прессы, а за нею и благонамеренной части общества доходит до того, что если мальчишка умирает или иным способом погибает, то никому не придет в голову сказать: вот погибает человек жертвою... ну, положим, хоть заблуждений! но всяк говорит: вот погибает мальчишка, то есть негодяй, то есть нигилист, то есть человек, не различавший своего от чужого! Откуда это проклятое «то есть»? Отчего, если оно не всегда выражается, то всегда подразумевается? А просто оттого, что дело идет об «мальчишках» – и всё тут!

Мальчишество – это преступление, за которое уличенный в нем лишается прав состояния и, что всего важнее, лишается права жаловаться, права апеллировать. Благонамеренный не станет и разговаривать с мальчишкой; «это мальчишка», – скажет он и самодовольно пройдет себе мимо...

Да, горько родиться «мальчишкой», но как же, с другой

стороны, и не родиться-то им?

Всякий мужчина, как бы он росл ни был, имел свой период мальчишества, только не всякий это помнит. Иной думает, что он так-таки и вышел из головы Юпитера, как Минерва, во всеоружии; иной забыл, что он не далее как в 1861 году был еще мальчишкой; иной и не забыл, и даже не скрывает, что не забыл: «Ну да, говорит, я был мальчишкой, покуда не коснулась меня благодать благонамеренности... что ж из того? а если меня опять коснется благодать мальчишества, я и опять буду мальчишкой... что ж из того?» Таким образом, одни действуют по беспамятству, другие – потому, что дело это торговое и завсегда в наших руках состоит.

К последнему разряду деятелей я не обращаюсь; я знаю, что они еще не раз в своей жизни будут и мальчишками, и благонамеренными, смотря по тому, где больше поживишки. Это паразиты, которые обращают внимание исключительно на то, чье тело представляется более пухлым и лоснящимся, чтоб угнездиться именно там, где более обеспечено еды. Я обращаюсь к людям просто забывчивым и спрашиваю: неужели вы в самом деле забыли? неужели вы дошли до состояния опресноков без всяких тревог, без всякой борьбы? неужели вы не метались и не кипели? неужели зашли в трущобу благонамеренности так же случайно и безразлично, как заходят современные франты в тот или другой танцкласс? Нет, это невероятно. Это невероятно, потому что нет того человека, которого заплесневелая душа не умилилась бы пе-

ред воспоминанием о давно прошедших, сладких днях молодости; нет того дряхлого, тупого старика, которого голова не затряслась бы сочувственно, которого морщины не осветились бы лучом радости, когда на него хоть на мгновение, хотя случайно пахнет свежим ароматом навсегда утраченной весны жизни. Ибо, каково бы ни было содержание молодости (положим, что оно было беспутно, с вашей нынешней точки зрения), все же оно говорит о силе, говорит о надеждах, о жажде подвига, говорит о той книге жизни, которая когда-то читалась легко и которая туго и тупо дается осторожно-кап-лушьему пониманию старчества.

Да не подумает, однако ж, читатель, что я взываю о сожалении к мальчишкам, что я для того обращаюсь к памяти благонамеренных, чтобы сказать им: и вы были молоды, и вы заблуждались, так имейте же снисхождение к молодости и заблуждениям других! Нет, я просто становлюсь на историческую почву и говорю благонамеренным: вспомните то время, когда вы были мальчишками, и поищите в своей памяти, не было ли и тогда «благонамеренных»? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить их покраснеть.

Нет, я не прошу для мальчишек ни сожаления, ни даже снисхождения. Я нахожу, что мальчишество – сила, а сословие мальчишек – очень почтенное сословие. Самая остервенелость вражды против них свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно и что слова: «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамеренные люди вен-

чают все свои диспуты, по поводу почтительно делаемых мальчишками представлений и домогательств, в сущности, изображают не что иное, как худо скрытую досаду, нечто вроде плача Адама об утраченном рае.

В чем же, собственно, дело? Где побудительная причина тех ожесточенных походов, которые поднимаются «благонамеренными» против «мальчишек»? Какие, наконец, права «мальчишек» на общее внимание?

Ответ на эти вопросы не так затруднителен, как это кажется с первого взгляда. Нельзя не сознаться, что общий уровень жизни падает; многое, с чем мы сжились, оказывается несостоятельным; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознаётся, что нет существа живого, которое могло бы сказать, что ему живется хорошо. Мы, благонамеренные, также это чувствуем, и в то же время не можем ничего выдумать к облегчению наших собственных болей!

И вот, в то самое время, когда мы вздыхаем и недоумеваем, вокруг нас все-таки происходит нечто новое; миазмы мало-помалу разрежаются, жизнь становится и приветнее и светлее. Откуда этот успех? откуда эта победа?

Все оттуда, милостивые государи, все из мальчишества. Как бы ни мал был успех, как бы ни нерешительна была победа, но они существуют, они чувствуются, источник их не в нас, благонамеренных, а в мальчишестве, в той неустанно-наступательной силе, которую оно представляет. Из того, что практическое осуществление новых жизненных форм

большую часть зависит от нас и производится нами, вовсе не следует, чтобы от нас же исходила и инициатива их, чтобы в нас заключалось какое-нибудь деятельное начало. Нет, мы только уступаем, мы только терпим; часто мы даже уступаем нехотя, с затаенною мыслью, но все-таки уступаем. Ибо таково действие свежей, не подкупленной гнилостными преданиями жизненной струи, что она покоряет себе человека, несмотря на его протесты, она всасывается в него незаметно для него самого.

Итак, если мы видим, что жизнь мало-помалу идет вперед – мы обязаны этим мальчишеству; если мы самих себя сознаем лучше и чище – мы обязаны этим мальчишеству.

Мы клянем мальчишество, мы презираем его, и в то же время, неслышно для нас самих, признаем его силу и подаем ему руку. Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь.

Я мог бы привести тысячи примеров из практики в доказательство справедливости моего положения, и если не делаю этого, то единственно из опасения, чтоб из того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себе один казенный вопрос: давно ли называлось мальчишеством, карбонарством, волтерьянством все то добро, которое ныне в очию совершается? И нельзя ли отсюда прийти к заключению, что и то, что ныне называется мальчишеством,

нигилизмом и другими, более или менее поносительными именами, будет когда-нибудь называться добром?

Можно. Для этого надобно только, чтобы видимая трудность подвига не приводила мальчишества в отчаяние.

Таким образом, современное настроение русского общества делается ясным для читателя. Он знает, что, с одной стороны, существует благонамеренность, но, с другой стороны, есть и мальчишество; что если не безвыгодно рисковать своими капиталами насчет благонамеренности, то в то же время не бесполезно принимать в соображение и мальчишество.

В этой нравственной эквилибристике приятно и незаметно проходит вся жизнь современного человека; в этом балансированье, в этом форсированном перескакиванье с одного камня на другой (ибо посреди их стоит лужа) истрачиваются все лучшие его силы.

Но я не могу, я не должен заключить свою хронику таким сухим и бесплодным словом. Нравственная разорванность, нравственное недоумение, легко объяснимые при известных условиях, как в отдельном человеке, так и в целом обществе, не могут, однако ж, служить ни жизненной целью, ни жизненным содержанием ни для отдельного человека, ни для целого общества. Общество может, за недостатком установившихся разумных начал, довольствоваться ходячею ложью, жить обрывками прошлого и хаотическими зародышами будущего, но подобное положение не включает в себе никаких задатков прочности и продолжительности.

Посмотрим, отчего же происходит это нравственное распадение в современном человеке, отчего он обязывается балансировать, отчего он никуда не может примкнуть с уверенностью, что тут именно сила, что тут он дома?

Об этом я побеседую с читателем в следующий раз...

<II. Март 1863 года>

Я заключил первую мою хронику обещанием объяснить читателям, отчего в современном человеке происходит некоторое нравственное распадение, отчего он обязывается балансировать, отчего никуда не может примкнуть с уверенностью, что тут именно сила.

Однако я покада нахожу еще невозможным выполнить это обещание, и вот почему. Для того чтобы выполнить его как следует, я должен доказать, что силы действительно нет нигде, и, разумеется, в этом отсутствии силы преимущественно обвинить мальчишество, как такую корпорацию, которая одна и может заключать в себе залогов действительной силы. Быть может, я вынужден буду сделать мальчишеству строгий выговор за то, что оно не умеет или не хочет воспользоваться плодами своего положения; быть может, я должен буду сделать кое-какие наставления...

Все это, разумеется, я сделать могу: и доказать, и выговор сделать, и наставление прочитать, но покада я еще чувствую, что перо выпадает у меня из рук... Почему я это чувствую? не потому ли, быть может, что мальчишество в настоящую минуту подвергается иным выговорам и выслушивает иные наставления?

И опять-таки, пускай не заключит читатель из моих слов, будто я хочу сказать: бедные мальчишки! и без того вы оби-

жены! зачем же я-то буду еще усугублять вашу горесть! Нет, я совсем не то хотел сказать. Я знаю, что если мальчишки подвергаются выговорам и наставлениям, то, значит, это так и следует; что они сами были обязаны все это предвидеть и предусмотреть и что, стало быть, тут ни соболезнавать, ни радоваться нечему. Но вместе с тем я не могу же не спросить себя: если мальчишки уже получают выговоры, то зачем же мне соваться еще со своими выговорами! имеют ли мои выговоры что-нибудь общее с теми, которые они получают? а если не имеют, как я и подозреваю, то с какой же стати я стану производить губительное двоегласие в впечатлительных юношеских умах?

Нет, лучше я воздержусь, и это тем легче для меня сделать, что никто меня и не пустит.

Притом же и говорить-то о прошлом в ту минуту, когда оно, так сказать, ликвидируется, не значит ли только заниматься праздными словами? Ведь тут расчет ясен: что есть в печи, все на стол мечи! и еще: каждому по делам его – ну, и дело с концом. Тут не поможешь ни оханьями, ни стонами, ни советами, вроде: кабы ты чуточку-чуточку влево забрал – ну, и уцелела бы твоя голова! Нет, тут этим не поможешь! Другое дело, поговорить о прошлом в видах назидания будущего – это иногда полезно бывает. Но ведь это тогда только полезно и возможно, когда имеется в виду совершенная ясность духа, когда в сердце царит безмятежие, а какая же может быть ясность, какое безмятежие в минуты ликвидации!

Следовательно, этот разговор я отложу до более благоприятной минуты, тем более что мудрецом быть во всякое время приятно и не подозрительно. Теперь же обращусь опять к той вечно милой среде, которая выговорам не подвергается и наставлений не получает.

Поговорю на сей раз о благородстве чувств. Это тем для меня сподручнее, что может отчасти послужить предисловием и к предстоящему в будущем выговору.

КАРТОННЫЕ КУШАНЯ, КАРТОННЫЕ КОПЬЯ, КАРТОННЫЕ РЕЧИ

Часто приходит мне на мысль, что все мы, сколько нас ни есть, живем и действуем на каких-то бесконечно обширных театральных подмостках, которые почему-то называем ареною жизни; что над нами стелется холстинное небо, освещаемое промасленным бумажным кругом, сквозь который тускло светится мерцание стеаринового огарка; что вокруг нас простираются холстинные леса, расстилаются холстинные луга, ходуном ходят холстинные волны; что хотя на нас падает снег и дождь, но снег этот бумажный, дождь шнурковый; что мы питаемся картонными кушаньями, пьем примерное вино, воюем картонными копьями и произносим картонные речи...

И чем более я углубляюсь в эту мысль, тем больше убеждаюсь, что она совсем не заключает в себе парадокса. Не

знаю, оттого ли, что жизнь положительно сошла с прежней наезженной колеи, оттого ли, что, сошедши с этой колеи, она не успела еще наездить себе колеи новой, но все мы находимся в том странном положении, в какое добровольно поставила себя редакция журнала «Время»; все мы сидим между двух стульев и то и дело шлепаемся на пол. Все мы раздражаемся только физически, радуемся и негодуем только окончностями языка, все ежемгновенно прообразуем любовь пьяного человека, который и любит-то словно не за себя, а за кого-то постороннего.

Отчего самый непривлекательный возраст человеческой жизни есть тот переходный возраст, который идет тотчас вслед за отрочеством? не оттого ли, что в нем утрачены все правдивые тоны жизни, что в нем многое потеряно и ничего не приобретено? Не оттого ли, что здесь истиною жизни временно делается ее ложь? Желания не уяснились, мысль не просветлела, а отроческая наивность и впечатлительность исчезла уже безвозвратно. Происходит нечто смешное и вместе с тем горькое; является хладная, картонная восторженность, являются деланные чувства, деланные мысли, сквозь которые слышатся чьи-то беззвучные голоса, чье-то непонятое, неусвоенное, не обратившееся в плоть и кровь слово... Понятно, что при первом дуновении невзгоды вся эта картонная обстановка падает сама собою, падает без шума, среди самого обидного равнодушия; понятно, что при первом дожде, сколько-нибудь не шнурочном, все эти кой-как

набросанные краски мгновенно смываются, все эти кой-как склеенные частицы картонного здания разлетаются врозь.

Давно ли казалось нам, что жизнь наша полным ключом кипит, как уже мы убедились, что этот ключ не взаправду ключ, а ключ театральный; давно ли казалось нам, что вокруг нас произносятся новые вопросы, восстает целая новая обстановка, как мы уже убедились, что это вопросы картонные, обстановка картонная. Давно ли мы бежали, стремились, шумели, рукоплескали, а теперь, плодом всей этой суеты, перед нами стоит, в обидной наготе, вопрос: куда стремились, чему рукоплескали? Да, именно только этот вопрос и остался, да и то остался только для тех, кто еще не совсем забыл о стремлениях и рукоплесканиях, а для большинства и этого вопроса не существует. Большинство уже позабыло о прежней картонной жизни; оно радо, что вступило... куда вступило? не в новую ли картонную жизнь?

Тихо, глухо, мертво, как в могиле. Картонная жизнь, картонное отрешение; картонные могилы! Но нет... могилы не картонные, ибо в этих могилах живет бесплодно пролитая кровь...

Это напоминает мне одного почтенного, но нищего духом старичка-москвича из породы «метеоров».

– Были вы у обедни? – спрашивают его.

– Был, сударь, в Кремле был: крестный ход ведь нынче...

– Ну, что ж?

– Да что, сударь! Звонят, благовестят, трезвонят... госпо-

ди боже мой!

Мы тоже по временам звоним, благовестим, трезвоним, а в результате... господи боже мой!

Но хуже всего то, что картонная жизнь произвела картонную литературу. Жизнь забывается по мере того, как измалывается и принимает новые формы, но картонная литература не забывается; она остается вечным монументом известного строя жизни.

Отличительные признаки современной картонной литературы – совершенное отсутствие содержания и полное бесплодие, прикрываемое благородными чувствами. Над всем этим царит беспримерная бесталантность и неслыханнейшая бедность миросозерцания.

Если действительная жизнь ускользает от нашего понимания, если идеалы нам не даются, если мы до того поражены повальной неспособностью, что не знаем даже, за что нам уцепиться, к чему устремить нашу жажду подвигов, то очень ясно, что для нас может быть доступна только одна сфера деятельности – это та сфера, в которой все пути уже давно изборождены рутиной, та сфера, в которой все званые, а нет избранных, та сфера, наконец, которой неприхотливое и скудное содержание, не изменяясь в своей сущности, только меняет цвета, только сгущается или разжижается, смотря по тону, задаваемому извне.

На сей раз это пристанище бессильных, эту бесплодную смоковницу, под которую свободно укрываются нищие ду-

хом, представляют так называемые благородные чувства, так называемые хорошие мысли, так называемые гражданские стремления.

Что благородство чувств есть один из самых сильнодействующих ядов нашей литературы – это я совсем не шутя говорю. Дело в том, что благородные чувства, хорошие мысли и гражданские стремления грозят затопить русскую литературу, по крайней мере в такой же степени, в какой, с другой стороны, затопляет ее сильнодействующая благонамеренность. Если эта последняя является отвратительной, вследствие своей цинически-легкой удовлетворяемости, то благородные чувства и мысли поражают своею бестактностью и сухостью, режут глаза своим бессилием и ограниченностью.

Как благонамеренность, так и благородные чувства равно противны; это маски, за которыми скрывается отсутствие содержания, это искусственно напускаемый туман, который мешает видеть жизнь действительную, жизнь не картонную. Когда вы занимаетесь делом положительным, имеющим корни в действительной жизни, придет ли вам в голову мысль о необходимости подпустить туда благородства чувств? Нет, не придет, потому что дело есть дело, и ни благородным, ни неблагородным оно не может быть... Возможно ли написать благородную арифметику, похвальную химию и не чуждую вопроса о воскресных школах физиологию? нет, невозможно, потому что все это: и арифметика, и химия, и физиоло-

гия – все это дело. Так, стало быть, литература...

Ну да, стало быть, литература есть безделье, коль скоро в нее, как в некоторый непокрытый сосуд, можно легко помещать все плохие чувства, все праздные поползновения, все непригодные для дела мысли. Действительно, благородство чувств там преимущественно и прижилось, ибо хотя и были попытки сочинить благородную арифметику, но скоро было найдено, что там благородство непригодно и что всего ближе оно подходит к беллетристике.

Явились целые фаланги повествователей, романистов, фельетонистов и драматургов, которые решили раз навсегда, что талант – вздор, что знание жизни – нелепость, наблюдательность – чаромутие и что главное заключается в благородстве чувств. Решивши таким образом, все они взапуски принялись доказывать:

Что образование не в пример лучше необразования.

Что порок и в шелковом платье все-таки порок, а добродетель и в рубище все-таки добродетель.

Что тщеславие и в золотых палатах все-таки тщеславие, а покорность судьбе и в хижине – все-таки покорность судьбе.

Что девица начитанная не в пример приятнее девицы неначитанной.

Что девица, занимающаяся преподаванием наук в воскресных школах, должна быть избираема в подруги жизни предпочтительно перед девицею, посещающею танцклассы Ефремова.

Что человек, пожертвовавший один рубль в пользу процветания общества трезвости, несравненно добродетельнее того, который такой же рубль пропил в кабаке.

Что, едучи на рысаке, надлежит помышлять о том, что большинство рода человеческого обязывается ездить на извозчиках... да еще если бы на извозчиках!

Что, поедая бифштексы, не следует забывать, что есть несчастные, которые едят хлеб с квасом.

Что скверные мысли – скверны.

Что неблагородные чувства – благородны.

Что писать плохие стихи с благородными чувствами не в пример благороднее, нежели осмеивать плохие стихи с благородными чувствами.

Что жизнь есть обман.

Что человек, сожалеющий о падении откупов, подобен пиявице, сожалеющей о невозможности сосать человеческую кровь.

Что увлекаться любовными делами, когда настает надобность позаботиться о преуспевании любезного отечества, неприлично и непозволительно.

Что жизнь есть река, человек – пловец, лодка – величественное здание общества, весло – прогресс, а волны – тщетная реакция безумных ретроградов.

Ко всему этому на живую нитку привязываются какие-то безличные Машеньки, крохотные аскеты Вертяевы, полупомешанные графини Клавдии Алексеевны – и пошла потеха!

Как видите, кодекс жизни не очень мудреный и не очень замысловатый. И с помощью этого-то незамысловатого кодекса фаланга литераторов, обуреваемых благородными чувствами, вознамерилась постепенно и неустанно отравлять жизнь человеческую! И при этом не потрудилась даже припомнить, что, с помощью именно точно такого кодекса, уже отравлял человеческую жизнь Ф. В. Булгарин!

Плодом этого намерения появляются повести неслыханные, драмы, повергающие в ослепление. Напишу здесь несколько примерных повестей.

Повесть I

Маша – дырявое рубище

Ваня – белые перчатки полюбил Машу – дырявое рубище. Они встретились на крутом берегу реки; Ваня бил бекасов, Маша собирала грибы; солнце; с реки веет ветерок; издали доносится рожок пастуха...

– Что это у тебя – грибы? – спрашивает Ваня – белые перчатки.

– А тебе зачем? – отвечает Маша – дырявое рубище и закрывает лицо рукавом.

Однако они слюбились. Звезды; с реки веет ветер; наверху поют небожители.

Вторая глава застаёт нас на берегу реки. Ваня – белые перчатки бьет бекасов, Маша – дырявое рубище ищет грибов, и в то же время чувствует, что она уже носит под сердцем залог.

– Ваня! – говорит Маша, – ведь я...

Но Ваня не дает ей докончить; он горячим поцелуем заграждает ей уста; он, очевидно, предпочитает милое дело милому безделью. Солнце; ветер веет с реки, но вдали раздаются уже перебаты грома.

Третья глава застаёт нас на берегу реки. Осень; дождь так и хлещет; с реки стонет ветер; призывной голос пастушьего рожка умолк. Ваня – белые перчатки оказывается подлецом;

он по-прежнему бьет бекасов, которые в этот год особенно жирны, и в то же время уверяет Машу, что ему нельзя, что он должен ехать, что в Петербурге будет происходить открытие общества постепенного прогресса, при котором он обязан присутствовать (и все-то ведь врет!).

– Ваня! – говорит Маша сквозь слезы, – ведь я...

Но Ваня опять не дает ей кончить; он опять предпочитает милое дело милому безделью и сует бедной, обольщенной девице в руку двадцатипятирублевую бумажку. А ветер стонет и ноет. «Бедное, бедное дитя мое!» – стонет ветер. А дождик льет да льет как из ведра. «Бедное, бедное дитя мое!» – поливает дождик.

– Подлец ты этакой! – разве ты за двадцать пять невинности-то меня решил! (решил – лишил: couleur locale⁹) – восклицает негодующая Маша.

Эпилог застает нас на станции. Автор едет на почтовых по какому-то казенному поручению (эти авторы всегда по казенным поручениям и всегда на телегах куда-то стремятся: это их идеал). Разумеется, закладывают лошадей; солнце, с реки тянет ветер; вдали раздаются жалобные звуки пастушьего рожка. Ямщики ругаются (couleur locale).

– Лешой! – кричит рыжий парень с добродушно-веселым лицом, – ты куда супонь-ту девал? (Супонь! каково знание народного быта!)

– Оборотень! – отвечает брюнет с привлекательною на-

⁹ местный колорит.

ружностью, – рази я за твоей-ту супонью в надзератели най-мовался?

Вдруг к крыльцу подлетает щегольская венская коляска, из которой вылетает, как легкое видение, прелестное существо, а с козел слетает ловкий лакей. Ну, автор, разумеется, сейчас к лакею (на то он и автор): кто такая? откуда едет? куда? зачем? и что везет?

– Едет графиня Марья Сидоровна, – отвечает лакей.

– Какая графиня Марья Сидоровна? – вопрошает автор.

– Какая Марья Сидоровна? Неужели? и т. д.

– О, да это, сударь, целый роман! – говорит лакей.

Оказывается, что Маша – дырявое рубище совсем не Маша – дырявое рубище, а графиня Марья Сидоровна; что она дочь графини Клавдии Алексевны, которая, желая приучить ее к труду, отдала на воспитание бедным поселянам, что потом все это открылось, что Ваня – белые перчатки обо всем этом узнал и подъехал было с предложениями, однако ему указали дверь, вследствие чего он запил, прибил своего начальника и находится теперь под судом.

Оказывается также, что через неделю графиня Марья Сидоровна уже на другой станции (что-то уж много вы разъездились, ваше сиятельство!) встречает нищего, который стоит у крыльца и просит копеечку; Марья Сидоровна вглядывается... ах! Перед нею стоит в пьяном виде Ваня – белые перчатки, который, за подлое свое поведение, произведен в Ваню – дырявое рубище!

Повесть II

Полуобразованность и жадность – родные сестры

(Очерк из народного быта)

Лето; по дороге едут дьяконица с пономарицей; лошадь бежит ленивой рысцой и махает хвостом. Из-под колес поднимается пыль, от которой дьяконица и пономарица по временам чихают.

– Чай, к Успенью-то поедете? – спрашивает пономарица.

– Поедем... а вы?

– Ну, нам... – пономарица завистливо вздыхает, – а к Воздвиженью-то тоже поедете?

– Поедем... а вы?

– Ну, нам... – пономарица опять озлобленно вздыхает.

Собеседницы умолкают, лошадь махает хвостом.

– Чи-их! чи-их! уж какую же только нонче пыль уродил бог! – говорит пономарица.

– Да, нонче пыль ничего, – отвечает дьяконица и, немного помолчав, прибавляет: – Здравствуйте! и еще здравствуйте!

Опять молчание; лошадь перестает бежать, но хвостом махает. Дьяконица клюет носом, изъясняя очевидное желание вздремнуть. Одна пономарица не дремлет; ее угнетает мысль: сколько перемен кушаньев будет у воздвиженского

попа.

– Матрена Петровна! а Матрена Петровна! – говорит она.

– Что вам?

– А мед-то у воздвиженских подают?

– Подают и мед.

– А сначала-то, чай, щи с рыбицей?

– Сначала щи с рыбицей.

– Ну, так!

Опять молчат. Лошадь, побежавшая было рысцей, опять пошла шагом. Солнце так и палит лицо дьяконицы, с которого льют крупные капли пота. Пономарица как-то так устроилась, что лицо ее находится в тени. Дьяконица только отдувается и приговаривает:

– Уж и жарынь же уродил господь!

– Чи-их! чи-их! – расчихалась пономарица.

– Здравствуйте! и еще здравствуйте! – ответила дьяконица.

– И к Казанской поедете?

– И к Казанской поедем... а вы?

– Ну, нам...

В это время едет навстречу пьяный мужик; он лежит в телеге и напевает:

Что ты, Дуня, приуныла,

Призадумавшись, шельма, сидишь?

– Э! да это, никак, от Спаса наши конопляницы едут? – говорит он, поравнявшись с дьяконицей.

– Ну-ка, проваливай, суконное рыло! – ворчит пономарица.

Вдруг подле самой дороги запищал кулик.

– Ишь ты! – сказала пономарица.

– Божья тварь! – отвечала дьяконица и слегка усмехнулась.

– А к Покрову поедете? – спросила пономарица.

– Поедем и к Покрову, а вы?

– Ну, нам...

В это время телега въехала в деревню; у самой околицы чернеется кабак. Пономарица с дьяконицей переглянулись.

– Прру! – сказала дьяконица.

– Да стой же ты, лешой! – усугубила пономарица. – Матрена Петровна, при вас есть?

– Ну, и так поверят! чай, знакомые!

Пономарица начала слезать и задела за чеку сарафаном, на котором образовалась порядочная дыра.

– Ишь ты! – сказала пономарица, – точно вот в прорву! точно вот в прорву!

Дьяконица слезла благополучно. Пономарица не утерпела, чтобы не проворчать:

– Вот ведь небось не заденет за чеку... о, чтоб вас!

В кабаке никого не было; собеседницы забрались к целовальничихе и спросили пива.

– И к Введению поедете? – спросила пономарица.

– И к Введению поедем, а вы?

– Ну, нам...

Через полчаса приятельницы, обнявшись, выходили из кабака. Дьяконица усмехалась; пономарица называла ее красавицей.

– И к Михаилу Архангелу поедете? – спросила пономарица, когда обе уселись в телегу.

– И к Архангелу поедем, а вы?

– Ну, нам...

Пономарица замолкла; ее грызла мысль, будут ли подавать у архангельского попа лапшу. Лошадь бежала рысцой и махала хвостом.

– Всё-то вы ездите! пропасти-то на вас нет! – молвила наконец пономарица и сплюнула в сторону.

Дьяконица усмехнулась.

– И к Николе поедете? – спросила пономарица.

– И к Николе поедем, а вы?

– Ну, нам...

Уж было довольно поздно вечером, когда приятельницы въехали в родное село. Пастух пригнал стадо; дьякон сам загонял худую коровенку; пономарь сидел на завалине и бездействовал. Ему нечего было загонять, потому что у них и коровенки не было.

– А к Рождеству поедете? – спросила пономарица, прощаясь с дьяконицей.

– Поедем и к Рождеству, а вы?

– Ну, нам...

«Несытое твое брюхо!» – думает лошадь вслед удаляющейся пономарице.

– А знаешь ли ты, что полуобразованность и жадность – две родные сестры? – раздаётся сверху голос, обращаясь, по всей вероятности, к лошади.

Повесть III

Сын откупщика

(Истинное происшествие)

Квартира станового пристава; рассказывается история этого чиновника: прежде он брал взятки, но с тех пор как вышла из института и поселилась с ним его дочь, ангел Наденька, совершенно изменил свой взгляд на службу. Становой – красивый и добрый старик; чело его увенчивается великолепной лысиной, которая, в свою очередь, увенчивается прекрасными седыми локонами. О Наденьке нечего и говорить. Автор описывает ее так: «Всякому, – говорит он, – кто встречал на пути своем это неземное существо, становилось легко на душе и как-то отрадno».

Наденька и становой пьют чай; Наденька пристаёт к становому, зачем он становой?

– Помилуй, душа моя! – говорит становой, – как же мне не быть становым, коли я становым уродился?

– Становые все такие противные! – возражает Наденька и грациозно топает ножкой.

Становой задумывается и припоминает то время, когда весь, так сказать, во зле погрязал.

– А помнишь, Надя, – говорит он, тяжело вздыхая, – помнишь то время, как я... (показывает рукой хапанца).

– Не напоминайте! не напоминайте об этом, папаша, – говорит Наденька и спешит заградить уста папашины.

– Да, тяжкое было это время! и если б не ты... – произносит становой, захлебываясь от слез.

Приезжает Матвей Семеныч Сивушников. Он любит Надю, и Надя знает это, но он сын откупщика, а Надя не знает этого. Старик-становой знает это, но не знает, каким образом открыть Наде ужасную тайну. Дело в том, что Надя однажды проговорила.

– Я за всех выйду замуж, – сказала она, – я выйду замуж за разносчика, я выйду замуж за золотаря, но за откупщика... ни за что!

– А за сына откупщика? – произнес Сивушников, бледнея и едва удерживая слезы, готовые хлынуть из глаз.

– Ни за что! – повторила красавица Надя и грациозно топнула ножкой.

С тех пор Матвей Семеныч сделался мрачен и уныл; днем он как тень бродит по лесам и пещерам; вечером – является в квартиру станового и беспрестанно трет себе рукою лоб, ибо полагает, что на лбу этом есть клеймо, по которому Наденька тотчас же узнает его.

В этот вечер он является особенно озабоченным. По-видимому, он на что-то решился.

– Надежда Кондратьевна! – говорит он, – вы когда-то выразились, что не пойдете замуж за сына откупщика...

– Да, я сказала это, и теперь то же самое повторю!

И топает при этом ножкой.

– А если этот сын откупщика вас любит?

– Сын откупщика может любить только водку!

– Наденька! это ты несправедливо! – вмешивается становой пристав.

– А если вы сами любите сына откупщика? – настаивает Сивушников.

Надя конфузится; она вопросительно смотрит на своего собеседника; она боится угадать страшную истину. Однако благородные мысли всплывают наверх.

– Я-то? я-то? мне полюбить сына откупщика! – восклицает она, – ни за что!

– Это ты, Надя, несправедливо! – опять замечает становой пристав.

– Но ведь это уж предрассудок, Надежда Кондратьевна! – горячо вступается Сивушников, – зачем же вы хотите сделать сына солидарным отцу!

Наденька, разумеется, возражает; всякому понятно, что высказанная Сивушниковым мысль была до некоторой степени неожиданностью для нее. Она возражает слабо, но щеки ее горят и грудь подымается высоко. (Заметьте, что «благородные» сочинители вообще любят описывать, как подымаются груди.)

– Ведь вы же первые, – продолжает Сивушников, – вооружаетесь против тех, которые не принимают в великосветское общество молодых людей, происшедших от вольноотпущен-

ных, от мещан и разных ведомств крестьян! но скажите, пожалуйста, не то ли же самое делаете вы сами!

– Нет, не то же...

– Нет, то же!

– Это ты, Надя, несправедливо!

– Стало быть, по вашему мнению, можно оставить откупщика ненаказанным? – горячится Надя, топая ножкой.

– Откупщика – так! мой отец наказан – это так! мой отец воняет – это так!

– Ваш отец? что я слышу?

– Да, Надежда Кондратьевна, я... я сын откупщика! – восклицает Сивушников, падая к ногам Наденьки.

Наденька слабо вскрикивает и теряет чувства; через минуту она открывает, однако ж, глаза, в которых уже виднеется томность и... прощение!..

– Надежда Кондратьевна! жизнь или смерть сулит мне этот небесный взгляд? – пристает Сивушников.

Вместо ответа Надя подает ему руку.

«Замечательно, – прибавляет от себя автор, – что в это время Сивушникову предстояла богатая партия в лице дочери откупщика Какикаки, но он пренебрег миллионом приданого, чтобы только соединиться с своею красавицей Надей. Отец его, однако ж, не рассердился на него за этот брак: он сам стыдился своего прошлого!»

Да не подумает читатель, что я шучу. Нет, я уверен, что

если он захочет потревожить свою память, то сам убедится, что книжки журналов сплошь наполнены такими повестями. Но еще более находится их в журнальных редакциях. Что такое, например, эти «Театральные закоулки», эти «Испорченные жизни», эти «знахари» и «знахарки», которые блестят такими крупными перлами в современной беллетристике? Что это такое, как не благородство чувств, обставленное совершенным отсутствием таланта и приправленное крошечным куриным мирозерцанием и крошечную же куриною наблюдательностью?

Мало вам повестей и рассказов – вот вам комедия:

Бедная племянница

Комедия в двух действиях, соч. И. Л. Г

Это уж не плод моей фантазии, это не шутка, а комедия действительная, представленная в первый раз в Петербурге на театре 3 января сего года.

Представьте себе, что тут все дело состоит в том, что есть на свете какая-то графиня Клавдия Алексевна, которая помешалась на том, что она графиня Клавдия Алексевна, и которая, с помощью разных беспутств, разорилась до такой степени, что никто не хочет ее признавать графиней Клавдией Алексевной. И вот эта ужасная женщина, для того чтобы поправить свои стесненные обстоятельства, хочет выдать свою дочь за миллионера Меригина, которого дочь не любит, а любит племянница, и который сам не знает, кого он любит: дочь или племянницу. «Тогда, – говорит графиня Клавдия Алексевна, – я буду по-прежнему графиней Клавдией Алексевной!» – «Графиня! – с своей стороны напоминает ей автор, – помните, что тщеславие и в золотых палатах – всё тщеславие!»

Разумеется, эта язвительная затея ей не удастся, потому что природа окружила ее благородными людьми. Дочь ее, графиня Зина Клавдиевна, девушка не столько умная, сколь-

ко благородная, весьма основательно рассуждает, что она любит не Меригина, а Ваню, и что, следовательно, если она отдаст руку Меригину, то сделает пакость. В этом укрепляет ее племянница Ольга Клавдиевна, тоже очень благородная девица, но притом и не пренебрегающая собственными выгодами, и Карл Антоныч Фишер, которого благородство как ни замечательно, но никак не может сравниться с его тупостью. Графиня Клавдия Алексевна остается с носом и теряет всякую надежду «быть по-прежнему графиней Клавдией Алексевной». Еще бы! ведь это все равно что замужней женщине быть по-прежнему девицей! Вот единственное сколько-нибудь разумное нравоучение, которое зритель может извлечь из комедии.

И вот такая-то комедия дается всенародно на театре, и находят даже бедные племянники, которые наслаждаются ею и шумными кликами вызывают автора «Бедной племянницы». Что означают подобные явления? и в особенности, что означает обилие их? Конечно, рассматриваемые сами по себе, они до того ничтожны, что не следовало бы даже утомлять ими внимание читателя, но в том-то и дело, что их надлежит рассматривать не в уединении, а в связи с общим течением жизни. В этом последнем смысле, служа выражением известной стороны общественной деятельности, они представляются фактом далеко не забавным. С невольным страхом спрашиваешь себя: неужели общественные стремления могут быть до такой степени убогими? неужели может суще-

ствовать такая жизнь, в которой все картонно: и куриные помыслы, и куриные желания, и куриный способ выполнения?

Да, стало быть, такая жизнь возможна, коль скоро она выродила из себя целую литературу. Для чего же мы шумели, куда же мы стремились, из-за чего мы так громко хлопотали? Из-за того ли, чтоб в результате вышло, что жизнь есть река, человек – пловец, лодка – величественное здание общества, весло – прогресс, а волны – тщетная реакция бессмысленных ретроградов? Да ведь на эту тему литература наша более сорока лет сряду отравляла публику! И ведь никто не хочет сообразить, что это картонное благородство чувств есть лишь ближайший шаг к благонамеренности, той самой благонамеренности, о которой я объяснял читателю в прошедшей моей хронике. Скажу даже более: черта, которая проведена между ними, до того тонка, что почти незаметна. Ибо, если благородство чувств стоит на том, чтоб доказать, что добродетель добродетельна, а порок порочен, то и благонамеренность не отрицает этого, и даже охотно погладит по голове за такие приятные мысли. Тут не только представляется легчайшая возможность для компромисса, но даже нет никакого основания для разладицы. «Из-за чего мы спорим! – скажет благонамеренность благородству, – и ты глупо, и я глупа! а если мы оба глупы, то не лучше ли нам сочетаться законным браком!» Благородство, услыша такие слова, подумает, подумает, да и сделается потихоньку благонамеренностью. Никто этого и не заметит, потому что оно, в сущности, и всегда

было благонамеренностью. Кто заметил, как «Русский вестник» сделался благонамеренным? никто! – всегда был. Кто заметит, как «Время» делается благонамеренным? никто! – всегда было.

Благородство чувств никогда не усматривает связи между явлениями, никогда не группирует их, никогда не размышляет о том, в каком отношении находится частный факт к целой системе: оно слишком взволновано для этого. Оно преследует какие-то пылинки, оно бумажку какую-то загоняет, оно замахивается обухом на божью коровку и на комара. Оттого-то оно и не огорчает никого, само же, напротив того, легко приобретает способность удовлетворяться. И однажды получивши эту способность, оно уже не останавливается; оно утрачивает последние остатки своей куриной неприязненности к куриному злу, которая составляла основу его, и делается способным проповедовать только истины вроде того, что куриный мир красив, что куриное солнце светло и что куриный навоз благоуханен.

Доказательств подобного куриного благородства не занимать стать. В Петербурге существует даже целая газета, которая поставила себе за правило служить проводником куриного благородства. Назовем эту газету хоть «Куриным эхом». От первой строки до последней она все умиляется, все поет: «Красен куриный мир!», «Тепло греет куриное солнышко!»; от первой строки до последней все докладывает, какие сделались россияне умные, как у них все это идет, вся-

кие эти новые штучки. «Из Рязани пишут, что выборы произведены в совершеннейшем порядке»; «Из Саратова пишут, что по случаю упразднения откупов ожидали некоторых беспорядков, однако все обошлось смирно: народ пил дешевку и похваливал, приговаривая: «дай бог здоровья ба-тюшке царю!»»; «Из Калуги пишут, что там, по случаю назначения нового губернатора, дворяне решились дать бал»; «Из Костромы пишут, что там дворяне решились дать бал без всякого случая»... Даже урожай у этой газеты везде хороши: саранча была, да и против той принимаются меры, которые позволяют надеяться, что впредь этой язвы никогда не будет; даже погода у ней стоит всегда благоприятная: были сначала дожди, но вред, произведенный ими, уничтожен благодаря просвещенным стараниям начальства. И никогда-то не напишет никто «Куриному эху», что, например, у нас на сходке, в Глупове, одного мирового посредника всего, между шутками, веселые ребята сзади в кровь исщипали за то, что тот посредник не таков, какого нам надобно...

Такого рода сплошным благородством давно уже с величайшим успехом занимаются все губернские ведомости обширной Российской империи. Неужели же наша литература осуждена превратиться в губернские ведомости? ужели общество, для которого литература все-таки служит органом, допустит такое нелепое превращение?

Многие думают, что бесплодие современной «изящной

словесности» оттого происходит, что никакого литераторам поощрения нет. Это правда.

Из-за чего трудиться? – спрашиваю я иногда самого себя, – из-за чего убиваться? Будешь писать хорошо, будешь писать дурно – все в том же ранге останешься; будешь ставить знаки препинания, где следует, или станешь допускать в этом деле лирический беспорядок – все-таки кавалером не сделают! Господи! хоть бы масличные ветви, что ли, в руки дали! да так, чтобы и ходить с ними, и не сметь бы их прятать! или шпагу бы на правую сторону привесили, или воротник такой: сова-лира, сова-лира, лира-лира-лира, а в середине опять сова; мудрствует-поет, мудрствует-поет, поет-поет-поет и опять мудрствует! Возьмите хоть то в расчет: теперь является литератор в дом, где имеются богатые невесты, – никто и внимания на него не обращает, а тогда, как бы с масличною-то ветвью в руках... вот уж подлинно бы разохались!

Вообще, я об этом предмете много думал и пришел к заключению, что без поощрения никак нельзя.

Много у меня на этот счет проектов в голове: отчего ж не сообщить их читателям?

Во-первых, можно было бы учредить «постоянных меценатов»... ну, хоть по одному меценату на каждую часть города. Теперь, если литератор находится в горести, если он негодует на мир, если он, одним словом, не знает, куда деваться с тоски, – куда он обратится? единственное для него

убежище танцкласс... поймите, как это вредно! А тогда он прямо пойдет к меценату, выплечет у него на груди свое горе – и возвратится домой веселый!

Во-вторых, если б не нашлось таких лиц, которые добровольно пошли бы в меценаты, то можно бы эти должности сделать обязательными, наравне с прочими городскими должностями. А для поощрения этих меценатов можно бы и для них двух-трех меценатов сделать, на груди которых и они могли бы выплакать свое горе. Или знак отличия какой-нибудь дать... какой бы, например? ну, например, хоть белый колпак...

В-третьих, если бы и этот проект оказался непрактичным, можно бы должность меценатов возложить на квартальных надзирателей, которые входили бы в квартиры литераторов, смотрели бы, прилежно ли они занимаются, не увлекаются ли малодушеством, поощряли бы, понуждали бы... Это уж так просто, что даже изумительно, как никому в голову до сих пор не пришло. Впрочем, нет – пришло: по крайней мере, нечто подобное нам рассказывал в «Петербургских ведомостях» г. Громека про одного квартального надзирателя, заведывающего искусствами в доме Шамо, близ Семеновского моста...

В-четвертых, можно бы купить дом кн. Вяземского на Сенной и подарить его литературе...

В-пятых, можно бы в Летнем саду ристания какие-нибудь устроить...

В-шестых, можно бы поручить г. Семейскому водить литераторов по праздникам по Петербургу и показывать: вот тут блаженная памяти императрица Анна Ивановна, а тут блаженная памяти императрица Елизавета Петровна...

Можно бы на адмиралтейской площади столб, обмазанный медом, поставить...

Можно бы возобновить инспекторский департамент гражданского ведомства.

Можно бы и опять закрыть инспекторский департамент гражданского ведомства, а литераторам по этому случаю назначить значительные пожизненные пенсии...

Можно бы, вместо одного театрального комитета, учредить таковых два...

Можно бы отличившегося литератора пустить на полчаса в кладовую императорского кабинета, выбирай, дескать, что хочешь! Разинет рот – а ничего не выберет! Ну, сам виноват!..

Можно бы отличившегося литератора пустить в магазин ювелира, занимающегося производством орденов, – выбирай, дескать, что хочешь...

Да и мало ли что можно было бы сделать!

Главное дело, чтобы литература понимала, чтобы литература чувствовала... Ну, и еще, разумеется, главное, чтобы рядом с системою поощрений существовала и соответственная система наказаний. Без этого тоже нельзя.

Итак, читатель, хотя я и не сдержал обещания, сделанного в конце последней моей хроники, однако сделал для тебя все, что от меня зависело, то есть показал тебе язву, но вместе с тем не скрыл, что имеются и средства к ее исцелению.

Я не поступил, как поступают свистуны, «свистящие из хлеба», которые кричат: «язва! язва! язва!» а что за «язва»? где «язва»? и как с этой «язвой» поступить? – ничего не объясняют. Но вместе с тем я не последовал и примеру «Куриного эха», который говорит, будто бы язв и совсем уж нет.

Я прошел по середочке.

Я говорю: утешьтесь, господа, язвы есть! но есть, господа, и пластыри! лечите! старайтесь!

Я говорю: пусть каждый из нас выберет себе свою особенную явочку! Пусть «Смрадный листок» говорит, что язвы можно лечить посредством доноса; пусть «Куриное эхо» утверждает, что язвы можно лечить, скрывая их, – в том расчете, что, может быть, и забудутся как-нибудь! пусть «Время», пусть «Наше время», пусть «Русский вестник»... пусть, одним словом, всякий свою капельку, – и я убежден, что соединенными нашими усилиями мы, наверное, принесем на грош пользы! Я говорю: пусть только останется запевалой г. Громека, а уж хор найдется! Подтянет М. М. Достоевский, из Москвы аукнет Н. Ф. Павлов...

И всё будет хорошо, и всё пойдет как по маслу, и все мы запоем едиными устами и сердцами:

Ах, пришли, пришли наши красны дни!

Р. С. Настоящая хроника уже была набрана, как я получил от одного нигилиста статью с убедительнейшей просьбой напечатать ее. Не нахожу лучшего средства исполнить желание моего друга-нигилиста, как заключив его статью мою хронике. Вот эта статья:

ТРЕВОГИ «ВРЕМЕНИ»

Из-за моря птицы прилетали,
Прилетали, в роще толковали.

Так гласит в 1 № «Времени» поэт Ф. Берг, отнюдь не подозревая, что он пишет самую язвительную характеристику того самого журнала, в котором помещает стихи свои. Прилетали птицы: М. Достоевский, А. Григорьев, гг. Страхов и Косица.

Прилетали, в роще толковали.
Разумеется, толковали чепуху:
– Эх, беда теперь нам, птицам смирным,
Смирным птицам, утицам залетным,
На земле житья совсем не стало
Птице смирной, птице перелетной.
Полетим мы, птицы, на болота,
На болота, дальние озера;
В камышах повьем мы, птицы, гнезда,

В камышах, туманах непроглядных (?)...
Будем, птицы, плавать по затишьям,
По затишьям, по озерам тихим;
Повыведем, птицы, деток малых,
Лебедятков да утятков серых;
Пролетим мы, птицы, над полями,
Над полями, хлебными полями,
Проживем мы, птицы, за людьми,
За людьми, сельскими людьми.
Из-за моря птицы прилетали,
Прилетали, в роще толковали.

Ф. Берг.

Какова поэзия! Хорошо, что все это не взаправду написано, хорошо, что все это изображено с язвительной целью представить верную характеристику «Времени». Нам даже не безызвестно продолжение этой диковинной пьесы, которое, однако ж, не помещено во «Времени». Вот оно:

Так и Достоевских пара и с Косицей
Цыркают: беда нам! ах, беда нам, птицам!
Мы ли, птицы-птицы, смирно не живали,
Смирно не живали, в роще толковали,
В роще толковали, смирно не живали,
Смирно не живали, в роще толковали;
Плавали в затишьях да в озерах тихих,
Страховых плодили да Косицят серых,
Косицятков серых, Достоевских белых,

Смирно поживали, в роще толковали,
В роще толковали, смирно поживали,
Смирно поживали, в роще толковали...
И так далее: помнится, листа два есть.

Подобно этим бедным птицам, «Время» почему-то встревожилось. Все ему кажется, что кто-то его притесняет, кто-то хочет утянуть у него пару подписчиков. Кто тебя, душенька? кто тебя ушиб? топни, душенька, топни ножкой!

Вы ошибаетесь, «Время»: никто вас не ушиб. Никто вас не притесняет, никто даже не думает об вас. Занялся было вами одно время «Современник», предполагая, что из вас может что-нибудь выйти, но теперь, вероятно, и он оставит это занятие. Очень уж употребляете во зло то внимание, которое вам оказывается.

Что вы сказали такого, что можно было бы уловить и формулировать, по поводу чего можно было бы вооружаться против вас? Ничего вы такого не сказали. Что вы такого сделали, что можно было бы назвать каким-нибудь именем? Ничего вы такого не сделали.

Вы сидели, птицы, в роще толковали,
В роще толковали, смирно поживали,
Смирно поживали, в роще толковали,
В роще толковали, смирно поживали...

Вся ваша деятельность за два года ограничилась тем, что

вы открыли каких-то «свистунов, свистящих из хлеба, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма». Это самое ясное из всего, что вы сказали. И вы думаете, что кого-нибудь этим обидели?

Кого вы обидели? кто заявлял вам об обиде? По поводу чего вы объясняетесь и извиняетесь? На основании каких резонансов, с какого права, с чьего разрешения вы приплели Чернышевского и Добролюбова в эту грустную повесть ваших самолюбивых тревог? Да скажите же, скажите, кто жаловался вам на обиду?

Может быть, вам жаловался Иван Федорыч Шпонька? Может быть, вами уязвлен титулярный советник Поприщин? Или вы подпустили обиняка Ивану Никифоруычу Довгочхуну? Или вы спорите и разговариваете с покойником Булгаринным? Так вы так и объявляйте, что вы именно Шпоньку обидели, а не заигрывайте с какими-то незнакомцами, которые, быть может, и не знают об вас!

Знаете ли что? Я думаю, что вам даже никто не жаловался, что вы сочиняете эти неслыханные обиды нарочно для того, чтоб иметь повод самим с собой разговаривать и затем получить возможность похвастаться перед публикой: вот как-во мы обидели, что и отмахаться не можем! Вы устраиваете примерное сражение; вы сами себя уязвляете, да потом сами же себе приносите оправдания и извинения. Косица обидит Косицу, Страхов Страхова, Григорьев Григорьева, а потом и поведут сами с собой ожесточенную полемику! Этот прием

не нов; прочтите в прошлом номере «Современника» статью г. Дмитриева «Провинциальная газета», и убедитесь, что герой этого рассказа давно уже употреблял его для придания живости своему журналу.

Что ж тут обидного, что вы упомянули о каких-то свистунах, свистящих из хлеба? Это тупо, и больше ничего; это так тупо, что даже прелестно, но это не прелестнее всего прочего, что вы пишете в вашем журнале. Какой руководящей мысли вы были органом? никакой. Что вы высказали? ничего. Вы постоянно стремились высказать какую-то истину вроде «сапогов всмятку», вы всегда садились между двух стульев, и до того простирали свою наивность, что даже не хотели заметить, как шлепались на пол.

И не то чтобы вы не стремились обидеть кого бы то ни было: нет, у вас есть желание не только обидеть, но даже живьем проглотить. Но бог знал эту вашу злобу и, чтобы не допустить вас обижать других, обидел вас самих, то есть не дал вам ни уменья, ни остроты ума, ни – главное – фонда никакого, из которого можно было бы отправляться, чтобы наносить удары врагам.

Например, вы очень желаете обидеть «Русский вестник» и называете его то болгаринствующим, то теймствующим. Видите ли, вы даже выражения-то своего выдумать не в состоянии, вы даже острите на чей-то манер. А знаете ли вы, что с «Русским вестником» все-таки приятнее иметь дело, нежели с вами? По крайней мере, не обманываешься: вой-

дешь в «Русский вестник» – ну и знаешь, что вошел в лес, а в вас войдешь – не можешь даже определить, во что попал: и серенько, и жиденко, и скользко...

Вы называете г. Каткова болгаринствующим, но разве неправ будет тот, кто вас, «Время», назовет катковствующим? Вот я, например, именно одарен такую прозорливостью, которая так и нашептывает мне, что вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени.¹⁰ Мало того:

¹⁰ Верность этого замечания поразительна. Во 2-м своем номере «Время», желая изобидеть одного из наших сотрудников, по поводу помещенной в 1-м томе «Современника» рецензии на «Литературную подпись» г. Скавронского, поместило статью «Молодое перо», в которой, во-первых, сравнивает нашего сотрудника с бароном Брамбеусом и, во-вторых, обращаясь к нему, постоянно называет его «молодым человеком». Точь-в-точь такое же сравнение и обращение делал два года тому назад «Русский вестник», у которого «Время» все это и заимствовало, разумеется внося в это заимствование своих собственных «сапогов всмятку». Эти «сапоги всмятку» заключаются в том, что будто бы наш сотрудник-рецензент до того «впился в интересы редакции «Современника», что, впиваясь, оставил прежнее у порога»... Читая эти слова, мы долго не могли прийти в себя от изумления. Что это такое! да ведь рецензия не подписана! к кому же может относиться обвинение «Времени»? и как могло узнать «Время», кто именно написал статью, приведшую его в такое волнение? Или, быть может, «Время» имеет привычку справляться у наборщиков типографии, в которой печатается «Современник»? Но если это так, то уверяем вас, о «Время», что наборщик, сообщивший интересные для вас сведения, обманул вас. Лицо, которое вы так легкомысленно упрекнули в чем-то «прежнем», уже четыре года постоянно и исключительно печатает свои сочинения в «Современнике», если же в прошлом году и было помещено несколько его рассказов во «Времени», то это произошло единственно оттого, что «Современник» был закрыт, а налагать на уста молчание не всегда бывает для литератора удобно. Следовательно, интересы «Современника» всегда были близки этому рецензенту, следовательно, и впиваться было не во что, следовательно, и слова ваши, как и все вообще ваши слова, суть не более

я даже думаю, что если признавать силу болгаринской традиции, то надо признать, что она уже коснулась и вас... разумеется, покуда только невинной своей стороной. Ведь и Булгарин проводил что-то вроде сапогов всмятку, ведь и он никогда не говаривал, что душа человеческая не бессмертна и что за воровство не следует наказывать. Вы говорите и проповедуете то же самое, да притом хотите еще отвести глаза, хотите уверить, что у вас все это свое, самостоятельное. Напрасно. Верьте, что чем больше будете таким образом самостоятельничать и своим умом доходить, тем более и более будете приближаться к идеалу, от которого вы теперь отворачиваетесь с таким презрением.

Вы говорите, что г. Каткова оспаривать можно и следует (и что вы так пристали к Каткову? или вы получили от него разрешение? смотрите, ведь он когда-нибудь и сам на вас замахнется – и не пикнете!), да ведь и это еще не вовсе плохое дело, коли есть что оспаривать, а вот когда худо, коли и спорить не об чем. Возьмите, например, «Время»: за что ни прицепись – все гладко; хоть всю книжку обшарь (разумеется, мы не говорим о беллетристике), ни обо что не запнешься! А вы еще говорите, что вас кто-то за что-то не любит!

как толкование в пустыне и о пустыне. Что же касается до того, что вы в полемике своей против неизвестного вам рецензента сослались на пословицу «береги честь смолоду», то надо думать, что презренная эта выходка употреблена вами в припадке особенного увлечения и что впредь этого с вами не случится. – Ред. <«Современника».>

Сидят птицы смиренно,
Живут-поживают, в роще всё болтают... –

да вдруг и вообразят себе, что их кто-то не любит! Да за что же вас не любить-то? И кто же на свете такой человек был, который бы смиренных птиц не любил?

Вы говорите, что вас не любят за то, что вы самостоятельны, за то, что вы не подражаете. Но ведь разве вы взаправду самостоятельны, разве вы не притворяетесь? Нет, вы подражаете; вся хитрость ваша в том состоит, что вы всем понемножку подражаете, у всех чего-нибудь с крошечку утянете, да и прикроете эту смесь тем, что напустите в чужие мысли своих сапогов всмятку. Собственно вашего только и есть. Да ведь это еще счастье, что у вас есть хоть «сапоги всмятку», ибо какой же орган русской литературы, сколько-нибудь заботящийся об интересах защищаемого им дела, может желать, чтобы вы ему подражали? Ведь это значило бы просто желать своей собственной смерти, ибо всем известно, что ничто так не убивает дела, как неловкое подражание ему. Неловкий подражатель всегда или не доскажет, или перескажет что-нибудь – ну, и сразит! Вспомните г. Вс. Крестовского: мог ли А. Н. Майков предчувствовать, что ему придется погибнуть от руки его в цвете лет? Вспомните это и поймите, кому же может быть надобность в вашем подражании, в вашей помощи?

Вы говорите, что первые вооружились против авторите-

тов, и в то же время отмахиваетесь от тех, которые будто бы обвиняют вас за то, что вы не вооружались против Тургенева, Писемского и т. п. Вот видите ли, вы даже понятия об авторитете не можете отделить от чьего-нибудь лица, вы даже думаете, что авторитет есть что-то такое, что можно ощупать, поцеловать и т. д. Для вас есть авторитет-Тургенев, авторитет-Добролюбов, дальше вы не идете. Я уверен, что у вас имеются даже авторитеты белокурые, авторитеты с проседью и авторитеты черноглазые. Я бы советовал вам просто прекратить разговор об таких делах, а если уж так придется, что не сказать нельзя, то как-нибудь проглотить, оставить белое место и потом сослаться на печатника: выпало, дескать, слово это в то время, как форму в станок клали. А то ведь таких «антиспатов» наскжете, что после целую жизнь за вами будут мальчишки бегать да приговаривать: антиспат! антиспат! антиспат!

И еще вы объявляете, что в тех сочиненных вами врагах (главнейшие-то враги ваши суть: М. М. Достоевский, Страхов и Косица), которые вами обижены и перед которыми вы извиняетесь, ничего нет русского. «Духа русского тут и слыхом не слыхать и видом не видать», – говорите вы. Ну, не в пустыне ли вы проповедуете? и об ком это вы говорите? Выдумали себе каких-то несуществующих врагов да и шпигуете их чем попало! И об червонорусах тут же кстати что-то пролепетали, об каких-то четырехсотлетних страданиях! Что, я думаю, беготни-то стоило вам определить эту четы-

рехсотлетнюю цифру! чай, у всех знакомых переспросили, точно ли четыреста лет, а не триста девяносто девять! Как бы опять «антиспатов» не наврать! И об чем это, об каких это страданиях вы говорите? И зачем вы анонимы употребляете? зачем вы беседуете с читателем в форме какого-то невинного письма от Машеньки Н. к Оленьке Р.?

А в вас-то что русского? А что, если мы докажем, что все ваше русское есть не более как арбузные корки, выкинутые вам покойною «Русскою беседой» за ненадобностью и обглоданием? А что, если мы докажем вам, что в вас только и есть русского, что «Мертвый дом»?

И еще вы хвастаетесь, что вас любит публика, что у вас много подписчиков. Знаете ли, кому вы этим обязаны? вы обязаны этим «Современнику», который некоторое время заблуждался, что из вас может нечто выйти, и занимался наставлением вас на путь истинный; вы обязаны этим временному прекращению того же «Современника», которое на минуту сосредоточило у вас все литературные силы. И тут покровительствующею вам силою явились совсем не собственные ваши сапоги всмятку, а чужая неудача. Все-то в вас чужое: ваши мысли суть объединенные чужие мысли, ваше сентиментальничанье с либерализмом есть тысячекратно повторяемое трясение гоголевской «Шинели»; даже ваше счастье есть чужая неудача.

Чего же вы пугаетесь? сами себя пугаетесь. С кем вы воюете? сами с собой воюете.

Ведь вы до такой степени галлюцинации дошли, что сами же свои собственные внутренности раздираете и тут же совершенно искренно убеждаетесь, что раздирает их вам кто-то посторонний. Ведь до этого доходил только Хлестаков, когда уверял, что сочинил Юрия Милославского!

Из-за моря птицы прилетали,
Прилетали, в роще толковали...

Ну, какая может грозить беда «птицам смиренным, смиренным птицам, утицам залетным»? Да не верьте же вы г. Ф. Бергу: он вас обманывает, он, кажется, даже хочет польстить вам... Сидите себе смиренно, каждый на своей ветке, и толкуйте.

В роще толковали, смиренно поживали,
Смиренно поживали, в роще толковали...

Хотите, я сейчас же пять печатных листов таких стихов напишу? Хотите, я каждый месяц сто таких книжек сочиню, как 1-й № «Времени» за сей 1863 год?

Только и не могу сочинить одну драму Островского. Драма! драма! как ты в рощу попала?

<III. Апрель 1863 года>

«Мальчишкам» делают упрек в несправедливости; утверждают, что они мало того что несправедливы, но даже возводят несправедливость на степень принципа, находят, что о справедливости не должно быть и речи. «В природе, – говорят поборники справедливости, – есть много милых вещей; одни мальчишки не признают их милыми»...

Этот пункт необходимо разъяснить. Что такое справедливость? По поводу чего справедливость? К кому и к чему справедливость?

Если вы вникнете попристальнее в тот смысл., который придается слову «справедливость» ее ревнителями, то легко догадаетесь, что в нем звучит чуждая нота, что тут дело идет совсем не о справедливости, а о снисходительности. «Вы резко относитесь к вещам и лицам! вы забываете, что нельзя же все вдруг!» – вот наиболее употребительная формула, которая при этом пускается в ход и которая самым наглядным образом удостоверяет, что под «справедливостью» отнюдь не следует разуметь «справедливость» действительную, а нечто другое. Чтобы доказать, что это совсем не произвольное с моей стороны предположение, я обязан войти в некоторые разъяснения.

Справедливость или, лучше сказать, правосудие выражается в правильной оценке известного порядка вещей, извест-

ного факта, известного действия отдельного человека. Это просто суд, на отправление которого имеет право всякий человек, обладающий способностью мышления. Во имя чего отправляется правосудие? Во имя чего судья известное человеческое действие признает заслуживающим порицания, а другое действие, напротив того, заслуживающим похвалы? В удовлетворительном разрешении этих вопросов заключается вся сущность дела. Хотя всякий мыслящий судья необходимо судит о вещах жизни во имя известного жизненного идеала, тем не менее суждения людей о вещах и лицах весьма разнообразны. Такое разнообразие суждений, очевидно, происходит от разнообразия идеалов, а это последнее есть следствие крайней неположительности и неточности так называемых социальных наук. В особенности резкое различие оказывается между приговорами суда привилегированного, окрепшего, и приговорами так называемого суда общественного. И, конечно, причина этого различия будет для нас ясна, если мы припомним, что привилегированный суд отправляет свое правосудие во имя идеалов тоже привилегированных, а суд общественный действует во имя идеалов более или менее не выработанных, не вошедших в общее сознание, спорных. Следовательно, то, что в первом случае является делом простого, почти механического сопоставления исследованного факта с готовым определением его, во втором случае представляет обширную область для колебаний и более или менее проблематических поисков. Но речь по-

камест идет не о том, каким идеалам отдать предпочтение: ходячим или только подозреваемым, – речь о том, возможна ли для судьи и в том и в другом случае иная формула суждения, кроме положительной или отрицательной? Может ли тут быть допущено, вместо простого и ясного «да» или «нет», какое-нибудь маленькое «да», маленькое «нет»? Предложите каждому из нас этот вопрос, исключительно относя его к суду привилегированному, – каждый из нас нисколько не усумнится сказать: нет, маленького «да» тут не может быть. Это и совершенно естественно, потому что мы понимаем, что здесь идет речь о факте и что рядом с этим фактом существует и готовое мерилло для оценки его: привилегированный идеал привилегированной справедливости. Согласно с требованиями этого идеала, судья не может сказать «виноват – не виноват» даже и тогда, когда он не понимает факта, даже и тогда, когда факт, по своей оригинальности, не подходит ни под какие определения привилегированной правды. В этих последних случаях он должен сказать: я не понимаю факта и потому удаляюсь. Совсем другими являемся мы, когда идет речь о суде общественного мнения или одного из его органов: тут наши требования изменяются, и изменяются именно вследствие многообразия идеалов, с высоты которых мы смотрим на предметы и людей. То есть, коли хотите, каждый из нас лично все-таки действует точно с тою же резкостью, как и обладатель привилегированных идеалов, но в отношении к обладателям идеалов, противо-

положных нашим, мы этой ясности действия признавать не хотим. И тут-то именно выступают на сцену те воззвания к снисходительности, умеренности и другим более или менее сводническим способностям, с помощью которых человеку так легко ужиться со всякою средою, если даже эта среда и не удовлетворяет его. А подкладка всего этого: «Мы будем говорить, а вы молчите, мы будем приговоры изрекать, а вы приводите их в исполнение! Мы одни имеем право быть мудрыми». И не то чтобы тут была какая-нибудь военная хитрость, то есть что вот, дескать, от вашей резкости и вашего нетерпения только делу поруха, будьте, дескать, кротки, как голуби, и мудры, как змеи, – нет, это просто какое-то нравственное ожирнение, не желающее знать никаких противоречий, это просто невинно-фаталистическое чаяние, что все в мире строится само собою, что был успех прежде, будет успех и впредь... сам собою...

Между тем тут есть очевидное недоразумение, ибо точка отправления как суда привилегированного, так и суда общественного, собственно, одна и та же: идеалы. Если общественный идеал еще не выяснился до той степени, чтобы быть признанным всеми одинаково, и если, с другой стороны, общество, в официальной, торжествующей своей форме, довольствуется одними азбучными истинами, из этого вовсе не следует, чтобы все члены общества непременно обязывались довольствоваться азбучными истинами и чтобы тот или другой член не мог иметь своего особого представления об

идеале. Напротив того, существование привилегированных идеалов, официальное признание справедливости одних старых, азбучных истин нисколько не мешают протесняться в жизнь иным идеалам, иным истинам. И эти новые идеалы, эти новые истины, несмотря на свою непризнанность, все-таки не теряют права на название идеалов и истин, потому что они действительно идеалы, действительно истины, хотя не вошедшие еще, так сказать, в общее употребление.

Чтобы сделать мою мысль яснее, прибегну к примеру: укажу на литературу, которая везде и совершенно справедливо признается главным органом общественного самосознания, и преимущественно укажу на журналы, как на органы литературы. Если журнал не имеет твердых понятий о том, куда он идет и чего хочет, если он занимается донашиваньем чужих одежд и догладываньем чужих оглодков, заслуживает ли он чести называться органом и руководителем общественного мнения? Нет, не заслуживает, и это до такой степени справедливо, что просто ни на один журнал нельзя указать, который не имел бы своего ясного мирозерцания. Возьмите, например, «Русский вестник» – что может быть определеннее и точнее! У него есть свой собственный взгляд и на прогресс, и на зундскую пошлину, и на польские дела, и даже на поджигателей; и никто ему не говорит: не имей своего взгляда, выражайся так, чтобы понять тебя было невозможно. Напротив того, все говорят: очень приятно, что ты так положительно, так ясно и так величественно-строго вы-

ражаешься! Если иногда, по обстоятельствам, и нельзя с тобой спорить, то, во всяком случае, можно тебя цитировать – и этого покамест довольно. Свобода мысли, свобода убеждений дело до такой степени святое, что даже то, что мы иногда называем несправедливыми мыслями, несправедливыми убеждениями, и то должно пользоваться правом гражданства. Вот, например, в 1-м своем № за настоящий год «Русский вестник» делает легкое сопоставление между деятелями подметной литературы и петербургскими пожарами; можно на это, конечно, сказать, что такое сопоставление несколько гадательно и отчасти пошло, что, наконец, не далее как в прошлом году «Современная летопись» публично отплевывалась от возможности подобных сопоставлений, но запретить «Русскому вестнику» производить подобные операции нельзя, ибо они соответствуют его идеалам. Конечно, многим кажется, что «Русский вестник» может говорить что ему угодно, может даже ошибаться по временам, именно в силу того, что основание у него хорошее, а вот, например, «Современник» говорить не может, потому что основание у него плохое. Но ведь не надо забывать, что вопрос об основаниях есть вопрос очень спорный. Почему именно основания «Современника», а не основания «Сладкого бремени», не основания «Куриного эха» должны считаться плохими? почему именно «Современник» должен считать себя отверженным? Ведь этих вопросов никто еще не разрешил, ведь об них еще спорят. А если и за всем тем находятся орга-

ны, которые простирают к «Современнику» подобные деспотические притязания, то очевидно, что в основах их лежит неблагоприятная страсть к единоторжию мысли и суда. Спорьте, милостивые государи, опровергайте, даже доказывайте, что «Современник» несправедлив с вашей точки зрения, но позвольте же ему быть справедливым с своей точки зрения! Ведь притязания ваши клонятся, ни много ни мало, к тому, чтобы сделать из всех деятелей литературы чистописцев, смиренно заносащих на бумагу изречения М. Н. Каткова... ну, нет, на это мы не согласны!

И совсем не потому мы не согласны, чтобы считали для себя унижительным писать под диктант М. Н. Каткова, а просто потому, что имеем свой собственный образ мыслей. И в силу этого-то именно образа мыслей мы полагаем, что справедливость и снисходительность – совсем не синонимы. Снисходительность есть дружеская стачка, есть кроткая взятка сердца, допущенная в пользу очень милого нам лица или очень любезного нам порядка вещей, тогда как справедливость есть простой анализ факта, в связи с его историей и окружающей средой. Что же общего между ними?

Все сказанное мною выше делается еще более ясным для читателя, если он даст себе труд припомнить, по поводу чего обвиняются «мальчишки» в несправедливости, то есть в неснисходительности.

Милостивые государи! Конечно, справедливость сама по себе великое слово, но потому-то именно и следует поль-

зоваться этим словом с осторожностью. По поводу чего вы требуете справедливости? по поводу вашей же собственной несправедливости. К кому требуете справедливости? к самим себе!.. Вы требуете справедливости, вы, которые сами насквозь проникнуты ненавистями и неправосудием всякого рода, вы, которые шагу не можете ступить без того, чтобы не допросить с пристрастием, чтобы не кинуть тени язвительного подозрения, чтобы не уськнуть и не кивнуть головой на тех, которых вы, правильно или неправильно, считаете врагами вашего спокойствия! Сердца ваши преисполнены желчью и оцтом, язык ваш источает яд клеветы, руки ваши сводятся судорогою – и вы хотите, чтобы к этому позорному зрелищу, чтобы к этой «хладной» ненависти, сделавшейся почти ремеслом, оставались равнодушными и даже оказывали дань уважения и снисходительности!

Милостивые государи! вы ссылаетесь на прежние ваши заслуги – никто у вас их и не отнимает! вы объясняете, что в вашем положении, при вашем воспитании, в силу вашего прошедшего... Никто против этого и не возражает! Вам говорят одно: если вы остановились в вашем развитии, если жизнь захлопнула перед вами свою книгу, если наплыв новых сил, новых стремлений составляет для вас загадку, которую вы разрешить не в силах, зачем же вы усиливаетесь разгадать ее? зачем вы, не успев в этом, обвиняете эти новые силы, новые стремления в противообщественности? зачем вам никогда не придет на мысль, что новые вещи кажутся

вам дурными не потому, чтоб они в самом деле были дурны, а потому, что вы к ним не приготовлены, их не ожидали, их не понимаете?

Если бы вам хоть однажды, хоть ошибкою пришло это на мысль, вы сказали бы себе: не может же быть, чтобы целое поколение двигалось под влиянием одуряющего обмана чувств, не может же быть, чтобы в целом поколении не было инстинкта правды! И, сказавши себе это, вы, конечно, заглушили бы вопли ненависти, закипающие в сердцах ваших, вы стали бы в сторону и не загоразивали бы дороги молодому, потому только, что оно молодо и не может петь вам в тон?

Но нет, вы носитесь с вашим прошедшим, до которого никому уже нет дела, и, убедившись, что дела до вас действительно никто не имеет, вы озлобляетесь, вы всё забываете и ничему не научаетесь. Вы презрительно бросаете в глаза ваш запелляционный приговор, очень кстати припоминая, что на вашей стороне сила дня. Это последнее воспоминание, вместо того чтоб смутить и воздержать вас, вливает, напротив того, бодрость в ваши сердца, придает игривости и бойкости вашим изречениям и приговорам 1.

1 Недавно, например, случилось мне вычитать в одной убогой московской газетке такую характеристику «Современника», что в нем в настоящее время действуют одни эпигоны и что «даже так называемые нигилисты, побойчее, замолкли...» «Замолкли!» – слышите ли вы радость, которая сочится в этих словах прискорбного публициста! «Замолк-

ли!» – но почему замолкли, любезный публицист? не известна ли вам причина этого молчания? Вот видите ли, прискорбный публицист отнюдь не желает стеснять себя в суждениях о нигилистах... даже замолкших, и в то же время вопиет о справедливости, выставляет на вид какое-то кощунство над современной историей, «над всем, что близко и дорого современному человеку»! Это совершенно особого рода логика, совершенно особого рода справедливость, в силу которой один может нахальствовать сколько душе угодно, а другой обязывается молчать, один может формулировать свои обвинения ясно, а другой не имеет права проводить свою мысль и под покровами! Я очень хорошо понимаю, о прискорбный публицист! что вы должны быть обрадованы молчанием «нигилистов побойчее». Вы размышляете в этом случае так: если уж от «эпигонов» мне больно достается, то до какой степени я был бы изогорчен, когда бы начали со мной считаться вожди и учителя! Это расчет очень верный и довольно успокоительный. Только жаль, что вы уж очень скромны: не назвали «нигилистов побойчее» по именам и не доложили вашим читателям о причине их молчания. Чего доброго, они ведь могут подумать, что это вы заставили их замолчать! Что же касается до названия «эпигонов», то и тут вы обнаруживаете скромность совершенно излишнюю. Эпигоны осаждали Фивы, следовательно, вам необходимо было бы, для ясности, растолковать, какие это именно Фивы осаждают «Современник». Может быть, это какие-нибудь недоз-

воленные Фивы Подумайте только, какую вы благодарность можете получить от современников за подобное указание! благодарность, быть может, вящую той, которую уже вы получаете! А то ведь читатели могут подумать, что Фивы-то – вы и что «Современник» именно вас осаждает! Нет, он вас не осаждает. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

Единственная справедливость, какая возможна в отношении к подобным явлениям, заключается в анализе их внутренней сущности и в постановке тех выводов, которые естественно из этого анализа вытекают. Что же касается до снисходительности, то, сознаюсь откровенно, я не могу себе взять в толк этого понятия. Кому нужна снисходительность, полезна ли для кого или для чего-нибудь снисходительность? Может ли она хоть на минуту затемнить справедливость, и притом так затемнить, чтобы совершенно заменить эту последнюю?

И еще говорите вы, милостивые государи, что нельзя же все вдруг, но кто же от вас и требует «всего вдруг»? «Мальчишки» ни «всего», ни «по малости» – ровно ничего не требуют просто потому, что требования и неуместны, и бесполезны.

Чтоб объяснить читателю, до какой степени могут быть неуместны требования, я вынужден привести один легкий пример.

Был у меня знакомый судья, не какой-нибудь высший судья, который безопасно сыплет себе приговорами направо

и налево, а простой уездный судья, который все-таки иногда опасается, что секретарь губернского правления может самого его, судью, под суд отдать. Несмотря, однако ж, на эту опаску, судья этот обладал такою «непосредственною» смелостью, которая подчас приводила меня в изумление. И представьте себе, этот несчастный даже не подозревал, что он храбрейший из храбрых, что он храбрее даже маршала Бюжо, который некогда советовал Луи-Филиппу бомбардировать Париж (ах, если б я его послушался! – тосковал, сказывают, этот король в своем уединении), ибо Бюжо советовал бомбардировать только Париж, а мой судья постоянно бомбардировал... страшно сказать! – бомбардировал справедливость!

Философия его была очень простая. Обвинялся, например, Иван в том, что украл у Петра платок из кармана; против Ивана улики никаких нет; когда Петр шел по улице, то, хотя из кармана его пальто действительно торчал кончик красного фулярового платка, могший соблазнить чувствительную душу Ивана, и хотя Иван действительно проходил в это время мимо Петра, однако Иван платка не крал, и у Ивана платка не отыскано. Иван говорит, что когда он шел мимо Петра, то кончика платка, выходящего из кармана его пальто, не заметил, потому что весь поглощен был в ту минуту мыслью, как-то ему завтрашний день придется девятипудовые кули с барок таскать, да хорошо еще, если придется таскать, а то ведь, пожалуй, и с голоду лопнуть можно!

Мой судья рассматривает это дело (разумеется, рассматривает на прохладе, сидя у себя дома, в халате) и точно так же, как и я, и вы, и все мы, находит, что никаких улик против Ивана нет. Но его смущает мысль: если Иван действительно не совершил этого ужасного преступления, то с какой же стати оно взведено на него? с какой стати оно не взведено на Фому, на Якова, которые также, в минуту пропажи платка, находились поблизости от Петра? стало быть, Иван действительно дурной, способный к воровству человек? стало быть, если нет против него улик, то это не потому, чтобы их не было в действительности, а потому, что он сумел ловко спрятать концы в воду? И вот мой судья решает: хотя настоящих улик в покраже Иваном из кармана Петра шелкового красного платка и не обретаются, однако так как: а) платок не мог же исчезнуть сам собою; б) в минуту пропажи платка Иван проходил мимо Петра; в) в то же время поблизости Петра проходили Фома и Яков, на которых тем не менее подозрения не изъявлено, а изъявлено таковое именно на одного Ивана, – то признать сии улики несовершенными, а совокупность сих несовершенных улик – совершенным доказательством...

Спрашиваю я вас, милостивые государи, на каком рациональном основании знакомый мне судья, трусивший часто самого последнего столоначальника губернского правления, обладал в этом случае такую непосредственную храбрость? А просто обладал – да и все тут! Скажу более: он сам не со-

знавал, что обладает этою храбростью, ибо даже не понимал, в чем тут храбрость!

– Помилуйте, Кузьма Терентьич! – усовещиваешь, бывало, его, – как же можно этак с маху решать человека?

– Стану я вора́м потакать!

– Да ведь закон, Кузьма Терентьич, закон!

– Стану я вора́м потакать!

– Да ведь вы можете невинного погубить!

– Стану я вора́м потакать!

И я уходил от Кузьмы Терентьича опечаленный. «Господи! – думал я, – вот и закон ведь есть, и гарантии всякие есть... что же это такое!» Да и то еще приходило мне в голову, что ведь и Кузьма-то Терентьич чудесный малый: мухи никогда не обидел! И долго бы проплакал я таким образом, если б не догадался наконец, что «тупа философия, косноязычна риторика... без грамматики!» Да, именно грамматики-то у нас и нет! – рассуждаю я в настоящее время и, верите ли, благосклонный мой читатель, чувствую себя обновленным и освеженным.

Желание справедливости и снисходительности сделалось столь насущною потребностью всех угнетенных, что им заразился даже поэт Фет. Помните ли вы г. Фета, читатель? того самого г. Фета, который некогда написал следующие прелестные стихи:

О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной,
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайной,
Перстам послушную волос золотую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать;
Дыша порывисто, один, никем не зримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты,
Шептать и поправлять бывшие выраженья
Речей моих с тобой, исполненных смущенья,
И в опьянении, наперекор уму
Заветным именем будить ночную тьму.

или:

Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!
Опять и опять я люблю тебя!
Тихая, теплая!
Серебром окаймленная!

Я совсем не шутя говорю, что эти стихи прелестны: по моему мнению, других подобных стихов современная русская литература не имеет. Ни в ком, решительно ни в ком не найдет читатель такого олимпийского безмятежия, такого лирического прекраснодушия. Видно, что душа поэта, несмотря на кажущуюся мятежность чувств, ее волнующих, все-таки безмятежна; видно, что поэта волнуют только подробности, вроде «коварного лепета», но что жизнь, в общем ее

строе, кажется ему созданною для наслаждения и что он действительно наслаждается ею. Но увы! с тех пор как г. Фет писал эти стихи, мир странным образом изменился! С тех пор упразднилось крепостное право, обнародованы новые начала судопроизводства и судоустройства, светлые струи безмятежия и праздности возмущены, появился нигилизм и нахлынули мальчишки. Правды на земле не стало; люди, когда-то наслаждавшиеся безмятежием, попрятались в ущелия и расседины земные; остался один «коварный лепет», да и тот совсем не такого свойства, чтобы его

Из мыслей изгонять и снова призывать...

Вместе с людьми, спрятавшимися в земные расседины, и г. Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он отчасти пишет романсы, отчасти человеконенавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает, и все это, для тиснения, отправляет в «Русский вестник». Нынешние романсы его уже не носят того характера светлой безмятежности, которым отличалась фетовская поэзия в крепостной период; напротив того, от них веет грустью, в них слышится вопль души по утраченном крепостном рае. Вот, например, последний романс г. Фета («Русский вестник», 1863 г., № 1):

Прежние звуки, с былым обаяньем
Счастья и юной любви!

Все, что сказалося в жизни страданьем,
Пламенем жгучим пахнуло в крови!

Старые песни, знакомые звуки,
Сон безотвязно больной!
Точно из сумрака бледные руки
Призраков нежных манят за собой.

Пусть обливается жгучею кровью
Сердце, а очи слезой!
Доброю няней прильнув к изголовью,
Старая песня, звучи надо мной!

Пой! не смущайся! Пусть время былое
Яркой зарей расцветет!
Может быть, сердце утихнет больное
И, как дитя в колыбели, уснет.

Объяснение к этому стихотворению мы находим в статье-ке г. Фета «Из деревни», напечатанной в том же № «Русского вестника». Здесь г. Фет докладывает читателям, что времена наступили крутые и тяжкие, что равенства перед законом нет, что работники его, Василий и Семен, пользуются покровительством законов, а он, г. Фет, не пользуется, что у него, г. Фета, чуть-чуть не пропало за Семеном 11 р., а Василью, к

счастью, не было выдано задатка, а то точно так же чуть-чуть бы не пропал, что у него, г. Фета, потравили было пшеницу крестьянские гуси и что во всех этих беззакониях и беспорядках обвиняется литература, которая, вместо того чтобы «обсуживать» вопросы, только «судачит об них свысока».

Итак, г. Фет обижен и тоже кого-то обвиняет в несправедливости. Он хотел избежать этих несправедливостей, с этой целью спрятался в деревню – но увы! и там несправедливости его преследуют! Приходит почта и приносит журналы; г. Фет, разумеется, вскрывает их, и «ему делается вдруг и грустно, и смешно, и стыдно, и противно». Счастлив г. Фет, что может одновременно испытывать столько ощущений, да притом еще не выпускать из головы вечно присущую мысль (врожденная идея) о чуть-чуть не пропавших 11 руб., но посмотрим, что же такое возмущает г. Фета в русской литературе? Его возмущает, что литература («слава богу, – говорит он, – нет правила без исключения») считает «своим присяжным долгом отвечать на всякий вопрос: veto». Разумеется, его, как поэта, плавающего в эмпириях истины безотносительной, так сказать заоблачной, это детское veto только забавляет... что же его смущает, однако? Его смущает «приток этого veto – струя демократизма, в самом циническом значении этого слова». Извольте видеть, «это тот самый мотив, который в парижском театре для черни заставляет блузников выгонять чисто одетого человека из партера огрызками яблок».

Извините, г. Фет, но мне просто «и грустно, и смешно, и стыдно, и противно» читать приведенные выше строки. Обвинять русскую литературу в демократизме в то время, когда она, с легкой руки того самого журнала, в котором вы произносите ваши укоризны, предлагает различные проекты самых невинных сближений и общений, просто несправедливо. Очевидно, что тут совсем не о том речь идет, совсем не о разделении царства на ся, а о сближении, милостивый государь, об общении! Быть может, вы скажете, что вы о той литературе, которая заботится об общении и к которой принадлежите сами, и не говорите, а говорите о другой... Но ведь и другая-то литература о чем же хлопочет? она хлопочет о равенстве, милостивый государь, не о мечтательном каком-нибудь равенстве, а о том равенстве перед законом, о котором хлопочете и вы. О каком же демократизме вы говорите? вспомните, что ведь мы не в диком государстве живем, где все можно говорить, что у нас тоже цензура есть, цензура попечительная, налагающая на уста добровольное молчание... А то «демократизм»! где вы такое чудо видели? укажите же, где вы слышали тот «мотив, который заставляет блузников выгонять из партера чисто одетого человека»? дайте нам факты, милостивый государь, факты дайте нам, а не наполняйте пустыню вашими воплями, не вливайте фиала желчи и горечи в наши груди, и без того уже исцарапанные когтями премудрых московских сов!

Вы говорите, что литература ко всем вопросам относится

посредством: «помилуйте! к чему это? это вздор! это все пустяки!» Но ведь это смотря по тому, в чем состоит и какого свойства вопрос. Вот вы, например, говорите, что чуть-чуть не потеряли 11 рублей, которых вам не отработал работник Семен, и что крестьянские гуси чуть-чуть не потравили вашей пшеницы, – ну, на это, пожалуй, я первый скажу: «помилуйте! к чему это! это вздор! все пустяки!» – но чтобы я сказал то же самое об изменениях паспортной системы и о других материях важных – это никак невозможно! И где вы это видели, где слышали, чтобы литература так легкомысленно относилась к важным материям? Быть может, литература сказала об них не то слово, какое бы вам хотелось от нее слышать, – ну, это другой резон! Так вы так и говорите: вот, дескать, как легкомысленно относится литература к паспортной системе, не понимает даже, что она должна существовать для успокоения землевладельцев!

Но, быть может, вы меня спросите, как же быть с теми 11 рублями, которых чуть-чуть было вы не лишились, и как поступить с теми гусями, которые чуть-чуть было не потравили вашей пшеницы? На это могу вам отвечать одно: ущерб ваш представляет одну из случайностей несовершенного сего мира, и вы об этом ущербе можете искать в подлежащих местах (что вы и сделали), литературе же нет никакого дела не только до 11 рублей, но даже если б у вас чуть-чуть не пропали и все 20 рублей, данные вами работнику Семену в задаток, ибо она разрабатывает общие вопросы жизни, а не

четвертаковые. В настоящее время она может дать вам один совет: относительно гусей – брать их немедленно под арест и поднимать тот же гвалт, какой описан вами в статье вашей; относительно работника Семена – не давать ему вперед ни копейки в задаток. Извините, что считается невозможным советовать вам повесить Семена или содрать с него шкуру: этого делать нельзя, потому что за такой поступок вы можете отвечать перед начальством.

Наши собственные боли всегда кажутся нам больнее чужих, г. Фет. Положим, что у нас сделана порубка на 5 рублей; преступник пойман, сознался и наказан розгами. Но нам от этого не легче, потому что пять-то рублей, взятые из нашего, так сказать, карманного итога, все-таки не воротились туда; и вот мы начинаем волноваться, нам кажется, что преступника наказали мало, что его, по крайней мере, следовало бы... Но повесить все-таки нельзя, а также нельзя и шкуру с живого содрать, потому что за это можно отвечать перед начальством.

За всякое преступное действие полагается в законах свое определенное возмездие, г. Фет. Прежде, когда в нас самих заключался весь суд, мы устраивались легко, ибо задатков мы никому не давали, а гусей могли всех поголовно перерезать. Теперь одних обвинений с нашей стороны оказывается недостаточно, требуются еще доказательства; надо жаловаться на работника Семена посреднику, надо доказывать, что гуси действительно нас обидели, – вот мы и вопием о ка-

ком-то неравенстве перед законом! С кем неравенство? с гусями? Но представьте же себе, что вас в Москве обокрали, г. Фет, и что вы того вора изловили в тот самый момент, когда рука его шарила в вашем кармане. Ведь вы не стали бы требовать, чтобы вам того вора позволено было зарезать вашими собственными руками? Ведь вас не ужаснула бы мысль, что на вора вам следует принести жалобу в полицию и затем спокойно ожидать дальнейшего удовлетворения? Но поверьте же, г. Фет, что все точно так же должно происходить и в том случае, о котором вы рассказываете в вашей статье, что это явление совсем не исключительное и что вас оно поражает потому только, что вы еще не привыкли, г. Фет, не привыкли!

Есть люди, которые обнаруживают необычайную твердость характера и верность каким-то принципам, особенно когда идет речь о мелочах. Иной садится за карты и говорит себе: не поставлю ни одного ремиза – и действительно не поставит! Мало того что не поставит, но еще, вышедши из-за карт, целый вечер только и твердит: сказал, что не поставлю, – и не поставил!

Такого-то рода твердостью характера и политической неуступчивостью обладает и г. Фет. Он сказал себе, что будет тверд в деле о потраве гусями его пшеницы, – и был тверд до конца!

Курица, у которой другая курица отняла хлебное зерно, конечно, воображает, что посредством оскорбления ее кури-

ного интереса потрясены священнейшие общественные основы. И вот она клохчет; ей хочется, чтобы вся литература отнеслась к этому факту особенным каким-нибудь образом: все, дескать, прочее вздор, а вот вы об том посудите, как бы куриные интересы-то оградить, как бы такой закон издать, который бы обеспечивал вполне куриную собственность! Я понимаю беспокойство курицы, но вместе с тем понимаю и равнодушие к ней литературы!

Нет сомнения, что забота об ограждении своей собственности от расхищения есть дело весьма похвальное. Но ведь это дело касается наших личных хозяйственных распоряжений, это, наконец, дело общих судов, для всех равно доступных, и волноваться по этому случаю, призывать свидетелей и ссылаться на мнимое неравенство перед законом... право, это более нежели странно!

Вы говорите, г. Фет, что нет равенства перед законом; вы пристаёте к вашему мировому посреднику: «Вы наш общий судья; рабочий и я в двух данных случаях предстоим пред судом вашим в совершенно одинаковом положении. Считаете ли вы нас равноправными? Если считаете, то откуда являются две меры и двое весов?» Надо сказать правду, что вы ставите вопросы откровенно и не запутываете их, но потому-то именно, что вы очень откровенны, вы и изобличаете самих себя. Вы говорите, что если бы вам случилось не удовлетворить рабочего деньгами, то земская полиция не усумнилась бы описать у вас лошадь, корову, овцу, и все-таки удовле-

творила бы рабочего. Хорошо, кабы вашими устами да мед пить, но поверьте, г. Фет, что чаще, гораздо чаще бывают случаи, что рабочие просто побьются, побьются, да и уйдут с пустыми руками. Не знаю, как это случается, но сильный человек и капиталист как-то по преимуществу пользуются полицейскими симпатиями – это верно. Мы каждый день видим примеры, как очень сильные фабриканты (до сих пор мы имеем право ссылаться лишь на эти примеры, потому что земледельческий вольный труд считает свою историю чуть ли не со вчерашнего дня) отпускают от себя рабочих с одним кратким, но сильным словом: поди ищи на мне! Я сам был неоднократно очевидцем, как рабочие приходили целыми толпами искать управы на фабрикантов, насчитывавших на них невероятные штрафы за прогул (принято за правило, что фабрикант – всегда исправный сын отечества, а рабочий – всегда пьяница)... и, разумеется, фабриканты всегда оказывались правыми! И после этого позволительно говорить, что есть какие-то две меры, какие-то двое весов! Но если б и это было точно так, как явствует из ваших рыданий, г. Фет, то есть что полиция всегда мирволит рабочему и всегда притесняет капиталиста, посудите сами, каким же образом оно и может быть иначе? Вы имеете и лошадь, и корову, и овцу, полиция видит это и описывает и продает их; работник Семен не имеет ни лошади, ни коровы, ни овцы – полиция не видит их, следовательно, не имеет возможности ни описать, ни продать их. Что ж ей делать? не зарезать

же, в самом деле, Семена! Да если б она и «пустила» с Семена две шкуры, то этим, быть может, доставила бы только вам удовольствие, но убыток ваш все-таки не пополнила бы! Конечно, Семен пьяница, но представьте себе, с другой стороны, что не Семен, а вы – пьяница (извините меня, я это предположение отношу не к вам собственно, а вообще к антрепренерам и капиталистам, между которыми примеров подобного рода найдется, пожалуй, и немало); представьте себе, что вы наняли рабочих, которые очень усердно вам служат, а между тем сами немедленно закурили. На потребности этого куренья уходят не только лошадь, и корова, и овца, о которых вы говорите, но и все ваше имение; вы делаете долги и кутите с лоретками, а рабочие и не подозревают, что вы уж несостоятельный: они считают себя не вправе наблюдать за вашим поведением и думают только, что ведь у барина есть и лошадь, и корова, и овца... Как тогда поступить с вами? Писать ли в журналах, что вот, дескать, каким образом поступил г. Фет с своими рабочими, да и не то, как поступил г. Фет, а вот, дескать, какое неравенство перед законом! Знаете ли что? я думаю, что все ваши сетования именно оттого происходят, что вы приступили к хозяйничанью не столько с знанием дела, сколько с твердою уверенностью, что при вас всегда будет находиться становой пристав, который будет разрешать немедленно все эти недоразумения. Иначе вы поняли бы, что всякий хозяин, всякий предприниматель, наряду с ожидаемыми от предприятия выгодами, рассчитывает

и ожидаемые от него ущербы. Потому что ведь иначе вы и на град, и на засуху взъедитесь! будете говорить, зачем нет против них закона! Ну да, эта именно мысль и руководила вами, когда вы писали: «Идеал равенства именно и заключается в соблюдении полной справедливости среди возможного колебания отношений. Сегодня я нанимаю, завтра меня нанимают, и справедливость требует, чтобы я удовлетворял требованиям закона и в том, и в другом положении». Полно, так ли, г. Фет? может ли справедливость, понятие абсолютное, неколеблущееся, применяться к отношениям колеблющимся? Кроме того, что ведь это бессмыслица, что колеблющиеся отношения необходимо предполагают уступку (потому что являются человеческому суждению не изолированно, а в связи с другими, тоже колеблющимися отношениями), вспомните, что ведь ваша справедливость вся исчерпывается словом «вознаграждение ущерба», а я уже имел случай показать вам, как это может быть иногда трудно даже в материальном отношении! Вспомните и еще, что ваша фраза: «сегодня я нанимаю, а завтра меня нанимают» – есть только фраза, и больше ничего. Благородных людей сажают в тюрьму, но не нанимают!

Вообще мне кажется, что вы несколько завидуете счастливым поселянам. Это неоднократно случалось и со мной, особенно когда едешь, бывало, темным осенним вечером по грязи и колоти, а на тебя так приветливо смотрят огоньки из «бедных, богом хранимых» хижин. Но зависть эта сейчас

же унималась, как только я убеждался, что с этими огоньками соединяется понятие о лучине, о дыме и смраде, который при этом распространяется; и еще унималась зависть, когда я тут же встречал обоз и собственными глазами уверялся, что я все-таки сижу в более или менее покойном экипаже, а счастливый поселянин идет за своим возом пешком, да часто еще обязывается лично помогать своей испитой клячонке. Право, займитесь когда-нибудь подобными же размышлениями; это совсем не трудно, потому что здесь требуется только добросовестность и час-другой времени, требуется, одним словом, мысленно поставить себя на место счастливого поселянина. Вы это можете сделать с успехом, потому что обладаете хорошим художественным талантом.

И верьте, г. Фет, что этот совет дает вам не столько литератор, к которому (не ко мне собственно, а к собирательно-му имени) вы вообще питаете нелюбовь, сколько сельский хозяин, сам на практике испытывавший всю горечь этого ремесла. Действительно, собственный интерес дороже всего на свете: как займешься им с надлежащим усердием, то кажется, что никто-то об нем не радит, никто-то ничего не делает, все-то пьянствуют или празднуют. Иногда, однако, раздумаешься. Будем приводить примеры практические, возьмем, например, пахоту. Известно вам, г. Фет, что один работник с сохой на исправной лошади, или с плугом на двух лошадях, должен вспахать в день полдесятины – это урок, и притом умеренный; известно вам также, что, работая с со-

хой или плугом, счастливый поселянин не просто гуляет и покрикивает на лошадей, но напрягает свои мышцы почти наравне с лошадыю. Но вам неизвестно, быть может, сколько верст проходит работник, гуляя таким образом: он проходит до 15 верст, напрягая свои мускулы самым усиленным образом и увязая притом в вязкой, только что вспаханной почве. Мало вам этого примера – возьмите навозницу, тем более что этот труд в понятиях сельских хозяев слывет чуть-чуть не увеселительным. Положим, что пашня ваша отстоит от скотного двора на версту; работник, за исключением всех отдыхов, работает в летний день 12–14 часов, следовательно, в исправном хозяйстве он должен оборотить в день туда и назад по малой мере десять раз, то есть наложить, привезти на место, сложить и раскидать там десять возов, полагая в каждом пудов около 25. Отсюда для работника проистекают следующие обязанности: а) пройти пешком в день двадцать верст; б) вскинуть на каждый воз на высоте от 1 до 1 1/2 арш. до 25 пудов тяжести, итого 250 пудов, и в) таковое же количество пудов тяжести раскидать по полю. И все это исполнить за 30 к. сер. в сутки или, много-много, за 40. А косьба, а жнитво? как оценить эту мучительную работу? Слова нет, что работник все это должен сделать, что это его прямая обязанность, но согласитесь же, что в самой трудности этой обязанности есть... ну, хоть некоторое смягчающее обстоятельство. И вот в ту минуту, когда работник не довезет одного воза или не допашет полуаршина, мы говорим, что об

нас никто не радит, что рабочие празднуют и только даром хлеб едят!

Быть может, вы возразите, что при таких размышлениях никакое сельское хозяйство не может идти. Ну да, этот вопрос я предоставляю вам разрешать, как угодно; я, собственно, настаиваю на том, что размышления, сейчас мною приведенные, не прийти не могут. И потому-то именно мне кажется, что удобно заниматься сельским хозяйством возможно только тому, кто в это дело может поместить свой собственный труд. Конечно, вы можете еще сказать, что помещичьи хозяйства – это, так сказать, ядро, житница и т. д. Ну да, я и этот вопрос вполне отдаю на ваше разрешение, а что и крестьянские хозяйства могут служить и ядром, и житницей – в этом вам служит порукою, например, Вятская губерния. В этом крае помещичьих хозяйств очень мало, а в некоторых уездах и совсем нет, – и представьте же себе, он не только снабжает хлебом целый беломорский край, но даже огромную пропорцию отпускает через архангельский порт за границу! И еще мне кажется, что если уж признавать постепенность за единственно разумное руководство в жизни, то необходимо признавать ее во всех видах и на всех степенях. А то ведь это странно: покуда идет речь об общем жизненном прогрессе, мы кричим: «Не все же вдруг – поймите!», а как только дело коснется наших личных выгод, подавай нам все вдруг! А вы подождите, г. Фет! может быть, оно как-нибудь там и устроится!

Но статья ваша так прелестна, что я решительно не могу расстаться с нею. Вы там говорите о каких-то «гнусных валяниях» (в ноги); действительно, мужик, из-за целкового гнусно валяющийся у вас в ногах, – картина свойства весьма возмутительного, однако нельзя же обвинять в ней одного валяющегося мужика. Это явление есть следствие тех самых колеблющихся отношений, о которых вы говорите, с тем лишь ограничением, что здесь колебание происходит какое-то странное... Одно, однако ж, несомненно, что если б не было колебаний, то и валяний не было бы. А то, согласитесь сами, что у вас выходит несколько странно: с одной стороны, судя по вашему описанию, не только все власти, но как будто даже все силы природы сговорились, чтобы мирволить мужику во что бы то ни стало, а с другой стороны, он все еще гнусно валяется... Для чего ж он валяется? Для того ли, что у него уж такой вкус, или для того, что он обстоятельствами к тому вынужден?

Но ведь и независимо от ожидаемого вами «равенства перед законом» представляется же возможность умерять силу валяний: все зависит от того, как поставит себя лицо, силу имеющее...

Некоторым из моих читателей быть может, покажется странным, что я в свою хронику общественной жизни привлекаю г. Фета. Г-н Фет, скажут мне, человек благодушный, простодушный и прекраснотдушный: он сидит себе в деревне

и описывает факты в том грубом внешнем виде, в каком они проходят перед простодушными его глазами, но не философствует, то есть не понимает ни причины, ни происхождения, ни существа фактов. Нет, милостивые государи, г. Фет философствует! коли хотите, он философствует словосочинительно, то есть берет фразы публицистов, сочувствующих его чуть-чуть не пропавшим 11 рублям, и потом склеивает их как попало, но все-таки он философствует. Он берет эти фразы по выбору, следовательно, размышляет. Он преисполнен тех же антипатий, которыми заражены и сочувствующие 11 рублям публицисты, и вообще не любит, чтобы кто-нибудь рассуждал не так, как он рассуждает. Это очень понятно, потому что в г. Фете еще не остыли старые привычки, которые, как известно, давали россиянам жест вольный и речь свободную. Во всяком случае, это факт совсем не уединенный, но находящийся в тесной связи с общим настроением той частицы общества, которая присвоивает себе название «благонамеренной». Следовательно, это явление общественной жизни, явление, которое нельзя пропустить уже по тому одному, что оно доказывает, до какой степени могут быть тягучи некоторые плохие мысли: они заражают даже простодушных, благодушных и прекраснодушных поэтов.

Тем менее окажется возможным его пропустить, если мы примем в соображение, что оно прикасается еще и к другому порядку благонамеренных мечтаний: мечтаний о сближении и общении. Но так как г. Фет касается этого вопроса только

с задней, так сказать, стороны и доказывает непрактичность упомянутых выше мечтаний лишь с точки зрения неразвитости грубых поселян, то я и оставлю здесь этого поэта, на грех себе сделавшегося публицистом. Это тем легче для меня сделать, что неразвитость грубых поселян – вещь давно всем известная, на доказательство которой потрачено немало пороха, помимо пороха г. Фета. Я, напротив того, буду говорить о сближении, как о вещи, изображаемой желательною, как о вещи, к которой, по мнению многих, следует стремиться, несмотря на неразвитость грубых поселян.

Обыкновенно понятие о «сближении» формулируется у нас таким образом: «Сблизимся! ты меня возлюби, а я с своей стороны постараюсь!» Если вы вникнете в смысл этих слов, то увидите, что это штука довольно легкая и что тут дело идет об одних целованиях, и ни о чем больше. Если не ошибаюсь, то мысль о сближении впервые зародилась у нас тотчас по упразднении крепостного права; в то время многие заметили за собой разные провинности и пожелали сблизиться. С тех пор мысль о сближении стала крепнуть и мужать и наконец возмужала до того, что перетревожила даже почтенное общество московских купцов, которое устами одного из своих представителей, г. Четверикова, на сих днях публично заявило, что сближение так сближение – что ж, мы готовы! «Мы тем более готовы, – мог бы прибавить г. Четвериков, – что на этот путь нам указывает само правительство, созвавшее нас в одну общую комнату для обсуждения доро-

гих нашему сердцу интересов!»

Скажите на милость, отчего в других странах Европы люди живут себе смирно друг подле друга, делают каждый свое дело и не думают ни о сближении, ни об общении, мы же, русские, либо в зубы друг друга огорошить норовим, либо целоваться лезем? Или такова уж природа «славян могучего рода»? Или мы до того еще «непочатые родники», до того «широкие, неиспорченные натуры», что подлинно убеждены, что на сближения и общения можно взирать с точки зрения одних целований?

Как бы то ни было, но это достоверно, что российская журналистика внезапно наполнилась каким-то удивительным благоуханием любезности. Только и слышишь со всех сторон: «*Cher ami!*¹¹ поцелуй меня! *cher ami!* позабудем прошлое! *cher ami!* жить без тебя мне тошнехонько!» На эту тему вздыхает и «Русский вестник» г. Каткова, и «День» г. Аксакова; одно «Наше время» посматривает как будто иронически, но тем никого не убеждает, а, напротив того, лишь навлекает на себя подозрение в равнодушии к славе отечества. Припомним, наконец, что на эту же тему вздыхало благородное и передовое тверское дворянское сословие, которое до того зарвалось на сем поприще, что чуть-чуть не отказалось за себя и за потомков от всяких дворянских прав, но в нынешнем году как будто спохватилось и поспешило исправить свое кратковременное заблуждение.

¹¹ Друг мой!

Источник этих общительно-примирительных стремлений заключается, как сказано выше, преимущественно в том, что большая часть из нас, играющих па верху той плотной массы, в пользу которой открываются ныне наши сердца, сознает за собой некоторые провинности (увлечения), а сверх того, и в том еще, что многие из нас до сих пор не могут уяснить себе свое положение с надлежащей отчетливостью. Вероятно, вам случалось, читатель, встречать старых чиновников, уволенных или за штатом, или за возрастием, или, наконец, за тем, что порядков новых понимать не могут. Взгляд у этих чиновников влюбленный, походка кроткая и сентиментальная, вздохи глубокие, но выражающие не протест, а тихую покорность судьбе. Присутствие юных бюрократов, усвоивших себе всю глубину новых исходящих и входящих регистров, не волнует их, но приводит в кроткое умиление; они не говорят при виде их «щенки!», как говаривали прежде, когда были старые входящие и исходящие регистры, но, напротив того, благоговеют и ловят на лету слова мудрости, вылетающие бурным потоком из уст их... «Послужили бы мы! еще вот как послужили бы!» – ропщут они себе потихоньку... Подобно этим уволенным за возрастием чиновникам, и мы не прочь послужить и в этих видах поднимаемся на разные хитрости.

Живительный луч солнца ударил в наши головы, благоухающими ветрами весны пахнуло в наши лица. Отсюда зуд во всем теле, тот возбуждающий зуд, который с особенною

настойчивостью сказывается в старческих организмах. Отсюда беспорядочные маханья руками, беспорядочные сованья во все стороны, беспорядочные жалобы и беспорядочные надежды. Где отыскать подновки для себя? где найти возрождения аппетита?

Отсюда наши учтивости, отсюда наши журнальные и не журнальные мечтания о сближениях и общениях, отсюда различные совещания и митинги.

– Я полагаю, милостивые государи, что «непочатые родники» должны быть призваны для того только, чтобы подать нам полезный совет! – ораторствует один.

– Bravo! bravo! – раздаются кругом сочувственные голоса.

– И затем, по исполнении этой обязанности, должны скрыться... немедленно! – продолжает оратор.

– Немедленно! немедленно!

– Говорю «немедленно», ибо дальнейшая в этом смысле проволочка может повредить их собственным интересам, может отвлечь их от приличных их званию занятий...

И затем начинается длинный ряд соображений, излагается длинный ряд надежд и опасений, предлагается длинный ряд мероприятий. Оканчивается тем, что «главное, милостивые государи, в этом деле: строгость и скорость, но это – в будущем и как запасное средство, а покудова будем стараться!»

И с новою силою начинаются: «Cher ami! поцелуй меня!»

cher ami! позабудем прошлое!»

Что должны думать те, к которым обращаются подобные заигрыванья! Увы! они еще не приготовились к принятию желанного поцелуя, они не утерлись, не расправили щетины, не вычистили носов! Они не подозревают, что в наших сердцах действие любви проявляется внезапно и что, следовательно, нечего тут думать о чистке носов, когда любовь с электрической быстротою пронизывает нас насквозь. Я даже не прочь от мысли, что они не подозревают и о существовании самых заигрываний...

Да, они не подозревают, несмотря на то что заигрыванья из области печатного слова мало-помалу переходят уже и в практику. Сладко и умирительно путешествовать в настоящую минуту по российским палестинам: нигде-то крика и гама, нигде-то ямской брани. Выедешь в поле – даже сердце не нарадуется.

– А ну-ка, братцы! как бог работать помогает (не работать, а работать – этого требуют правила общения)? – спрашивает какой-нибудь Сидор Сидорыч, а сам так-то веселенько хихикает.

– Рады стараться для вашего здоровья, Сидор Сидорыч! – отвечают «непочатые родники».

Шапочки снимают, вежливенько таково раскланиваются, однако сами ни с места.

– Что, видно, не спорится? или дерябнуть для куражу?

– Покорно благодарим на ласке, Сидор Сидорыч!

– Эй, водки сюда! только уж вы не оставьте, голубчики.

– Мы вашу ласку завсегда помним, Сидор Сидорыч!

Приносят водку. «Непочатые родники» пьют и похваляют, Сидор Сидорыч пуще хихикает, потому что простосердечный лепет невинных детей природы не может не веселить его. Но водка кончилась, а «непочатые родники» ни с места; этого мало: по отвратительному, звериному своему обычаю, они начинают во все горло драть песни.

«Ах, пострели вас горой!» – думает Сидор Сидорыч, но, ежечасно помня о «сближении», выражает свою мысль так:

– Уж, видно, сегодня отдохнуть, голубчики?

«Непочатые родники» соглашаются и, дерябя, расходятся по домам, а Сидор Сидорыч, понутив буйную головушку, возвращается домой. А дома не лучше; там идут толки о какой-то протухлой солонине, о каком-то кислом молоке, которых будто бы есть нельзя.

– Сегодня нам, Сидор Сидорыч, щи с солониной на обед подавали! – пристают «непочатые родники».

– На здоровье, голубчики, на здоровье!

– Только эту солонину нам теперича есть невозможно!

– А что, разве пахнет? А вы, друзья, кухарку за бока! хорошенько ее, мерзкую!

– Она отговаривается, что вы сами приказывали!

– И-и-и, какой грех! Лжет она, старая! А вы, друзья, в другой раз, как станет она говорить это, отнимите у ней ключ от погреба, да и распорядитесь по-своему!

И Сидор Сидорыч вновь уповаet, вновь надеется, до такой степени надеется, что когда супруга его колко замечает ему: «Ну что! опять с подлецами литки пили?», то он не отвечает ей, а только возводит к небу глаза.

Не знаю, как вам, читатели, а мне кажется, что все эти опасения и надежды свидетельствуют о каком-то удивительном малодушии. Ну, скажите на милость, позволительно ли, например, хитрить насчет солонины? Так ли поступили древние римские сенаторы, когда варвар Бренн с мечом в руках ворвался в форум? Ссылались ли они облыжно на кухарку, отдавали ли ее на растерзание расвирепевшему врагу? Нет, тут не было речи ни о солонине, ни об водке. Древние римляне, видя неизбежность факта, стоически разрезывали себе жилы, садились в теплые ванны и умирали. Если это и нелепость, то, по крайней мере, нелепость благообразная, грандиозная...

Итак, наши общительные мечтания покуда не привели на практике ни к какому результату: мы стоим сами по себе, а «непочатые родники» сами по себе. Я знаю, многие обвиняют в этом так называемых либералов: «Это, говорят, всё они натяфтяфкали, да теперь и сплетничают!» Однако это несправедливо, ибо если мы вспомним, что наши русские либералы, как и прочие, всегда питались мясом, а не мякиной, то невозможно сомневаться насчет того, куда они принадлежат своими наклонностями и привычками.

Вернее разрешает это дело г. Фет: он просто говорит, ка-

кое же может быть тут сближение, когда нет равенства перед законом? Но и эта сентенция, как мы видели, не вполне справедлива.

Еще вернее разрешает вопрос, за славянофилов, единственный представитель славянофильства, оставшийся в живых, И. С. Аксаков. Он прямо обвиняет во всем общество. Он укоряет общество в недостатке энергии и совершенной мертвенности, он укоряет общество во лжи, он укоряет общество в том, что оно православных церквей в западных губерниях не строит. Смотрите, говорит он, правительство вынуждено было наградить г. Четверикова Владимиром 4-й степени за его пожертвование в пользу православных церквей! Православие... и орден! какой горький урок! какое сопоставление! Напрасно вы горячитесь, пишет ему в ответ г. Батюшков, если вы имеете право приносить посильную благодарность лицу, оказавшему вам услугу, то отчего не может иметь такое же право правительство? – Да вы меня не так поняли! – отвечает И. С. Аксаков.

Но тем не менее мысль, что во всем виновато «общество», очень хорошая мысль. Жаль только, что Иван Сергеевич недостаточно вразумительно объясняет своим почитателям значение таинственного слова «общество», а это, по моему мнению, оттого происходит, что он вообще действует как-то не прямо, а больше посредством фигур и уподоблений. Всё-то и выходит у него какое-то величественное дерево, которое верхушкой упирается в небо, а корнями высасывает из

земли соки. Дерево это прообразует общество, верхушка – вероятно, разную этакую устроительную выпренность (земский собор), сосущие корни – вероятно, прожорливость, а земля... земля-то что означает?

Признаюсь, я видал на своем веку довольно таких деревьев, но они меня очень мало соблазняли. Не знаю почему, но мне всегда казалось, что они берут из земли соки затем только, чтобы, напившись вдоволь, вести с небом разговор о разных душеспасительных материях. Неблагодарные, находясь столь близко от светозарного Феба, совершенно забывают о земле-кормилице и думают, что в таком важном соседстве им следует заниматься интересами высокими, так сказать, небесными, а не теми, которые копошатся где-то там, в земле...

Но допустим, наконец, что все эти мечтания совершились в очию, что у нас есть дерево-общество, которое вершиной упирается в небо, а корнями в землю, – что выйдет из этого? Боюсь сказать, но думаю, что из этого выйдет новый манер питания соками земли – и ничего больше. Твердят нам, что нынешнее русское дерево-общество виновато тем, что оно корнями своими не упирается в землю, что корни эти находятся где-то на воздухе... гм... да ведь это, право, было бы еще не так дурно! ведь это просто означало бы, что общество живет и ничего лишнего не берет! Похвально.

Но увы! всякое дерево, хотя бы оно корнями и в земле стояло, все-таки растет, и по мере того, как оно растет, гори-

зонт, перед ним открывающийся, делается все шире, а горизонт земли остается все тот же маленький, узенький, низенький. Ремесло общества-дерева – мыслить, комбинировать, чувствовать, воображать, стремиться, ремесло земли – быть погруженной в одни материальные интересы. Для первого – науки и искусства, для второй – заботы об удовлетворении грубых потребностей жизни; первое, с помощью науки, очистило себя от предрассудков, вторая – вся лежит в предрассудках. О чем они будут беседовать друг с другом и как будут друг друга понимать? Не ясно ли, что, вооружаясь против современного русского общества, вы на место его хотите создать нечто такое, что совершенно подобно ему и что не только не разрешает дела, но даже как будто запутывает его, ибо нагромождает над землею новую тяжесть, совершенно излишнюю?

Если вы действительно хлопчете о земле, то для вас это будет ясно. Но это вам только так кажется, что вы хлопчете о земле, да притом еще об русской земле. В сущности, вы проповедуете ту же самую политическую теорию, которая давным-давно процветает на Западе: ведь и там существует земля, и там произрастают на земле деревья. Чем же вы отличаетесь от тех, которых называете «западниками»? Или, в самом деле, только тем, что история, писанная Мстиславами Удалыми и Иоаннами Грозными, милее для вас, нежели история, писанная лейб-гвардии Преображенским полком? Да ведь это ваш каприз. А вы полюбите историю, писанную пре-

ображенцами, и возненавидьте историю, писанную Мстиславами, – все это в ваших руках.

Ко всем вашим мечтаниям о сближениях вы подмешиваете политического элемента – и это вас спутывает. Не одним западникам, но и вам политическая триада кажется чем-то вроде очарованного круга, за черту которого невозможно перейти; не одни западники, но и вы предаётесь сухоте от забот об устройстве какой-то неестественной комбинации, которая обеспечивала бы... что обеспечивала бы? обеспечивала бы всё ту же самую сущность, против которой вы, по-видимому, сами ратуете. И потому, как вы ни стараетесь придумать что-нибудь народное, вы все-таки вращаетесь в том же круге, в котором вращаются и оппоненты ваши, перетираете те же идеи, которые давным-давно уже перетерты другими, до того перетерты, что даже приготавливаются к сдаче в архив.

Мне кажется, вы были бы гораздо ближе к истине, если б отказались навсегда от политических утопий и перенесли вопрос на другую почву. В самом деле, ведь весь вопрос состоит в том, как бы устроить сближение таким образом, чтобы этому не мешали ни образование, ни необразование, ни различие способностей, ни другие случайности...

Каким бы образом так сделать, чтобы образованный г. Фет был равен перед законом с необразованным работником Семеном? чтобы, с одной стороны, г. Фет не рисковал 11 рублями, а, с другой стороны, работник Семен не предавал-

ся гнусным валянием?

Каким бы образом так сделать, чтобы высокий поэтический талант г. Фета не нарушал равновесия в ущерб высокому земледельческому таланту работника Василия? Что бы, с одной стороны, г. Фет мог сказать Василию-работнику: я услаждаю твой слух песнями, а, с другой стороны, Василий-работник мог отвечать: а я услаждаю твой желудок возвращенными мною произведениями земли?

Квиты они будут или не квиты?

Увы! мне, бедному ремесленнику-фельетонисту, не дано разрешать столь важных вопросов, хоть я и знаю, что Н. Ф. Павлов обвинит меня за мое умолчание, точно так же как обвинил недавно одного из сотрудников «Современника» за то, что тот в своей статье, написанной по поводу Прудона, ухитрился не назвать этого публициста по имени. «Что вы боитесь? – писал по этому случаю г. Павлов, – называйте Прудона – ведь это имя в русской литературе не тайна». Ну да, конечно, не тайна, а все-таки как-то жутко. Ведь если его назвать, так, пожалуй, могут сказать: «Нет, милостивый государь, вы не так отзываетесь о Прудоне, как русскому публицисту надлежит!» А как не назовешь-то, так если и пристанет какой-нибудь наян с такими внушениями, можно ему ответить: «Да что вы! перекреститесь! да когда же я о Прудоне говорил!» Ну, и отстанет... А вот я ужо соберусь с силами да укреплюсь намерением обругать хорошенько Прудона: уж и просклоняю же я его в ту пору!

П. М. Садовский в Петербурге. На днях приехал к нам из Москвы актер Садовский и уже несколько раз играл на сцене Александринского театра. Спектакли, в которых участвует знаменитый артист, всегда привлекают в театр целую толпу зрителей, да оно весьма и естественно, потому что Садовский, без всякого спора, есть величайший из современных русских актеров. До настоящего времени он появлялся на сцене в следующих пьесах: «Грех да беда на кого не живут», «Бедность не порок», «Свои люди сочтемся» (все три пьесы Островского), «Женитьба» Гоголя и «Испорченная жизнь» г. Чернышева.

<IV. Май 1863 года>

Кислое время, кислая жизнь. Сидишь себе в кабинете, следишь за журналами и газетами и спрашиваешь себя: да куда же она девалась, эта жизнь? Остановилась она или просачивается где-нибудь, просачивается, быть может, безвестно где-нибудь и близко нас, как просачиваются в болоте ключи, из которых потом образуется хорошая, веселая и многоводная река... Да; может быть, она и трепещет где-нибудь, эта новая, желанная жизнь, да мы-то ее не чувствуем, – отчего ж мы не чувствуем?

Но прежде нежели разрешить вопрос, остановилась ли жизнь, или где-нибудь она скрывается, но все-таки работает свою бесконечную работу, необходимо объяснить себе, о какой именно жизни мы говорим и существовала ли когда-нибудь для нас эта жизнь.

Жизнь проявляется в обществе в двоякой форме. Есть жизнь всеми признанная, пролагающая свое ложе открыто, совершенствующая себя на глазах всех, и есть жизнь не признанная, но ищущая этого признания неотступно, жизнь темная, погруженная в подземную работу и ценою величайших жертв и усилий подготовляющая материал для жизни признанной. Положение первой очень удобное: просто хоть не умирай. Пути себе она прокладывает по усмотрению, совершенствуется не торопясь и тоже по усмотрению, одним

словом, устраивает свой комфорт, как ей хочется. Для нее, собственно, даже и в путях-то новых нет надобности, потому что она свое ложе уже облюбовала и разлилась в нем со всеми удобствами; потому что неудобства, происходящие от старых, рутинных путей, которым она следует, падают всю свою тяжесть не на нее, жизнь веселую и спокойно текущую, а на другую, на ту, которая все стучится и достучаться не может, на ту, которая работает да работает себе за кулисами. И потому эта веселая, мирно текущая жизнь, всеконечно, и удовлетворилась бы, и успокоилась бы, и уснула бы, если б, с одной стороны, в ней самой не ощущалась некоторая потребность обновления и если б, с другой стороны, тайная, закулисная жизнь не подталкивала ее, не выбрасывала из себя на поверхность новых материалов, которых невозможно проглотить не разжевавши, ибо подавишься.

Первое, то есть потребность обновления, я толкую себе таким образом. Предположим, читатель, что мы с вами... ну, что бы? ну, предположим, что мы откупщики (по прежнему созерцанию, это высшее мерило благополучия). Народу мы спаиваем множество и казны можем тратить несчетное число; есть у нас и на Английской набережной палатки, и в Москве русская изба в испанском вкусе; есть у нас и еда прекрасная, и пойло пьяное, и одежды златотканые – чем бы, казалось, не жизнь? Роскошествуй себе дома, спаивай народ, выписывай из Парижа лореток и совершенствуй свой домашний комфорт – вот все, к чему обязывается это изнеженное

дителя полугара: кто ж бы не захотел себе такой жизни и кто же, получивши ее, пожелал бы из нее выйти? Но, увы! как ни сладко подобное существование, а одно оно не удовлетворяет. На это есть множество совершенно убедительных причин.

Укажу на две главнейшие.

Первая причина заключается в том, что человек, каков бы он ни был, не довольствуется однообразными ощущениями. Вот, по-видимому, он и сыт и пьян, и наплясался и напелся – слава богу, пора бы и спать! однако нет: есть нечто такое, что говорит ему о другого рода наслаждениях; из груди его вырывается стон, в воображении проносятся все эти будничные, в одну форму вылитые физиономии Сивушниковых, Лампурдосов, Иоселей и пр., и, о вей мир... как ему делается тоскливо и тошно! И вот он вздыхает, он делается сентиментален, как институтка (откупщик-то!), он садится у окна и любуется на луну. Все его занимает в эту минуту: и то, есть ли на луне жители, и то, что на луну то и дело набегают облака, одни почти прозрачные, словно дым, другие плотные. Что такое луна? Неужели и там живут мужички, неужели и там заведены откупщики? Нет, если уж существуют на луне жители, то они должны ходить в белых платьицах и с серебряными крылышками. Потому что, ведь согласитесь сами, нельзя же, чтобы нигде не было отбоя от Шлемов и Бестионаки, нельзя же, чтобы эти законопротивные физиономии преследовали и в сем и в будущем мире!

Почему нельзя – он этого не объясняет себе, но в эту минуту ему положительно кажется, что есть какой-то другой мир, вовсе не похожий на тот, исполненный любострастных паров, в котором он живет постоянно. И вот душа его мало-помалу растворяется; от луны его мысль переходит к туману, нависшему над рекой: в этом тумане рисуются легкие, воздушные видения; от тумана переходит к реке, от реки к тем убогим, богом хранимым хижинам, которые виднеются вдали, – и отовсюду-то дышит на него какую-то непривычную свежестью, со всех-то сторон заливают его сердце новые ощущения!.. Одним словом, нет того заскорузлого, огнестоянного откупщика, который по временам не делался бы самою мечтательною институткой, которого сердце не поддавалось бы самым ребяческим впечатлениям. Если рассуждать хладнокровно, то для нас с вами (не забудьте, что мы откупщики) такие порывания в область неизвестного, не имеющего ничего общего с нашею обыкновенною действительностью, очень невыгодны, потому что каждый шаг, который мы делаем, чтобы выйти из нашей раковины, вносит в нашу деятельность неполезные и растлевающие элементы, делает нас менее устойчивыми и не столь способными к систематическому спаиванию мужичков, но в том-то и дело, что эти порывания рождаются в нас помимо нас самих и что овладеть ими мы столь же мало властны, как и овладеть всякими другими, менее сложными потребностями нашего человеческого организма.

Но, независимо от этого фаталистического условия нашей жизни, есть и вторая причина, препятствующая нам, откупщикам, слишком исключительно замыкаться в тех крепких стенах, где заключается наше благополучие. Причина эта заключается в том, что мы очень уж разбаловались, что наши обычные (высшие) наслаждения уязвляют нас недостаточно. Душно нам в наших дворцах и русских избах на испанский манер, не веселят взоров картины, изображающие нагих женщин, не ласкают вкуса ни пряные яства, ни пьяные питья: все хочется чего-то такого, чтобы, так сказать, душу на сторону своротило, рот обметало, грудь покрыло ссадинами, поясницу отшибло. Где искать таких пряностей? где, как не в тех необычных (низших) наслаждениях, которые свойственны так называемым курицыным детям? И вот мы прикидываемся мужичками, начинаем обзывать всех братцами, насильственно вгрызаемся в непривычную нам жизненную колею... Все это мы производим единственно из одного баловства, из того только, что вот скучно пить чай в палаццо, отправимтесь-ка сегодня с самоваром в рощу! между тем это обстоятельство незаметно вносит в нашу жизнь пагубное начало и приближает к ней чуждые ей стихии, которые, по всем указаниям рассудка, следовало бы держать как можно в большем отдалении.

Вот видите ли, читатель, как все происходит естественно и как мы, откупщики, сами того не подозревая, помаленьку отравляем свою жизнь. По-видимому, эта жизнь течет спо-

койно, весело и обеспеченно, однако ж мы всё чего-то боимся; нас ежеминутно тревожит вопрос: а что, если веселое содержание жизни исчерпается, а что, если она утонет в мелочах, изотрется в своем собственном веселом ничтожестве! И вот, чтоб этого не случилось, чтобы нам не сесть нечаянно на мель и навсегда обеспечить свое будущее от угрожающей ему пустоты, мы начинаем думать об обновлении и, как люди предусмотрительные, разумеется, начинаем думать тогда, когда от прежнего нашего великолепия остаются уже одни скорлупы.

Мы вообразили себя откупщиками, но, быть может, это предположение не довольно язвительно, и потому вообразим себя... ну, хоть турецкими султанами. Я, турецкий султан, очень хорошо понимаю, что действительный султанский мой интерес заключается не столько в том, чтобы содержать мои владения в чистоте и опрятности, сколько в том, чтобы этого можно было достигнуть со всевозможными прохладами и льготами. С этой точки зрения для меня выгоднее иметь владения малые, в которых воля моя, как весенний разлив реки, могла бы затоплять все и всех, нежели владения обширные, но в которых воля моя на каждом шагу встречала бы преткновения. Я владею прекрасными поемными местами в Азии и Африке; я мог бы жить там скромно, но сытно и счастливо, и благословлять судьбу свою; однако, на мое горе, у меня есть еще бесплодные (для меня) скалы в Европе, преимущественно населенные гяурами, которые так вот

и лезут со мной на ножи. Что я сделаю? удалюсь ли в Азию, чтобы там, среди тишины и непрекословия, пещись о благе правоверных, или же останусь в Европе, чтобы скончать свой живот среди терзаний и огорчений, причиняемых мне любезными подданными гяурами. Если бы я слушался единственно внушений моих султанских инстинктов, я давно бы удрал в Азию (недаром же там и рай, по преданию, находился!), но в том-то и штука, что у меня есть память, подсказывающая мне, что было когда-то Магометово оружие, которое всех этих собак-гяуров покорило, что у меня есть самолюбие, которое так и шепчет: поревнуй да поревнуй! что у меня есть, кроме того, диван (конечно, членов его я могу перевешать!), который начинает меня науськивать, как только видит, что я слишком распускаюсь, и начинает меня стыдить, как только я целым рядом логических умозаключений прихожу к убеждению, что всякий стыд есть фальшь, и ничего больше. И вот таким-то образом я и маюсь целую жизнь; душой витаю на берегах Тигра и Евфрата, а телом нахожусь среди бесплодных скал, откуда ежечасно угрожают мне собаки-гяуры. Знаю, что все-таки придется мне удирать в Азию, но такова уже судьба моя: я перееду туда в то время, когда и тамошние поемные луга превратятся в скалы...

Я полагаю, что этих примеров совершенно достаточно, чтобы объяснить, каким образом происходит процесс обновления даже в тех сферах жизни, которые сами по себе никакой необходимости в обновлении не чувствуют. А так как я

именно об этой-то жизни и говорю (почему только об этой, объяснено будет ниже), то посмотрим теперь, существовала ли у нас такая жизнь, а если существовала, то почему нам кажется иногда, будто она остановилась.

Лет шесть тому назад началось у нас какое-то движение, которое многие умы преисполнило гордынею великою, многие сердца заставило трепетать радостью необычною. Откуда шло это движение, что оно в себе содержало, чем обуславливалось, куда направлялось – об этом мы не спрашивали себя; мы видели только, что нечто шевелилось, и благодарили создателя. Как оказалось впоследствии, это было движение мелочей и подробностей, нисколько не изменявшее сущности главного дела, но кто же знает? быть может, именно этот-то мелочной характер обновления и составлял тайную причину нашей радости; по крайней мере, так можно догадываться из того, что к этому движению симпатически относились не только те, которые, подобно г. Громеке, предварительно разделивши все движения на неподозрительные и подозрительные, отдаются первым со всею пламенностью, а последними не увлекаются, но и те, которые на всякого рода движения поглядывают вообще неблагоприятно. В нем именно то и удобно было, что оно ничего не подкапывало, а только украшало. Вопросы представлялись не в системе, а вразбивку, не в виде органических отделений, которых не принять к рассмотрению и не разрешить нельзя, а в виде отрывочных тезисов, которые можно принять или не принять к све-

дению – ни от того, ни от другого беды не будет.

Понятно, что на первых порах всякий самый маленький смертный спешил заявить, что и у него имеется на примете маленький вопросец, который, в числе прочих маленьких вопросцев, своим разрешением весь этот вертоград утвердить и изукрасить может, и что таким образом вопросов должно было вдруг накопиться множество. А так как все они возникали перед нами неожиданно, в виде благоснисходительной милости или в виде манны небесной, то понятно также, что и увлечение ими, с непривычки, не должно было оставить в нас ни одного живого места, не уязвленного признательностью. О широких и далеких перспективах мы не имели никакого понятия, да и не чувствовали никакой в них потребности, во-первых, потому, что не сознавали связи, которая существует между большими перспективами и малыми, а во-вторых, и просто потому, что «будет с нас и этого».

Да, это было хорошее время; это было время поголовных, сплошных радостей. Угрюмый крепостник выходил из своей угрюмости в надежде, что его ждет впереди вопрос об устройстве поземельного кредита, обещанного В. П. Безобразовым, и что этот вопрос спасет его; обиженный полицией забывал нанесенную ему обиду во имя того, что вот еще потерпеть немножко, и все пойдет как по маслу; а там примутся за суды, а там пойдут школы, пути сообщения, развитие промышленности... «В какую сторону ни обернемся, на какой предмет ни направим взоры, – говорили мы, – везде

возникают и развиваются перед нами в даль неизмеримую ряды вопросов; везде надежды на богатую когда-то жатву из бросаемых теперь в землю семян»...

И вдруг мгновенно взбаламутившаяся поверхность общества столь же мгновенно сделалась ровною и гладкою, как зеркало; по-видимому, возможность ставить вопросы не прекратилась, по-видимому, они и ставятся от времени до времени, а общество ни гугу, словно оцепенело, словно обуюлось преднамеренною, озорною бесчувственностью. Разве изредка благодарно свистнет г. Громека да пропоют призна- тельный куплет «Московские ведомости», предварительно переглянувшись с «Нашим временем»... Значит ли это, что общество шесть лет тому назад жило? значит ли, что оно до такой степени неустойчиво, что не может вынести даже та- кого короткого периода жизни, что оно равнодушно и мало- признательно, потому что мертво?

Нет, это просто значит, что шесть лет тому назад, точно так же как и теперь, наше общество, относительно жизни, пребывало совершенно в одинаковом положении, что оно не имеет даже права сказать, что жизнь остановилась, потому что ее в строгом смысле и не было. Споры, когда они окан- чиваются только спорами, крики, когда они имеют в виду только производство криков, – все это искусство для искус- ства, все это не что иное, как особенный род одинокого са- моуспокоения, которое не имеет другого результата, кроме бесплодного истощения сил. Я говорю целый день, я спорю

и выхожу из себя, но вот день кончился, я запираюсь дома и ложусь спать. Прошел мнимый день и унес за собою мнимую деятельность... из-за чего тут хлопотать? из-за чего напрягать свои силы?

Вопрос разрешается просто: до тех пор, пока я заблуждался, пока думал, что есть какое-то дело, касающееся меня лично, я увлекался этим делом, я беседовал об нем с приятелями и старался, насколько это от меня зависело, расширить сферу этого дела, захватить посредством его как можно больше жизненных вопросов; но как скоро я убедился, что действую в пустоте, что деятельность моя не выходит за пределы разговоров с приятелями, что мы не только не доходим до какого-либо практического результата, но даже сговориться между собой не можем, что мы бесплодно сходимся и столь же бесплодно расходимся, я разочаровался и сделался хладен к «развертывающимся в неизмеримую даль рядам вопросов». И если теперешнее мое разочарование доказывает отсутствие жизни, то и недавние очарования мои отнюдь не доказывали присутствия ее. Все это было мнимое: картонные разговоры, картонные вопросы, картонные интересы, картонная жизнь.

Да, это явление горькое, почти невероятное.

Но если спросят меня, что я предпочитаю: теперешнее ли общество, погруженное в совершенное равнодушие к обещаниям жизни, ни о чем не мечтающее, ни к чему тревожно не стремящееся, или недавнее русское общество, исполненное

любоэраственно-идиллических мечтаний о внезапном водворении правды на земле и стремившееся возродиться посредством искоренения чиновнических злоупотреблений, то я не обвиняясь отдам предпочтение первому. Есть что-то умиротворяющее в этом спокойствии; глаза слипаются сами собою, в ушах раздается расслабляющий звон. Точно вот плывешь по широкой реке и вдруг выбиваешься из сил: мало-помалу начинают захлестывать волны, сознание постепенно ослабевает, и хотя руки и ноги еще работают, но эта работа есть только последнее усилие остывающей жизни; еще минута – и эти последние усилия прекратятся, наступит спокойствие... Хорошо это спокойствие и само по себе, но в особенности оно хорошо тем, что издали кажется чем-то гордым; как будто бы человек говорит: вы не думайте, чтоб я не мог бороться, а вот могу, да не хочу...

Тем не менее я должен оговориться, что это дело моего личного вкуса, если я отдаю предпочтение разочарованию перед очарованием, равнодушию перед увлечениями. Есть другие, которые, напротив того, утверждают, что шесть лет тому назад все-таки жилось веселее. Как ни мелки были вопросы, говорят они, как ни поверхностно мы за них принимались, как ни мизерны были добываемые ими результаты, а все же нечто было. Был шум, был говор, была суетня. Все равно как мельница, на которую давно помольцы не везут никакого мелева и которой хозяин думает: а ну-ко, пушу я снасть, пускай себе ходит жернов и без мелева! И вот по-

шел стучать жернов, пошло ходить колесо; окрестность становится как-то веселее, кругом раздается шум и стук, как будто кто-то хлопочет, как будто что-то живет... А кому охота справляться, что тут делается? Напротив того, всякий думает: куда хорошо в таком месте пожить; и речка таково сладко журчит, и меленка мелет – все как будто не один, а на людях!

Вот как говорят защитники нашего начинавшегося молодого возрождения, и я должен сознаться, что, с точки зрения мельницы, в этом рассуждении есть своя доля справедливости. Тем не менее оно отнюдь не подрывает моей мысли об отсутствии жизни, ибо работа жернова, мелющего без мелева, есть все-таки работа праздная. Подобная работа все равно что театральная декорация: унесут, и нет ее; был лес – на место леса комната, на место комнаты ад, – все это дело балетмейстерской фантазии. Но не надобно, однако ж, упускать при этом из вида одно важное обстоятельство: декорации от частого употребления линяют и приходят в негодность; жернова от беспрестанного трения измалываются и требуют перемены. Хорошо, коли есть неистощимый запас новых жерновов, посредством которых можно без конца подделываться под жизнь, но худо, коли этого запаса нет, да при том еще, как на грех, вдруг и взаправду подоспеет настоящее, не картонное мелево...

Что такого неистощимого запаса нет, это доказывается тем, что жернова перестали стучать сами собой, без всякой

принудительной причины, а вслед за жерновами

...умолкли ручейки
И улеглись стада...

Даже такая сильная литературная мельница, как «Русский вестник», – и та перестала размалывать вопросы вроде вопроса о китайских ассигнациях, и та предпочла малое, неогорчительное безделье заманчивой, но ни к чему не ведущей резвости.

Я знаю многих из ратоборцев того веселого времени и с удовольствием должен сказать, что они сами весьма мало огорчаются словесною засухой, наступившею после недавних проливных дождей. «Mon cher! – говорят они мне, – неужели же вы когда-нибудь могли подумать, что мы ратоборствовали серьезно? Нет, мы хотели только доказать, что способны к ратоборству, и как скоро убедили в этом кого следует, то умолкли». Слыша такие слова, я прихожу к заключению, что все эти ратоборцы были просто благонамеренные люди, всегда любившие отечество, но не имевшие средств поместить надлежащим образом эту любовь на служебном поприще. Весьма естественно, что это их огорчало; но весьма естественно и то, что они старались заявить об этом огорчении, – не в форме огорчения, конечно (это было бы уж слишком наивно!), – а в форме дозволенных словесных упражнений на никогда не стареющую тему о любви к

отечеству. Устроивши это самым ловким и незаметным образом, они получили соответствующие по службе повышения и, само собой разумеется, предпочитают теперь крепкое, практическое дело, имеющее корни в прошедшем («токмо коренью» и т. д., см. эпиграф к «Русской беседе»), всевозможным словоизвержениям резвой юности.

Не могу не одобрить такого образа действия, прежде всего потому, что и с точки зрения национальности он безукоризнен. Вообще наша история представляет мало примеров геройства и самоотвержения. Только Мстислав Удалой когда-то поревновал в пользу земли Русской, да Минин... да и тот не принадлежал к так называемому «обществу» (на языке славянофилов «société»), а был простой мещанин. Но в большинстве случаев, предпринимая какое-нибудь дело, мы прежде всего умильно посматриваем на печку, и как только влезем на нее, так тотчас и начинаем говорить: «Трудно! да, трудно! вот я и сам, mon cher, как внизу-то стоял, так думал, что оно легко, а теперь вижу, что точно...» И пойдут это у нас умные речи о том, как оно легко критиковать да охуждать и как, напротив того, трудно организовать и приводить к наилучшему концу. Ну, да и ништо нам! благо до печки-то дорвались!

Таким образом, и с национальной точки зрения делается ясным, что то, что мы принимали за признак пробуждения жизни, в сущности заключало в себе не более как похвальные усилия некоторых благонамеренных личностей,

наскучивших служебным застоєм и пожелавших, при помощи примерных турниров, получить соответствующие их способностям повышения. Одним словом, тут шла речь не о пробуждении, не о торжестве идеи, а о том, что не слишком ли засиделся на своем месте Максим Максимыч (доказывалось, что не только «слишком», но даже и самое место прогноил) и не пора ли, дескать, его сверзить, а на его место засесть самим...

Все это так просто, так просто, что даже моя добрая знакомая, мадам Антонова, долгое время взиравшая на поднимающуюся у нас словесную суматоху с некоторым остолбенением, – и та наконец поняла и, понявши, воскликнула: «Ну да, ну да! вот это хорошо! вот на это я согласна!»

Но если жизнь признанная заявляет себя вяло, если в ней прогресс является результатом случайного, механического нарастания, которое может продолжаться, но может и прекратиться, если, вследствие такой своей обстановки, эта жизнь утрачивает свои права на значение руководящей силы, то должна же быть где-нибудь другая сила, другая жизнь, которая не изнашивает так скоро созревших в ее недрах запросов, но, напротив того, с неумолимою логикой проводит их до конца.

Да, эта сила есть; но как поименовать ее таким образом, чтобы читатель не ошетинился, не назвал меня волтерянцем или другим бранным именем и не заподозрил в утопизме? Успокойся, читатель! я не назову этой силы, а просто

сошлюсь только на правительственную реформу, совершившуюся 19 февраля 1861 года. Надеюсь, что это не утопизм.

Вникните в смысл этой реформы, взвесьте ее подробности, припомните обстановку, среди которой она совершилась, и вы убедитесь: во-первых, что, несмотря на всю забитость и безвестность, одна только эта сила и произвела всю реформу и, во-вторых, что, несмотря на неблагоприятные условия, она успела положить на реформу неизгладимое клеймо свое, успела найти себе поборников даже в сфере ей чуждой.

Это та самая сила, которая ничего не начинает без толку и без нужды, это та сила, которая всякое начинание свое делает плодотворным, претворяет в плоть и кровь. Ревновали Владимиры Мономахи, ревновали Мстиславы, Ярославы, Иоанны Грозные и не грозные, склеивали, подмазывали, подглаживали, подстраивали – и все-таки оно разлеталось врозь, все-таки оно при первом же случае оказывалось дряблым и несостоятельным («Что такое это оно?» – спросит читатель. «А я почему знаю!» – отвечаю я). А вот поревновал однажды Кузьма Минин-Сухорук – и сделал. Неужели же это Минин сделал? И как он сюда попал? Как не затонул в общей засасывающей пучине? Нет, это не Минин сделал, а сделала сила, которая выбросила его из пучины, выбросила не спросясь никого, выбросила потому, что бывают такие минуты в истории, что самые неизмеримые хляби разверзаются сами собой.

Я знаю, читатель, что ты думаешь. Ты думаешь, что я вот-вот сейчас начну говорить о польском вопросе, который занимает теперь все умы. Ты ошибаешься, однако ж; я не стану говорить о польском вопросе, во-первых, потому, что он несколько не относится к предмету моей настоящей хроники, во-вторых, потому, что я относительно этого вопроса питаю те же самые чувства, какие в настоящее время красноречиво выражаются всем русским населением

От хладных финских скал до пламенной Колхиды... —

и, следовательно, если ты хочешь знать мои чувства, то можешь прочесть их в каждом номере петербургских и московских газет; в-третьих, наконец, потому, что польский вопрос специально разработывается редакцией «Московских ведомостей», и я, не имея возможности стать выше этой благонамеренной корпорации, взявшей на себя скромную обязанность разговаривать от лица всего русского народа, не желаю, однако ж, по самолюбию, стать ниже ее.

Итак, я о польском вопросе не буду беседовать, потому что претензии мои гораздо скромнее. Претензии эти ограничиваются желанием внушить тебе, читатель, что если ты задумываешь что-нибудь вроде возрождения, то должен обращаться за материалами не к наемным болтунам, которые сначала окатят ливнем пустых речей и кончат все-таки тем, что вытащат из твоего кармана платок, а в то место, где та-

ковые материалы действительно обретаться могут. И с этой целью я возобновил в твоей памяти 1612 год и современную нам крестьянскую реформу.

Часто мы думаем, что этой силы совсем нет, на том только основании, что она редко и сдержанно проявляет себя. Под влиянием этого обмана чувств мы иногда заходим очень далеко, до того далеко, что не признаем никакой истории, кроме внешней, не допускаем никакого прогресса, кроме внешнего. В этом смысле грешат даже такие привилегированные народолюбцы, какими представляют себя, например, славянофилы. Не были ли мы, например, весьма недавно свидетелями сетований «Дня» по поводу гг. Арцимовича, Куприянова и Барановского? Не приходила ли эта газета в отчаяние от того, что эти достойные администраторы были отторгнуты от родных стад, не успев довершить начатого? А ведь «День» откровенно чурается внешней истории, внешнего прогресса, а ведь «День» то и дело взывает, что общество мертво, что оно от чего-то оторвалось!

Конечно, со стороны «Дня» это не более как легкая непоследовательность, потому что, будь он строго логичен, для него было бы совершенно все равно, какие имена носят участники внешней истории и каковы их качества, но когдаобразишь, до какой степени понятие о полнейшей зависимости нашей жизни от чего-то внешнего, случайного сделалось ходячим, до какой степени оно впилося в нас, становится страшно. Невольно спрашиваешь себя: а что, если и в са-

мом деле правда, что справедливость существовала в судах не потому, что ей следует там жить вследствие естественно-го хода вещей, а потому, что ее насильственно загонял туда NN? А что, если и действительно правда, что крестьянский вопрос мог бы и не быть крестьянским вопросом, если б за сим не наблюл NN? Согласитесь, что за этими вопросами открывается какая-то мрачная, никем не признаваемая сторона, в силу которой распорядителем судеб целого края является не твердый оплот общественного строя, а колеблющаяся, слепая случайность.

Я признаюсь, однако, что увлечься было возможно и позволительно, потому что все факты внешней жизни постоянно говорили в пользу внешней истории. Конечно, всякому, и не раз, случалось встречаться на своем веку с рассказами об администраторах деятельных и об администраторах не деятельных, об администраторах просвещенных и об администраторах, не обладающих ни замечательными способностями ума, ни значительным запасом познаний. Первые устроят всякие порядки и разливают свет, вторые – устроенные порядки расстроивают и разлитый свет прогоняют посредством исходящей от них тьмы. Допускается даже некоторое невинное хвастовство в этом смысле: один администратор говорит, что у него дороги очень хороши, другой утверждает, что у него дороги не так чтобы очень гладки, зато почтовые лошади в порядке, третий заявляет, что у него все вообще довольно плохо, только вот заведениями приказа обще-

ственного призрения он хоть кому угодно нос утрет. И все это оказывалось справедливым, по крайней мере по наглядности, и всем этим мы увлекались и, распевая на все лады дифирамбы внешней истории, совершенно искренно забывали, что пишется где-то другая история, история своеобразная, не связанная с внешней даже механически. Эта история пишется втихомолку и неярко; она не представляет собой сплошного рапорта о благосостоянии и преуспевании, но, напротив того, не чужда скромного сознания бессилия, скромных сетований об ошибках и неудачах; содержание ее раскрывается перед нами туго и скорее поражает горьким абсентеизмом и унылым воздержанием, нежели проявлениями деятельной силы; но тем не менее и эта вынужденная скромность, и это насильственное воздержание не могли безвозвратно загнать ее в ту пучину безвестности, куда, рано или поздно, должна кануть история внешняя, со всем ее мишурным блеском, со всем театральным громом.

Что эта внутренняя, бытовая история существует – в том опять-таки служит порукой недавняя крестьянская реформа, на которую я уже указывал выше. Известно, что еще очень недавно самая мысль об освобождении крестьян казалась дикою и преследовалась, как угрожающая общественному спокойствию. Казалось бы, что торжество такой мысли, которую все стремилось изгнать не только из жизни, но и из самого народного представления, должно было бы произвести в народе переполох, должно было бы встретить его

неприготовленным, однако оказалось совсем напротив. Реформа не только привилась сразу, но сразу же оказалась заключающею в себе зерно дальнейшего развития и усовершенствований. Теперь крепостное право представляется почти в такой же степени отдаленным, как и погром Батыев. И точно такое же явление произойдет и относительно других реформ, по поводу которых мы загодя тужим и соболезуем: не привьются, дескать, они, не привьются к нашему грубому народу.

Поэтому мы, которые думаем, что родник жизни иссяк, что творческая сила ее прекратилась, мы думаем и судим поверхностно. Мы принимаем за жизнь то, что, собственно, заключает в себе лишь призрак жизни, и забываем, что есть жизнь иная, которая одна в силах искупить наше бессилие, которая одна может спасти нас. Это сила не анархическая, а устроительная и потому для всех равно симпатичная. В смутное время русские города пересылались и списывались между собою, но у какого же историка поднимется рука, чтобы назвать это движение анархическим? Вот к этой-то силе и должны мы обращаться и помнить, что какова бы ни была деятельность, но если она ищет себе опору инде, то эта деятельность пройдет мимо, каковы бы ни были ее намерения. Заботьтесь сколько угодно о насаждении правды на земле – эта правда не оценится и не признается; допускаяте, с другой стороны, всякую неправду, всякую обиду – это будет явление горькое, но оно вынесется; оно вынесется, как выносятся

моровое поветрие. Тут не может быть речи даже о том, что хорошо и что худо: к хорошему бытовая история отнесется точно так же равнодушно, как и к худому.

Итак, не станем приходить в отчаянье, а будем верить. Жизнь не останавливается и не иссякает. Если горьким насильством не суждено ей проявиться непосредственно, она просочится сквозь те честные сердца, которые воспримут семя ее и сторицею возвратят ей посеянное.

Что добрые люди украшают общество и сдобривают жизнь человеческую – это истина, которую еще задолго до г. Львова, автора известной комедии «Свет не без добрых людей», изрекла мудрость народная. Истинно добрый человек добр безразлично; он сыплет благодеяниями направо и налево; он стремится подать помощь даже там, где этой помощи совсем не требуется; он отыскивает страдания даже там, где таковых совсем не обретается. Из этих слов читатель, пожалуй, заключит, что описываемый нами «добрый человек» не столько добрый человек, сколько надоедало, – оно так и есть; но такова уже природа доброго человека, что если вы ему даже в глаза скажете, чтоб он не приставал и не благодетельствовал, он этим не обидится и приставать не перестанет. Он все будет стремиться, все будет подавать руку помощи и отыскивать страдания. И в конце концов добьется-таки своего, то есть того, что вы привыкнете к его приставаниям, что вы станете смотреть на него, как на домашнего человека, и на-

конец, махнув на все рукой, скажете: да, черт возьми! NN действительно добрый человек!

И поверьте, что заключение ваше отнюдь не будет опрометчиво, потому что и в самом деле без добрых людей невозможно жить на свете. Это только с первого взгляда кажется, будто они надоедают, но если вы вникнете в дело ближе, если вы взвесите те тысячи мелких, незаметных услуг, которые на каждом шагу оказываются добрыми людьми, то поймете, что только по милости их жизнь ваша устраивается спокойно и не выбивается из колеи неожиданными сюрпризами. Кто уничтожает клопов, тараканов и других насекомых, отравляющих человеческое существование? – добрые люди. Кто изобретает мази для ращения волос? кто исцеляет зубные боли? – добрые люди! Везде и всегда они являются домашними гениями человека, чем-то вроде старого халата, с которым до того свыкаешься, что только в нем и чувствуешь себя удобно и ловко.

В особенности завидную роль играют добрые люди в русском мире. Мы с гордостью можем сказать, что у нашей жизни почти нет других руководящих правил, кроме правил добросердечия. Проигрываете вы, например, какое-нибудь дело – наверное, вы можете сыскать доброго человека, который вам то дело поправит и направит; проигрывает это же самое дело ваш противник – и он, наверное, найдет доброго человека, который то дело поправит. Так оно и идет колесом.

Но само собой разумеется, что всего ощутительнее сказыв-

вається существование «добрых людей» для того, кому как-нибудь случится проштрафиться. Уж чего-чего не передумает этот человек: и законы-то все припомнит, и вину-то свою по ниточке переберет... беда! Ан нет, совсем не беда; явится добрый человек и скажет: а простить сему человеку его продерзости! – что ж, и простят!

Поэтому добрыми людьми не только не следует пренебрегать, но, напротив того, надлежит всемерно стараться о их размножении. В сфере ли административной или в сфере литературной, спереди ли, сзади ли, с боков ли – добрые люди нигде не вредны. Если добросердечие их порой надоедливо, если эта надоедливость вызывает в вас нетерпение, – вы можете не стесняться и высказывать ваши чувства без утайки: добрые люди будут только улыбаться да приговаривать: «Эх ты, горячая, горячая голова! куда бы ты без нас поспел!», но добрыми быть не перестанут. Тем-то и хороши и удобны эти люди, что уж очень они незлопамятны.

Признаемся откровенно, до сих пор мы причисляли г. Громеку именно к этому сонму добрых людей, которыми красна человеческая жизнь, и не мало утешались этим. Мы думали: если нас постигнет какое-нибудь несчастье, то мы пожалуемся г. Громеке;¹² а он с своей стороны постарается. До сих пор оно так и было; в прошлом году с нами случился

¹² Мы считаем возможным назвать г. Громеку, потому что он неоднократно был печатно объявляем как редактор «Современной хроники России», о которой теперь и идет речь. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

совершенно неожиданный сюрприз, и хотя мы даже не жаловались г. Громеке, но он старался. Мы были так чувствительны к этим стараниям, что даже опасались за здоровье нашего доброжелателя и вследствие того просили его стараться не столь усердно. Скажем более: до сих пор мы склонны были видеть в г. Громеке тайного сторонника «Современника». Мы думали: этот человек хоть и журит нас по временам, но он нас любит. Если он ворчит и брюзжит на нас часто без дела, то это объясняется отчасти его зрелыми годами, отчасти страстным желанием быть нам полезным. Но он все-таки не станет добиваться нашей гибели, уже по той простой причине, что если мы погибнем, то ему некого будет ни увещевать, ни усовещивать.

Тем прискорбнее нам было увидеть из «Современной хроники России», помещенной в 3 № «Отечественных записок» за сей год, что г. Громека совсем не такой добрый, каким мы себе представляли его. Мы думали, что к нему можно было обращаться со всею откровенностию, что ему можно поверять и радость и горе, что он выслушает, сначала, конечно, побранит, а под конец все-таки утешит... Оказывается, что он совсем напротив: выслушать-то выслушает, да тут же и заприметит, и не только не утешит человека в горести, но наипаче потщится таковую отравить.

Полные мысли о добром к нам расположении г. Громеки, мы радостно принялись за чтение мартовской «Современной хроники России». Да и как было не радоваться! Один

перечень содержания, так сказать, захватывает дыхание. Чего-чего тут нет: и усобица в литературе, и обвинение общества в том, что оно само ставит препятствия к развитию нашей политической печати (?), и нечто об отрицательном направлении, и нечто о ложном либерализме... Но, само собою разумеется, что для нас была всего приятнее следующая фраза перечня: «Как относятся к правительству истинно независимые люди и журналы, такие, например, как г. Унковский и редакция „Современника“». Шутка сказать – «независимый журнал»! – Какая может быть похвала выше этой! И в чем же независимый – в отношениях к правительству! Да ведь тут голова закружится от восторга! Ведь это почти что одобренный цензурою грубиян! Согласитесь, что такая похвала сразит хоть кого.

Тем не менее мы должны сознаться, что все эти розы скрывали за собой змия, не столько ужасного по впечатлению, им на нас произведенному, сколько по ядовитым своим намерениям, и что если в конце концов г. Громека не накормил нас горчицею, то это произошло совсем не оттого, что он этого не хотел, но оттого, что вообще кормить своего ближнего чем бы то ни было, если сей последний того не желает, дело довольно мудреное.

Мы сказали выше, что г. Громека обвиняет общество и литературу в недостатке энергического стремления к свободе мысли. На чем он основывает свои обвинения – формулировать довольно трудно; по-видимому, однако, все дело

сводится на недостаток в обществе элементов сочувствия и восторженности. Но мы не ставим г. Громеке в вину, что это запутанное дело им не разъясняется, потому что очень хорошо понимаем, что подобные разъяснения не всегда возможны; однако нам казалось бы, что при такой невозможности определительно высказать действительные причины общественной апатии всего прямее было бы молчать об них, а не подыскивать причины второстепенные, и притом едва ли не фальшивые. Общество молчит, литература погрязает в личных дрызгах и мелочах – все это, быть может, и правда, но где же причина такого явления? Потому ли молчит общество, что оно молчит, потому ли погрязает в мелочах литература, что она погрязает в них? Мы думаем, что это не совсем так, хотя г. Громека и стремится уверить нас, что это именно так, как он объясняет.

Г-н Громека начинает издалека – с польских дел. Он огорчается тем, что русские журналы, за исключением «Русского вестника» и «Московских ведомостей», относятся к этому вопросу молчаливо; он говорит, что если бы журналы наши имели возможность высказываться, то, по всей вероятности, мнения их не представили бы существенной разницы с мнениями «Русского вестника». Размышления, которые делает по сему предмету г. Громека, могут служить образцом невредных размышлений о различных случайно встречающихся по пути предметах, размышлений, которых первообраз дал нам бессмертный Гоголь в лице Кифы Мокиевича.

В самом деле, странное дело: литература молчит, общество не выработало себе никакой самостоятельности, а какой-нибудь в скорбях зародившийся «Русский вестник» разглагольствует, а какие-нибудь сиккофантством повитые «Московские ведомости» надрываются, и хоть от этой натуги распространяется по России не совсем хороший аромат, однако аромат как будто самостоятельный, или, по крайней мере, прикидывающийся таковым! Что за чудо! Да разве «Русский вестник» и «Московские ведомости» не принадлежат к русской литературе? Нет, принадлежат, ибо печатаются на русском языке и издаются с одобрения цензуры. А если принадлежат, то, стало быть, не вся же литература безмолвствует, не вся же она лишена самостоятельности, но есть два органа (неизвестно почему г. Громека не прибавил к ним еще двух-трех, которые действуют, по малой мере, столь же самостоятельно), которые завоевали себе право разглагольствования и собственными средствами приобрели для себя несокрушимую позицию. Почему же, спрашивается, прочие литературные органы не следуют их примеру? Вот этого-то г. Громека и не объясняет. Мы, с своей стороны, думаем, что это происходит просто оттого, что не всё же вдруг; потерпите, г. Громека! ведь подобная самостоятельность не всеми приобретается одинаково легко!.. Но, быть может, наш публицист хотел сказать, что самостоятельность «Русского вестника» и «Московских ведомостей» не есть настоящая самостоятельность, – но тогда какая же надобность подражать ей? А быть

может, он хотел сказать, что эта-то самостоятельность и есть истинная, то почему же он сам не подражает ей или подражает только отчасти? Мы очень хорошо понимаем то чувство, которое заставляет вас говорить, что безмолвие русской литературы есть вещь очень прискорбная, но покажите же пример, г. Громека, покажите пример! Мы посмотрим, надлежит ли следовать вашему примеру, а покамест еще ничего заслуживающего подражания в ваших полусловах и полунамеках для себя не видим.

Переходя от одного случайного предмета к другому, или, лучше сказать, перелетая с одного цветка на другой, г. Громека с удовольствием отдыхает на том недавнем времени (по летосчислению публициста, года четыре тому назад), когда «каждый спешил, не разбирая звания (в смысле литературных партий), подсобить дружескому натиску общественного мнения». Мы, с своей стороны, тоже отдыхаем на этом времени, и если не удивляемся и не скорбим по поводу его недолговечности, то потому только, что в глазах наших эта недолговечность есть факт совершившийся и, следовательно, имеющий свои законные причины. Если было время, когда каждый спешил, – стало быть, была надобность спешить; если это время скоро прошло, – стало быть, или надобность была только кажущаяся, или же спешить больше некуда. О чем тут скорбеть? о чем беседовать?

Г-н Громека находит более удобным объяснить эту скоротечность посредством «бомбы отрицания». По свидетель-

ству его, четыре года назад кто-то кого-то атаковал, и вдруг, в самый разгар горячего дела, «посреди атакующих и атакованных, со свистом и шумом, упала бомба отрицания». В противоположность всякого рода другим бомбам, бьющим и разрушающим без размышлений, эта бомба начинена известною «философией». Как и всё на свете, эта «философия» имеет свою хорошую и свою дурную сторону; хорошая сторона заключается в том, что она «многих заставила подвергнуть операционному ножу критики все свое внутреннее содержание», вследствие чего «иные не выдержали операции и сданы в архив, другие вышли с надломленными и раздраженными силами, остальные окрепли, закалились и снова готовы в честный бой»; дурная сторона заключается в том, что бомба отрицания внесла междоусобие в ряды осаждающих и что, воспользовавшись этим, «осажденные возводили укрепление за укреплением». Все это написано очень хорошим слогом, и со всем этим можно было бы даже согласиться, если б начертанная г. Громекою картина не была выдумана им из головы и не представляла собой опыта невинного порхания по цветам красноречия. Во-первых, г. Громека упускает из вида, что так называемые «осажденные» совсем не были до такой степени беззащитны, как он их изображает, что им даже не было надобности «возводить укрепление за укреплением», потому что сии укрепления были у них всегда налицо. Во-вторых, красноречивый публицист совершенно произвольно представляет это дело в виде осады: никакой оса-

ды тут не было. Представление об осаде предполагает две враждующие стороны: одну – слабую, которая в крайности решается запереться в крепости и терпеть все ужасы лишения (вот видите ли, и мы умеем быть в свое время красноречивыми!), и другую – сильную, которая уже довела своего врага до последнего убежища, оцепила его со всех сторон и затем со дня на день ожидает окончательного его уничтожения. Но никто из взирающих без увлечений на дело, о котором идет речь, конечно, не станет отрицать, что оно происходило совершенно наоборот и что вообще объяснять подобные явления посредством военных эволюций – задача мудреная, невозможная, именно потому невозможная, что если при помощи таких уподоблений многое объясняется, то, взамен того, многое и затемняется. Что, если, например, мы, следуя по стопам г. Громеки, скажем, что в этом деле совсем не было ни осажденных, ни осаждающих, а были только дозволяющие и дерзающие? Ведь как хотите, а наше уподобление тоже может кое-что объяснить, тем более объяснить, что в примере г. Громеки многое представляется почти непостижимым. С какой стати сила изображается слабостью? По какому поводу сила позволяет осаждать себя? Для того, что ли, чтоб иметь удовольствие сказать самой себе: посмотрю, дескать, я, как эти лилипуты будут надрываться и выходить из себя? Нет, воля ваша, а тут есть что-то неверное, и неверность эта именно оттого и происходит, что г. Громека, вместо того чтобы сказать прямо: «после Крымской кам-

пании, когда» и т. д., предпочел прибегнуть к цветам красноречия. Если б он не обратился к этому милому способу писания истории, то непременно пришел бы к заключению, что всякое жизненное явление имеет свою внутреннюю неуомлимую логику, которая не может заставить его высказаться иначе, чем так, как оно высказывается по естественному своему ходу. В-третьих, наконец, что ж это, в самом деле, за бомба такая, которая все своих да своих бьет, которая, сама по себе «предохраняя от застоя, напрягая силы, освобождая от негодных к дальнейшему употреблению материалов», все-таки способствует лишь тому, что враждебная сила возводит укрепление за укреплением? Воля ваша, а тут или бессмыслица, или совершенное непонимание дела, о котором вы взялись говорить.

В сущности, дело происходило гораздо проще. Направление, которое, на живописном вашем языке, вы называете «бомбой отрицания», приходило вовсе не во имя одного отрицания, но имело в виду достижение результатов весьма положительных. Понятие, что это направление есть сила оплевательная, осмеятельная и разрушительная, ведь такое понятие могут, не краснея, распускать только московские публицисты, во-первых, потому, что оно предоставляет этим простодушным людям случай высказывать самостоятельную преданность, а во-вторых, потому, что они, играя на эту тему, имеют превосходный повод выражать во всеуслышание преданную самостоятельность. Но ведь вы не москов-

ский публицист, г. Громека (да, мы охотно признаем за вами это бомбо-отрицательное качество), и вам не может быть безызвестно, что все эти обвинения в отрицании для отрицания не более как слова, слова и слова. Вы это знаете точно так же, как и то, что все эти игры в осажденных и осаждающих, которым вы придаете такой вес, не более как игры примерные, кончающиеся просто ударом звонка, возвещающего, что рекреация кончилась и что пора идти в класс. Ежели бы это было иначе, неужели же тут могли бы иметь такую решительную силу какие-то «бомбы отрицания»? Если б та жизнь, о которой вы вспоминаете со вздохами, не скользила по поверхности дела, а порывалась в самую глубь его, если б она убивалась не над фестончиками и мелочами, а над самою сущностью, какой смысл имело бы отрицание, да и кто бы соблазнился им? Вспомните бывшие в сороковых годах толки о художественности, под покровом которых тогдашнее поколение стремилось провести неясную мысль о чем-то другом, – чем кончились эти толки, что произвели они? Они произвели гг. Каткова, Леонтьева и Павлова, они кончились тем, что явились люди, которые нашли для себя полезным оставить покров и эскамотировать его содержание. Отчего такой обидный результат? А оттого и обидный, что во всех этих толках не было настоящего дела, что это последнее прицеплялось к толкам случайно и даже затемнялось ими. Но в этих толках, как они ни были запутанны, все-таки было больше содержания и дельности, нежели в

той незабвенной болтовне о чиновничьих злоупотреблениях и разных сближениях, о которых вы вздыхаете. По какому же поводу вы называете бесплодным то направление, которое, насколько могло, уяснило истинный смысл этой болтовни, которое, среди общей ребяческой траты сил, смело выразило мысль, что человеческие силы должны быть употребляемы более производительным образом? Нет, вы или не поняли того, что называете «бомбой отрицания», или умышленно искажаете смысл этого явления.

Мы, собственно, желали бы, чтоб г. Громека «не понял»; но, к сожалению, некоторые признаки заставляют думать, что он именно умышленно исказил смысл явления, почему-то ему несимпатичного. Однажды став на эту точку, он пошел очень далеко в деле искажений и, быть может, незаметно для себя самого, дошел до намеков весьма неполезных.

Самый ловкий способ набросить тень сомнения на своего литературного или политического противника заключается в том, чтобы отыскать в его убеждениях или образе действия противоречия. Какой характер и где источник этих противоречий, об этом благоразумно умалчивается, потому что если бы не умолчать об этом, то пришлось бы изменить самый характер полемики, сделать ее не столько «ловкою», сколько «правдивою». Но, при известных полемических целях, правдивость, очевидно, не идет к делу; тут нужна ловкость, и только ловкость, потому что она одна удовлетворяет цели.

Г-н Громека, столько раз за нас заступавшийся помимо нашего желания, счел долгом вновь заступиться в последней мартовской книжке «Отечественных записок». Хотя это заступничество начинает несколько прискучивать, однако уж если у г. Громеки такое доброе сердце, если он без слез ни о чем говорить не может, то отчего же ему и не удовлетворить этой невинной затее? На этот раз заступничество написано на мотив, что хотя «Современник» и независимый журнал, но и он отдает справедливость правительству. На этом покамест мы и остановимся.

Прежде всего представляется вопрос, до какой степени позволительно ставить дело на такую почву, как сочувствие или несочувствие к правительству. Какие данные могут дать право рассуждать об этом? И возможно ли предположить, чтобы «Современник» или всякий другой журнал не питал сочувствия к правительству не только в тех случаях, когда это последнее следует разумным путем прогресса, но даже в таком случае, если б оно и не предпринимало никаких реформ и упрямо стояло на той бомбо-отрицательной позиции, о которой с таким одушевлением проповедует красно-речивый, но неосновательный публицист? Г-н Громека поймет всю важность этих вопросов и, конечно, не сочтет излишним разрешить их, потому что, в противном случае, его похвалы «Современнику» могут быть приняты за инсинуацию.

А что, впредь до разъяснения, эти похвалы положительно

имеют характер инсинуации, – это доказывается всеми рассуждениями, которые непосредственно следуют за похвалами. Извольте видеть, дело идет о том, что, несмотря на общее сочувствие всех журналов правительству (в том числе и «Современника»), выискиваются, однако же, изверги, которые льстят молодому поколению, внушают ему понятие о недостаточности слова и необходимости дела, что молодежь от этого дуреет, забирается в непроходимые дебри и, не имея ни проводника, ни компаса, гибнет. Кто ж эти изверги?

Ответ на этот вопрос явствует из заключительных слов этой диковинной диатрибы. Вот они:

Итак, молодежь жертвует собой, честно выполняет долг самопожертвования, как до сих пор его понимала. Ну, а мы, журнальные либералы и прогрессисты всех оттенков, честно ли мы поступаем, что не хотим пожертвовать своим мелочным самолюбием для спасения молодых сил, бесплодно гибнущих пред нашими глазами? Честно ли будет вводить молодежь в дальнейшее заблуждение насчет нашего взгляда на дело и продолжать по-прежнему играть в полуслова и загадки да забавляться тем, кто кого перегонит в горелки либерализма? Честно ли нам, журналистам, единогласно убежденным, что для удовлетворения нашей жажды к делу «достаточно было бы и половины начатых правительством реформ», – честно ли нам допускать молодежь одиноко умирать от этой жажды и не сказать, где можно утолить ее? Молодежь не боится идти в рудники, а мы боимся сказать ей

правду; молодежь жертвует свободой и жизнью, а мы не хотим пожертвовать для нее репутацией передовых публицистов... О, как легко говорить и писать о самопожертвовании и как трудно выполнять самому написанное! Сколько мы толковали о том, что «слово» не есть еще «дело»; но вот теперь события настойчиво требуют от нас дела – самого простого дела, а мы стоим в нерешимости и с досады перебранываемся друг с другом... Вокруг нас раздаются вопли осиротелых матерей и сестер, а мы потчует их подогретыми рассуждениями о том, что такое женщина и чего она вправе от нас требовать. Пред нашими глазами юноши, полные жизни, сотнями плетутся по Владимирке, чтобы бесследно завянуть в снегах Сибири, – а мы, спокойно покушав у Палкина, утешаем свою совесть тем, что эти жертвы – неизбежное явление во время поднимающейся волны событий. Для всех нас очевидно, что всякое дальнейшее недоразумение только хуже обессилит нас, что пора положить ему конец, а мы продолжаем тянуть старую песню о нигилистах и постепеновцах, о том, кто из них честнее и передовее. О, великие светила нашей публицистики! О, прославленные либералы и прогрессисты, постепеновцы и нигилисты, если вы, в самом деле, так честны и пылаете самопожертвованием, то покажите же нам вашу честность и ваше самопожертвование! Если вы действительно любите свободу больше себя и своей мишурной славы, то перестаньте, с одной стороны, раздражать юношество ругательством, а с другой, сбивать его с толку похва-

лами; если для вас ничего не значат слезы и отчаяние отцов и матерей, которые, в качестве представителей отживающего поколения, конечно, не заслуживают вашего участия, то, по крайней мере, подумайте о том, какое слово благодарности скажет вам грядущее поколение, когда оно узнает, как бесплодно гибли в ваших глазах лучшие силы общества, как постепенно ослабевала от того общая энергия и как много страдало от этого дело свободы, вверенное историческими судьбами вашему попечению. Если вы хотите участвовать в ходе политических событий, хотите действовать, то выходите на практическую дорогу и помните, что политика имеет дело только с действительностью и почерпает силу только в наличных средствах и обстоятельствах. Если же хотите оставаться исключительно органами журнальных кружков, то догнивайте себе спокойно в вашем омуте личных дрызг и не претендуйте на звание передовых людей...

Читая эти строки, не веришь глазам, не знаешь, чему более удивляться: любвеобильности ли г-на Громеки или той ловкости, с которою он владеет своим оружием. Думаем, однако ж, что здесь более ловкости, нежели любвеобильности. Это бывает. Люди слезливые вообще раздражительны; они любят благодетельствовать, но любят также, чтоб их благодеяния принимались безотговорочно и с благодарностью. Если это последнее условие не выполняется, они столь же внезапно обуреваются ненавистью, сколь внезапно, за несколько минут перед тем, обуревались любвеобильностью. Для нас

эти переходы понятны, потому что мы знаем, что здесь идет дело совсем не об том, чтоб оказать услугу ближнему, а о том, чтоб испоместить свою собственную чувствительность, чтобы налюбоваться всласть самим собою и потихоньку самому себе сказать: «Эх! да какой же я, в самом деле, распрекрасный человек!» Но если уже человек однажды составил о себе такое варварское понятие, то можно ли допустить, чтоб он не возненавидел всеми силами любящей души людей, которые препятствуют ему наслаждаться самим собою, которые уклоняются от его благодеяний, во-первых, потому, что не видят в них никакой для себя привлекательности, и, во-вторых, потому, что очень хорошо понимают их источник? Нет, нельзя, потому что в этом случае уязвляется все, что питало и украшало человеческую жизнь, потому что тут уничтожается то, что составляло содержание этой жизни, которая таким образом и приводится к нулю. Подобно этим слезливым людям, г. Громека должен ощущать глубокое недоброхотство к «Современнику», которое он тщетно скрывает под видом доброжелательства. В самом деле, сколько он раз протягивал руку – а эта рука так-таки и оставалась повисшею в воздухе! Сколько раз он начинал соболезновать и ходатайствовать – и все эти соболезнования и ходатайства так-таки и не дошли по адресу, то есть по тому адресу, по которому мысленно г. Громека писал свои чувствительные послания! Это обидно. Что вся эта диатриба направлена именно против «Современника», это доказывается, во-первых,

ссылкою на слова, сказанные в нашем журнале, во-вторых, тем, что во всех этих разглагольствованиях повторяются те же тусклые понятия, которые многие благожелатели постоянно высказывали о направлении «Современника». Самое худшее в этом то, что г. Громека не называет нас прямо, а действует, так сказать, под рукою. Быть может, он соблазняется примерами прошлогодней тактики и блестящими результатами, ею добытыми? Быть может, он хочет только пустить в ход мысль, дальнейшее развитие которой предоставляет другим?

Мы охотно избавляем г. Громеку от тяжелой роли секретно наблюдающего за нашим журналом публициста и предоставляем ему наблюдать открыто. Мы принимаем его вызов и с удовольствием готовы отвечать на его обвинения, но для этого было бы желательно, чтоб он формулировал их определеннее. Мы не сомневаемся, что наше положение, как ответчиков, не изъято будет некоторой затруднительности, но утешаемся тою мыслью, что положение, в которое поставил себя добровольно сам г. Громека, будет еще затруднительнее. Это просто, не приведи бог, какое положение!

Итак, мы просим г. Громеку объяснить не стесняясь:

1) Кого он понимает под теми «журнальными либералами и прогрессистами», которые «потчуют подогретыми рассуждениями о том, что такое женщина и чего она вправе от нас требовать, в то время как вокруг нас раздаются вопли осиротелых матерей и сестер»? Да и в чем именно, то есть в ка-

ких статьях он заметил столь пагубное направление?

2) Кто сбивает юношество с толку похвалами «и посылает его сотнями по Владимирке, чтобы бесследно завянуть в снегах Сибири»? В каких именно статьях «журнальных либералов и прогрессистов» заметил он такой яд?

Если г. Громека укажет на факты, это будет, конечно, великая заслуга в глазах всех благомыслящих людей, но если он не укажет? должно ли будет принять его молчание в смысле действительной невозможности сделать просимые указания или же опять в смысле снисходительности и доброжелательства к нам?

А вы вольным духом! не робейте!

Сомневаюсь, чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и с какими бы намерениями вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо. Не говоря уже о том энергическом, беспощадном остроумии, которым обладали великие юмористы, подобные Фонвизину и Гоголю, – остроумии, относящемся к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым, даже такой незлобивый, невинный сатирик, каким был, например, Загоскин, – и тот находил возможность относиться к этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мере, искренно и весело. Говорят, будто Гоголь имел намерение изобразить впечатления

русского воина старых времен, путешествующего за границей; действительно, трудно себе представить что-нибудь соблазнительнее, грандиознее подобной темы! Тут было целое, стройное мирозерцание, не имевшее, с внутренней стороны, строго человеческого характера, но наружными своими признаками не позволявшее, однако же, сомневаться, что обладатель его принадлежит к человеческой семье; одним словом, тут было нечто такое, что носило на себе человеческий образ, но мысль имело не человеческую; тут в очию повторялся миф сирены, только наоборот, то есть брался человеческий хвост и приставлялась к нему рыба голова. Задача величественная и для сатирического пера весьма лестная.

Я не бывал за границей, но легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть. Все-то ему ново, всего-то он боится, потому что из всех форм европейской жизни он всецело воспринял только одну – искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковин. Всякий иностранец кажется ему высшим организмом, который может и мыслить, и выражать свою мысль; перед каждым он ежится и трусит, потому что, кто ж его знает? а вдруг недоглядишь за собой и сделаешь невесть какое невежество! В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он пересел в вагон и не знает, как и перед кем бы излить свою благодарную душу. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать

его в плечико (потому что ведь известно, у нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйста!); он заговаривает со своим *vis à vis*¹³ и все-то удивляется, все-то ахает! «Я россиянин, следовательно, я дурак, следовательно, от меня пахнет», – говорит вся его съезжившаяся фигура.

– *Vous êtes russe, monsieur?*¹⁴ – спрашивают его.

– *Oui-c; да-с, – бормочет сконфуженный россиянин. – Ne désirez vous pas du champagne?*¹⁵

И рад-радехонек, если предложение его принято, ибо тут представляется ему случай предпринять целый ряд растленных рассказов о том, что Россия – страна антропофагов, что в России нельзя жить, что в России не имеется образованного общества и проч. и проч. И откуда что полезет! откуда явятся и юмор, и игривость, и развязные манеры! Да назовите самого заклятого врага, посулите ему какую угодно награду за то, чтоб изобразить гнусность, – никто, ей-богу, никто не устроит этого так живо и осязательно, как путешествующий ради бездельничества россиянин. Эти господа из ёрничества умеют создавать художественную картину; они прилгут, прихвастнут даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы никто и сомневаться не смел, что они действительно гнусны и растленны. Послушать их, так все они сплошь курицыны дети, что на этом зиждутся их политиче-

¹³ соседом.

¹⁴ Вы русский, сударь?

¹⁵ Не желаете ли шампанского?

ские принципы и что это же служит краеугольным камнем их союза семейственного и гражданского.

– Я курицын сын – куда же мне с этакой рожей в люди лезть! – резонно размышляет вояжер-россиянин и, в силу этого рассуждения, извиняется, лезет целоваться и потчует шампанским.

Многие объясняют это явление отчасти легкостью и общительностью славянской природы, отчасти живую потребность самооплевания, которая будто бы составляет основную черту россиян; но я, с своей стороны, думаю, что, помимо двух этих признаков, имеется еще и другая, более глубокая причина, заставляющая наших путешествующих соотечественников пребывать, так сказать, в непрерывном стыде. Я согласен, что общительность есть в своем роде похвальное качество, но не в силах себе представить, чтоб она могла возвышаться до перенесения побоев и пощечин, потому что тут даже и общительности-то никакой нет. Я согласен также, что и потребность самооплевания есть очень живая и притом законная потребность, но не в состоянии вообразить себе, чтоб она могла доходить до наслаждения своим безобразием и до привлечения к такому же наслаждению лиц совершенно посторонних. Не вернее ли видеть в этом явлении некоторый протестующий писк, некоторую самолюбивую, но застенчивую мысль, что «я-то, дескать, парень лихой, а вот соотечественники-то мои – куда плохой народ!». Но об этом я поговорю впоследствии, а теперь расскажу те факты, кото-

рые навели меня на изложенные выше размышления.

Меня навело на них письмо г. Касьянова, напечатанное в 16 № «Дня» и рассказывающее несколько весьма характеристических черт о способах времяпрепровождения русских гулящих людей за границей. Представьте себе, оказывается, что эти ребята ездят за границу совсем не затем, чтобы людей посмотреть и ума-разума набраться, а затем единственно, чтоб стыдиться самих себя и своего отечества! Даже немец, даже какой-нибудь гессен-филиппсталь-баркфельдец, говорит г. Касьянов, и тот скажет вам с гордостью, ткнув себя пальцем в грудь: *hier pocht ein hessen-philippstahlbarkfeldsches Herz*,¹⁶ а русский гулящий человек не только не говорит этого, не только не тыкает себя в грудь, но даже не чувствует в этом ни малейшей потребности, ибо, по видимому, уверен, что там, в этой груди, у него заключается не сердце, а что-то вроде голубиной погадки. Скромность мрачная и даже не имеющая в себе ничего отрезвительного; но если подобная скромная уверенность уже есть, если она однажды уже засела, то я не вижу ничего удивительного в том, что гулящий человек не тыкает себя пальцем в грудь: во-первых, незачем, во-вторых, замараешь палец...

И представьте себе, за такую-то скромность гулящие люди не только что наград не получают, а, напротив того, довольствуются оплеухами и подзатыльниками! И где же? в столице всемирного просвещения, в том самом Париже, который

¹⁶ здесь бьется гессен-филиппсталь-баркфельдское сердце.

русские гулящие люди до сих пор совершенно наивно принимали за второе и даже чуть ли не за первое свое отечество, ибо Россия... что такое Россия? Россия – это не что иное, как несносная и прискорбная оболочка, горьким насильством судеб накинута на просвещенного гулящего человека, тогда как Париж... Париж!., да ведь это *alma mater*,¹⁷ избранная свободною игрою всех инстинктов гулящего человека, это *alma mater*, с которою утроба гулящего человека соединена прочною, почти чугуною пуповиною!

Русских обвиняют в космополитизме, по крайней мере, московские публицисты уже несколько месяцев сряду убиваются, доказывая, как это вредно и как это стыдно, но убиваются, как кажется, с успехом довольно сомнительным. Я не беру на себя права судить, в какой степени справедливо это мнение относительно большинства русских, я думаю даже, что оно совершенно голословно и безосновательно, однако относительно гулящих русских людей в нем есть известная доля правды. То есть не то чтобы люди эти были космополитами в серьезном значении этого слова; гораздо будет правильнее, если мы скажем, что глаза у них прозорливые и завистливые: где бы ни увидали хорошую еду или по части юбок угоды привольные, так туда сейчас и прильнут. Прильнут туда таким образом, что никак их оттолкнуть и не отскоблишь: ни физическими репримандами, ни нравственными подзатыльниками. Это космополитизм желудочно-поло-

¹⁷ мать-кормилица.

вой, имеющий в предмете кровавый ростбиф, Шеве, Вефура и всех стран лореток и совершенно чуждый какого-либо политического оттенка. То есть, коли хотите, он и есть, этот политический оттенок, но исключительно направленный в одну сторону: в сторону целования плечиков. Был во Франции Карл X – русский гулящий человек называл его королем-рыцарем и боготворил; был король Людовик-Филипп – гулящий человек называл его образцом семейных добродетелей и боготворил; наконец, теперь есть император Наполеон III – гулящий человек называет его великим племянником и боготворит. Тут идет речь совсем не о политике, а о том, чтобы около кого-нибудь потереться. Говорят, многие из гулящих людей, ценою невероятных усилий, проникали даже до Гарибальди, и я этому совсем не удивляюсь. Подобно австрийскому поэту Якову Хаму, открытому русским подданным Конрадом Лилиеншвагером, эти люди находили возможность в одно и то же время «воспеть Гарибальди, воспеть и Франческо». Тут вся штука в том, чтобы потереться – это уж такое особенное удовольствие.

И после таких-то сверхъестественных доказательств сочувствия к великим принципам свободы и цивилизации вдруг потерпеть поражение самое постыдное, и потерпеть его даже не в Париже, а в самом Баль-Мабиль, этом третьем и едва ли не самом любезном отечестве русского гулящего человека! Вот что пишет об этом предмете корреспондент газеты «День» г. Касьянов:

Баль-Мабиль очень сочувствует полякам – очень; все гризетки преклоняются пред общественным мнением, вся канканирующая и не канканирующая публика повторяет как истину, о которой уже и не спорят, что Франция, *toujours si libérale, si généreuse*,¹⁸ должна помочь «народу-мученику» и освободить его от варваров... Варвар! Чего не делали мы, чтоб попасть в другой чин, сколько поклонов и миллионов потрачено, чтобы заслужить повышения в европейцы, чтобы своими сочла нас Европа, – ничто не берет! Чуть что заденет ее за живое, все старое выплывает вновь, и опять – «казак», «кнут», «варвар» на языке у каждого француза, от пляшущего на балах Тюильери до пляшущего в Баль-Мабиле. Недавно, говорят, на бале в этом знаменитом заведении толпа окружила одного господина, который почему-то подал ей повод думать, что он русский. «Вон его, вон! – заревела публика, – мы не хотим видеть русских, пусть убирается он к своим казакам, на родные снега» и пр. и пр. Господину этому грозила серьезная опасность: шляпу с него сбили, пинки посыпались в него со всех сторон. «Я не русский, я не русский», – завопил он жалостливым голосом... «Не русский, так кричите: да здравствует Польша!» Господин прокричал, но как-то нерешительно. «Громче, громче!» – повелела толпа. Господин повиновался. «Кто же вы?» – продолжали подозрительно допрашивать его баль-мабильские гости. «Я... поляк...» – «Поляк? Зачем же вы здесь, отчего вы не уеха-

¹⁸ всегда такая свободомыслящая, такая великодушная.

ли драться с русскими?» – «Я поеду, непременно поеду». – «Вон его, вон, вон поляка, который пляшет в Париже, в то время как в Польше дерутся, вон!»... И господина выгнали.

После этого изгнания русских из Баль-Мабилья постиг, как слышно, русских таковой же остракизм и в Прадо, и в Шаго-де-Флер, и в некоторых театрах. Бедные! Пришлось-таки страдать за национальность, от которой всю жизнь отрекались и которой пуще греха стыдились!.. С мальчишками, с воспитанниками политехнической школы – не советую теперь встречаться на улице ни одному русскому. И не только в Париже, даже в Германии; немцы, как картофель на сковороде (?), горячатся и шипят «симпатиями» к Польше, за табльдотами в отелях происходят иногда очень и очень неприятные сцены. Рассказывают, что в Дрездене дети одного русского поселившегося там помещика были вывалены в грязи мальчишками по наущению какой-то польской патриотки. Одним словом, дело дошло до того, что русским, пребывающим за границею и возвращающимся не в самом высшем кругу, приходится на каждом шагу испытывать всевозможные унижения и оскорбления. Конечно, русский человек на обиду снослив, да и брань на вороту не виснет, – но всему есть пределы. Остается или бежать домой, в Россию, или же отречься, стократ отречься от своей народности, – от всякой солидарности с своим народом и своим отечеством!

Г-н Касьянов из всего этого выводит довольно меланхолические заключения; я же, напротив того, более склонен вы-

водить заключения веселые, потому что положительно-таки не понимаю, какое дело России до русских гулящих людей. Я представляю себе физиономию этого господина, который «жалостливым голосом вопил: я не русский! я не русский!», и в сердце мое закрадывается змий сомнения: а что, если парень-то солгал! ах, страм какой! И не потому меня так ужасает эта идея, чтобы я вообще не одобрял лганья, – нет, я, на основании многих свидетельств истории, очень понимаю, что лганье, употребляемое в приличном количестве, придает даже речи особенный острый вкус, особливо если при этом не забудешь прибавить «да будет мне стыдно», – а потому, что как же это человек до того растерялся, что и солгать-то как следует не сумел! «Я – поляк...» – пропищал этот странствующий рыцарь, когда за него принялись поплотнее, и, конечно, не только не оправдался в глазах канканирующего мира, но еще более обвинил себя. «Ты поляк... и танцуешь!» – воскликнули негодующие гризетки и, само собой разумеется, принялись за него еще плотнее. Сбили с него шляпу и не позабыли наградить пинками: «Это за то, что ты варвар и угнетатель русский, а вот это за то, что ты танцующий поляк». Одним словом, человек, по милости своей опрометчивости, одновременно получил возмездие за две национальности. То-то он изумился! А между тем дело могло бы кончиться весьма просто и даже не безвыгодно для него, если бы он не лгал, а просто-напросто заявил канканирующему миру настоящую истину. Например, если бы он сказал: «Messieurs!

я не русский и не поляк – я просто желудочно-половой космополит»; он сказал бы сущую правду и в то же время обезоружил бы негодующих гризеток. В самом деле, ведь это все равно как бы он сказал: «Господа! вы ошибаетесь, я просто гороховый шут!» Разве есть такая нация? разве есть такой народ, который бы называл детей своих гороховыми шутами? Гризетки потолковали бы между собою, переглянулись бы, да и пошли бы себе канканировать как ни в чем не бывало. И бока были бы целы, и отечество осталось бы в стороне.

Вот как вредно и невыгодно бывает лгать без размышления, лгать, не взвесивши предварительно, какие может иметь для нас последствия ложь, по-видимому, даже самая правдоподобная.

Воображаю я себе, какую ужасную ночь должен был провести этот русско-угнетающий-поляко-канканирующий космополит! Как он явился без шляпы в свой отель? Что он должен был отвечать на вопрос строгого прислужника: «Каин! куда ты девал свою шляпу?» Упорствовал ли он в системе лганья, отвечал ли: «Служитель! я потерял мою шляпу в борьбе за отечество!» – или же предпочел быть откровенным: «Так и так, братец, солгал – и за то пострадал!» – и при этом подарил служителю сто франков, чтоб только он молчал? Есть ли у этого гулящего человека семейство? с какими глазами явился он, без шляпы, к жене и детям после такого неожиданного реприманда? Слег ли он в постель или на другой же день как ни в чем не бывало отправился в Шато-де-

Флер или в Прадо и там в другой раз получил потасовку?

Все эти вопросы невольно толпятся в моей голове, и если я не разрешаю их, то вовсе не потому, чтобы они не были интересны с психологической точки зрения, и не потому, чтобы мне было чего-то совестно, а просто потому, что такое разрешение увлекло бы меня слишком далеко.

Но, независимо от изложенных выше веселых выводов, рассказанный г. Касьяновым факт наводит еще и на другие мысли. Признаюсь откровенно, он даже удивляет меня. Я очень хорошо понимаю, что русские гулящие люди времен Фонвизина и даже Гоголя имели какой-то повод стыдиться и вообще относиться к своему отечеству с обидным равнодушием. У них были на это свои резоны – положим, ложно понятые, – но все-таки резоны. У них не было гласности, а об самоуправлении в то время и понятия никто не имел. Самая устность была, так сказать, в зародыше, по которому нельзя было даже судить, что из нее выйдет: что-нибудь благопотребное или же совсем непотребное. Лишенный всех этих благ, человек чувствовал себя одиноким, оторванным от своей родины. Он не имел сочувствия ни к успехам, ни к бедствиям ее, потому что и те и другие равно до него не касались. Он говорил себе: разве я тут при чем-нибудь состою? разве это мое дело, что я из-за него распинаться должен? – и этими размышлениями оправдывал себя. Положение безнравственное, почти невероятное, но его можно было объяснить.

Возьмите, например, путешествующего англичанина: он везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной тип со всеми его сильными и слабыми сторонами. Почему он так поступает? а потому именно, что знает, во-первых, что тип этот нечто выработал не только для своей родной страны, но и в общечеловеческом смысле, и, во-вторых, что он сам лично в этой общей работе совсем не пятая спица в колеснице, а, напротив того, прямой ее участник и делатель.

Подобное же явление, разумеется в своеобразной сфере, повторяется и у нас, а именно в сфере мужицкой. Русский мужик точно так же является простым и непринужденным, и точно так же не придет ему в голову стыдиться того, что он русский. И все потому же, что он занят делом, что он чувствует себя необходимым деятелем в русской семье.

Один гуляющий русский человек шатается без дела и не может ни к чему себя приурочить. В отношении к иностранцам он чувствует, что как будто что-то украл; в отношении к своим чувствует, что как будто что-то продал. Одинокое носится он с своим чревом по Европе, приводя в изумление своей плотоядностью и веселой похотливостью своих нравов...

Повторяю: все это было понятно во времена Фонвизина и даже не лишено смысла во времена Гоголя. Но теперь это просто удивительно. Теперь у нас существует гласность, и притом гласность самая полная, ничем не ограничиваемая, кроме цензуры; у нас совершилась, без разговоров, одна из

величайших реформ, какие в других странах никогда без разговоров не совершались; у нас обнародованы основные положения устного и гласного судопроизводства; у нас, того гляди, будет самоуправление – чего еще надо? Какие можем мы принести оправдания? Можем ли сказать, что у нас скучно, – нет, нам укажут, что в одном Петербурге развелось прошлой зимой до 60 танцклассов, и что никто не препятствует завести таковые в Корчеве и в Арзамасе! Можем ли сказать, что мы стеснены, – нет, мы имеем право хоть целый день проводить в халате! Можем ли сказать, что наше возрождение дело нам чуждое, что нас не привлекают и т. д., – нет, мы имеем право и беседовать, и даже излагать свои мысли письменно... но в пределах благоразумия, государь мой! но, разумеется, в пределах благоразумия!

Да-с; однако и за всем тем, по свидетельству г. Касьянова, русский гулящий человек продолжает вести себя столь же неодобрительно, как бы ничего сего не произошло. Неужели же не проймешь его никакими гласностями, никакими реформами? Неужели никакие возрождения, никакие усилия не прольют живительного луча в его занемевшее сердце? Неужели мы и впрямь дадим Н. Ф. Павлову повод злорадно восклицать в своей убогой газетке: ну вот, и дали! ну вот, и дали!

Что бы такое сделать, чтобы удовлетворить скучающих гулящих русских людей, – я просто недоумеваю... Реформу, что ли, какую-нибудь новую сочинить, или какую-нибудь из

старых реформ уничтожить – право, уж и не знаю. Но, принимая в соображение, что здесь нужно иметь в виду преимущественно элемент чревно-половой, я полагаю, что самым лучшим способом удовлетворения представляется еда какая-нибудь необыкновенная, или же вот если бы всю Россию можно было превратить в сплошной танцкласс. Тогда, надо думать, гуляющие русские люди сидели бы дома, а не носились бы с своим чревом по чужим странам.

Но факт этот до такой степени замечателен, что я решительно не могу отстать от него, не разъяснивши его до конца. Известно, что, с легкой руки г. Тургенева, современное русское общество распалось на две половины: «отцов» и «детей»; поэтому для меня очень любопытно знать, к которой из этих двух враждующих сторон принадлежал тот русский, который в Баль-Мабиле понес наказание за грехи двух национальностей. К сожалению, г. Касьянов ни слова не говорит об этом, но я надеюсь, с помощью некоторых наведений, восстановить истину в настоящем ее виде.

Первый признак, который останавливает мое внимание, – это место происшествия, Баль-Мабиль. Кто из русских оказывает более склонности посещать подобные увеселительные собрания? Говоря по совести, таковую склонность преимущественно оказывают «отцы» или же такие «дети», которые, так сказать, сделались «отцами» в самую минуту своего рождения. Догадку эту я основываю на том общеизвестном факте, что в «отцах» в особенности было развито чув-

ство изящного, развито даже в ущерб другим деятелям человеческого организма. Рядом с этой потребностью изящного, и как бы последствием ее, являлась чувствительность сердца, способность воспаляться при малейшем намеке на существо другого пола. Само собой разумеется, что такой воспламеняемости весьма много способствовало крепостное право, которое давало возможность удовлетворять ей почти без всяких препятствий. Постоянно питаемая и изоцряемая, она наконец приобретала тот характер устойчивости и чуткости, который делал «отцов» способными и достойными во всякое время и во всяком месте. Теперь представьте себе такого способного человека, вдруг очутившегося вне сферы крепостного права, где-нибудь за границей. Что он должен делать, чтобы и туда перенести весь тот комфорт, которым привык наслаждаться у себя дома, где-нибудь в сельце Загибеевке? Красноречием он не обладает, убеждать не умеет, шаркать ножкой не обучен. Чтоб выполнить все это, он должен действовать посредством денег и обращаться с своими предложениями туда, где таковые принимаются с охотою. Более злачного в этом смысле места, как Баль-Мабиль, едва ли найдется что-либо в целом мире: это уж такой приют, где изящное добывается без всяких затруднений, с помощью одного презренного металла. Поэтому-то русские «отцы» так и любили посещать это место; оно напоминало им родную Загибеевку, с тем только различием, что в Загибеевке для них достаточно было мания руки, а в Баль-Мабиле

они были обязаны предъявлять доказательства более уважительные. Во всяком случае, «отцы» доказывали совершенно осязательно, что с помощью ли мания руки или с помощью денег, но устроить крепостное право, где бы то ни было, для них ничего не значит.

Никакими подобными качествами «дети» не обладают: ни сильно развитым чувством изящного, ни чрезвычайными в этом смысле способностями. Крепостное право, которого благами они не успели насладиться, подействовало на них отрицательно, то есть возбудило отвращение к началу, питавшему его, в каких бы формах оно ни высказывалось. Это народ не только не посещающий танцклассов, вроде Мабилы, но вообще малообщительный. Они больше всего любят беседовать с приятелями, и преимущественно беседуют о светопреставлении. Это последнее занятие до такой степени неподозрительно, что даже люди сведущие и опытные, специально занимающиеся устранением подозрительных занятий, и те находят, что это ничего, допустить можно! «Лишь бы о текущих-то вопросах не рассуждали, лишь бы на практическую-то арену не выходили!» – говорят эти опытные люди и сладко вздыхают, видя, как кротко выносят «дети» невзгоды жизни и как они убиваются над поднятием таинственной завесы будущего. Как бы то ни было, составляет ли все это достоинство «детей» или их недостаток, во всяком случае, происшествие, случившееся в Баль-Мабиле, их не касается, потому что их там не было.

Второй признак, останавливающий мое внимание, заключается в том, что неизвестный отрекся от своей национальности. Во-первых, это ложь, к которой «дети», по наивности и сердечной простоте, совсем не способны, во-вторых, это, наконец, глупость. Уверять в глаза целый канканирующий мир, что я не я, – воля ваша, а это даже не просто ложь, но ложь глупая и притом бесполезная. «Дети» не в состоянии прибегнуть к ней уже по тому одному, что такая штука совершенно противна очевидности. «Отцы» в этом отношении были гораздо в более выгодном положении; они могли притворяться чем угодно, во-первых потому, что никто с них за это не взыскивал, во-вторых потому, что и власть у них большая была. «Ванька! я шах персидский?» – «Шах персидский-с». – «Ан врешь, я турецкий султан!» – «Турецкий султан-с». И таким образом, они могли воображать себя чем хотели, и никто им на это не возражал: мудрено ли, что это обратилось им наконец в привычку? Напротив того, «дети» лишены этого подспорья и потому поневоле обязываются быть тем, чем их создали обстоятельства. «Дети» не стыдятся своего отечества уже по тому одному, что относятся к нему рационально, то есть принимают его так, как есть, со всем его хорошим и дурным. Как то, так и другое они и себе объясняют и другим объяснить могут, а известно, что при помощи объяснений все излишнее, напускное, все ореолы, равно как и мраки, исчезают сами собою, и остается одна истина, которая никогда человеку противна быть не может.

«Дети» не скажут, что мы, дескать, шапками всех забросаем, но вместе с тем и не полезут целовать плечико...

Да, это «отцы», это они – те гулящие русские люди, которые даже в Баль-Мабиле не умеют канканировать с достоинством, это те самые, которые всякому кондуктору на железной дороге готовы сказать «ваше превосходительство», это те самые, которые потчуют шампанским и из ерничества умеют создавать живые и художественные картины...

Другой анекдот из жизни русских гулящих людей за границей рассказывает «Современная летопись» (№ 12). Дело идет о двух знатных русских дамах, которые до того увлеклись каким-то доктором сомнамбулизма, уроженцем русской Польши, Ольцинским, называвшим себя Лондинским, что в течение каких-нибудь шести лет доверили ему сумму, превышающую два миллиона франков. Да не подумает, однако ж, читатель, что такая почтенная цифра была вручена Лондинскому так, ради приятных его манер; нет, русские дамы руководились при этом глубоким расчетом; они страстно желали разбогатеть и потому отдавали свои деньги верному человеку, точно так же не задумываясь, как во время оно, не задумываясь же, затратили бы значительные суммы на отыскание философского камня!

Желание приумножить капиталы может иметь и выгодные и невыгодные последствия для лица, которое им обуреваются. Но для того, чтоб они были выгодны, необходи-

мо прежде всего в подробности рассмотреть, в чем заключается то предприятие, на которое решаешься. Например, если б в настоящее время воскресло знаменитое в свое время «общество для заводской обработки животных продуктов» и если б сам Василий Александрыч Кокорев заверял, что это предприятие отличное, я никак не решился бы рискнуть своим капиталом даже в таком случае, если б таковой у меня и был. Потому, не натуральное это дело. Во-первых, завода или совсем не выстроят, или выстроят такой, в котором ни дверей, ни окон, ни печей, ни труб нет; во-вторых, скота или совсем не купят, или купят такой, который не имеет ни жиру, ни мяса, ни кожи; в-третьих, наконец, если и пустят кой-как дело в ход, то прибыли от него пойдут на обеды да на овации, а мне, как акционеру, все-таки не попадет ничего в карман. Зная все это очень твердо и принимая притом в соображение, что «миллиард в тумане» все-таки еще не «миллиард в руках», я всякой сирене, которая бы предприняла улащать меня подобными предложениями, отвечал бы кратко, но сильно: «Vade retro, satanas!»¹⁹ То есть, быть может, я и дам что-нибудь этой сирене на бедность, но дальше гривенника и в этом смысле все-таки не пойду!

Знатные русские дамы всё это забыли и – что больше всего – выказали себя самыми сомнительными патриотками. Если они непременно желали потратить свои два миллиона франков, если потеря эта составляла для них удовольствие,

¹⁹ Изыди, сатана!

то почему они не устроили такого дела в отечестве? почему они не отдали своих денег в упомянутое мною общество заводской обработки животных продуктов, или в общество водопроводов, или в общество «Кавказ и Меркурий»? Я совершенно уверен, что общества эти приняли бы их вклады с благодарностью и тут же проглотили бы их так, что и следа потом бы не сыскать.

Но они предпочли истратить деньги в столице цивилизации и вверили их Лондинскому, который, как славянин по происхождению, поспешил доказать им, что, имея с ним дело, они поступают точно так же, как бы находились в своем отечестве.

И действительно, предприятия, которыми Лондинскому удалось увлечь русских дам, имеют характер совершенно отечественный. Это серебристо-свинцовые рудники на острове Сардинии (*Domus nova* и *Domus di Maria*²⁰), это несуществующий банкирский дом в улице Рише. Надувательство поражает своею легкостью и простотою. Никто ни о чем не спрашивает, никто ни в чем не сомневается. Лондинский приходит к некоторому проходимцу Лемете и откровенно говорит ему: хочешь получить несколько миллионов русских рублей? Разумеется, Лемете соглашается, является с Лондинским под видом капиталиста к знатым русским дамам, получает от них несколько миллионов рублей, а им взамен того объявляет, что они имеют честь быть основательницами

²⁰ Новый дом и Дом Марии.

несуществующего банкирского дома Лемете и Лондинского, № 26, улица Рише.

Пришли, понюхали и ушли. Ждут русские знатные дамы день, ждут другой – нет Лондинского, нет Лемете! Что ж, может быть, они удержаны нездоровьем, а может быть, даже заботами об интересах своих клиенток? Увы! оказывается нечто худшее: оказывается, что и тот и другой – переодетые мошенники, что *Domus nova* – пуф, *Domus di Maria* – заблуждение, а банкирский дом в улице Рише – просто милая шутка, имеющая целью исследовать, до каких границ может простираться простодушие русских дам.

И вот в исправительном трибунале департамента Сены разыгрался последний акт этой драмы. Лондинский бежал в Россию и к довершению всего пишет оттуда успокоительные письма, удостоверяющие, что все его кредиторы будут удовлетворены. Однако на сей раз русские дамы не поверили и подали на доктора сомнамбулизма жалобу. Исправительный трибунал решил: 1) Лондинского заключить на 5 лет в тюрьму и взыскать с него пени 3000 фр. (заочно); 2) Лемете заключить в тюрьму на 15 месяцев и взыскать 500 фр. пени и 150 000 фр. в пользу истиц. О прочих дамских претензиях трибунал предоставил вестись особо.

Вот какое происшествие случилось с русскими знатными дамами в столице цивилизованного мира. Оказывается, что русские дамы, столь гордые в своем отечестве, что считают для себя унижительным сообщество людей среднего рода, за

границей оставляют свою кичливость и являются более ласковыми. Это и естественно, потому что ведь за границей не то, что у нас; за границей каждый колбасник есть урожденный философ, и каждый парфюмер – урожденный политико-эконом. А куаффёры! душки куаффёры! а этот милый французский жаргон, посредством которого можно всякую пакость таким образом выразить, что от нее повеет совсем не пакостью, а благоуханием! Согласитесь, что ведь нельзя же и не ласкать-то подобных людей!

Я не знаю, что сказали, прочитав этот факт, учредители бывших воскресных школ и члены общества распространения бесполезных книг; я не знаю, облизнулись ли они, подумали ли: «Эх, кабы этакую-то сумму да нам! каких бы мы дел наделали!» Но я знаю наверное, что учредители русских «Domus di Maria» именно облизнулись и совсем не шутя возроптали, что вот всё иностранцам да иностранцам, а нас все-таки мимо да мимо!

<V. Сентябрь 1863 года>

Опять возвращаюсь к тебе, читатель, но заранее прошу не сетовать на меня, если я буду говорить уже не тем спокойным и беспечным тоном, каким говорил до сих пор. Это истина всем известная, что «Современник», в котором я пишу мои заметки, бывает здоров и цветущ только тогда, когда небо безоблачно, когда фонды на бирже стоят твердо и в обществе возникают веселые вопросы и вопросцы ко благу общему. Но он бывает тощ и беден, когда небо стоит грозное, когда в делах и предприятиях царствует застой, а вопросы и вопросцы прячутся в самую глубь общества, словно боясь, чтобы не окатило их холодным ливнем. В такое неблагоприятное время светлые литературные ручки возмущаются, и на поверхности их появляется неизвестно откуда берущаяся негодная накипь; в такое время над словесною нивою реют жадные стада литературного воронья и строго блюдут за чистотой русской мысли и языка; темные духи, когда-то осмеянные и опозоренные и вследствие того скрывшиеся на дно горшка, вновь заявляют о своей живучести, вновь выползают из темниц и, появившись на свет божий, припоминают старые счеты; забытые кучи завалявшегося хлама начинают двигаться и вопиять о поруганных правах своих... Понятно, что простой и невинный литературный орган, как «Современник», орган, чуждый каких бы то ни было политических

соображений и преследующий одну цель – исправление нравов, не может не чувствовать себя неловко на этом странном пире, где царствует ревнивое соглядатайство и шумным потоком режут праздные речи. Он должен оглядываться и взвешивать каждое свое слово; он должен стараться только о том, чтоб эта кратковременная фантазмагория как-нибудь не задела его, чтоб она поскорей прошла мимо, как те бичи, которые по временам проходят над человечеством в виде повальных болезней, голода, войны и пр. Но что он может еще позволить себе – это обдумывать на досуге средства, чтобы сделать повторение подобных явлений невозможным или, что равносильно, безвредным.

Тем не менее, как ни горько зрелище такой повальной нравственной и умственной смуты, в нем есть, однако же, своя сторона поучительная, и даже утешительная. Поучительность его заключается, во-первых, в том, что оно научает с меньшею строгостью относиться к людям, занимающимся так называемыми «вопросцами». Сами по себе эти «вопросцы» имеют вид пустяков, да в сущности и составляют совершеннейшие пустяки, но по соображению с другою деятельностью, развивающеюся вне этих пустяков, они все-таки представляют нечто похожее на содержание, а положительно-полезная их сторона заключается в том, что занятие ими приучает людей с гадливостью смотреть на мир бездельничества и сплетен. Я сам не раз склонен был признать призрачную ту крохотную и произвольную хлопотню, которой

предавалась наша литература за последние семь лет, но теперь, видя на деле, какие выползают на место ее из нор чудовища, я готов принести искреннее раскаяние и усердно вопиять ко всем нашим лилипутам гласности и устности: «Что ж вы уныли, милые дети? дерзайте, заглушите вашим дружным писком московский концерт чревоугодничества, который так оглушительно перекачивается из одного конца России в другой». Во-вторых, это зрелище, примиряя нас с вышеупомянутыми лилипутами, в то же время научает быть более строгими к тем действительным источникам злокозненности и ехидства, относительно которых мы всегда были слишком робки и податливы. Это вообще с нашей стороны большая и непростительная ошибка; когда уличенное ехидство стушевывается перед нами и просит прощения, мы охотно верим его раскаянию и, вследствие ли презрения или вследствие преступной небрежности, еще охотнее набрасываем покров забвения на прошлое. Но ехидство не умирает; таясь под пеплом, оно сильнее, нежели когда-нибудь, питает огни злобы и ненависти и ждет только первой нашей оплошности или первой несчастной случайности, чтоб выйти наружу. Теперь, искушенные опытом, мы будем знать, что ехидство никогда не раскаивается, что, следовательно, его необходимо преследовать до тех пор, пока оно не испустит дух свой. Что касается до утешительной стороны зрелища, то она очевидна. Взгляните, какая алчная нерасчетливость в действиях этих темных сил, так неожиданно для самих се-

бя всплывших наверх, какая варистая торопливость в движениях, какое жадное нетерпение насладиться хоть одним моментом нечаянного торжества, выразить и заявить разом всю желчь и ненависть, которые накопились ценою долгого и мучительного плена. Они сами не рассчитывают на продолжительное торжество и потому спешат, спешат упиться темною сырою ночью, по стечению горьких обстоятельств временно заменившею веселый, ясный день. Уймутся дожди, просветлеет хмурое небо, и все эти пузыри лопнут, все эти белые, здоровенные дождевики позеленеют и обратятся в прах... Согласитесь, читатель, ведь признаки эти слишком ярки, чтобы не считать их утешительными.

Да; много вреда принесла за собой польская смута для той части русского общества, которая жаждала только спокойствия, чтоб развиваться и воспитывать себя к той свободе, которая одна представляет прочный и плодотворный залог будущего преуспевания. Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России, но вред ее, и вред весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло все выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет...

Но так как вопросы политики не входят в область нашего фельетона, то мы и оставим их в стороне, а займемся теми общественными проявлениями, которыми ознаменовало себя прошедшее лето.

Несколько месяцев сряду Россия занималась составлением адресов, которые стекались в Петербург со всех концов России, и всё в разных формах. Факт многозначительный, доказывающий, что дух русского народа не только не ослабеваает, но наипаче мужает. Узнав об этих адресах, Европа заметно остепенилась и таким образом была сугубо побеждена без помощи оружия. Стало быть, польза от составления адресов очевидна, и нет сомнения, что средство это будет употреблено и на будущее время в подобных же обстоятельствах (что повторение этих обстоятельств не невозможно, в том нам служит порукою та зависть, ощущаемая Европой при виде тишины и спокойствия, которым наслаждается Россия).

Все адреса были более или менее замечательны, как по внутреннему своему содержанию, так и по красоте слога, но для «Современника», как журнала, всего больше интересующегося судьбами молодого поколения, разумеется, родственнее других было заявление студентов Московского университета по поводу польских смут. Это, можно сказать, самый крупный перл нашей общественной жизни, и потому я приступаю к нему не без волнения.

Если я не раз указывал на тот неправильный смысл, кото-

рый придавался слову «благонамеренность», то это происходило совсем не потому, чтобы я придавал этому слову ироническое значение или хотел изгнать его из употребления, а потому единственно, что сан «благонамеренных» выказали люди, не имеющие на то никакого права. Теперь она сошла к нам, действительная и неподдельная, и я первый преклоняю перед нею мою голову.

Да, она сошла к нам, но не в блеске четвертаковых молний и не в громе необульгаринских бурь: нет, она выбрала себе своего рода ясли в «Дне» и стала перед нами скромная и даже немного стыдящаяся. Великое явление избрало для себя сосуд скудельный и малый, но это так и следует. Малое болото не служит ли началом великой реки? Малое куриное яйцо не является ли хрупкимместищем будущего великого петуха? в слоне-ребенке не усматривает ли прозорливый наблюдатель будущего слона-великана, которому суждено сойти с ума в Москве? Всё это факты достоверные, засвидетельствованные наукой, а если мы припомним к тому, что от копеечной свечи Москва загорелась, что многие люди очень малые являются творцами пакостей поистине великих, то смысл того, что совершилось прошедшим летом в «Дне», делается для нас вполне ясным.

Тут есть предопределение, есть рок. Неисповедимое в путях провидение для того, конечно, избирает «сих малых» орудиями своих предопределений, чтобы посредством их разительнее подействовать на сильных и великих. Сосуд золо-

той, но пустой, по мнению моему, менее приятен, нежели сосед его, хотя и слепленный из скромной глины желтой, но содержащий в себе драгоценную влагу. Гордый конь, носящий на хребте своем не менее гордого всадника, в глазах моих далеко не приносит той пользы, как собрат его, конь вороной, который вывозит навоз на поля да вдобавок еще, вместо всякого гонорария, получает за свой труд одни побои. Зная это, и золотой сосуд, и гордый конь будут и сами меньше кичиться своими минутными достоинствами. Конечно, прибегая к этим сравнениям, я знаю, что говорю вздор, потому что ни золотой сосуд, ни гордый конь ничего знать не могут, но, с одной стороны, если «День», для объяснения своей теории народности, имеет право употреблять фигуру Русляндии, фигуру взволнованной души, фигуру всеславянского уязвления и, наконец, самую драгоценную из фигур, – фигуру форейтора,²¹ то почему же мне не позволить себе прибегнуть к фигуре золотого сосуда и гордого коня! А с другой стороны, хотя ни золотой сосуд, ни гордый конь не мо-

²¹ В одной из своих руководящих статей (в 1862 году) «День» сравнивал Русляндию (это особенная развеселая страна, которую открыли славянофилы и жители которой поклоняются Момусу) с форейтором, который, не чувствуя, что построжки, привязывавшие выносных лошадей к экипажу, давно лопнули, мчитесь сломя голову вперед и вперед. Натурально, экипаж (экипаж представляет собою «древнюю, православную, святую нашу Русь») загруз, и Русляндия, налетевши на косогор, вывихнула себе шею. Положение драматическое, но для обеих сторон равно непользительное. Замечательнее всего, что Русляндия постоянно обвиняется в том, что она без оглядки скачет «вперед»... Каков скакун! (Прим. М. Е. Салтыкова.)

гут иметь никаких таких соображений, какие мною сейчас высказаны, но несомненно, что если б они могли их иметь, то провидение явило бы в этом случае новый пример своей неисповедимости.

Еще за неделю до самого события «День» уже заявлял, что студенты Московского университета имеют намерение публично очистить себя от наветов; он говорил, что наступила наконец пора объяснить словом и делом наглую и дерзкую ложь публицистов, которые посеяли столько подозрений и раздора в русском обществе и разъединили русскую учащуюся молодежь; он говорил и еще много кой-чего, он приветствовал, ободрял и обещал свое содействие. Понятно, с каким напряженным нетерпением ожидал я появления возмущенного документа.

Он появился на страницах 21 № «Дня», и читатели «Современника», конечно, не посетуют на меня, если я поделюсь с ними самим текстом заявления представителей московского учащегося молодого поколения. Вот он вполне!

Нижеподписавшиеся студенты и слушатели Московского университета утвердили, подписали и вручили редактору «Дня» для хранения следующее заявление:

«Возмущенные теми оскорбительными надеждами, которые враги России осмеливаются возлагать на Русское молодое учащееся поколение, – мы, студенты и слушатели Московского университета, громко, пред лицом и во всеуслышание всей России, чувствуя всю

нравственную важность своего поступка, – объявляем следующее:

1) Никогда и ни в каком случае не станем мы рознить с Русским народом. Его дело – наше дело; его знамя – наше знамя. Мы Русские. Нам дорога кровь наших братьев; нам дорога честь и величие России; нам свят завет нашей истории, целость и единство русской земли. Не учить народ, а служить народу, проникаться началами русской народности и явиться самостоятельными русскими деятелями в науке и в жизни – вот как понимаем мы наше призвание. Всякий, поднимающий меч на Россию, есть враг ее, враг Русского народа; всякий, призывающий к насилию и измене и наглым образом возбуждающий народ к кровавой смуте, хотя бы под предлогом свободы, – есть враг его; всякий, накликающий беды на Русскую землю, не уважающий ни нравственных, ни исторических принципов Русского народа и посягающий на его самостоятельное развитие, есть враг ему, враг России.

Враг русской земли и русского народа – наш враг.

2) Мы не питаем ненависти к польскому народу; мы уважаем патриотизм польской нации; мы желаем свободного, самостоятельного развития для Польской народности, но лишь под тем единственным условием, чтоб свобода Польши не стала неволею для России. Мы не отрицаем той доли неправды, которая могла быть относительно Польши с нашей стороны; но мы не только не признаем каких-либо прав Польши на Западный и Юго-Западный край России, но готовы,

вместе со всем русским народом, отстаивать до последнего издыхания неприкосновенность русской земли. Вопли и стоны польской шляхты, оглушающие слух Европы, не могут заглушить для нас вековые мужицкие стоны, стоны угнетенного польскою шляхтою, польскою цивилизацией и латинством малорусского и белорусского народа.

3) Мы считаем, что в настоящее, трудное для России время долг каждого русского – отложив в сторону неудовольствия, расчеты и пристрастие к тем или другим политическим теориям, – есть долг непоколебимой верности русской земле и тому, кого она признает своим представителем, кому вверила оберегательство своей чести и целостности, кому вручила свои судьбы.

Да, безусловная честность в исполнении долга, безусловная преданность русской земле, безусловная верность русским народным началам, полное согласие с русской народной мыслью и русским народным чувством – вот наша гражданская заповедь.

Студенты и слушатели Московского университета.
(Следуют 200 подписей)».

Прекрасно. Просто, не суесловно и вместе с тем не лишено сознания собственного достоинства. Чувствуешь, что здесь именно заключена действительная благонамеренность; сознаешь, в каком унынии должны находиться опасные московские публицисты, которые одни мнили себя быть благонамеренными и вдруг увидели, что простым и едва начина-

ющим учиться юношам стоило только захотеть, чтобы сразу оставить их позади и явиться истинными форејторами русской цивилизации. И заметьте, ведь не адрес, а заявление – такая тонкая и деликатная черта! какой шаг вперед!

Но чтобы читатель не обвинил меня в пристрастии и преднамеренной похвале, я нахожусь вынужденным разобрать это замечательное «заявление» несколько подробнее.

Прежде всего, что значит «заявление»? почему не «адрес»? Не доказывает ли эта необычная и произвольно вами измышленная форма, что вы еще недостаточно смирились, что в вас действует дух гордости и любоначалия? Вы хотите очиститься от злых наветов и оскорбительных надежд – ну, и очищайтесь вполне, не останавливайтесь на половине дороги, не говорите себе: хорошо, кабы нам очиститься, но как бы это подешевле устроить! Вы видите, что вся Россия изъясняет о своих чувствах посредством адресов – отчего же вы одни хотите выйти из ряду вон? отчего вы одни хотите идти не прямо, а боком? Если это оригинальность, то не надо забывать, что и оригинальность не всегда бывает уместна; грустнее же всего то, что враги ваши могут истолковать ваш поступок робкими позывами фальшивой стыдливости, прикрывающей не остывшую еще гордость и любоначалие. Я знаю, что ничего этого нет и что вы только по неопытности сделали такой промах, но ведь это знаю только я да И. С. Аксаков. В сущности, ваша прекрасная цель легко может остаться недостигнутою, и тогда «пропали хозяй-

ские горшки»; вы по-прежнему останетесь под игмом наветов и несправедливых подозрений, и по-прежнему публицисты будут иметь основание рассеивать свою дерзкую ложь. Я не ручаюсь даже, что и теперь некоторые из них, прочитавши ваше «заявление», не сказали: «Эге! да они хваты!»

«Возмущенные теми оскорбительными надеждами, которые враги России осмеливаются возлагать на Русское молодое учащееся поколение, – мы, студенты и слушатели Московского университета, громко, перед лицом и во всеуслышание всей России, чувствуя всю важность своего поступка, – объявляем следующее». – Период прекрасный, замечательный, как совокупною своею правильностью, так и соответствием всех своих частей; орфография тоже весьма удовлетворительна, кроме того, что слова «московский», «русский» пишутся с прописных букв: это без всякой нужды пестрит печать (но, с другой стороны, если такое правописание есть плод патриотических чувств, то в этих видах можно и его допустить, как исключение). За всем тем нельзя не заметить следующего: 1) употребление рядом таких однозначных слов, как «громко» и «во всеуслышание», называется амплификацией; хотя подобный оборот речи и был нередко употребляем газетою «День», но всегда без успеха; 2) говорить «перед лицом и во всеуслышание всей России» могут лишь те, которые имеют, так сказать, официальное на сие полномочие;

И. С. Аксаков хотя и порывался неоднократно присвоить

себе такое полномочие, но попытка его была признана Россией за дебош и никакого успеха не имела. Надо быть скромными, молодые люди! надобно прежде заслужить! Ибо, что же в том будет хорошего, если Россия, к которой вы так за просто обращаетесь, скажет: «А кто же вас знает, откуда вы взялись!» Ничего тут хорошего не будет. Мы, русские, потому и слышем добродетельными, что обделываем свои дела промежду себя, и потом заявляем о том куда следует, твердо памятуя, что самолюбие в этих случаях может лишь испортить дело, а не украсить его. Поэтому я надеюсь, что если вам на будущее время придется писать подобное же заявление, то вы напишете его в форме адреса, а это доставит вам возможность избежать слишком самолюбивых фраз.

«Никогда и ни в каком случае не станем мы рознить с Русским народом. Его дело – наше дело, его знамя – наше знамя. Мы Русские». Прекрасно. Периода нет, но отрывистость речи оправдывается отрывистостью чувств, и в некоторых случаях наукою о словосочинении не токмо не возбраняется, но даже поощряется. Относительно орфографии замечание то же. Сверх сего, я должен заметить, что молодым людям на всякий случай следовало объяснить более обстоятельно, в чем, по их мнению, заключается «дело и знамя русского народа». Ибо насчет этого в узаконениях прямых указаний не имеется, а ученые специалисты находятся по этому случаю в постоянном друг другу противоречии и даже во взаимной вражде. Одно знамя вручает русскому народу г. Чи-

черин, другое – г. Аксаков, третье – г. Катков. Наконец, г. Краевский полагает, что можно и совсем без знамени, а делай, что приказано, – ведь и это тоже своего рода знамя. Среди этих многочисленных «предложений услуг» русский народ теряется и не знает, за какое знамя ухватиться, но кажется, что до сих пор он всего умильнее посматривает на знамя г. Краевского. А потому, при недостатке с вашей стороны объяснений, злонамеренные люди могут вывести заключение, или что вы придерживаетесь знамени А. А. Краевского, или что вы сами еще хорошо не знаете, о чем говорите и к чему прилепляетесь. Я знаю, что ничего этого нет и что вам отлично известно, какое такое это «дело и знамя русского народа», но все-таки считаю необходимым предостеречь вас для того, чтобы вы действительно могли очистить себя от наветов и оскорбительных надежд.

«Нам дорога кровь наших братьев; нам дорога честь и величие России» и т. д. В последнем случае следовало сказать не «дорога», а «дороги», ибо «честь» и «величие» представляют два понятия отдельные, а потому и относящиеся к ним прилагательное должно быть употреблено во множественном числе. Все прочее безукоризненно.

«Не учить народ, а служить народу, проникаться началами русской народности и явиться самостоятельными русскими деятелями в науке и жизни – вот как понимаем мы наше призвание». Прекрасно, тем более что это говорят ученики Б. Н. Чичерина, с своей стороны написавшего прекрасную

статью о «народности в науке», в которой доказывается, что «народность в науке» есть понятие отчасти алхимическое, отчасти астрологическое. Очевидно, что в сердцах юношей боролись разом две признательности: одна к И. С. Аксакову, преподававшему им искусство писать высоким слогом, другая – к блестящему профессору Московского университета. От этого в них горит, с одной стороны, желание служить русскому народу и проникаться его началами, с другой стороны – желание самостоятельности; явное противоречие, из которого молодые люди не выпутались только по неопытности. Но не будем слишком привязчивы и обратим внимание на сущность дела. Проникайтесь, молодые люди! понимайте ваше призвание! но повторяю: не будьте самонадеянны! Берегитесь этого яда, который уже огорчил Россию славянофилами! Что вы такое совершили, чтобы иметь право с уверенностью говорить о том, куда вы пойдете и какими явитесь деятелями в науке и жизни! А может быть, вы явитесь деятелями не в науке, а в танцклассах! а может быть, даже и в танцклассах вы пройдете незамеченными! Кто знает, куда ведут вас судьбы неисповедимые! Вот если б вы всё сие уже совершили, – ну, тогда точно, можно было бы разрешить вам сказать нечто о самостоятельной деятельности в науке и жизни, а то, на-тко, ничего не сделавши, да какую уж бурю подняли! Я знаю, что фигура эта в славянофильской риторике называется фигура устрашения и что ее не раз употреблял И. С. Аксаков, но ведь он употреблял ее всегда без успеха,

следовательно, зачем же идете вы по его стопам? И еще знаю я, что, всеконечно, у вас и помыслов никаких насчет самостоятельности никогда не бывало и что все это вы сказали спроста, но зачем же спроста говорить? Не надо забывать, что невинность и мудрость суть качества взаимно друг друга пополняющие и что первая, будучи предоставлена самой себе, успела заслужить в понятиях русского народа авторитет не совсем лестный, выразившийся в пословице: «Простота хуже воровства».

«Всякий, поднимающий меч на Россию, есть враг ее, враг Русского народа; всякий, призывающий к насилию и измене и наглым образом возбуждающий народ к кровавой смуте, хотя бы под предлогом свободы, есть враг его; всякий, накликающий беду на Русскую землю, не уважающий ни нравственных, ни исторических принципов Русского народа и посягающий на его самостоятельное развитие, есть враг его, враг России». Чувства прекрасные, но не могу воздержаться, чтоб не сказать несколько слов о форме, в которой они выражены, и о мыслях, которых эти чувства являются лишь трепетною оболочкою. Начну с формы. Периоды, подобные выписанному выше, в соловьином пении называются периодами «с оттолчкой», и там они совершенно уместны; но в человеческом пении необходима ясность и простота; «оттолчка» тут не только неуместна, но даже неприятно поражает слух. Может быть, славянофильское учение оттого так мало делает себе прозелитов, что оно слишком охотно прибегает

к «оттолчке». Публика слышит какой-то стук, а толку не видит. Поэтому лучше было бы, кажется, редакцию этого параграфа изменить так: «Как истинные верноподданные, мы заявляем, что считаем своим врагом всякого, кто замыслит что-нибудь противное интересам его императорского величества». Это будет ясно, вразумительно и притом несколько не противно той мысли, которую вы намеревались выразить. Теперь поговорю о мыслях. Ложная форма увлекла вас и к ложным мыслям. Основная-то ваша мысль, пожалуй, и правильна, но, во-первых, витийство заставило вас обставить ее различными второстепенными мыслями, которые просто никуда не годятся, и, во-вторых, эта самая обстановка доказывает, что и основная-то мысль явилась у вас бессознательно. Можете ли вы, например, указать, чтобы кто-нибудь призывал народ к насилию и измене? к насилию насчет кого? к измене кому и чему? Говоря таким образом, вы, вероятно, разумеете или внешних, или так называемых внутренних врагов России; но если вы разумеете внешних врагов, то с их стороны желание сделать всякий вред своему врагу умеряется тем обстоятельством, что у них, по русской пословице, руки коротки; если вы разумеете каких-то внутренних врагов, то говорите прямее, действуйте вольным духом, а не прорицайте, подобно дельфийскому оракулу, фразами с оттолчкой. Тогда, быть может, представится случай разубедить вас, показать, что вы ошибаетесь, что речи ни об измене, ни об насилии никакой нет и что, следовательно, са-

мое слово «внутренние враги» есть слово вымышленное и не имеющее основания. Тогда, быть может, откроется перед вами, что люди, о которых вы разумеете, как об изменниках, суть, собственно, только люди другого образа мыслей, которых вы обозвали непотребно потому только, что молодой и горяченький человек вообще охотно называет отступниками и изменниками тех, которые не пляшут под его дудку. Но, быть может, вы скажете, что ваша дудка есть дудка российская, а потому плясать под ее звуки следует; на это опять-таки повторю: не будьте самонадеянны, дети! Вы не знаете русской дудки; это дудка настоящая, способная извлекать из себя полный звук; ваша же дудочка маленькая, с трудом издающая легкий писк. И что это такое за насилие? что за измена? Может ли для вас, едва, так сказать, взятых от колыбели, быть понятным значение подобных страшных слов? Нет, оно не может быть понятным для вас, ибо умы и сердца ваши еще слишком юны и неиспорченны. Вся ваша измена может заключаться в том, что вы сходите без спросу на могилу Грановского; все ваше насилие – в том, что вы пройдетесь по Тверскому бульвару не в форме (впрочем, нынче и для этого рода насилия, с уничтожением особой студенческой формы, предлог устранен). Стало быть, во-первых, вы не знаете, на кого именно намекают ваши слова, и, во-вторых, не знаете и не можете узнать, в чем заключается ваше обвинение. Но этого мало: с свойственной славянофилам напыщенностью вы говорите о нравственных и исторических принци-

пах русского народа, но разве вы их знаете, эти нравственные и исторические принципы? На это вам ответит тот самый «День», который вы избрали своим органом, что «нравственных» принципов русского народа вы не знаете, потому что живете совсем другою, совсем не народною жизнью, я же, с своей стороны, прибавлю, что вопрос о нравственных принципах русского народа еще разрабатывается и, во всяком случае, далеко не выяснен; многие даже думают, что это вопрос праздный и что нравственные принципы всякого отдельного народа суть принципы общечеловеческие, но, во всяком случае, здесь спор не решен, и, следовательно, дело еще в дороге. Что же касается до принципов исторических, то скажу вам на это, что история русская до сих пор слагалась под влиянием разных случайностей, по милости которых исторические принципы русского народа определить, по крайней мере, столько же трудно, как и определить его принципы нравственные. Это еще труднее для вас, молодые люди, потому что вы знакомы с русской историей лишь по краткому руководству г. Устрялова. А потому на будущее время упаси вас бог говорить о таких вещах, кои важны.

«Враг Русской земли и Русского народа – наш враг». Мысль хорошая, но теряющая все свое достоинство именно вследствие того, что соединена с «оттолчкой» (вот что значит неопытность!). Впрочем, эта оттолчка последняя, достойно завершающая длинный ряд предыдущих.

«Мы не питаем ненависти к польскому народу; мы уважа-

ем патриотизм Польской нации, но лишь под тем единственно условием, чтобы свобода Польши не стала неволею для России. Мы не отрицаем той доли неправды, которая могла быть относительно Польши и с нашей стороны; но мы не только не признаем каких-либо прав Польши на Западный и Юго-Западный край России, но готовы, со всем Русским народом, отстаивать до последнего издыхания неприкосновенность Русской земли». Прекрасно. Это, что называется, в одно и то же время и по губам помазать, и калом накормить. Однако позвольте. «Мы не отрицаем», «мы не признаем»! Кто же вы такие и кому какое дело до ваших отрицаний и признаний? Ах, молодые политики! ах, молодые политики! Ведь я знаю, что вам не безызвестно, что ваши отрицания и признания весят менее грана аптекарского: для чего же вы конфузите себя, неужели для того, чтобы высказать несколько красноречивых слов? Но если вы действительно думаете, что без вашего участия такого дела решить нельзя, то не останавливайтесь на половине дороги и помните, что вера без дел мертва есть. В согласность этому последнему изречению, вам надлежало бы объяснить не голословно, а доподлинно, каким образом все сие устроить, а без этого ваше заявление представляет лишь непрерывную фигуру единоначатия, фигуру красивую, но мало объясняющую. Да, дело писания заявлений с каждым днем становится труднее и труднее. Для этого мало иметь приятный слог, но необходимо знать, чего именно желаешь и какие имеешь в виду прак-

тические средства для осуществления этих желаний...

Но довольно; дальше идет речь, по славянофильскому обычаю, о воплях и столах. Повторяю: намерение отличное, но основная мысль его, очевидно, подверглась разным неполезным влияниям, и потому пострадала в основании. То ли дело, например, рязанские крестьяне! «Враги, – говорят они – не в заявлении, а во всеподданнейшем письме своем, – могут получить успех только на могилах русского народа, и для этого им нужно переплыть море крови своей и нашей». Вот это дельно, потому что тут доказательства налицо. А то «мы признаем»! «мы отрицаем»! Признаюсь, если б московские студенты по поводу этого заявления обратились ко мне за советом, то я проектировал бы им статейку совсем в другом роде, статейку, быть может, не столь красноречивую, но, льщу себя надеждой, более идущую к делу. Я написал бы:

«Мы, нижеподписавшиеся, студенты и слушатели императорского Московского университета, сим заявляем, что отнюдь не принадлежим к тому русскому молодому учащемуся поколению, на которое осмеливаются возлагать надежды враги России. В доказательство же, что это заявление с нашей стороны вполне искренно, мы вместе с сим подаем прошения об увольнении нас из университета и об определении в войска в качестве простых солдат».

И только. Желание очиститься от наносных слов было бы достигнуто, а вместе с тем и патриотическое чувство нашло бы себе правильный и не голословный исход. Но, может

быть, вы думаете, молодые люди, что в солдаты идти неприлично, так разуверьтесь: служили же многие из ваших компатриотов в качестве солдат у Гарибальди, так неужто ж в своем-то собственном деле, и при таком отчетливом знании нравственных и исторических принципов русского народа, каким вы похваляетесь, послужить нельзя! Как бы то ни было, но я рекомендую себя гг. студентам на будущее время.

Еще одно замечание: что означают слова: «вручили редактору «Дня» для хранения»? На какой предмет хранить документ уже напечатанный? Или И. С. Аксаков завел при редакции своей архив чувствительных российских дел, в котором и объявил себя бессменным архивариусом?

Но как бы то ни было, достаточно или недостаточно само по себе это заявление, нельзя терять из вида, что оно делается людьми, едва вышедшими из детского возраста и впервые вступающими на поприще патриотических чувств. Сверх того, оно приобретает еще особенное значение в том отношении, что указывает на то общее настроение, в котором находилось русское общество по поводу событий в Царстве Польском.

Это настроение было весьма утешительное; со всех сторон стекались адреса с выражением пламеннейшей готовности и самых отборных чувств; от членов московского английского клуба до тех темных московских метеоров, которых прототип так удачно изображен Островским в его бессмертном Любиме Торцове, вся Россия негодовала и горела

желанием сразиться; проекты следовали за проектами, тосты за тостами; даже так называемые ублюдки (русские Петерсоны, Иогансоны, Иозефсоны и т. п.) и те, наперерыв друг перед другом, предлагали проекты о введении единомыслия и спешили указать на вред, который от разномыслия происходить может; во многих местах устраивались патриотические обеды, и плодом их были телеграфические депеши, которые из разных концов России пересылались к князю Горчакову, к генералу Муравьеву и даже к М. Н. Каткову, с поздравлениями и поощрениями; даже московские тюремные дома (говорят, будто бы и трактиры, но я этому не совсем верю, хотя знаю, однако ж, случаи, когда веселые собутыльники, собравшись в трактире и спросив себе шампанского, вдруг задумывались и, отменив сделанное распоряжение, жертвовали деньги в пользу раненых), и те почувствовали необходимость политических демонстраций, и попытка их в этом смысле сошла с рук довольно благополучно. «Никогда, – говорили по этому случаю «Московские ведомости», – общественное мнение не выражалось в России ни так широко, ни так свободно», – и я охотно этому верю, хотя, с другой стороны, не могу не поставить на вид почтенной газете, что относительно выражения патриотических чувств общественное мнение в России всегда пользовалось весьма достаточною свободой. В газете «День» некто г. Оптухин, малоархангельский обыватель, весьма язвительно назвал поляков «коллективную Мариной Мнишек», готовую из-за почестей разде-

лять ложе с кем угодно, и изъявил предусмотрительную надежду, что ежели на будущее время встретится надобность рекомендовать полякам посетить восточную Россию, то они будут размещаемы в тамошних крепостях отдельно от командированных туда же и для той же надобности русских, потому что, в противном случае, первые непременно заразят последних, и пойдет это у них «гей! надея еще с нами!» и Мицкевичев краковяк. Это последнее замечание вызывает невольную улыбку гордости в русском читателе. В самом деле, как подумаешь, каких нет на свете смешных наречий и говоров! Возьмите, например, те же самые слова и переведите по-русски, выйдет: «да! надежда еще с нами!» ведь ничего! между тем по-польски... Господи! да одна эта ужасная «надея» чего стоит! «Надея»! ну-тко еще! «Надея»! – ох, прах тебя побери! да тут животики от уморы надорвешь!

Поговорю несколько подробнее о проектах, потому что тосты выпиваются, обеда съедаются, а проекты остаются. Их было много, и все они останутся неоспоримым доказательством русской патриотической изобретательности. Летом мы едва успевали следить за ними: вчера был проект об учреждении обывательской стражи, сегодня – проект об устройстве крейсерства для перехватывания неприятельских купеческих кораблей, на завтра готовился проект об организации стрелковых сотен. Даже дамы и те спешили принести на алтарь отечества скромную умственную лепту, в виде проекта о ношении одежд из материй, производи-

мых неприязненными нам государствами; даже вчерашние недовольные (так называемые те, которые причисляются à la mécontent²²) и те наперерыв друг перед другом спешили представлять проекты чувств. Разумеется, в этих проектах не было ни тени подражания иностранным образцам, но в этом-то именно и заключалась их сила. Разумеется также, что на поприще проектов всего более отличалась Москва, которая, впрочем, в качестве сердца России, уже исстари слышет закоренелую и даже очень затейливую прожектершею.

Как и следовало ожидать, наибольшим сочувствием публики пользовались проекты чувств. Во-первых, они общепонятны, во-вторых, не влекут за собой никакой иной жертвы, кроме жертвы сердца. Тут одно чистое пламя, один фимиам благовонный: все это доступно даже самому простому рыба-рю. Составителям таких проектов (обыкновенно этими составителями являются самые, что называется, беспардонные либералы, которые очень рады случаю оправдаться) многие ставят в вину их крайнюю изменчивость; им говорят: еще вчера вы будировали, а сегодня лезете с чувствами. Но это явная придирка. Порицатели забывают, что на сем свете вообще нет ничего вечного, а все, напротив того, временное, непрочное и преходящее; а так как чувства, в своих проявлениях, следуют общим жизненным законам, то весьма понятно, что и они имеют характер временный и изменяются,

²² под недовольных.

смотря по обстоятельствам. Тем-то и красна человеческая жизнь, что все в ней в свое время и на своем месте делается: сегодня нам предстоит опасность – мы чувствуем и соединяемся; завтра нет опасности – мы перестаем чувствовать и начинаем будировать; послезавтра опять опасность – мы и опять восчувствуем, и опять соединимся. Так оно и идет у нас колесом. Тем страннее было видеть неодобрение проектов чувств со стороны «Московских ведомостей», которые сами по себе представляют не что иное, как пламя и фимиам. Этого, говорят они, мало; мало одних чувств. Гм... я очень хорошо понимаю, чего желает почтенная газета, но, с другой стороны, спрашиваю самого себя, имеет ли она право разбивать наши мысли и навязывать нам какие-либо иные желания, нежели те, которые мы сами имеем? Развращенная западною наукой (в лице великого развратителя Молилари), не причастная ни «жизни духа», ни «духу жизни», может ли она выдавать себя за обладательницу тайны наших хотений? Говоря по совести, ни того, ни другого права она не имеет. Мы выражаем свой «дух жизни» по-своему; мы не претендуем на изобретение пороха (я знаю: почтенной редакции именно хотелось бы, чтобы мы изобрели что-нибудь вроде пороха), но, взамен того, добродушны и гостеприимны; мы не вдаемся в разбор, откуда идут к нам наши невзгоды, но помогать (разумеется, устранению их) готовы. Смирение тоже своего рода сила, и сила великая; славянофилы недаром кичатся тем, что изобрели ее, хотя кичливость их напрасна, ибо они

не изобрели, а только открыли смирение, подобно тому как и Колумб совсем не изобрел, а только открыл Америку. С помощью смирения мы победим какое хотите иго; с помощью любви обольстим какого хотите врага. «Что с них взять?» – скажут наши супостаты и отойдут от нас прочь. Поэтому с проектами чувств надобно обходиться как можно осмотрительнее, ибо они составляют нашу гордость, наше единственное сокровище; ибо все прочее, что выходит из этой области, все, что касается собственно дела, уже выходит из сферы общественных пожеланий и составляет неотъемлемую принадлежность сферы государственной. Сами «Московские ведомости» могли в этом убедиться по поводу концессии Московско-Севастопольской железной дороги. По этому предмету почтенная газета начертала в прошлом июле прекраснейший проект чувств, и хотя впоследствии дело сделалось совершенно вопреки ее ожиданиям, однако это все-таки не мешает их проекту чувств остаться их прекраснейшим проектом. Стало быть, чем больше таких проектов, тем больше и пользы от них, хотя бы этой пользы по-видимому и не оказывалось.

После проектов чувств наибольшая популярность принадлежит проекту об устройстве обывательской стражи. Разумеется, мы совсем не желаем, чтобы обывательская стража была организована у нас на манер иностранных, так называемых национальных гвардий; нет, мы имеем в виду единственно облегчение трудов русского войска на время пред-

стоящей опасности, а когда опасность пройдет, когда войска получат возможность возвратиться в свои постоянные квартиры, то мы, пожалуй, и разойдемся. Так как проект этот первоначально выработался в Москве, то весьма понятно, что он всего сильнее поразил тамошних «метеоров». Я слышал, что они положительно бредят им; вместо того чтоб увеселять гостинодворцев более или менее удачными подражаниями Садовскому в роли Любима Торцова, они облакаются в ризу воинственности и за пятак серебра представляют, как будут стоять на страже общественного спокойствия с трещотками в руках (таким проказникам дать в руки ружья опасно). Слышно также, что не менее готовности выказывали по этому случаю и московские студенты: многие якобы даже справлялись уже, какие будут мундиры чинов обывательской стражи и чем они будут вооружены. Вообще, публика томилась ожиданием; не было недостатка даже в раздорах. Одних огорчало, что не будет конной стражи, других – что обывательская стража не будет делать походов, а только препровождать арестантов из городских частей в острог (но разве это не поход?). Тем не менее все эти сетования и недоумения утопали в одном общем чувстве ликования. «Метеоры» надеялись, что по этому случаю на кремлевской площади будут по праздникам ставить жареных быков и отдавать их стражникам на разорвание; учащаяся молодежь надеялась, что ей позволено будет не посещать лекций. Даже люди взрослые и, по-видимому, не пьяницы – и те были вне

себя. Один мой знакомый писал ко мне по этому поводу из Малоархангельска: приеду в Москву и на собственный счет вооружу трещотками семь тысяч «метеоров»! Ясно, что если явится пять, десять человек таких доброхотов, то одна Москва в самое короткое время будет в состоянии выставить до семидесяти тысяч хорошо вооруженного войска. Что же могу рещи о прочей России, которой Москва составляет лишь каплю малую? Просто даже волосы становятся дыбом. Каково подспорье, но, главное, каково удобство! Понадобилось войско – есть войско; понадобились «метеоры» – стоит только обобратить трещотки, и вот они! Но я все-таки скажу: как ни завлекателен проект, но, по моему мнению, уж пусть будут лучше метеоры, потому что это будет явным признаком, что все обстоит благополучно, что смута кончилась и что Россия наслаждается вожделенным спокойствием.

Третий проект, тоже очень понравившийся, – это проект русской конституции, начертанной «Русским вестником» в 4-й его книжке за нынешний год. «Русский вестник» недоволен конституциями, существующими на Западе; по мнению его, народные представители в западных государствах имеют право вмешиваться в дела страны и даже контролировать действия исполнительной власти, а этого быть не должно. Поэтому он проектирует такую конституцию, которая, несомненно, подходит гораздо ближе к свойствам русского народа, и предлагает нечто вроде бессменно заседающего новотроицкого трактира. Это, конечно, недурно, пото-

му что за порцией поросенка или за парой чая, конечно, всякое дело идет ходчее, нежели всухомятку, но, по моему мнению, если уж пристойно иметь такую конституцию, то еще пристойнее совсем никакой не иметь. Сверх того, при составлении этого проекта, очевидно, упущено из вида, что такую-то конституцией мы уж давным-давно пользуемся, ибо трактиров в Москве имеется несчетное число, и в каждом из них заседает достаточное количество сквернословов, охотников вмешиваться не в свои дела.

Гораздо менее популярен был четвертый проект: об устройстве правильного крейсерства для перехватывания неприятельских купеческих судов. Об нем вообще отзывались, что он слаб и скомпонован на скорую руку. Оттого ли, что мы, русские, вообще мало воды видим (к сожалению, на Переяславском озере уж нет больше флота!), но нам как-то думается, что либо в Каттегате, либо в Скагерраке, либо в самом Ла-Манше, а уж где-нибудь да изловят нас. Вот если бы можно было невидимкой проскользнуть сквозь все эти Каттегаты и Бельты, тогда, разумеется, было бы дело не худое. Но так или иначе, хорош ли проект или слаб, важность не в нем самом, а в той окрыленности, которую с каждым днем все больше и больше приобретает русская мысль. Прежде в подобных обстоятельствах только и слышно бывало, что «умрем поголовно!». Согласитесь, что хотя в этом было пропасть геройства, но вместе с тем было и что-то японское. Известно, что истинный японец (все равно что у нас славя-

нофилы), желающий насолить своему врагу, распарывает себе ножом брюхо и умирает удовлетворенный. Конечно, это обида смертная, однако, к счастью нашему, мы начинаем уже понимать, что удовлетворения в этом все-таки никакого нет. И потому поднимаемся на хитрости. По моему мнению, самая чувствительная заслуга, какую оказала россиянам нынешняя редакция «Московских ведомостей», заключается именно в том, что она первая возвестила миру, что умирать никогда не поздно. Это нужды нет, что ее проекты мероприятий почти равняются умиранию, главное дать толчок русской изобретательности, а там оно и пойдет само собой понемножку. Пройдет смутное время, – глядишь, ан и впрямь умирать будет не нужно.

Наконец, был и еще проект – о неношении дамами платьев из иностранных материй, – но этот потерпел решительное фиаско. Ходят слухи, что он обязан своим появлением инициативе Н. Ф. Павлова, и я этому очень верю. Н. Ф. издавал до 13 июля в Москве политическую газету, по так как никто ее не читал, то он исполнял это дело с прохладой и, следовательно, остающееся свободное время мог легко употреблять на сочинение проектов. До какой степени приятно и лестно издавать политическую газету, которой никто не читает, доказывается тем, что, в то время как «Московские ведомости» выдали уже 118, а «Петербургские ведомости» даже 122 №№ (и куда это они так спешат!), Н. Ф. выдал своей газеты только 103 номера; стало быть, в первые же пять месяцев у него

оказалось ровно 15 лишних воскресений, и в том числе одно третье обретение главы Предтечи (празднуется 25 мая, а 26-го «Наше время» не выходило). Мудрено ли, после этого, что от скуки начнешь сочинять проекты? Но, по малодушию русских дам, проект о неношении платьев остался мертворожденным, равно как и другой подобный же проект о непитии иностранного вина. Иностранцы виноторговли нынешним летом, по свидетельству достоверных лиц, процветали даже пуще прежнего, потому что изобилие патриотических чувств, по древнему русскому обычаю, вызывало изобилие тостов, а изобилие тостов, в свою очередь, вызывало изобилие чувств. Виноторговля питает содружество, содружество питает виноторговлю – так оно всегда бывает в сем коловратном мире, где и былинка малая может с гордостью сказать (разумеется, если бы могла говорить), что существование ее не бесполезно проходит для мира. Одно московское общество распространения бесполезных книг составляет в этом случае исключение, и в нем-то именно и нашел себе приют проект, приписываемый Н. Ф. Павлову. Мудрено ли, что при такой нечаянной обстановке он не возбудил в обществе никаких симпатий?

Оканчивая с патриотическими проектами и заявлениями, я должен сказать, что как они ни мало удовлетворительны, все-таки в них видно усилие человеческой мысли что-нибудь высказать, а не праздное и бесцельное переливание из пустого в порожнее, сопровождаемое неистовым выдавливанием

из себя пустоцветов красноречия. Это последнее занятие решительно невыносимо.

Когда преподаватели реторик повторяют перед нами известное выражение *poëtae nascuntur, oratores fiunt*,²³ то мы верим им на слово, верим по привычке верить всему, что ни скажут старшие. Однако опыт доказывает, что выражение это совсем неверно и что сделаться оратором, не родившись им, точно так же невозможно, как невозможно сделаться лгуном, не имея к лганью врожденного расположения. Сущность красноречия заключается в том, чтобы совершать несовершенное и прозревать туда, где ничего в волнах не видно; понятно, что для выполнения таких подвигов нужно, чтобы в этом принимала участие сила совершенно независимая, сила сама себя питающая и сама же себя поедаящая. Такою силою и является именно красноречие или, лучше сказать, искусство вести такие устные и письменные беседы, которые выслушиваются и прочитываются с приятностью, но в которых между тем нет никакой возможности найти что-либо похожее на мысль.

Следовательно, фигуры и тропы, которым нас обучали в детстве, заключаются в нас самих. Наука в этом случае занимается констатированием факта, уже предсуществующего; она подмечает все риторические волдыри, которые таятся в глубине человеческого существа, называет их настоящими именами и говорит: вот этим волдырем ты можешь восполь-

²³ поэтами рождаются, ораторами становятся.

зоваться таким-то образом, а вот этим – таким-то. Если ты, в сущности, не имеешь никаких чувств, ни дурных, ни хороших, но хочешь выказать возвышенную душу, то для достижения этого можешь прибегнуть к фигуре единоначатия и к фигуре усугубления; если ты нимало не остроумен, но желаешь показаться таковым, то можешь прибегнуть к фигуре умолчания и удержания. Так как фигуры эти живут в самом тебе, в той красноречивой сущности, которая заменяет для тебя и мысль, и чувство, то достаточно самомалейшего усилия, чтобы достигнуть желанной цели.

Например, если б я мое обозрение начал таким образом: «Не знаю, известно ли вам, читатели, какую эпоху переживает в настоящее время Россия?» – конечно, слова эти, с точки зрения внутреннего содержания, были бы пустым празднословием (кому же не известно, что Россия во всякое время какую-нибудь эпоху да переживает?), но если взглянуть на такой приступ с точки зрения красноречия, то он не только возможен, но даже заслуживает всяческого поощрения, ибо представляет совершенно правильную фигуру устрашения. Заручившись ею, я создаю для себя отличную рамку, которую могу сплошь наполнить произведениями моего риторического существа. Я могу сказать, например, что если вам это известно, то, конечно, вы не раз испытывали, не раз ощущали, не раз себя вопрошали (фигура взволнованной души); но с другой, ничто мне не мешает задаться мыслью, что это обстоятельство вам неизвестно, и в таком случае я получаю

возможность осыпать вас укоризнами и сказать, что вы оторваны от почвы и стоите корнями вверх (фигура патриотического уязвления). Обыкновенно это делается так: если вы петербуржец, то предполагается, что вам ничего неизвестно и что вы стоите корнями вверх; если вы москвич, то предполагается, что вам известно все и что вы не раз задумывались, не раз ощущали, не раз себя вопрошали и т. д. Все это, разумеется, с моей стороны не больше, как произвольное предположение, ибо я сам отлично хорошо знаю, что все это я выдумал, что вы, как и я же, стоите корнями вниз и что, наконец, вы, как две капли воды, точь-в-точь такой же россиянин, как и я сам; но я нарочно притворяюсь, что все сие мне неизвестно, потому что такого притворства требует моя риторическая сущность. Вы скажете, быть может, что такой образ действия равняется толчению воды; что он даже не похвален, потому что возводит на Северную Пальмиру обвинение в несуществующем преступлении; на это я отвечу: что же мне делать! Из меня так и выпирает тропами и фигурами: не проквасить же мне их, в самом деле, на дне взволнованной души!

Возьмем другой пример. Предположим, что я начинаю свое обозрение таким образом: «Милостивые государи! Русляндия заслоняет от наших глаз истинную, православную, святую нашу Русь», я опять-таки знаю, что и это я выдумал, что Русляндии никакой нет, что и Русь была да сплыла, а есть Россия, которую никто и ничто, по причине обширности сю-

жета, заслонить не может; но вместе с тем я знаю также, что такое начало наверное дает мне возможность со всею безопасностью поместить в моем обозрении и фигуру взволнованной души, и фигуру патриотического уязвления, – именно те две ужасные фигуры, которые преимущественно точат мое риторическое существование. И вот я начинаю странно объяснять, что такое Русляндия и что такое Русь; из объяснений моих выходит, что Русляндия есть нечто такое, что заслоняет Русь, а Русь есть нечто такое, что заслоняется Русляндией, – больше, клянусь, ничего не выходит. Но это нимало меня не смущает, ибо, в сущности, я совсем не о том и забочусь, чтобы из моего красноречия что-нибудь выходило, а о том только, чтобы сказать несколько «жалких слов», и чтобы при этом состояло налицо самое красноречие. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые ни одного жалкого слова без умиления проглотить не могут, – на них-то я и рассчитываю. Это люди тоже в своем роде красноречивые, но не могущие выразить свою риторическую сущность потому, собственно, что красноречие их, так сказать, бессловесное. Это моя любимейшая публика; я рассчитываю на этих бессловесных ораторов, потому что я, кроме того что оратор до мозга костей, есмь и пропагандист. Я пропагандист фигуры взволнованной души, формулирующейся фразой: «Не знаю, известно ли вам, какую эпоху переживает в настоящую минуту Россия», и фигуры патриотического уязвления, формулирующейся целым потоком фраз о различии Русляндии и

Руси. В порывах моего пропагандизма, я не оставлю в покое даже малых тех, я посету земные расседины, я сойду в ад, я пройду сквозь иго цензуры, но жив не буду, если не напою всех и каждого от струй моего красноречия.

О боже! да и двумя ли только приведенными выше примерами исчерпываются поводы для моего красноречия! Разве я не могу найти их на каждом шагу сотни и тысячи? Разве я, так сказать, не попираю их ногами? Прослышу ли я что-нибудь о секвестре, я буду до истомы приставать, исполняются ли правила о секвестре, я буду говорить о том, как это ужасно, что не исполняются, и по этому поводу опять обращусь к Русляндии, и опять докажу, что она заслоняет нашу древнюю, святую, православную Русь, в которой все сие исполнялось. Это нужды нет, что мне положительно известно, что в этих делах Русляндия отнюдь не уступит Древней Руси православной, да и не об секвестре совсем тут идет речь, да и не желаю я его совсем, а вот подвернулась под руку именно эта, а не другая фраза, я и щелкнул; сначала щелкнул слабо, потом сильнее и сильнее и наконец заслушался самого себя. Попадись мне под руку другая фраза, хоть бы, например, такая, что секвестр имеет свои неудобства именно по растяжимости понятия, которое он в себе заключает, и т. д. (некоторые московские публицисты эту штуку очень хорошо поняли), я защелкал бы и на этот мотив и опять обратился бы к Русляндии, опять доказал бы, что она заслоняет собой нашу Древнюю Русь православную, где никаких этих секве-

стров не знали и слыхом не слыхали, а просто брали всякую штуку не спросясь.

Мало вам этих примеров, я могу, коли хотите, и слиберальничать. Чем кровь-то проливать, скажу я, лучше было бы спросить польский народ, чего он желает. Надеюсь, что фраза – первый сорт. Конечно, мне могут возразить: над какими это вы пустяками все убиваетесь! Как это спросить польский народ, да и кто его спросит? Но разве я не знаю, что все это пустяки и что спросить польский народ нет никакой возможности, однако не виноват же я, что мне в данную минуту пришла смертная охота спрашивать польский народ! Поймите, что здесь идет дело лишь о том, чтобы провести время, чтобы употребить в дело один из тех булыжников красноречия, которых запас я постоянно держу у себя за пазухой, чтобы по временам метать ими в русскую публику.

Главное заключается в том, что я вышел на ровную дорогу и могу, как паук паутину, беспрепятственно испускать из себя красноречие. Буду откровенен: хоть я и ратую против Русландии, но, в сущности, она мне совсем не противна. Мне даже жаль, что она смотрит на меня искоса; я даже уверен, что это происходит от недоразумения, потому что дай она мне высказаться до конца, она увидела бы сама, что мы с нею желаем одного и того же. Чего я желаю? чего добиваюсь? Я желаю и добиваюсь для себя только одного: чтобы мне не препятствовали употреблять слово «Русландия», – что же может быть невиннее этого желания! Предположи-

те даже, что это с моей стороны каприз, отчего же не допустить и каприза, если он никому не наносит вреда? Говорят, будто я смотрю как-то исподлобья, как будто чем-то недоволен, как будто желаю произвести какой-то «хаос-кавардак»! да поймите же, наконец, что это с моей стороны только будирование, что это просто милая шалость, результат желанья занять какое-нибудь положение в обществе. Сегодня я будирую, завтра прихожу в восторг, послезавтра опять будирую, потом опять прихожу в восторг. На свете сем вообще нет ничего вечного, а все, напротив того, временное, непрочное и преходящее; а так как чувства мои, в своих проявлениях, следуют общим жизненным законам, то понятно, что и они имеют характер временный и постоянно идут колесом. Вот и всё. Опасности здесь никакой не может быть, ибо и будирования и восторги, в сущности, выражают лишь мой «дух жизни» – и больше ничего... Вспомните тех русских бар, которые во время оно отъезжали, за ненадобностью, в Москву, – разве они не будировали? разве не выражали они свою «жизнь духа»? но разве им запрещалось это? разве кто-нибудь опасался их?

.....

Не думайте, милостивые государи, чтобы все рассказанное выше было видено мною во сне: нет, хоть мне и самому казалось, что все это не больше как бессвязный сон, но я бодрствовал. Передо мной и до сих пор лежат номера «Дня», в которых все эти сновидения изложены в подробности, и

даже называются руководящими статьями: «Москва. 11, 18 и 25-го мая».²⁴ В каких-нибудь трех номерах газеты совместить столько риторической сущности – как хотите, а это труд громадный! Целых три дня беседовать с публикой, и не проговориться при этом ничем, кроме чистого красноречия, – как хотите, а это фокус, которому не было доселе примеров ни в черной, ни в белой, ни в голубой, ни в розовой магии! Это магия совершенно новая, а потому пускай она носит отныне название желтой.

Это жаль; «День» был грустен, но я любил его; в нем было нечто свежее, напоминавшее хорошо сохранившуюся средних лет девицу. Несмотря на достаточные лета, это девица еще неопытная, сберегшая во всей чистоте свои институтские убеждения; она во многом не отдает себе отчета и решительно не может себе объяснить, чего хочет и к чему именно стремится, но в то же время и во сне и наяву чувствует, что кто-то ее хватает, кто-то подманивает, а потому не хотеть и не стремиться не может. Это придает какую-то трогательную задумчивость всем ее движениям и сообщает ее душевным помыслам то кроткое постоянство, которое застав-

²⁴ Впоследствии «День» пространно рассуждал о том, как лучше поступить с Польшей, то есть отделить ли ее или оставить по-прежнему, и решил, что лучше отделить. На это пространно же отвечали ему «Московские ведомости», причем обе редакции называли себя «почтенными» и показали неслыханный пример галантерейного обращения. И ведь все это так серьезно, как будто и в самом деле их кто-нибудь спрашивает, как будто и впрямь они не афишки, а газеты! Проканники! (Прим. М. Е. Салтыкова.)

ляет ожидать жениха даже тогда, когда нет никакой надежды на его появление. Такой орган, от которого всегда пахло бы чем-то кисленьким, решительно необходим в литературе; он представляет в ней вечную нейтральную территорию, на которую по временам отрадно бывает вступить, как отрадно же бывает по временам вспомнить детские годы и сказать себе: да, и я был когда-то ребенком! и я когда-то картавил и лепетал «папа» и «мама»! Я никогда без умиления не мог читать краткие, но сильные premiers-Moscou²⁵ периодически появлявшиеся в заголовке «Дня», до той недавней минуты, которая, к удивлению моему, развязала ему язык. «Москва такого-то числа и месяца», – так гласили эти руководящие статьи, – затем черта, затем «жених» – и ничего больше. Это было так оригинально и вместе с тем так невинно язвительно, что я долгое время был убежден, что это именно самая лучшая манера писать русские руководящие статьи. Во-первых, тут тонким образом дается знать, что я и рад бы, да не от меня зависит; во-вторых, читатель от этого решительно ничего не теряет. Ведь он наверное знает, что, за что бы я ни взялся, о чем бы ни начал говорить, роковая сила все-таки приведет меня к вопросу о различии Руси и Русляндии; следовательно, он может сочинять упражнения на эту тему и без моей помощи.

Оказывается, однако, что девица моя совсем не так невинна; оказывается даже, что она чуть ли не состояла в тайном

²⁵ московские передовицы.

браке с той самой Русляндией, о которой выражалась с тою невинною иронией, какую обыкновенно употребляют все вообще пожилые девицы, говоря о мужчинах: фи, противный! Да, именно так, потому что, если и теперь еще девица моя продолжает иронизировать насчет Русляндии, то я уже очень хорошо понимаю, что это совсем не ирония, а одна из тех стыдливых *bouderies*,²⁶ о которых гласит русская пословица: «Милые бранятся, только тешатся». Иначе откуда бы взялось у них такое согласие в воззрениях и стремлениях? Откуда бы явилась, с одной стороны, такая полнота дерзновения, а с другой – такая полнота поощрения? Нет, как хотите, а тут что-нибудь да есть: тут есть, по малой мере, надежда на явный брак.

Но и за всем тем, мне жаль «Дня»; то есть мне не столько жаль его самого, сколько моей старой привязанности к нему. Мне даже и теперь кажется, что ежели он хорошенько взбунтуется и свергнет с себя иго красноречия, то будет даже милее той средних лет девицы, о которой я выразился выше с таким сочувствием. Мне кажется, что если он даст себе труд хорошенько размыслить, то непременно придет к убеждению, что эти переходы от будирования к восторженности и от восторженности к будированию не заключают в себе ничего поучительного, что здесь сегодняшняя восторженность служит лишь обильным источником будущих будирований. Он поймет, что нет той силы обстоятельств, ко-

²⁶ капризов.

торая могла бы столкнуть мысль (если только есть мысль) с того логического пути, на котором она стала. Он поймет... но нет, он ничего не поймет! Он не поймет уже по тому одному, что в раздвоении мысли именно и заключается та сила, которая позволяет ему быть красноречивым во всякое время. А так как, с другой стороны, красноречие составляет дело всей его жизни, то возможно ли желать, чтоб он отказался от этого дела и добровольно обрек себя на смерть? Нет, это невозможно, да и несправедливо. Я понимаю, что человек, принадлежащий к известной политической партии, может, убедившись в несостоятельности руководящих ею начал, отказаться от них, но к настоящему случаю это не относится. Ибо, скажите на милость, что ж это за партия такая, – партия красноречия? и куда из нее выйти, и с чем в люди показаться?

Я с намерением остановился на «Дне», потому что явление это в высшей степени характеризует время, которое мы переживаем и которое, по всей справедливости, можно назвать временем красноречия. Но путь этот, хотя и кажется издали усыпанным цветами, в сущности, есть путь погибельный и ложный, и общество, упорствующее оставаться на нем, скоро отвыкает от трезвой и прямой деятельности и приучается к преувеличениям. Поэтому литература, как представительница высших общественных стремлений, должна в этом отношении соблюдать особенную осторожность. Литература может поучать забавляя, но горе ей, если

она будет забавлять поучая. Орган, который вдается в подобный промах, может, конечно, иметь своих диктаторов-приверженцев, но публика очень скоро оставит его в самом горьком одиночестве.

Когда человек сыт и доволен, когда дела или делишки его пойдут изрядно, то он почти всегда склонен думать, что этой сытости и довольству не будет конца. Особливую в этом смысле способность оказывают люди, которые любят ловить рыбу в мутной воде и которым такое ловление несколько раз более или менее счастливо сходило с рук. Поприще свое они обыкновенно начинают тем, что прикидываются лазарями, прилежно прислушиваются и приглядываются, но, обделавши с успехом два-три дельца, постепенно ободряются и в скором времени начинают ломаться и кривляться во всю мочь. Опираясь на свой успех, эти люди не только воображают себя великими и непобедимыми дельцами (а деловитость их в том только и заключается, что они умеют платки из чужих карманов среди бела дня таскать), но, к величайшему и всеобщему изумлению, сами приобретают даже какую-то олимпийскую уверенность в своем бесспорном праве ловить рыбу в мутной воде. В порыве гордости они не прочь даже запутать и провидение в сотоварищи своих гнусеньких проделок. «Это мне бог послал!» – говорил мне однажды один мошенник, ловко ограбивший своего ближнего, и я совершенно убежден: во-первых, что он вполне ве-

рил тому, что говорил, и, во-вторых, что он отнюдь и не подозревал, что произвел грабеж, а очень наивно думал, что воспользовался только своим правом. Для этих господ общественное бедствие вместо праздника, а чужое несчастье вместо лакомого пирожного: все это мутит воду и позволяет им вылавливать рыбку за рыбкой, рыбку за рыбкой. Если судьи неправедны, если администрация злоупотребительна, если общество цепенеет под игом безгласности – все это им на руку, потому что потворствует их наглости, запугивая и систематически придавливая ту среду, в которой они действуют. Наружность эти люди имеют самоуверенную, глаза алчные и бесстыжие, нос поднюхивающий, рот широкий, череп непомерно толстый. Внутренние их свойства составляют: нахальство и полнейшее отсутствие сознания о различии, существующем между добром и злом. Пассивность общества поощряет эти свойства, доводит их до разврата, и даже до галлюцинации, и поселяет в них сладкую уверенность, что такому блаженству не будет ни препон, ни конца. Я знал одного такого господина. Пришел он некогда в Москву откуда-то из-под Воронежа, пришел пешком, и, что называется, без исподнего платья – и что же? послужил в комиссариате, и в каких-нибудь десять лет, с помощью одного нахальства, успел нажить себе несколько домов в Москве и значительный капитал. Теперь живет в Москве, пользуется общим уважением, называет мужиков хамами и ракалиями, занимает какую-то «благородную» должность и по временам да-

же будирует правительство. Замечательно, что это человек положительно глупый, что все проделки его пошлы и крайне незамысловаты и что все искусство здесь заключается в расчете на чужую честность или на чужую оплошность. Продает, например, этот господин свое имение и, при осмотре его, показывает покупщику чужой лес, или сдает съемщику фрукты в своем саду, получает с него задаток и приглашает в дом запить магарычи, а в это время нахустренный им садовник призывает баб и преспокойно себе собирает дочиста все фрукты. Штуки, очевидно, все незамысловатые, но этот человек до того возгордился своею подлостью, до того возвеличился тем, что всякий скорее спешил бежать от него, как от чумы или как от вонючей помойной ямы, что плыл по океану жизни, как оглашенный, на всех парусах и даже рулем править пренебрегал. Эта самонадеянность довела его, однако ж, до того, что он несколько раз был бит, но это бы еще ничего – и самый ловкий мошенник всегда рассчитывает на возможность побоев, – главное-то горе его заключается в том, что, с некоторым пробуждением общественного сознания, проделки его стали удаваться все меньше и меньше, и сверх того в сердце поселилось горькое предчувствие, что не всегда же будут судьи судить и рядить по усмотрению и что правде формальной, правде, опирающейся в своих решениях на одну букву, наступит же когда-нибудь и конец.

Бывало, встретишь его на улице, идет он весь в синяках, но веселый и бодрый.

– Ну что, Порфирыч, опять побили?

– Побылы (он малоросс и, в качестве угнетенной нации, вместе с остзейскими немцами, поляками, армянами, нежинскими греками и евреями, считает за долг надуть великорусов при всяком удобном случае; разница только в том, что остзейские немцы, армяне, нежинские греки и евреи надуют нас en gros,²⁷ а поляки и малороссы, как братья по крови, en détail²⁸).

– Что, видно, мошенничать-то уж туго приходится?

– Нычего.

И, сказавши это, смотря по расположению духа, или хихикнет от удовольствия, или же вздохнет потихоньку и прибавит: «Бог ему заплатит за то, что побыл бедного человека!»

Теперь уж не то. На днях я его встретил: идет, по обыкновению, в синяках, но уже не хихикает, а как-то уныло и жалостно понуривает голову.

– Ну что, опять побили?

– Опять побылы.

И машет рукой, как бы желая сказать: «Это что! послушал бы ты, какую еще штуку со мной отмочили!» Мы идем некоторое время в угрюмом молчании.

– Та не слыхалы лы вы, що там еще за гласность така? – спрашивает он наконец меня.

²⁷ оптом.

²⁸ в розницу.

– А гласность, Порфирыч, такая вещь, при которой мошенничество хотя и возможно, но уже пользуется меньшими льготами, и притом требует значительного ума.

– Ну, так. А можно будет при этой гласности старые дела вновь начинать?

– Как не можно; разумеется, можно.

– Да що ж се такэ?

– Да уж там как знаешь, Порфирыч, а прошло твое времечко; ступай, Варвара, на расправу.

И этот человек, который еще так недавно верил в прочность земного счастья, который не мог пройти мимо чужого кармана, чтобы чего-нибудь не стянуть оттуда, которого нельзя было пригласить обедать без того, чтобы потом не недосчитаться серебряной ложки, теперь сделался меланхоликом и потихоньку ропщет на провидение. Мало того: он даже начинает заигрывать с тою самою гласностью, которой так боится, расспрашивает про нее, говорит: «От-то слава штука!», и по всему видимо, что изъявляет твердое намерение примоститься к ней. Но этого не будет, я твердо в том убежден. Почему я убежден в этом, я даже не могу себе объяснить, но верю, что чем более будет простора и света для всех, тем большую тесноту ощутят негодяи и жулики (*sit venia verbo*,²⁹ как выражаются «Московские ведомости»).

Итак, есть же средство укрощать даже таких огнепостоянных мошенников, которых доселе не укрощали ни брань,

²⁹ с позволения сказать.

ни побои. Это средство должно действовать на них тем погубительнее, что они его не предвидели, а следовательно, и не приготовились к нему. Разумеется, если б они были более предусмотрительны, если б не ослепляла их самонадеянность до того, что они горизонт своих надежд и желаний ограничивали только сегодняшним днем, то их никогда не оставял бы вопрос: а что, если я попадусь? а что, если меня за эту штуку побьют? и сообразно с этим они обделывали бы свои дела с большею осмотрительностью. Тогда, чего доброго, они могли бы даже прослыть в общем мнении за людей, которые, быть может, слишком зорко и придиричиво блюдут свое право, но все-таки в чужие карманы не заглядывают, да, пожалуй, и примостились бы! Но провидение благо; оно казнит нахала его собственным же нахальством; оно лишает его всякой предусмотрительности и окрыляет его ложными надеждами. И таким образом, неслышно и неисповедимо уготовывает ему место в арестантских ротах, где он может упражнять свои способности в более достойной его среде.

«Что же из этого следует? и к чему тут речь о мазуриках и жуликах?» – спросит меня изумленный читатель.

А из этого следует вот что:

1) что не все же говорить о людях честных и обыкновенных, а надо иногда потревожить и жуликов, надо и им сказать что-нибудь в назидание;

2) что не только так называемый жулик, но и всякий другой человек, как бы он ни был сыт и доволен, отнюдь не дол-

жен рассчитывать, что этому удовольствию и сытости не будет конца; это правило, которое не терпит никаких исключений и против которого мы, к несчастью, всего больше грешим;

3) что правило это в особенности обязательно для тех литературных витязей, которые, забывая, что все на свете переходчиво, рубят себе сплеча, что бог на сердце положит; эти люди не должны упускать из вида, что литература, как бы она ни была стеснена, не всегда же будет оставаться в безгласности и что клевета, в каких бы широких размерах и с какою бы бойкостью она ни производилась, рано или поздно, все-таки найдет себе неотразимое возмездие.

Затем, благоразумный читатель может вывести из моего рассказа и всякие другие заключения, какие ему заблагорассудится.

Я всегда с удовольствием читаю «Московские ведомости», с тех пор как они перешли в ведение новой редакции. Я люблю следить за прихотливыми извивами человеческой мысли, люблю наблюдать за ее ветреностью и непостоянством, и хоть мне всегда представляется при этом Марина Мнишек (благодарю г. Оптухина за материал для сравнений), которая, переходя от одного Лжедмитрия к другому, кончила самым злосчастливым образом, однако я утешаюсь мыслью, что хорошенькая женщина и в несчастьи все-таки остается хорошенькою женщиною, и если не подействует обаятельно на человека, обладающего изящными манера-

ми, то наверное прельстит хоть грубого казака. Искусство выражать одну и ту же мысль на разные манеры и не изогаться при этом вконец – столь любопытно, что может равняться разве искусству выражать совершенно разные мысли на один и тот же манер. В первом случае читателю кажется, что мысли как будто одни и те же, а между тем они как будто разные; во втором, что мысли как будто разные, а в то же время они как будто одни и те же. Закон, которому подобные мысли следуют в своем течении (ибо в благоустроенном государстве на все свой закон есть), называется законом единообразия в разнообразии, или, что одно и то же, законом разнообразия в единообразии.

Милая ветреность и откровенная, непринужденная кокетливость – вот те драгоценные свойства, которыми эта почтенная газета уловляет в свои сети читателей. Она говорит читателю (особливо если-таки этот читатель сам подписывается, а не пользуется газетой от знакомых): не я обладаю тобой, о возлюбленный! а ты всецело царишь над моими помыслами! если ты думаешь, что дважды два пять, – прикажи! клянусь, никогда иная истина не омрачит столбцов моих!

Не дивись, что я черна,
Опаленная лучами;
Посмотри, как я стройна
Между старшими сестрами.

Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален;
Но цвету я для любви,
Для твоих опочивален.
Целый мир пахнул весной,
Тайный жар владеет девой;
Я прильну к твоей десной,
Ты меня обнимешь левой.
Я пройду к тебе в ночи
Незаметными путями...

Вот как благоразумная редакция должна обходиться с своими подписчиками, а не то чтобы грубить и тем паче навязывать им свои мнения. Что же мудреного, что и подписчик не остается нечувствительным к таким ласковым речам, что и он, в свою очередь, пишет в редакцию страстные послания, в которых зовет ее «розой гор» и клянется, что «красотой ее ужален»?

Но и в самом непостоянстве этой газеты есть один предмет, к которому она обращается всегда одинаково, то есть с одинаковою злобой и ненавистью. Предметом этим служит русское молодое поколение, которое обвиняется в революционных тенденциях, которому приписываются всякие антисоциальные намерения, на которое, наконец, указывается, как на какое-то пугало, достойное омерзения. Беспрестанно возвращается газета к этому неистощимому источнику сво-

их скорбей и опасений и свою бранью отравляет лишённые волос головы старых каплунов, её читающих. Каплуны читают и разевают рты, словно туда посылают им любимые их катышки из грецких орехов с творогом; они читают и начинают подозревать, что в собственных их недрах завелось какое-то растлевающее начало, что собственные их дети, молодые каплуны, перестали ходить к обедне, не признают властей и надругаются над священным правом собственности.

– Да ты точно не признаешь собственности, Мишук? – спрашивает старый, покрытый плесенью каплун молодого, еще не совсем оперившегося каплуныка.

– А что такое собственность, папаша? – в свою очередь, вопрошает каплунынок, ковыряя в носу и воображая, что собственность и невеста какое кушанье.

– Собственность, мой друг... ну, Христос с тобой! ступай, душенька, поиграй с сестрицами!

И старый каплунык вздыхает свободнее и долго ломает голову над вопросом, что такое приснилось во сне его любимой газете, когда она уверяла, что мальчишки задумывают перевернуть вверх дном любезное отечество? И какое она имела право производить междоусобие и смуту в мирных семействах, поселяя вражду между родителями и детьми? И как она смела дворянских детей «негодьями» и «жуликами» называть? И много еще других вопросов задает себе старый каплунык и в конце концов постановляет решение не подписываться на будущее время на «Московские ведомости»,

а продовольствоваться исключительно «Сыном отечества». Да этот исход еще самый благоприятный; другой каплун позадорнее, пожалуй, и сатисфакции от редакции потребует за то, что осмелилась кость от костей его «жуликом» обозвать.

Много на своем веку острых слов произнесла почтенная газета в назидание современному русскому молодому поколению, но, конечно, ни в ней, ни в «Русском вестнике» не появлялось ничего такого, что замысловатостью своей подходило бы к выходке, помещенной в 187 № «Московских ведомостей». Выписываю вполне это драгоценное произведение человеческой гидрографии.

Дело идет о том, что гражданская администрация в Польше состоит из изменников; по этому поводу, или, лучше сказать, без всякого повода, а просто потому, что она с некоторых пор считает своею обязанностью находиться в состоянии постоянного лая, газета считает нужным обратиться и к России и указать, что ей угрожало точно такое же зло, да, быть может, еще не перестало угрожать и в будущем.

Мы не раз приводили для примера положение, в котором находилась наша северная столица назад тому года два. России, при совершенном отсутствии революционных элементов в недрах ее народа, грозила почти такая же мистификация, которая разыгрывается теперь с большим успехом в Царстве Польском. Пусть читатели вспомнят, какие элементы, в течение довольно долгого времени, господствовали над нашим обществом, развращая молодежь обоего пола. Нель-

зя без омерзения подумать, что эти элементы были близки к тому, чтобы превратиться в такое же подземное правительство, какое теперь властвует в Польше. Пусть русская публика вспомнит этот недавний позор России; пусть вспомнит она, под каким ужасным кошмаром находилось у нас целое здоровое и сильное общество; пусть вспомнит она, как посевшие люди подличали пред двенадцатилетними мальчишками, считая их представителями новой мудрости, долженствующей преобразить целый мир, как воспитатель пасовал пред своим воспитанником, как профессор боялся выставить студенту балл, соответствующий его нахальному невежеству, как начальствующие лица и лица высокопоставленные трепетали того, что скажет о них помешанный фразер в Лондоне; пусть вспомнит она этих чиновников-прогрессистов, коммунистов и социалистов, которых такое множество расплодилось в России; пусть вспомнит она ту шутовскую и тем не менее печальную революцию, которую производили студенты на петербургских улицах и которая не осталась без серьезных последствий даже для всего министерства народного просвещения; пусть вспомнит она все те нелепости, безумства, весь тот неслыханный «нигилизм», который господствовал в нашей литературе, и эту непонятную терроризацию, посредством которой всякий мальчишка, наконец всякий негодяй, всякий «жулик» (*sit venia verbo*) мог приводить в конфуз самые бесспорные права, самые положительные интересы, наконец логику здравого смысла. Все это бы-

ло так недавно, все это еще у всех на свежей памяти, все это еще и теперь не совсем замерло, все это, может быть, еще (да сохранит нас бог от этого позора!) отдохнет и очнется. Была же, значит, сила в этих ничтожных элементах; было же, значит, нечто такое, что давало им силу. Еще, казалось бы, один шаг, и у нас началась бы настоящая терроризация... Были же и у нас какие-то тайные общества, какие-то центральные комитеты, издававшие свои прокламации; получались же и у нас разными лицами подметные писания с ругательствами и всякими угрозами. В сравнении с русским народом, с этим великим, могущественным целым, все эти элементы разложения кажутся теперь ничтожною тлей, о которой стыдно говорить; но эта тля была же, однако, в силе, эта тля воображала же себя близкою к полному господству, и действовала же она с удивительною самоуверенностью. Что давало ей эту силу? Что внушило ей эту самоуверенность? Представьте себе, что вся эта наша революционная гниль сосредоточилась бы не в Петербурге, а в каком-либо другом городе; представьте себе, что все эти элементы разложения не находились бы ни в каком отношении к административным сферам, — и подумайте, что могли бы они значить и какое действие могли бы они производить? Они могли бы быть только предметом смеха. Что же заставляло всех опасаться, что же заставляло всех тревожно оглядываться, что заставляло всех конфузиться и пасовать? Не что иное, как лишь то, что все эти элементы возникали и развивались в Петербурге или под его влияни-

ем; не что иное, как лишь то, что эти элементы действительно захватывали частицу власти и действовали ее обаянием на всех и на все. Многие в Петербурге полагали, что это земля русская порождает из своих недр элементы разложения, а земля русская, недоумевающая, видела в этих элементах признаки какого-то нового порядка вещей, новой системы, которая на нее налагалась. Раскрыть недоразумения, распутать интригу, которая, пользуясь обстоятельствами, умела поддерживать эти элементы, давать им ход и сообщать им ту фальшивую силу, которою они так долго пользовались, внушая опасения даже самым серьезным людям, было трудно. Представим же себе на минуту, что наши высшие власти были бы такого же свойства и были бы точно так же поставлены, как польские власти в Варшаве, – представим себе, что вся наша администрация вдруг наполнилась бы такими же неблагонадежными элементами, какими наполнилась вся администрация в Царстве Польском и которые не только не препятствовали бы развитию действий революционной организации, а, напротив, всячески способствовали бы ей, – и вот, даже без помощи ксендзов и европейской агитации, мы получили бы у себя явление совершенно аналогическое тому, которое происходит теперь в Польше. И у нас, пожалуй, стали бы вешать непокорных помещиков, отказывающихся в контрибуции подземным властям, и у нас были бы жертвы, подобные Минишевскому, и у нас стали бы насильно загонять крестьян в леса, как уже, впрочем, и были к тому попытки. Нет сомне-

ния, что в России подобная мистификация не могла бы продлиться; но смут и всякого рода бедствий она причинила бы не мало, и бедствия эти обрушились бы главным образом на мирные народонаселения.

Здесь никаких объяснений не нужно; каждый принадлежащий к современному русскому поколению, без всякого сомнения, с презрением отнесется к этому бессмысленному набору ругательств, но не забудет, однако ж, что органом этих ругательств постоянно является редакция «Русского вестника» и «Московских ведомостей». Здесь что ни слово, то ложь, что ни фраза, то смешение понятий; читая этот новый опыт словаря избраннейших ямских слов, невольно переносишься мыслью к тем блаженным временам, когда всякого человека, сочувствовавшего правительству, называли революционером, когда поголовно всех членов редакционных комиссий, включая в то число и покойного графа Ростовцева, называли «красными». Тут состоят налицо все виды ненависти и лжи: и намеренное обобщение фактов совершенно уединенных, и стремление поселить раздор между двумя поколениями, которые, в сущности, идут рука об руку, и тайное желание восстановить власти против целой части русского общества, при помощи самой безобразной и бессовестной клеветы.

И когда все это пишется! В те самые минуты, когда русское учащееся юношество, в лице своих представителей, студентов Московского университета, изъясляет торжествен-

ное намерение очиститься от клеветы и наветов, и с этую целью пишет такие трогательные и горячие заявления. И кем пишется! теми самими, которые несколько лет сряду волновали это самое юношество и потом, увидевши всю бесплодность своих коварнических попыток и убедившись в стойкости молодого поколения, за это самое возненавидели его и ударились в противоположную сторону! Бедное юношество! если тебе так и придется сойти с поприща неузнанным и неоцененным?

Этот непрерывный процесс, который ведут с молодым поколением наши журнальные борзописцы, наводит меня на разные размышления. Ведь и они когда-то были людьми, и они во что-то веровали, ходили, не шатаясь по воле ветров. Какая таинственная сила заставила их переродиться до того, чтоб утратить даже возможность постигать смысл проходящих перед нами явлений? Какое мрачное колдовство до того засыпало мусором их память, что собственное прошлое является перед ними точно чужое?

Думаю я, что происходит это довольно просто. Выше я сказал, что когда человек сыт и доволен, то он склонен думать, что этой сытости и конца не будет; нечто подобное повторяется и в настоящем случае. Когда человек молод, внутренняя сила еще ключом кипит в груди, он думает, что этой молодости, этой силе никогда и конца не будет. А так как всякой силе свойственна известная доля гордости и даже фа-

натизма, то вот и мечтается молодому человеку, что краше-то его, молодого, и на свете нет, и что уж если он что выдумал или сказал, так уж лучше той выдумки или слова никому ни выдумать, ни сказать не приводится. И идет оно таким образом до самых преклонных лет, и думается молодому человеку, что он все еще молодой человек, покуда вдруг не получит откуда-то щелчка в нос. Тогда является в первый раз потребность оглянуться на себя и проверить свое положение в той среде, в которой действуешь. Оглядываешься, проверяешь... оказывается, что кругомросло что-то новое и притом до того действительно молодое, что не имеет надобности ни в фальшивых тупеях, ни в искусственных зубах. И это новое и молодое до того ново и молодо, что даже говорит другим совсем языком и думает совсем не ту думу, которую думали мы, прекрасные молодые люди сороковых годов. «Господи! да неужели же мы уж не молодые люди!» – робко подумывает пожилой молодой человек и внутренне оскорбляется даже одним предположением подобного рода. «Ах, мальчишки!» – вырывается из груди его невольное восклицание.

С этих пор он уж старик, и мысль его перестает развиваться даже в сфере тех начал, которые питали его молодость. Эта мысль все идет назад и назад и не успокоится до тех пор, пока не зайдет в самую трущобу. И тогда-то начинается действительная история человеческого грехопадения, история, которая была бы смешна, если б не имела в себе слишком

много поистине жалкого и даже трогательного. Человек рвет фальшивый тупей свой и искусственными зубами хочет вцепиться в живой организм. В бессильной и дикой злобе глумится он над всем, что хочет жить, что жаждет истины и света. Само собой разумеется, что все эти неистовства остаются без результата, что естественного течения жизни не остановить не только искусственными, но и настоящими, здоровыми зубами, но картина одряхлевшего молодого человека все-таки поучительна. Трогательная сторона ее заключается именно в том бессилии, которое царит над нею; но так как, в большей части случаев, здесь примешивается еще злоба, то, в соединении с нею, картина уже приобретает колорит отвратительный.

Затем, оканчивая мою хронику, не могу оставить без нескольких слов ответа «Заметку для редакции „Современника“», напечатанную в «Отечественных записках» за июль месяц.

Быть может, читатель помнит, что в майской книжке нашего журнала, по поводу постоянного плача «Отечественных записок» относительно какого-то бомбо-отрицательного направления, а также по поводу совершенно прозрачных намеков, которыми в распространении этого бомбо-отрицательного направления обвинялся «Современник», мы просили г. Громеку, как объявившего себя редактором «Современной хроники», в которой означенный выше плач преимуще-

щественно производится, объяснить нам, на какие факты он может сослаться для подкрепления своих обвинений.

На наши скромные вопросы почтенная редакция ничего не отвечает. Взамен того она объясняет, что рассуждения ее о бомбоотрицательном направлении имели совсем не тот смысл, какой нами им придан, и что г. Громека уполномочивает ее объявить, что он никогда не протягивал руки редакции «Современника» и не искал с нею сближений, но что редакция «Современника» не раз протягивала ему руку.

На это не лишним считаем, в свою очередь, объяснить почтенной редакции:

1) что толкованиям ее о бомбо-отрицательном направлении мы придали именно тот самый смысл, какой, вероятно, придан им всяким умеющим грамоте читателем;

2) что верность нашего понимания доказывается уже тем, что «Отечественные записки» сами объясняют свой поступок несколько запутанным и коснеющим языком;

3) что, впрочем, это последнее обстоятельство нам нравится, ибо обнаруживает в почтенной редакции решимость избегать на будущее время неосторожных намеков, которыми и без того достаточно безобразят нашу литературу московские публицисты;

4) что выражение «протягивать руку» употреблено нами в переносном и даже ироническом смысле; что затем, хотя нам положительно неизвестно, протягивала ли фактически и не в переносном смысле редакция «Современника» руку г.

Громеке (мы лично не имеем даже удовольствия знать его), но если бы это и было, то надеемся, что здесь нет даже самого малейшего повода для обвинения.

Сверх того, в «Заметке», о которой идет речь, есть следующая фраза: «Мы уверены, что каждый читатель, вникнув во всю тонкость этой литературной передержки, сам убедится, что отвечать нам на эти вопросы значило бы показать, что «Отечественные записки» лишены всякой способности гнущаться, подобно «Современнику», тем, что им представляется наиболее гнусным».

Полагаемся на здравый смысл наших читателей и предоставляем им отыскать ключ к этой загадке. Мы же решительно ничего тут не понимаем, но чувствуем, что здесь кроется что-нибудь одно из двух: или очень острое, или очень пакостное.

<VI. Ноябрь 1863 года>

Я вовсе не имел намерения беседовать с читателем о нынешней выставке Академии художеств. Во-первых, я совсем не считаю себя компетентным судьей в этом деле, а во-вторых, подобного рода отчеты вообще не входят в программу моих обозрений. Но было на этой выставке одно явление, до того сосредоточившее на себя общее внимание, что обойти его значило бы показать совершенное непонимание того общественного значения, которое оно в себе заключает. Это явление – картина Ге «Тайная вечеря».

Я не знаток в живописи; напротив того, признаю себя в этом отношении совершенно принадлежащим к толпе; но, быть может, именно поэтому-то картина и произвела на меня такое глубокое впечатление. Как все выходящее из ряда обыкновенного, картина породила множество самых разнообразных и противоречивых толков, но, к счастью, невежество мое спасло меня даже от поползновения прислушаться к ним: все равно, как бы я ни прислушивался, все-таки ничего бы не понял. Если б я был знатоком, то, наверное, нашел бы в картине множество неисправностей; я сказал бы, например, что некоторые носы не довольно тщательно отделаны, что некоторым складкам на одеждах дано не совсем соответствующее положение («посмотрите, сказал бы я, как г. Тютрюмов бобровые воротники пишет!»), что ска-

терть на столе носит признаки слишком современного происхождения и т. д. и т. д.; с другой стороны (тоже, если б я был знатоком), я мог бы указать в картине множество таких красот, которые для простого смертного совершенно недоступны; я сказал бы: посмотрите, как добросовестно задуман такой-то нос! как искусно кинута такая-то складка! как хитро рассчитано освещение! Но повторяю: благодарение богу, я не знаток, и потому все эти неисправности и достоинства ускользают от меня.

Мне нравится общее впечатление, производимое картиной; мне нравится отношение художника к своему предмету; мне нравится, что художник без всяких преувеличений разъясняет мне, зрителю, смысл такого громадного явления; что он не говорит мне при этом хвастливо в укор: «Благодарей перед моим трудом и молчи!», как делают многие из его собратий, а, напротив того, оставляет мне полную свободу размышлять и даже сам подает повод для разнообразнейших выводов и умозаключений. И кажется мне, что мы оба в этом случае правы: и художник, имевший в виду, при выполнении своей картины, преимущественно меня, простого зрителя из толпы, и я, зритель, приносящий мою искреннюю благодарность художнику за то, что он не оставил меня без поучения и вразумления. Художник имел в виду изобразить в своей картине совсем не ряд носов, поражающих разнообразием и красотой; он имел в виду представить в живом образе величайшее событие, и представить так, чтобы толпа зрителей

его поняла и чтобы смысл события не затемнялся никакими преувеличениями. Я, с своей стороны, очень рад, что нашелся наконец добрый человек, который написал картину собственно для меня, зрителя толпы, а не для знатоков-педантов, которые могут, если желают, уловлять правильность носов в других картинах, в изобилии находящихся на выставке, как, например, в картине г. Флавицкого «Последние минуты христиан, осужденных на растерзание хищными зверями», в картине г. Венига «Ангелы, возвещающие гибель Содома» и (о, истинное торжество прекраснейших носов!) в картине г. Плешанова «Блудница перед Иисусом Христом». Я рад этому, потому что очень искусно написанных картин не понимаю, и требую, чтоб художник относился ко мне доступным для меня образом, чтоб он если желает сделать меня участником изображаемого им мира, то не заставлял бы меня лазить для этого на колокольню, а вводил бы в этот мир так же просто и естественно, как я вхожу в мою собственную квартиру.

Что преувеличения не только не украшают, но положительно портят самые лучшие дела и намерения, это истина давно доказанная, это истина, в которой самый простой смертный убеждается на каждом шагу. Я знаю, например, одного критика, который, в сущности, очень прекрасный и искусный критик, но до сих пор никем по достоинству не оценен, потому собственно, что как только начнет о чем-нибудь говорить, так непременно залезет, подобно Хоме Бруту,

в бурьян: никто его и не понимает. Знаю я тоже одну птицу, шилохвост называемую, птицу маленькую и худенькую, но одетую такими великолепными перьями, что издали кажется, будто и невесть что плавает по воде. Неопытный охотник видит эту великолепную птицу и с жадностью ее преследует. паф – ан там, кроме перьев, нет ничего! Так эту самую птицу никто и не ест, хотя, быть может, она вкусом никак не хуже любого кулика...

Все это не доказывает ли нам, что всякий, кто желает поучать и вразумлять толпу, должен приступать к этому без преувеличений, то есть не залезая в бурьян, подобно Хоме Бруту, и не одеваясь великолепными перьями, подобно шилохвосту? Все это не объясняет ли, что как бы ни был громаден и особен смысл известного явления, он вовсе не утрачивает ни своей громадности, ни своей особенности от того, что художник приступает к нему просто, с желанием проникнуться истинным смыслом его?

А для толпы некоторое вразумление и поучение еще очень и очень не лишне. Как только дело выходит из области интересов чисто материальных, она почти всегда находится в недоумении, если не в глубоком невежестве. Она очень хорошо усваивает себе смысл явлений, зарекомендовавших себя непосредственными, осязаемыми результатами, но с недоверчивостью и робостью относится к таким явлениям, которые хотя шире и глубже захватывают основы жизни, но еще не подходят под положительные определения

и представляют собой то, что известно под общим наименованием «стремлений», «мечтаний» и «предвидений». Толпа отчетливо понимает выгоды, которые представляют хорошо устроенные пути сообщения перед дурными, дешевизна производства перед его дороговизною, легкий налог перед тяжелым, но она положительно хлопает глазами и недоумевает, когда до слуха доходят такие выражения, как «свобода», «убеждение», «право» и т. п. Мне скажут, быть может, что такое свойство толпы служит лишь доказательством здравого ее смысла, препятствующего ей гоняться за призраками; что пускай, дескать, эти «стремления», «мечтания» и «предвидения» выработаются настолько, чтоб представить собой нечто ясное и определенное, – и тогда та же самая толпа, наверное, усвоит их так же отчетливо, как и явления самые конкретные. Согласен: тут действительно есть здравый смысл, но это тот самый проклятый здравый смысл, который дает нам разгадку искаленного существования каплуна.

Рассуждая подобным образом, мы забываем, что вопрос заключается совсем не в том, чего толпа чуждается (считает пустяками) и что она принимает, а в том, имеет ли она право чуждаться, может ли она навсегда остаться при своей непосредственности, может ли обойтись без того, что в ее понятиях является не более как призраком. Что до меня, то я полагаю, что она таких прав не имеет и что непосредственность, которая ей так нравится, не может быть окончательным ее подвигом. А полагаю я так на том основании, что,

несмотря на всю ограниченность целей, преследуемых массами, положение этих последних вовсе, однако ж, не таково, чтобы даже и те простые и будничные явления, в которых выражается их жизнь, можно было объяснить себе какими бы то ни было положительными законами; напротив того, эти явления, издали кажущиеся нам совершенно солидными, носят на себе все признаки колебания и случайности и в действительности, отнюдь не меньше самого отъявленного «мечтания», исключительно стоят на почве спекулятивной. Этот закон колебания сам по себе до такой степени силен, что подчиняет себе явления самые простые и, по-видимому, неизменяемые, невольным образом выдвигает толпу из состояния непосредственности и самодовольства, заставляет ее объяснять себе причины колебания и таким образом прямо вводит в сферу других жизненных вопросов, более обширных и глубоких. Но если этот процесс неизбежен, если он составляет необходимую принадлежность истории человеческого развития, то не лучше ли, если массы приступят к нему добровольно, а не вынужденно? Вот в этом-то смысле именно и необходимы те вразумления и поучения, о которых я сказал выше. И нет нужды, что при этом мы как будто хлопочем о распространении таких понятий, которые мы сами себе рационально объяснить не можем: мы не должны забывать, что делаем в этом случае то самое дело, которое в данную минуту наиболее соответствует насущным потребностям общества.

Возьмем для примера геройство. Конечно, само по себе это вещь очень сомнительная, потому что здесь издержки не только не окупаются непосредственными результатами, но даже кажутся совершенно бесцельными. Нормальное состояние общества вовсе не допускает геройства, потому что там не может быть повода, его вызывающего; нормальное состояние общества предполагает не только удовлетворение всем законным потребностям человека, но и полное отсутствие всякой случайности, могущей нарушить общую гармонию, полную обеспеченность в будущем: к чему тут геройство? Но, с другой стороны, из всех известных нам общественных типов ни один, конечно (по крайней мере, со стороны внешних признаков), не соответствует в такой степени представлению об идеальном обществе, в какой соответствует ему именно жизнь толпы, с своею непосредственностью и самодовольством. И здесь есть своего рода удовлетворение, и здесь как будто представляется обеспечение против тех случайностей, которые так жестоко тяготеют над человеком, уже вышедшим из состояния непосредственности. Жизнь масс является сравнительно более легкой, но эта-то легкость именно и делает, что они ко всякому акту геройства относятся с некоторою игривостью. Они не прочь даже приравнять в этом случае человека толпы нормальному человеку и назвать геройство безумством. Вот здесь-то и следует образумить толпу, здесь-то и следует ей объяснить, что сходство, которым она так хвастается, есть сходство грубое

и притом основанное на одних внешних признаках. Ей следует доказать, что то, что при нормальном состоянии общества представляется удовлетворением осмысленным и сознательным, то при эмбрионическом его состоянии объясняется скудостью и ограниченностью требований; что в первом случае является действительным обеспечением человека от наплыва случайностей, то во втором объясняется беспечностью и неясностью представления о будущем. А следовательно, друзья мои, если в первом случае геройство упраздняется совершенством и нормальностью самой общественной комбинации, то во втором оно упраздняется только силою вашей немощи.

Итак, несмотря на мнимую призрачность, действие известных понятий и представлений не только не может быть упразднено, но является совершенно необходимым до тех пор, пока жизнь не выработает достаточно материалов для другой, более положительной деятельности. Допустим, что это призраки, но призраки полезные, о которых необходимо напоминать толпе в особенности тогда, когда она поголовно шалет и начинает думать, что сам черт ей не брат. В такие минуты человек толпы охотно прикидывается материалистом и еще охотнее смешивает материализм с чревоугодничеством. В такие минуты человек толпы имеет один только интерес: как-нибудь половчее выхватить из зубов своего соседа тот кусок мяса, который этот последний только что украл у другого соседа. В такие минуты толпа выделяет из

себя целые легионы милых шалунов, которые совершенно искренно думают, что жизнь есть не что иное, как веселая шалость вроде пословиц Октава Фёллье, и что так называемые убеждения с полным успехом могут быть заменены развязными манерами. Да, в такие минуты действительно нечто упраздняется, но это «нечто» есть именно тот характер человечности, который сообщает жизни всю ее цену и смысл. А на место упраздненного просто-напросто выступает на сцену темное хищничество...

Я вовсе не имею претензии утверждать, чтобы объясненные выше рассуждения имели непосредственную связь с картиною Ге, тем не менее совершенно справедливо, что и возможно, и совершенно естественно человеку предаться размышлениям при виде произведения столь трезво и серьезно задуманного. Картина Ге представляет у нас явление совершенно новое именно по совершенному отсутствию всяких рутинных приемов и приторно-казенных эффектов и по совершенно ясному отношению художника к изображаемому им событию. И такова сила художественной правды, что это отсутствие эффектов не только не умаляет значения самого события, но, напротив того, усугубляет его и представляет событие во всей его торжественной поучительности, во всей поразительной красоте.

Картина Ге изображает перед нами тот момент события, когда уже «Тайная вечеря» окончилась. Иуда удаляется; от всей его темной фигуры веет холодом и непреклонною ре-

шимостью; уход его сопровождается скорбью, недоумением и негодованием со стороны прочих присутствующих, но он лично, очевидно, уж стал на ту точку, когда оставляемый человеком мир не шевелит ни одной струны в его сердце, когда все расчеты с этим миром считаются раз навсегда поконченными. То, что, быть может, еще недавно было предметом глубокой внутренней борьбы и мучительных колебаний, в настоящую минуту уже не представляет никакого сомнения. Среди того мира, который он теперь оставляет, он и прежде чувствовал себя чужим; если он присоединился к нему и долгое время в нем оставался, то это произошло по недоумению, потому что он искал в нем осуществления своих собственных надежд и целей, которого, однако ж, не нашел. Да; вероятно, и у него были своего рода цели, но это были цели узкие, не выходявшие из тесной сферы национальности. Он видел Иудею порабощенною и вместе с большинством своих соотечественников жаждал только одного: свергнуть чужеземное иго и возвратить отечеству его политическую независимость и славу. Все остальное, все прочие более широкие цели были для него пустым звуком, праздным делом, скорее препятствовавшим, нежели способствовавшим выполнению пламенной его мечты. Нет сомнения, что и он не без тяжелого чувства пришел к уяснению своих отношений к этому чуждому для него миру, нет сомнения, что и тут дело не обошлось без споров с их внезапною неприимиримостью и столь же внезапною возвратами, но как толь-

ко он окончательно убедился, что мертвое и живое не могут идти рядом, то предстоявший ему образ действия обозначился сам собою. Не такой он был человек, чтобы оставить задуманное дело на половине дороги; он не мог стать в стороне и молча ожидать дальнейшего хода событий; в нем самом было слишком много содержания, чтобы на одну минуту допустить возможность подобного самоотречения.

Не знаю, до какой степени верно я угадал мысль художника в отношении к этой загадочной личности, но думаю, что если в моем толковании и есть погрешность, то она не существенна. По крайней мере, вся обстановка картины такова, что не только не опровергает моих догадок, но даже подтверждает их.

Зритель не может ни на минуту сомневаться, что здесь произошло нечто необыкновенное, что перед глазами его происходит последний акт одной из тех драм, которые издавна готовятся и зреют и наконец-таки вырываются наружу со всем запасом горечи, укоризн и непреклонной ненависти. Все присутствующие в волнении; один из учеников Спасителя (апостол Петр) встал с своего места и, по-видимому, угрожает Иуде; другой ученик (апостол Иоанн) тоже преисполнен негодования; но в нем мысль об измене Иуды стоит уже на втором плане, главнейшим же образом она сосредоточивается на заботе о том, какое впечатление эта измена производит на любимого Учителя. Среди этой тревоги и волнения, с одной стороны, и совершенного равнодушия –

с другой, фигура возлежащего за столом Спасителя поражает глубиной скорби, которой она преисполнена. Это именно та прекрасная, просветленная сознанием скорбь, за которую открывается вся великость предстоящего подвига.

Внешняя обстановка драмы кончилась, но не кончился ее поучительный смысл для нас. С помощью ясного созерцания художника мы убеждаемся, что таинство, которое собственно и заключает в себе зерно драмы, имеет свою преемственность, что оно не только не окончилось, но всегда стоит перед нами, как бы вчера совершившееся. Такой вывод не может не действовать на толпу освежительно. Погруженная до темени в свои крошечные, кропотливые интересы, не прозревающая далее завтрашнего дня, не умеющая себе объяснить ни вчерашнего своего довольства, ни сегодняшних страданий, она вводится, по-видимому, в тот самый мир, в ту самую среду, в которых она постоянно вращается, и в то же время чувствует, что это мир ей чуждый, что в нем есть какие-то светлые черты, которых она не знает. Откуда берутся эти светлые черты? И что за причина, что для нее, толпы, они составляют явление необычное? Вот первые вопросы, которые задает себе толпа, и несмотря на то что это только вопросы, но в них она уже находит изрядную точку опоры для дальнейших исследований. Очевидно, что если б художник представил свою мысль в преувеличенном виде, то никогда не могло бы получиться ничего подобного этому результату. Толпа сказала бы себе: ну, это выше моего понимания, это

превосходит мои скудные силы, и пошла бы себе безучастно прочь. Но как скоро художник осязательно доказывает толпе, что мир, им изображаемый, может быть, при известных условиях, ее собственным миром, что смысл подвига самого высокого заключается в его преемственности и повторяемости, тогда толпа чувствует себя, так сказать, прижатою к стене и не шутя начинает сознавать себе малодушною и виноватою...

Итак, твердить и напоминать массам, что жизнь еще совсем не так твердо сложилась, чтобы исключить необходимость и полезность тех отвлеченных представлений, которые в понятиях толпы неправильно слывут под названием призраков, далеко не излишне. Эти «призраки» приучают нас мыслить, разоблачают перед нами неустойчивость краугольных камней, на которые мы привыкли опираться, и возбуждают в нас ту горячую жажду деятельности, которая составляет единственный разумный признак жизни, еще не установившейся и ищущей естественного своего ложа. В известные эпохи жизни идеализм, несмотря на всю спорность своего содержания, есть все-таки высшая и самая пригодная форма человеческой деятельности. Каково бы ни было в существе своем мирозерцание каждого отдельного человека, как бы ни было оно ясно и положительно, он прежде всего пропагандист этого мирозерцания, он прежде всего ищет приобрести ему прозелитов и в этом смысле не имеет ника-

кого права отказываться от тех средств, которые предлагает ему идеализм. Даже фанатизм – и тот далеко не большее из всех разнообразных зол, которые могут тяготеть над обществом; самое горькое зло, самая безвыходная пагуба, это – отсутствие руководящей мысли, отсутствие убеждения. . . Не то общество самое близкое к гибели, которое вянет и задыхается под гнетом фанатизма, а то, которое, еще не живши, уже считает себя отжившим. Из фанатизма есть возможность выхода, фанатизм наконец сам себя изнашивает и истощает, из бессмыслия же нет другого выхода, кроме ничтожества, и притом такого ничтожества, которое обманывает своим самодовольством и кажущейся устойчивостью.

Общество мечется из стороны в сторону, тратит свои силы в бесцельных, конвульсивных движениях, но над этими движениями всецело господствует слепая случайность и полное отсутствие какой-либо связи. Это движения мгновенные, не имеющие ни прошедшего, ни будущего; здесь никто ни о чем не думает, кроме удовлетворения ближайших и самых простых потребностей; никто не видит далее своего носа, и не только не стыдится этой недалёкозоркости, но даже считает ее за особенное достоинство. Это, дескать, положительный взгляд, это отличительная черта нашей эпохи! Не иметь идеала, чуждаться мысли, смотреть на жизнь с точки зрения исключительно плотоядной, вгрызаться в нее, как вгрызается в куски мяса обезумевший от голода хищный зверь, – вот качества, которые бесстыдно и самодовольно выставляет чело-

век в подобные эпохи! и при этом не только не ощущает на лбу своем прикосновения позорного клейма, но даже одним своим появлением возбуждает в захмелевшей толпе неистовые и бессмысленные рукоплескания.

Я знаю, мне скажут, что я преувеличиваю и впадаю в лиризм по поводу призраков, мною же самим созданных. Я знаю, мне скажут, что никакое общество не может существовать без мысли, что даже те движения, которые на первый взгляд кажутся случайными, все-таки подчинены известному и притом очень положительному закону. Да, в этом возражении есть своя доля правды, но эта доля отыщется только тогда, когда мы будем смотреть на жизнь со стороны, в качестве наблюдателей, когда мы примемся группировать факты и объяснять себе их нравственный смысл. Но для человека, который относится к жизни не в качестве постороннего зрителя, а в качестве действующего лица, этой правды не будет. Человек, действующий в известной среде, чувствует и страдает, а не взвешивает и не наблюдает. Он мало находит утешения в том, что, в статистическом смысле, начало, под гнетом которого он мечется в жизни, называется не случайностью, а законом случайности, и что это такой же точно закон, как и всякий другой. Он чувствует, что не живет, а мечется, что среда давит и насильственно засасывает его в тину бессмыслия и бессилия случайности, и предоставляет отыскивать утешения и делать выводы тем хладным каплунам-философам, которые, с весками в руках, становятся у

ворот жизни в качестве присяжных ценовщиков и то в одну чашечку прибавляют весу, то в другую.

Но, кроме того, никак не следует упускать из виду и то обстоятельство, что то, что мы нередко чувствуем названи-ем мысли, совсем и не мысль, а только скудный, первоначальный ее зародыш, который шевелится в человеке, потому что фаталистически навязан ему самой природой. Пример чего-то подобного мы видим в говоре диких народов; тут нет собственно говора, а имеются только элементы для него; тут даже слов почти нет, а есть только звуки, да и то не разнообразные. Какой же основательный лингвист назовет это языком? Точно то же и с мыслью... Но не нужно ходить так далеко: примеров зародышей мысли, ошибочно принимаемых нами за самую мысль, мы найдем множество около себя.

Обратимся на первый случай к нашей провинциальной жизни. Истинный, добрый провинциал, видя из окна своего соседа, торопливо пробирающегося по улице, непременно задает себе по этому случаю тысячу вопросов. Все-то ему хочется разрешить: и куда это так торопится сосед, и не готовили ли у него сегодня какой-нибудь диковинной кулебяки, и зачем на нем жилетка с мушечками, а не с клеточками (не идет ли, дескать, он к Амалии Ивановне?). Ответы, которые быстро следуют за этими вопросами, дают удовлетворение мнимое, однако же вопрошатель утешается ими, и утешается совсем не потому, что они помогли ему выйти из положения неизвестности, а просто потому, что своим качеством они

совершенно соответствуют возбуждившим их вопросам. Здесь случайная постановка вопроса и произвольное его разрешение не только ничему не противоречат, но даже представляют бесспорное удобство в том отношении, что заключают в себе, как в источнике, нескончаемую нить новых вопросов и ответов, которые хотя и ничего, в сущности, не возбуждают и не разрешают, но наполняют и разнообразят провинциальный досуг. Спросите любезного провинциала, где кроется причина его любознательности, что заставляет его интересоваться жилетом и панталонами соседа, – он, наверное, ничего не ответит на ваш вопрос; он даже отопрется и обидится; скажет: с чего вы это взяли? Я совсем не об соседе думал, я книжку читал. Ему совестно признаться, что панталоны и жилет соседа представляют именно ту живую изгородь, которою загорожена и угнетена его мысль. Ему совестно сознаться, что куда бы он ни обратил свое умственное око, везде оно усматривает (в действительном или в переносном смысле) панталоны и панталоны, какие бы ни делал разыскания в архиве своей памяти, но и там ничего, кроме панталон, не обретает.

Мы, люди, считающие себя прикосновенными к так называемым высшим сферам жизни, охотно издеваемся над любознательным провинциалом и без труда признаем, что мысли его не суть мысли, но зачатки мыслей. Однако, рассуждая таким образом, мы этим миллионный раз доказываем только наше собственное легкомыслие и ничем не исправимую

несообразительность. Потому что кто же может поручиться, что вблизи нас не найдется такого нахала, который скажет нам: «Да с чего вы, друзья, разгулялись так! да обратитесь же на самих себя, посмотрите, не переполнена ли ваша собственная жизнь теми же панталонными вопросами, по поводу которых вы так язвительно улыбаетесь!» И не знаю, поистине не знаю, что найдемся мы ответить на подобное внушение. Пожалуй (чего боже сохрани!), еще примемся рассуждать и убеждать, что мы и в самом деле мыслим, но ведь тогда мы сами накличем на себя беду и окончательно докажем, что по части мыслительных упражнений ушли совсем недалеко от любознательного провинциала. А потому мой совет таков: если кто станет нас угнетать подобными вопросами, то, во избежание скандала, такому буяну ничего не отвечать, а покраснеть и отойти от него прочь.

Сам И. С. Аксаков сильно встревожился этим обстоятельством. В 39 и 40 №№ «Дня», рассматривая наш «арсенал мирных гражданских орудий», он пришел к следующим плачевным результатам:

1) Что русское общество не может «выставить даже несколько сотен честных чиновников».

2) Что в 1854 году, при переходе русских войск через Дунай, покойный Хомяков, вместо того чтобы поощрить и спеть песенку вроде:

Вот в воинственном азарте

счел необходимым обратиться к Руси с следующей предикой:

Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!..
О недостойная призванья,
Ты призвана! Скорей омой
Себя слезами покаянья,
Да гром двойного наказания
Не грянет над твоей главой... –

и что графиня Ростопчина, вместо того чтоб поблагодарить поэта за внимание и написать ему песенку вроде: «В горах я встретила черкеса», сочинила совсем другой романс, начинавшийся стихом: «Стыдись, о сын неблагодарный».

3) Что в одной из северо-западных губерний главный начальник края не находит исполнителей для своей мысли.

4) Что молодые люди (будучи, впрочем, как говорится, «добрейшими малыми») представляют собой собрание «дряблых космополитов».

5) Что в обществе нет сочувствия даже и к церковноприходским братствам.

6) Что недостаток гражданской честности лишает правительство возможности располагать «надежною исполнитель-

ною силою» и, наконец,

7) Что у нас, на Руси, «ума», друзья мои, мало, а вместо него накоплены початые и непчатые углы «энергии».

Итак, вот какие тяжкие обвинения взводятся на вас, о россияне! и кем же? самым прозорливым знатоком русской народности и жизни! Требуется ли от вас сотня, другая честных чиновников – вы говорите: людей нет! Говорят ли вам, что вы полны всякой мерзости, – вы отвечаете: «Стыдись, о сын неблагодарный!» – и продолжаете жить да поживать да детей наживать. Объявляют ли вам о церковноприходских братствах – вы говорите: «Это ты десять-то целковых у меня выманить хочешь – дудки!» Доказывают ли вам, что у вас ума нет, а вместо того есть какая-то распорядительность, – вы и тут находитесь и говорите: «А разве распорядительность-то хуже ума? да у нас Сила Терентьич распорядительностью-то целую губернию вверх дном перевернул и чин за это получил!»

Одним словом, вы кругом виноваты; и как ни оправдавайтесь, но обвинений И. С. Аксакова не опровергнете, ибо ума у вас доподлинно нет и к братствам вы воистину никакого сочувствия не имеете.

Что же в вас есть, мои милые? чем вы похвастаетесь перед любознательною Европой? что выставите ей напоказ? А вот, я вам скажу, что в вас есть: в вас есть шаловливость, в вас есть завидная способность жить шутя, администрировать забавляя, делать хорошенькие гадости и как можно меньше

думать о том, что из этого выйдет. Вот арсенал, с которым вы можете щегольнуть на каком угодно смотре; вот руководящая мысль, которую можно уловить в тех конвульсивных, дремуче-темных движениях, которые вы неправильно чувствуете именем жизни. Шалуны заполонили человеческую ниву, и нет того скромного, безвестного уголка, в котором они не оставили бы следа своей погадки, нет того честного сердца, в котором они не постарались бы поселить разврат... Этот продукт, который вы могли бы с заслуженною гордостью признать своим, о сограждане, если б и его вы откуда-то не заимствовали вместе с прочими самоновейшими бездельничествами и другими полезными изобретениями.

Тип «шалуна» не новый; это произведение общественных нечистот, равно возможных во всех странах и во все времена. Как только запахнет в воздухе тлением, как только начнется брожение в накопленных веками кучах хлама (многие ошибаются, принимая это брожение за проявление жизни), так вслед за этими признаками, словно последнее слово разложения, необходимое для его санкции, появляются рои «шалунов». Под знойным ли и вечно голубым небом Италии, в более ли умеренном климате Франции, или около самых полюсов, – где бы ни происходила печальная история разложения, везде она найдет своих организаторов, философов, поэтов, панегиристов в лице «шалунов».

Но нельзя, разумеется, отрицать, что есть известные широты, под которыми шалуны приживаются гораздо солиднее

и надежнее, чем под другими широтами, равно как есть и известные исторические эпохи, которые в особенности покровительствуют самозарождению шалунов. Нельзя также отрицать, что «шалун» южный имеет характер несколько отличный от «шалуна» стран гиперборейских и что мерзавец античный представляет множество таких сторон (преимущественно, впрочем, античность), которых лишен мерзавец времен новейших (*un chenapan moderne*³⁰). Тонкость этих разновидностей весьма трудно уловить, ибо до сих пор еще никакой *bureau central de statistique*³¹ не издал сравнительной статистики «шалунов», однако ж попытки в этом смысле не невозможны и даже не лишены поучительности.

Не может быть, например, сомнения, что южный климат с его благорастворением воздушных масс, с его вечно синим небом и изящною растительностью представляет гораздо менее благоприятных условий для сформирования настоящего, заправского «шалуна», нежели климат северный, с его бедною обстановкою, с его озлобляющими человека морозами и пр. Южный человек имеет нрав легкий и малососредоточенный; он не имеет нужды ни в тяжелой и дорогой пище, ни в теплой и дорогой одежде: две-три фиги и несколько устриц в желудке, на плечах алая курточка (образцы подобных курточек можно видеть на Большом театре), и он счастлив. Он порхает по дороге жизни, как мотылек, срывает цветы

³⁰ современный негодяй.

³¹ центральное статистическое бюро.

подлости шутя. Поэтому подлость его имеет характер ликующий, как окружающая природа, знойный, как тот солнечный луч, который его согревает, и вдобавок почти бесплатный. Напротив того, северного человека все призывает к суровости и обдуманности; пищу его составляет мясо и жирные вещества, одежду – разнообразные шерстяные ткани и меха. Независимо от непосредственного крайне неблагоприятного влияния такой обстановки на дух человеческий, никак нельзя забывать, что приобретение всех упомянутых выше удобств требует денег. Поэтому северный человек сосредоточивается и обдумывает; он очень хорошо понимает, что в его положении не только не может быть речи о том, чтобы срывать какие бы то ни было цветы, но что, напротив того, он тогда только может считать себя обеспеченным, если успеет занятию своему дать характер ремесла. И вот он пуще сосредоточивается, пуще обдумывает, и в результате выходят у него шалости мрачные и хотя не блестящие, но зато благонадежные.

То же можно сказать и о различном характере шалостей в разные исторические эпохи. В древние, например, времена «шалость» составляла монополию немногих избранных, которые и пользовались ею почти безусловно. От этого древняя шалость всегда отличалась своею пряностью, и даже не лишена была смелости и грандиозности. Чтобы убедиться в этом, стоит только припомнить таких «шалунов», как Нерон, Тиверий, Калигула, Гелиогабал и т. п. Кому из

новейших шалунов взбредет, например, на ум спалить Рим или ввести в римский сенат лошадь? Конечно, никому, ибо это шалость античная, не допускаемая ни мягкостью современных нравов, ни тем соображением, что гораздо выгоднее шалить хоть и не столь грандиозно, но почаще. Я знаю, мне могут сказать, что еще не так давно один городничий при проезде через город значительного лица сам зажег какой-то сарай, чтоб показать, как успешно действует у него пожарная команда, – чем не Нерон? И еще скажут мне, что, тоже недавно, один исправник вошел в земский суд с целой стаей собак, – чем не Калигула? Но я все-таки остаюсь при моем убеждении, что сарай не Рим, земский суд не римский сенат и собака не лошадь.

По мере того как смягчались нравы, смягчалась и шаловливость. Мало-помалу она перестает быть привилегией той или другой отдельной личности, а стремится захватить себе область более обширную, сделаться достоянием общим. Если не все общество, то, по крайней мере, изрядная его часть получает возможность жить шутя, администрировать забавляя и не думать о том, что из этого выйдет. Но чтобы достигнуть этой цели, шаловливость необходимо должна пожертвовать частью своей грандиозности, ибо на что же будет похоже, если все будут жечь Рим и вводить в римский сенат лошадей?

Сознание этой необходимости существенно изменяет внешние признаки шалости, хотя намерения ее одни и те же

и хотя сумма ее, разлитая в мире, даже значительно превышает ту, которая столь громко заявляла о своем существовании в мире античном. Является понятие о ловкости, являются робкие попытки показывания кукиша в кармане; наконец образуется целая наука, объясняющая тайны натуральной магии в доступном для публики изложении. Тайна жизни упрощается до того, что человеку самому наивному остается только подходить к источнику и черпать...

Итак, вот к каким результатам приводит нас краткий опыт сравнительной статистики по этой части. Тем не менее это только отступление, которое нужно было мне для того единственно, чтоб доказать, что тип «шалуна» вовсе не оригинальный русский тип, а только угаданный нами с свойственною нам прозорливостью и усвоенный во всех его существенных подробностях. Затем обращаюсь к прерванной нити моих размышлений.

Если б И. С. Аксаков был умереннее в употреблении тропов и фигур, если б он яснее указал, к кому, собственно, обращается его речь, и если б обвинения его не были несколько младенчески формулированы, то в них была бы своя доля правды. Действительно, в нашем обществе царствует замечательная пустота и мыслебоязнь, действительно, оно зарекомендовывает себя крайнею шаловливостью. Но не надобно забывать при этом: 1) что, употребляя слово «общество», мы получаем право разуметь под ним только ту часть общества, которая имеет возможность заявлять о своем существовании

какими-нибудь действиями, а отнюдь не ту, которая вследствие разных неблагоприятных условий находится на степени резерва, на действительную службу еще не призванного; 2) что даже и в этой ограниченной сфере мы должны с крайнею осмотрительностью отделять те стихии общества, о деятельности которых нам или вовсе ничего неизвестно, или если что и известно, то это известное недоступно нашему пониманию. Это последнее непонимание происходит отчасти оттого, что все новое нарождается вообще довольно туго, окружается известными препятствиями, и потому вынуждено бывает облекать свои действия некоторою таинственностью, отчасти же оттого, что мы, люди, выработавшие себе известный строй понятий, вообще враждебно относимся ко всему, что хочет перерасти нас, и, подстрекаемые этим чувством, не прочь иногда прибегнуть и к преувеличениям. Таким образом, простое стремление к свободе мысли нам кажется уже стремлением к анархии, вопрос о положении женщины в обществе сводится к вопросу о свободе совокупления и т. д. Являются даже особые бранные слова («ты нигилист», «ты космополит», «ты материалист»), которых смысла мы сами хорошо не понимаем, но которые имеют то достоинство, что против них нельзя даже возражать, ибо брань эта сама по себе считается геркулесовскими столпами человеческой мудрости, дальше которых шагать невозможно.

Итак, если я позволяю себе выражаться: «общество шаловливо», «общество озабочено клубничными помыслами»,

то обязан разуть здесь именно то общество, которое действительно шаловливо и озабочено клубничными помыслами, а не какое-нибудь другое, которого я не знаю.

«Шалунов» развелось нынче очень много. Что проводить жизнь без размышленья,

Без тоски, без думы роковой, –

гораздо приятнее, нежели жить с головными болями от думы – это и для самого простого ума понятно, а потому естественно, что охотников до подобного развеселого житья очень довольно. Но никак не надо думать, чтобы подобное существование всякому доставалось даром: даром оно достается только избранным, большинству же стоит изрядных хлопот, преимущественно выражающихся в непрерывных и изнимающих душу гимнастических упражнениях. Поэтому «шалуны» разделяются на два разряда: на шалунов естественных, которым все сие достается даром, и шалунов искусственных, выработавших себе шаловливость горьким и не всегда благодарным трудом. Сверх того, на шаловливость имеет большое влияние и возраст: молодой шалуненок выглядит совсем иначе, нежели древний, промозглый шалунуше, да и шалости у них на уме разные, ибо первый имеет в виду исключительно лореток и шикарный костюм, второй примешивает к этим видам некоторые гражданственные соображения.

Естественный шалун всегда сын известных родителей, всегда достаточно обеспечен относительно материальных

средств или, по крайней мере, имеет возможность делать долги, не заботясь об уплате их. Бывают, впрочем, примеры, когда и естественные шалуны не могут похвалиться ни известностью родопроисхождения, ни совершенною правильностью своих средств к жизни, но такие примеры встречаются преимущественно уже в преклонных летах, то есть тогда, когда какой-нибудь искусственный шалун, с помощью сугубых и мучительных усилий, доведет себя до такой точки, на которой все забывается, исключая шаловливости. Про таких людей обыкновенно говорят: «Посмотрите! из простых, а ведь какой шалун!» Бывали, сказывают, примеры, что даже из кутейников постепенно образовывались очень милые естественные шалуны, и никто не думал напоминать им о происхождении.

Огражденный происхождением и материальными средствами, естественный шалун бывает по большей части очень мил. Состояние его духа всегда ровно, и отнюдь не страдает он приливом желчи, потому что ее нет. Он не сдается ни злобой, ни завистью, потому что знает наверное: в молодости – что красивый мундир, если б и хотел, то никакими ухищрениями не может уйти от него, в старости – что он непременно будет членом какого-нибудь правления. Он не смущается ни внутренней, ни внешней политикой, потому что уверен, что все эти дела обработают за него М. Н. Катков, А. А. Краевский и П. И. Мельников. С высшими он предупредителен, но не искателен, с равными любезен, но слюня-

вых поцелуев остерегается; с низшими вежлив и плавен, но не тривиален. Он приличен. Высший его идеал заключается в том, что, с какой бы точки видимого мира, с облаков ли, из ада ли, и кто бы на него ни посмотрел, всякий бы сказал: «Этакий ведь этот NN милушка!» Сообразно с этим он никому не залепляет глаза своею ученостью, и, напротив того, когда старшие шалуны, причмокивая и прищуриваясь, беседуют о какой-нибудь древней Агриппине-младшей (по учебнику Кайданова) или о новейшей Помпадур (по «Mémoires de l’Oeil de Bœuf»), то он прикидывается даже невеждою и почтительно спрашивает: что это за Агриппина и как она телом сравнительно с Florence, или с Fanny, или, наконец, с самой Шарлоттой Федоровной? Вообще по части наук он очень умерен (*très discret*). Из древней истории знает нечто об Ахиллесе, а именно что у него была пята, из средней истории о Готфриде Бульонском («вскипел Бульон, и в храм потек!»), из русской истории – что когда-то давно жили-были на свете *le général Munich et le général Souwaroff*.³² В политической экономии он позволяет себе сомневаться, потому что знает по опыту, что как ни распложаются в Петербурге портные, но цены на сюртуки и брюки нисколько от того не понижаются и что, следовательно, экономический закон о спросе и предложении есть выдумка, ни на чем не основанная.

Тем не менее изредка встречаются и между «шалунами»

³² генерал Миних и генерал Суворов.

ученые. Я знал, например, одного, который написал хорошенькое рассуждение «о византийском значении древней гривны» и получил за это премию; я знал другого, который написал шестнадцать страничек, под названием «*Quelques mots sur le rôle de la noblesse dans l'histoire de la civilisation universelle*»³³ но не получил за них ничего. Этих шалунов называли не иначе как *l'auteur de la «Grivna»*, *l'auteur de «Quelques mots»*³⁴ и относились к ним с почтительною боязнью. Но это были только счастливые исключения; обыкновенно же шалуны предпочитают заниматься дипломатией.

В молодости естественный шалун специально занимается устройством английского пробора на голове, и в большей части случаев достигает самых блестящих результатов на этом поприще. Этим пробором и ограничиваются требования внутреннего его мира, ибо относительно всего прочего он успел уже разочароваться. Огурчик маленький, но уже сморщившийся, он успел отцвести не цветя и пошел в семена, еще сам находясь, так сказать, в зародыше. Ничему он не удивляется, ничему не радуется, потому что все уж давно себе разрешил. Он еще в школе закуривался до тошноты, еще там узнал, что у женщины есть такие милые подробности, которые, вместе с французским языком, делают ее существом в высшей степени шикарным, – какая же мудрость может быть выше этой мудрости? Поэтому-то его сбить с

³³ «Несколько слов о значении дворянства в истории мировой цивилизации».

³⁴ автором «Гривны», автором «Нескольких слов».

толку очень мудро. «Tout ça est bel et bon, mais tout ça – c'est des utopies!»³⁵ – говорит он по поводу чего угодно и при этом притворяется, будто и в самом деле у него бог весть как голову разломило от думы. Даже при встрече с полногрудой лореткой он как-то лениво и расслабленно кивает головой, словно и по этой части никакими новыми изобретениями его не удивишь. Нельзя сказать, чтоб он жил без идеи; нет, он имеет идею, но она в том именно и состоит, что никакой идеи иметь не следует. «Mon cher! нам не нужно идеи, – говорит он. – Идеи хороши для тех, кто в них нуждается, а мы сами по себе составляем идею, и, следовательно, для нас требуется только солидарность». Понять эту мысль довольно трудно, потому что тут, собственно, есть только зародыш мысли, но если вникнуть, то окажется, что зародыш этот довольно ехидный. Не поленитесь когда-нибудь наблюдсти за улыбками молодого шалуна, за его пожатиями руки, всмотритесь в разнообразные оттенки тех и других, и вы без труда догадаетесь, что это за канальский зародыш. В этих улыбочках откроется для вас весь внутренний мир этой, если можно так выразиться, заживо разлагающейся души со всем ее непроходимым и наглухо замкнутым ничтожеством, со всем ее тайным высокомерием. Вы поймете, что здесь, как в гробу некоем, заключено тление целого мира, что было бы напрасно искать тут признаков жизни, потому что ей нельзя да и нет никакой надобности входить в какое-либо соприкосновение с этим

³⁵ Все это прекрасно, но все это утопии!

заживо истлевшим миром.

По мере возрастания «шалуна», кругозор его хотя и не расширяется, но зато механически более и более раздается вширь и в высоту сфера его практической деятельности. Он получает возможность выказывать мыслебоязнь не только словом, но и делом. Трепет перед мыслью и лганье самое паскудное составляют все содержание, единственную поддержку этого вечно угасающего, но все еще не могущего угаснуть бессилия. Мысль самая простая, чувство самое законное служат предметом мучительных тревог и отгоняются как нечто докучное, незваным гостем вламывающееся в эту порожнюю жизнь, в которой именно потому так хорошо и жилось, что не чувствовалось никакой мысли. Даже патриотизм (уж на что кажется законнее!) и тот заподозривается, потому что и в нем чувствуется присутствие силы, носящей в себе семена развития, потому что и в нем слышится жизнь. «Шалун» инстинктивно поднюхивает эту силу, инстинктивно же сознает, что она подкапывается под его бессилие, и начинает исподтишка принимать меры к ее сокращению. Эта сила была нужна ему, но она была нужна лишь в той мере, в какой она служила его ничтожеству; но как только она начала выходить из заранее определенных ей берегов и заявлять претензию на что-то живое, существенное, то ясно, что нет никакой надобности в дальнейшем ее поощрении.

Но мыслебоязнь была бы сама по себе ничтожна, если бы на помощь ей не являлась интрига, не та, о которой высо-

ким слогом ежедневно беседует с своими читателями М. Н. Катков, а другая, гнусенькая, маленькая, упорно расставляющая свои сети на всяком месте, где слышится хоть что-нибудь похожее на присутствие мысли и чувства. Для того чтоб вести такого рода интригу, не требуется даже больших издержек со стороны ума; нужно только убедить себя, что право плотоядности есть высшее право в жизни, что нет на свете средств гнусных, коль скоро они ведут к утверждению этого права, и согласно с этим убеждением направлять свои действия. Все, что кажется нам выше той сферы, в которой мы прозябаем, все, что живет с нами рядом и в то же время живет не по-нашему и не чуждается мысли, – все это ложится на нас горячею укоризною и возбуждает в нас ненависть. И не потому совсем, чтоб это соседство влекло за собой какой-либо непосредственный ущерб для нас, а просто потому, что оно нравственно давит нас, что оно на каждом шагу служит нам безмолвною уликой в том, что в нас не осталось ничего человеческого. Мы сами очень хорошо понимаем, что окончательно изолгались и избежделись, праздно слоняясь по свету, но в то же время рассуждаем и так: разве какие бы то ни было обличения тут могут помочь? Нет, не могут, потому что обличение, как бы оно ни было праздно и мелко, все же должно ухватиться за какую-нибудь струну, за какой-нибудь признак, а мы именно тем-то и счастливы, что в нас ни струн, ни признаков нет. Следовательно, все, что прямо или косвенно обличает нас, все это принимает в на-

ших глазах характер назойливости и возбуждает наше негодование. И вот мы начинаем интриговать. Мы интригуем сообразно с теми домашними умственными средствами, которыми обладаем; мы не идем открыто против врага, но стараемся как-нибудь обесчестить его; мы притворяемся его друзьями, мы выражаем ему наше удивление и преспокойно ведем его в те западни, которые расставляет ему наша незатейливая изворотливость. Мы рассчитываем даже на честность его; мы знаем, что ему и в голову не придет предусматривать те милые сюрпризы, которые мы подготовляем ему, и ведем да ведем себе полегоньку наши подкопы... И велика бывает наша радость, когда мы убеждаемся, что враг наш наконец свален, и притом свален самыми нехитрыми средствами – почти что с помощью одного лганья! Гвалт, бестолковое карканье стоном стоят над болотом, и долго потом хищное и озлобленное воронье передает из рода в род трогательную повесть о том, как мыши съели короля Поппеля.

Как будто бы король – огарок свечки сальной.

(Соч. Акима Нахимова.)

Таковы шалуны естественные. Искусственные шалуны, если это возможно, даже хуже их. Над первыми тяготеют известные фаталистические условия, для избежания которых требуется много силы воли; последние принимают эти условия добровольно и даже добиваются их. В применении к ним

даже название шалунов не точно; гораздо приличнее назвать их мерзавцами.

Искусственный шалун большею частью принадлежит к сонму людей среднего рода. Он или не знает своих родителей, или стыдится их; средства к жизни имеет ограниченные и всю надежду в этом отношении полагает единственно на самого себя, на свои способности. В молодости его соблазняет блестящая внешность естественного шалуна; его грызет зло и зависть при виде тех легких успехов, которыми пользуется в жизни его прототип. Тут, в этом заколдованном, радужном мире заключается все, о чем дерзает мечтать его мысль: и златотканые одежды, и лоретки, и вкусные яства, и кутежи. Он дает себе слово втереться в этот мир, хотя бы он затворял ему свои двери, втискаться в эту привольную жизнь, хотя бы это стоило ему множества толчков, бесчисленных плевков и целой вереницы самых бесцеремонных оскорблений. Это народ по преимуществу бойкий и даже храбрый, но в то же время многострадальный.

Я знал одного такого господина; звали его Свербилло-Замбржицкий. Однажды рассказал он мне историю своих гимнастических упражнений: поистине это была история подвижническая!

«Фамилия моя, – так начал он свой рассказ, – очень древняя и знаменитая. С одной стороны, существуют достославные графы Свербиллы, с другой, всякому известно, какую завидную роль в всеобщей истории играли князя Замбр-

жицкие. По-видимому, я мог бы быть покоен на этот счет (ибо если для составления моей фамилии два знаменитейших рода подали друг другу руки, то что же может быть лучше?); но в действительности это счастливое сочетание сделалось для меня источником величайших огорчений и мучительнейших досад. Дело в том, что когда я произношу перед кем-нибудь незнакомым свою громкую фамилию, то весьма естественно рождается вопрос: не родня ли я знаменитому графу Владиславу Свербилле и не племянник ли достославному князю Болеславу Замбрицкому? Сознаюсь откровенно, я всегда, при таких вопросах, чувствую страх и озноб вместе, потому что мне всякий раз приходится разуверять моего собеседника, и в то же время как бы просить извинения в том, что я не знаменитый и гнусный Свербилло...

Черт его знает, в самом деле, кто был мой рара! Всякий раз, когда я спрашивал об этом татап (а татап у меня была красавица и до самой своей смерти сводила с ума гвардейских офицеров!), она вместо ответа зажимала мне рот своими розовыми пальчиками и нежно меня целовала. Достоверно, однако ж, что я дворянин: в этом убеждает меня большая аквамариновая печать, на которой изображен герб моей фамилии. Щит разделен на две половины: в одной, на золотом поле, изображен черный лев, вставший на дыбы (герб Свербиллы), в другой, на серебряном поле, черный же орел с раскрытою пастью и распростертыми когтями (герб Замбрицких). Одним словом, все точно так, как и у моих знаме-

нитых однофамильцев; только у меня прибавлена внизу еще надпись: «За усердие», которая, надеюсь, ничему не вредит.

Мамап моя, урожденная Войдзицкая, вела жизнь самую приятную; имела прекрасную квартиру, великолепный экипаж и одевалась с такою роскошью, что самые гордые петербургские аристократки завидовали ей. Все это доставлял ей друг ее, престарелый князь Оболдуй-Тараканов. Поэтому воспитание мое было самое блестящее. Ничто огорчительное не поражало души моей, и я рос в полном неведении, есть ли на свете иные рубашечки, кроме батистовых, и иные курточки, кроме бархатных. Из дома я отдан был в лучшее заведение, в котором все внимание воспитателей было устремлено к тому, чтобы сделать воспитанников как бы вышедшими из рук творца, с прибавлением, конечно, милых манер. Разумеется, я употреблял все усилия, чтобы всегда находиться в обществе молодых князей и графов, однако ж не могу сказать, чтоб это обошлось мне без труда. С каким-то жгучим наслаждением (особливо в публичных местах) протягивал я руку графу Сереже Баламутову или князю Léon Шилохвостову, но иногда к этому наслаждению пришивалась столь же жгучая горечь. Помню, однажды князь Léon, находясь в мизантропическом расположении духа, не шутя пристал ко мне с таким вопросом: почему я в публичных местах всегда называю его «cher prince»? «А знаешь ли, – сказал он, заметив мое смущение, – ведь ты, скотина, это для того делаешь, что хочешь всем проходящим пока-

зять, что у тебя есть князь знакомый!» В другой раз граф Serge, за ужином у Дюссо, очень громко выразился: «А хотите, господа, я этому гнусному Свербилле...» И хотя он этого не исполнил, однако ж и намерение его не могло меня не огорчить.

Из этого вы можете видеть, *mon cher, que tout n'est pas rose ici bas*,³⁶ и что для того, чтоб поставить себя как следует в свете, необходимы не только усилия, но и некоторые огорчения»...

Я не знаю подлинно, успел ли Свербилло-Замбржицкий поставить себя в свете как следует, но думаю, что успел. Эти господа народ покладистый. Скажите им: «Поди к такой-то Мальвине, передай ей то-то» – они пойдут и передадут; скажите: «Поди и напиши тотчас же доклад о высылке твоего отца в Туруханский край» – они пойдут и напишут; скажите: «Делайся публицистом» – они пойдут, сделаются публицистами. Нет для них в природе ничего сокровенного и недоступного; они даже Гибралтар возьмут, если князь Léon хорошенько об том их попросит; конечно, не приступом возьмут, а как-нибудь проскользнут туда, потому что уж очень скользки...

«Шалуны» как естественные, так и искусственные кишмя кишат в этом мире и ловко подставляют ноги всему, что не смотрит на жизнь как на забаву. Они идут по дороге жизни подплясывая, они высовывают толпе язык, и в то же время

³⁶ мой милый, не все радужно в этом мире.

ловко выкрадывают друг у друга изо рта лакомые куски, которые и стараются поспешнее проглотить... Это целая проклятая система, это целая проклятая каста, в которой трепещет и бьется один принцип – это неимение никаких принципов...

И, разумеется, если смотреть на «общество» именно с этой ограниченной точки зрения, если разуместь под этим словом только собрание шалунов, то нельзя не сознаться, что И. С. Аксаков прав. Это общество, конечно, не только не выставит нескольких сот честных чиновников, которых он так настоятельно требует, но просто не удовлетворит ни одному из семи пунктов его ультиматума. Скажу более: не вторгаясь в сферу гражданственности, в которой преимущественно витает знаменитый московский публицист (ибо она слишком для меня обширна), и ограничиваясь обыкновенною сферою человеческою, я полагаю, что такое общество не в состоянии выставить даже ни одного честного человека.

Но будто бы уж и нет кругом ничего, кроме порождений упраздненной мысли и пламенного чужездства? Будто бы мир и в самом деле представляет собой такую пустыню, над которой свободно реет голодное и жадное воронье? Будто бы уж и надежды не имеется, будто бы жизнь иссякла в самых источниках, подсечена в самом основании? Воля ваша, а как-то не верится этому; скорее думается, что тут есть какое-то недоразумение...

Говорят, будто бы вы плохо учитесь, дети?

Один угасающий профессор прав с прискорбием повествовал: вы не поверите, сколько юридических кафедр остается праздными во всех университетах – решительно нечем заместить! Один закатившийся начальник отделения рассуждал так: посмотрим! ну, и посмотрим, кого-то они на мое место посадят! Один обрусляндивший славянофил доказывал: вот я теперь соединился с Русляндией, а место мое в рядах славянофилов и до сих пор числится вакантным! «С.-Петербургские ведомости» с ужасом спрашивают себя: что, если наш корреспондент П. М. сломает себе руку, – кем мы его заменим? Московские публицисты думают: мы стары! мы умираем! кто-то, ах кто-то унаследует наше искусство?! «День» (№ 39) говорит прямо: «Трагическое положение того общества, у которого, так сказать, нет молодого поколения, нечем пополнять ряды убывающих деятелей!»

Все озабочены, все недоумевают. Чиновники говорят: нет больше шустрых чиновников! Философы – нет больше глубокомысленных философов! старики вообще – нет молодых людей! нет прекрасных молодых людей! Положение действительно «трагическое».

Но если это положение полно безнадежности относительно молодого поколения, то еще больше трагизма представляет оно относительно поколения угасающего, сходящего со сцены. Ведь это просто-напросто значит, что целый мир одно время был сплошь населен скопцами! Ведь это значит,

что все эти созревшие и перезревшие «старички» ничего и никого, в течение своей долгой, многострадальной жизни, не обсеменили! Не хорошо.

Представляю я себе какого-нибудь престарелого становой пристава, который, умирая, желает передать кому-нибудь секрет своей административной науки. Не умереть он не может, потому что Кай смертен, следовательно, все люди смертны, а с другой стороны, он не может и умереть, не заповедав кому-нибудь своей науки, ибо ему, как в древности колдунам, сказано: дотоле не умрешь, покуда тайны своей достойному не передашь! Мечется становой на одре своем и просит смерти, как блага. «Кому я передам свою тайну, – вопиет он, – коли никто ее слушать не хочет! Неужто ж так-таки земля и не примет меня!»

Воображаю я себе также какого-нибудь профессора полицейского права, которому также заранее сказано, что земля не примет его, покуда он свою тайну не преподаст. Воображаю себе славянофила, воображаю московского публициста... «О, молодые люди, – восклицаю я, – хоть бы для того вы учились, чтобы дать сим людям возможность умереть поскорее!»

Что же вы делаете, дети? Я, чай, все в деревянный домик около почтамтского мостика да в гостиницу «Синоп» ходите? Нет, отвечают старички, там их не видать, ибо там мы сейчас же могли бы преподать им нашу тайну. Туда ходят молодые «шалуны», которые и без нас нашу тайну знают, а

молодое поколение говорит: нам туда ходить некогда, не на что, да и незачем.

Или, быть может, вы скромно сидите себе по домам и утешаете родителей не столько успехами в науках, сколько благонаправленным поведением? Нет, отвечают родители, если бы они сидели с нами, то мы, конечно, преподали бы им нашу тайну; а то с нами сидят только молодые «шалуны» (да и те больше волочатся за кухнями), которые и без нас нашу тайну хорошо знают...

Но, может быть, вы гуляете по Невскому и заглядываетесь на разложенные за стеклами пирожки? или секретно клеите по домам картонки и коробочки? или слишком неумеренно посещаете те скромные убежища, на дверях которых красуется надпись: «Навынос и распивочно»? Нет, ибо и тут старички могли бы устичнуть вас и преподать вам свою тайну!

Наконец, я начинаю запутываться и теряться в соображениях.

– Эге! да тут целый роман! – невольно восклицаю я.

– Нечего тут теряться в соображениях! никакого тут романа нет! – прерывает меня угасающий профессор. – Просто мальчишки...

Престарелый ученый наклоняется к моему уху и шепотом произносит окончание своей фразы, которое, однако ж, я не нахожу препятствия повторить и вслух. Он говорит:

«Просто мальчишки занимаются политикой!»

Гм... политикой! Однако это нисколько не выводит меня

из недоумения, а только повергает в еще большее. Политика, думаю я, – ведь это та же философия, то же правоведение; все эти искусства стоят на одной почве, выходят от одного корня; все они одной матери дети! Отчего же молодые люди небрегут философией и презирают правоведение, а политикой занимаются?.. Нет, тут что-нибудь да не так! Что ж это за политика такая, которой предается молодое поколение, не занимающееся ни правоведением, ни философией?

И действительно, когда я подробнее начал расспрашивать моего престарелого друга, то оказалось, что эта политика совсем не политика, что тут и помина нет ни о чем возвышенном (что, собственно, и составляет сферу политики), а просто идет речь о тех обыкновенных, житейских делах, о которых доньше было принято говорить и писать так называемым низким слогом. Что это за дела такие, об этом я когда-нибудь сообщу читателю на прохладе, теперь же исключительно займусь исследованием вопроса, отчего дети не учатся, и хорошо ли они делают, что не учатся.

– Ведь они нашу-то науку и за науку не признают! – продолжал мой ученый друг взволнованным голосом. – Они говорят, что это совсем не наука, а кляуза, и что самый университет – совсем не храм наук... грустно!

– Но почему ж они говорят так, друг мой?

– А потому, мой друг, что, дескать, ваша наука восемь тысяч лет живет, и все-таки толку от нее ни для кого ни на волос не оказалось... Ну, да ведь они это только так говорят!

в сущности же им просто учиться не хочется!

– Однако ведь в том, что они говорят, есть и доля правды...

– Кто говорит? но ведь поймите: нельзя же все вдруг! разве мало сделала в это время наука? разве не освободила она человеческую мысль? разве не упразднила произвол? разве не определила, не уяснила, не утвердила на незыблемом основании право собственности?

– Теперь ей предстоит только освободить человеческую личность – и все будет готово.

– Теперь ей предстоит освободить человеческую личность – и все... – машинально повторил было за мной разгорячившийся друг мой, но спохватился, посмотрел на меня довольно пристально, взял шляпу и вышел, не простясь со мною.

Как видится, дело разыгрывается не на шутку. Потрясается величественное здание науки, жертвенник, на котором воскуряли фимиам Неволины, Кошанские, Леонтьевы, Никиты Крыловы, Рожественские, братья Баршевы и Юркевичи, упраздняется; самое место, на котором они совершали свои возлияния, мало-помалу зарастает крапивой; площадка, которая стояла на этом жертвеннике, потухает и распространяет чад; прохожие зажимают носы, животные в смятении...

Сколько я мог понять из объяснений почтенного моего друга, дети оттого не хотят заниматься науками, что не считают их таковыми, а считают лишь краткими и отчасти пустопорожними словесными упражнениями. С этим я, однако

ж, никак не могу согласиться; во-первых, это вовсе не детское дело рассуждать о том, что наука и что не наука; во-вторых, каких же вам еще наук надо? и в-третьих... но о том, что следует в-третьих, необходимо поговорить поподробнее.

Предположим, дети, что вы правы и что та наука, которой вы не хотите учиться, совсем не наука, а пустопорожнее словесное упражнение, что она восемь тысяч лет что-то мнет да мнет, и все-таки ничего не вымнет, все добра от нее никому нет. Допустим, что даже мой почтенный друг, угасающий служитель этой науки, – и тот потихоньку согласится с вами (особливо если при этом не будет ни начальствующих, ни командующих на заставах лиц), но разве этим все сказано? разве здесь разрешение вопроса?

Нет, разрешение вопроса не здесь. Я знаю очень много наук; я знаю даже науку, которая утверждает, что земля на трех рыбах стоит, и что царь Фараон каждую ночь из Чермного моря выходит. Согласитесь, что это наука очень поверхностная, что это даже почти совсем и не наука; однако есть же общественные сферы, в которых и эта наука действует и в которых преподаватели оной слынут мудрецами. И вот я, считающий себя выше этой науки, являюсь в среду, которая ее признает, и даже не являюсь совсем, а притягивает она меня к себе сама, и начинаю с омерзением говорить: какую это вы всё чушь городите! ну, есть ли в том здравый смысл, чтоб земля на трех рыбах стояла! Но это еще с моей стороны милостиво, если я так говорить стану, – гораздо благороднее

и величественнее будет, если я совсем не скажу ни слова и отойду прочь от этой полоумной толпы, которая верит в каких-то трех рыб и не знает, что земля кругла и несколько сжата около полюсов. Какой результат будет подобной моей деятельности?

А результат в обоих случаях будет вот какой: толпа не поймет ни моего восклицания, ни моего молчания, а будет себе веровать да веровать, что земля именно на трех рыбах стоит. И много погибнет человеческих голов жертвою такого верования, и долго придется потом их скоблить, чтоб скоблить эту трехрыбную золотуху, этот фараонов нарост... Конечно, для меня, собственно, это ничего, что будут их там скоблить и стругать... ушел себе в кабинет и мыслю там, вместе с Невוליным, что мир совсем не на трех рыбах стоит и что, напротив того, существо веществ заключается в союзах, союзах и союзищах, которые, постепенно развиваясь и разрастаясь, берут в полон всю вселенную. И так все это в моей голове ясно и отчетливо разрисовывается, как будто передо мной ландкарта лежит, и все это там начерчено. Этот хорошенький, уютный мир, в котором я заключился, кажется мне миром совершенно особым от того, в котором рассуждают о царе Фараоне; в порыве самодовольства я готов заключить, что между мной и им нет ничего общего, что даже чуть ли не проведено тут что-то вроде маленькой стены. Но с другой стороны, если я начну размышлять, то очень скоро увижу, что совсем здесь никакой стены нет и что да-

же нас связывает нечто общее. Это связующее начало есть именно тот человеческий облик, который ношу я, утверждающий мир на разных союзах, и носят те, которые утверждают мир на трех рыбах. Он, этот облик, против воли моей, вызовет меня из моего замкнутого уютного мира и кинет в тот мир грубости и пошлости, к которому я так небрежно относился; а кинет он меня потому, что я со всеми своими союзами все-таки ничего не поделаю, а они, эти фараонолюбцы, несмотря на свою пошлость и грубость, все-таки нечто делают. И увижу я тогда, что, покуда я занимался моими «союзами», фараонова вера успела заполнить мир; что мне не только протестовать против этого, но и объясняться уж не приходится, что меня даже никто не спрашивает: почему ты в трех рыб не веришь? – а просто говорят: да как ты смел в трех рыб не верить?

И потому, если я мил и умник, то никак не скажу фараонопоклонникам: «Какую вы, дурачье, чепуху несете!», а равным образом и не отойду от них прочь, а, напротив того, ласковым манером выведаю от них, что и как, откуда взялось такое мудреное учение и в чем оно состоит. Это последнее обстоятельство особенно нужно, потому что происхождение учения всегда имеет большое влияние на дальнейшие судьбы его. Выведавши все, как следует, я ознакомлюсь со всеми подробностями учения и постараюсь поразить его в собственном его убежище и собственным его оружием. Например, я спрошу: кто видал этих трех рыб? и доведу до созна-

ния, что никто; потом спрошу, почему здесь предполагается три рыбы, а не три коровы, и доведу до сознания, что это так, нипочему и т. д. и т. д. И когда таким образом, постепенными мерами, я доведу моего собеседника до того, что он мне скажет: «Да ну тебя к черту!» – тут я его и огорошу моими «союзами». «Это, мой друг, все вздор, что до сих пор тебе глупые люди ввали, – скажу я ему, – а вот ты послушай, какие «союзы» бывают!» И начну я тут перед ним канитель тянуть, и буду тянуть ее до тех пор, покуда он глаза на меня не выпучит: верный признак, что я поставил его мысль в полное соответствие с моей. И я уверен, что он не только поймет меня, но даже сам ко мне раз десять придет и все будет просить, чтоб я с ним об «союзах» побеседовал, потому что очень уж это для него занятно. Этим путем я непременно приобрету успех: во-первых, потому что смирил свою гордость, а во-вторых, потому что соблюл постепенность.

Теперь перенесемся мыслью в другую сферу, в ту самую сферу, в которой находитесь вы, дети. Тут дело идет уже не о трех рыбах, а об идоложертвенном светильнике, возжженном рукою Кошанского и поддерживаемом его прозелитами. Вы говорите, что этот светильник так же чадит, как и тот, который освещал учение о выходящем по ночам из моря Фараоне: так докажите же это, и если можете, то затушите его. Признаюсь откровенно, я сам человек старинного века, но сердце у меня доброе, и детей я люблю. Когда я вижу, что около меня резвятся дети, мне так и хочется их чем-нибудь

поощрить и показать им какую-нибудь новую штучку, которой они не знают. «Душеньки! говорю я им, если вы хотите, чтоб папаша дал вам ляльки, то просите ее тогда, когда мамаша ему чем-нибудь угодит!» Или: «Душеньки! вот уж после обеда папаша почивать ляжет, а мы в то время ляльку и унесем!» И те «душеньки», которые меня слушаются, бывают счастливы, а те, которые не слушаются, часто остаются без обеда и подвергаются телесным наказаниям, даже не всегда заслуженным. Так точно и тут: если вы желаете затушить старый светильник и возжечь на место его новый (смотрите, масло-то у вас есть ли?), то войдите в наше капище ласково, тихим манером расспросите, кем, когда и по какому случаю возжжен наш светильник, разузнайте доподлинно, что именно он освещает, и потом, улучивши минуту, задуйте его. Ибо в мире сем не одна сущность дела роль играет, но и манера.

А потому все можно, говорю вам: если становой пристав будет открывать вам тайну свою – примите ее; если канканист Фокин будет вам открывать тайну свою – примите ее. Чем больше будете вы знать тайн, тем скорее попадете в капище и тем удобнее будет для вас завладеть светильником...

Как-то на днях гулял я по Невскому; вижу: передо мной идут рядом старец и юноша и ведут разговор.

– Ну нет, прыгать я не согласен! – говорит старец.

– Однако, ваше превосходительство...

– Идти вперед спокойно, но твердо – на это я готов; но

прыгать... нет, прыгать я, слуга покорный...

– Позвольте мне сказать, ваше превосходительство...

– Знаю, что вы будете говорить мне, молодой человек!
и заранее отвечаю: прыгать я не согласен и не согласен!

Некоторое время собеседники идут молча. Первый опять задирает старец.

– По-моему, так: если задумал реформу, начни сперва с одного уезда. Сделал? хорошо! переходи к другому. Сделал? хорошо! переходи к третьему. И таким образом, без потрясений и незаметно... а прыгать я не согласен!

– Но ведь таким образом, если предположить, что в России больше шестисот уездов и что на каждый из них, чтоб удостовериться в совершенной годности реформы, нужно положить, по крайней мере, год времени, то окажется, что последнему-то уезду придется дожидаться шестьсот лет, пока дойдет до него очередь!

– А по-вашему, лучше прыгать? Ну нет, прыгать я не согласен!

– Да разве ваше превосходительство когда-нибудь прыгали?

Старец останавливается при этом вопросе и с азартом говорит:

– Не прыгал-с, не прыгаю-с и прыгать не буду-с.

– Так почему же вы знаете, что прыгать неудобно?

– Как почему я знаю! нипочем я, государь мой, не знаю? Я знаю только одно: что прыгать я не согласен!

Опять водворяется молчание, которое на сей раз прерывает уже юноша.

– Хорошо, – говорит он, – идти вперед «спокойно и твердо», коли человек идет, подобно нам с вами, по прекрасному и ровному тротуару. Но если предположить, что под ногами вашими не тротуар, а раскаленная плита, то согласитесь, что вы сами будете очень благодарны, если вам будет позволено прыгать?!

– Нет-с; я прыгать не согласен!

– Однако же...

– Что вы мне там говорите? разве я наперед всех ваших резонов не знаю? Не согласен я прыгать, милостивый государь, не согласен-с!

Мы дошли до Аничкина моста, и собеседники остановились, чтоб проститься и разойтись. Ба! да ведь это люди знакомые: штатский генерал Постепенников и с ним коллежский секретарь Ваня Колобродников! Я подошел к ним.

– Вот, – говорит мне генерал Постепенников, указывая на Ваню Колобродникова, – уговаривает меня, чтоб я прыгал! да нет, я прыгать не согласен!

– Ваше превосходительство, верно, в клуб поспешаете? – спросил я, чтоб переменить разговор.

– Да, в клуб; пора!

– А говорят, там нынче настоящие-то прыгунчики и есть?

– Смейтесь, молодые люди! смейтесь! А прыгать я все-таки не согласен! Ну, прощайте.

Генерал подал нам руки и повернул по Фонтанке налево. Но, сделавши пять шагов, он опять любезно поворотился к нам и, грозя пальцем, сказал:

– А прыгать я, слуга покорный, не согласен!

Колобродников был в унынии.

– Слышали? – спросил он меня.

– Слышал.

– А вот вы говорите, что надобно настаивать, что в отчаянье приходить не следует... Да я с ним битый час разговаривал, и битый час он мне отвечал: «Ну нет! прыгать я не согласен!»

– А вы зачем с ним о прыганье разговариваете?

– Помилуйте! кто с ним разговаривает о прыганье! Это он сам! это у него врожденная идея!

– Тем больше вы виноваты; если вам известно, что такова его врожденная идея, вы должны были сообразоваться с этим; вы обязаны были пресечь зло в самом корне, сразу согласившись, что прыгать никуда не годится.

– Однако...

– Ибо таким людям никогда не доказывают пользу прыганья, а просто-напросто заставляют их прыгать...

– Но ведь это, наконец, противно!

– А вы думали, что пройдете осенью по Невскому от Аничкина моста до Адмиралтейства и не замараются? Ну, и не марайтесь!

– Да я и ходить совсем не хочу!

– Ну, и не ходите!

В это время около нас остановилось еще два собеседника. По внешнему виду это были два канцелярских политика, но не из высших, а так, второго сорта.

– Ну-с, как-то вы с новым начальством служить будете? – спросил один.

– А что?

– Как «что»! да ведь, чай, новые порядки, новые взгляды... все новое!

– А мне что за дело!

– Как же не дело! велит писать так, а не иначе... небойсь не напишете?

– Напишу.

– Чай, тоже неприятно!

– Ничего тут неприятного нет, потому что совсем не в том дело.

– Да в чем же?

– А в том, во-первых, что я могу написать разное; могу написать убедительно и могу написать неубедительно...

– Ну-с, а во-вторых?

– А во-вторых, неужто вы так наивны, что до сих пор не знаете, что эти дела обделываем мы!

– Как так?

– Очень просто. Я напишу проект точь-в-точь такой, как приказывает начальство; от нас он идет на заключение к г. Х. Я тотчас же еду к Семену Иванычу, который к своему г. Х

находится точь-в-точь в таких же отношениях, как я к своему, и говорю: «Семен Иваныч! к вам поступает наш проект, так уж, пожалуйста, вы его разберите!» – «Хорошо», – отвечает мне Семен Иваныч; и действительно, через месяц проект возвращается к нам, разбитый в пух на всех пунктах. Ну-с, хорошо-с; теперь проект этот идет дальше, а именно на заключение к г. Z. Я опять-таки еду к Петру Галактионичу, который к своему г. Z находится точь-в-точь в таких же отношениях, как и я к своему, и повторяю ему ту же просьбу, что и Семену Иванычу. «Хорошо!» – отвечает Петр Галактионич; и точно, через месяц проект возвращается к нам окончательно добытый и истерзанный. Начальство бесится, но сделать ничего не может; проект его так и остается мертворожденным...

– Гм... да; это хорошо, – задумчиво отвечает собеседник.

– Поверьте, что не дурно.

Собеседники жмут друг другу руки и расходятся.

– Слышали? – спрашиваю я Колобродникова.

Некоторое время юный мой друг нечто соображает.

– Слышал-с, – наконец говорит он мне, – и могу отвечать одно: ну нет, я прыгать не согласен!

Вот и толкуй с ними!

<VII. Декабрь 1863 года>

Публика не без основания сетует на русскую литературу или, вернее, на ту ее часть, которая зовется беллетристикой. Старые таланты исписываются и, сотворив что-нибудь чересчур уж великое, с видимым смущением спешат на покой; новых талантов не нарождается. То есть, коли хотите, эти новые таланты и появляются по временам, но расходуются они как-то по мелочам и ознаменовывают свою деятельность больше сценками да рассказами, из которых самый обширный все-таки короче куриного носа. Уменье группировать факты, схватывать общий смысл жизни, уменье заводить речь издалека и вдаваться в психологические развития с каждым днем утрачивается все больше и больше, а с тем вместе утрачивается и способность к созданию чего-либо цельного. Беллетристика приобретает характер, так сказать, этнографический, посвящает себя разработке подробностей жизни, настойчиво ловит отрывки, осколки и элементы ее и, надо сказать правду, в этой бисерной работе обнаруживает не одну настойчивость, но и замечательное мастерство.

Отрицать этот факт невозможно, как невозможно отрицать и то, что подробности жизни действительно выясняются перед нами и выступают вперед с небывалою доселе яркостью. Но публика не того хочет; она требует общей, более

или менее законченной картины жизни, в которой подробности являлись бы не разбросанными, а занимали бы каждая свое определенное и притом соразмерное своему значению место; она говорит, что сколько бы ни было потрачено таланта на разработку какой-либо подробности, все-таки это будет не больше как подробность, которая так и утонет в общем числе прочих. Здесь самое обилие подробностей, самая сила таланта, употребленная на воспроизведение их, как бы содействует взаимному их уничтожению и естественному ослаблению того впечатления, которое они должны бы были производить на читателя. «Посмотрите, – говорит публика, – на произведения наших лучших беллетристов прежнего времени! Там тоже вы встретите прекрасные подробности, но они не бьют в глаза своею разрозненностью, а впадают в общий ход жизни, не отвлекают своею особностью внимания читателя от целой картины, а, напротив того, служат к усилению впечатления, производимого этою последнею».

Нельзя не сознаться, что в этом суждении публики есть много правды. Ум человеческий с трудом довольствуется частностями, как бы они ни были сами по себе привлекательны, и неудержимо стремится приурочить их к чему-нибудь целому. Матерьял самый разнообразный и богатый содержанием все-таки представляет не более как сбор случайных и разрозненных фактов, за пределами которых фаталистически возникает вопрос о том выводе, который отсюда следовать может. Это требование вывода, эта необходи-

мость более или менее цельной картины жизни до того сильна, что нередко заставляют человека прибегать даже к самообольщению и создавать такие обобщения, которые не имеют ни малейшего корня в действительности. Самая странная и нелепая утопия является законною, самые фальшивые и смешные представления о жизни приобретают право гражданства; и если мы имеем право подвергать осмеянию те формы, в которых облакаются эти утопии и представления, то ни в каком случае это право не может простираться на самую потребность в подобного рода представлениях, потому что эта последняя, в сущности, совершенно законна.

Приведу пример самый простой и общеизвестный. Еще очень недавно все содержание так называемых беллетристических произведений основывалось исключительно на взаимных отношениях двух противоположных полов. Понятно, что это было содержание скудное и одностороннее; понятно, что человек, который сознает себя живущим и действующим не только под влиянием побуждений любви, ненависти, ревности, подозрения и т. п., но и в силу других, более глубоких запросов своей человеческой природы, должен был чувствовать себя приниженным при виде той тесной сферы, в которую его волею или неволею втискивали. Тем не менее это скудное и одностороннее содержание очень долго господствовало в литературе безраздельно, да и до сих пор не покидает еще претензий своих на господство; тем не менее в эту тесную рамку вкладывался весь человек, и никому даже на

ум не приходило протестовать против этого насилия. Почему? А потому просто, что другие-то побуждения человеческой природы еще не выяснились до такой степени, чтобы на них было возможно что-нибудь основывать, а еще потому, что эти другие побуждения никогда не пользовались в своих проявлениях тою беспрепятственностью, никогда не сопровождалась тем общим признанием, какими пользовались и сопровождалась отношения мужчины к женщине, особенно если при этом не ставилось какого-нибудь приводящего в смущение вопроса, и вообще дело не захватывалось глубже, нежели сколько следует. Любовь с ее видоизменениями и последствиями давала легкое средство отыскать содержание для целой картины; к ней одной представлялось возможным свести всю человеческую деятельность. Беллетристы пользовались этим обстоятельством и разрабатывали любовные способности человека насколько хватало у них сил; результат их заботы был тощий и односторонний до тошноты, но публика не сердилась на своих любимцев, ибо в произведениях их все-таки видела человеческую жизнь не в осколках, а в одном общем фокусе, и притом в таком фокусе, который, по мнению ее, мог вмещать в себе все известные и доступные ей подробности.

Но как ни законны и ни объяснимы сетования публики на современную беллетристику, оправдание последней также не представляет особенных затруднений. Направление литературы изменилось потому, что изменилось направление са-

мой жизни; произведения литературы утратили цельность, потому что в самой жизни нет этой цельности. Нет даже той цельности, рамку для которой давали любовные упражнения человека, ибо и последние изменяют свой прежний характер и, видимо, ищут новых форм для своего выражения. Общество чувствует, что если оно останется при прежних своих основах, то неминуемо придет к ликвидации, и эта перспектива заставляет его серьезнее вглядываться в самого себя. Первый акт этой новой для него деятельности начинается, разумеется, поверкой его собственных сил и средств. Неслыханное, затаенное и невиданное целым потоком врывается на сцену, и, разумеется, врывается на первых порах в отрывочном и даже не всегда привлекательном виде. Число действующих лиц непрерывно увеличивается новыми милыми незнакомцами, которые, в свою очередь, скрытничают и выставляют напоказ только то, чего уже ни под каким видом скрыть нельзя. Одним словом, в самой жизни выступают на первый план только материалы для жизни, и притом до такой степени разнообразные и малоисследованные, что самый проницательный наблюдатель легко может запутаться в тех кажущихся противоречиях, которые, разумеется, прежде всего бросаются в глаза. При таком положении дел литературе остается выбрать одно из двух: или лгать, то есть вымышлять картины жизни несуществующие, или же делать частные наблюдения, писать отдельные биографии. Но лгать, очевидно, нельзя, потому что все, что можно было вылгать

на старые, избитые темы, все уже вылгано, а новых тем для лганья жизнь не дает; стало быть, остается идти по последнему пути, то есть заниматься подробностями. Когда сумма наблюдений будет достаточно велика, когда выступившие на сцену новые элементы улягутся в общем движении жизни и найдут каждый свое место, тогда, конечно, явится возможность и той цельной картины, о которой тоскует русская публика. А до тех пор литература будет в этом отношении настолько же бессильна, насколько само общество бессильно сплотить за один раз все новые стихии, которые находятся в нем в состоянии брожения.

Что в обществе нашем беспрестанно нарождаются новые стихии, в этом никто, даже самый отъявленный пессимист, сомневаться не может. Можно рассуждать о том, что стихии эти нарождаются без прямого и самодеятельного участия общества, что они заявляют очень мало непосредственной энергии, но в том, что они так или иначе, то есть собственным ли своим движением или силою внешних обстоятельств, но выдвигаются-таки вперед, – в этом сомневаться нельзя. В этом до такой степени нельзя сомневаться, что литература наша в подобных случаях всегда даже опаздывала, то есть являлась на сцену уже тогда, когда праздник объявлялся оконченным и сонные городские разгоняли последних зевак. Почему она опаздывала – это вопрос, ни для кого не составляющий тайны, но не в нем покуда и дело, а в том, что запоздалая или не запоздалая литература уже не имеет права

действовать на прежнем основании в такое время, когда все кругом говорит новою речью, думает новую думу. К прежне-му выдохшемуся, выболтавшемуся и несколько уже исказив-шемуся миру примкнули, с дозволения начальства, свежие элементы, которым, быть может, тоже придется, в свою оче-редь, выдохнуться, выболтаться и исказиться со временем, но которые покуда еще кажутся миленькими и чистеньки-ми. В этом заманчивом, девственно нетронутым виде застают их литература, овладевает ими, насколько может, угадывает таящуюся в них силу, и во всяком случае, даже на основа-нии одних внешних признаков, относится к ним сочувствен-но. Где источник этого сочувственного отношения, в том ли естественном чувстве торжества, которое неволью проры-вается всякий раз, когда примечается признание непризнан-ного и освобождение из заточения угнетенного, или в том более простом соображении, что вот, дескать, слава богу, прибавилось еще несколько новых сюжетцев, над которыми можно досыта наболтаться, – это опять-таки дело стороннее, которое отнюдь не уничтожает силы самого факта, вынуж-дающего литературу останавливаться именно на таких-то, а не на других явлениях жизни, проявлять свою деятельность в такой-то, а не в иной форме. Здесь, как и в самом факте вытеснения старых элементов жизни новыми, сила не в при-чинах и условиях, вследствие которых явился факт, а в са-мом его появлении и возведении его на степень факта при-знанного и действующего.

Но если существование самой простой и ничтожной былинки не может не иметь своего воздействия на окружающий ее мир, то тем больше понятно это воздействие со стороны явления более сложного, каковым представляется нашествие незнакомцев, и притом в той высшей сфере, какова сфера жизни общественной. Это явление прежде всего имеет силу разлагающую. Новые общественные стихии, во-первых, не могут проникнуть в общество иначе как во имя упразднения, и даже как последнее слово этого упразднения, и во-вторых, на первых порах заявляют себя преимущественно отыскиванием нового ложа и поверкою своих собственных сил. Но повторяю: упразднение и искание еще не составляют жизни, а могут дать только материал для нее; факты выходят из тьмы изолированными, и связь между ними сознается лишь в самой слабой степени. Самая характеристическая черта подобных эпох – это непоследовательность, это быстрое возвышение и столь же быстрое падение известных принципов и известных личностей, которые во имя этих принципов действуют. Современники и вообще называются неблагодарными, но этот упрек еще решительнее, еще с большим правом может быть применен к современникам эпох нарождения новых общественных основ. Это народ поистине непоследовательный и малодушный, а вследствие того и неблагодарный. Первейшие агитаторы, каковы, например, М. Н. Катков, Н. Ф. Павлов и А. А. Краевский, не могут удовлетворить их, потому что не могут знать сего-

дня, что потребует от них завтра всепожирающий дух времени. Горя стремлением создать общую картину, они с тоскою прислушиваются к бродячему говору толпы, с полным усердием прилаживаются к колебаниям температуры и, вопреки всем усилиям и стараниям, на каждом шагу видят себя то оставленными назади, то нерасчетливо забежавшими вперед. Все эти неудачи происходят, разумеется, оттого, что эти простодушные люди ловят то, чего еще нет на деле, и не хотят остаться при том, на что прямо и явственно указывает им современность. Современность говорит: трудись и собирай в поте лица твоего, не претендуй на звание художника и довольствуйся дипломом чернорабочего; если ты думаешь, что с этим дипломом тяжело достается жизнь, то или не живи вовсе, или старайся прожить как-нибудь, как живется всем вообще, то есть со дня на день. Будь осторожен, и если сегодня ты зришь себя героем, то не упивайся вином славы, ибо от этого вина на другой день болит голова.

Но чтобы мысль моя предстала перед читателем со всей ясностью, постараюсь подкрепить ее некоторыми практическими примерами.

Предположим, читатель, что путем наблюдения, размышления и размена мыслей ты дошел до некоторых положений, совокупность которых составляет твой так называемый идеал. Предположим даже, что это совсем не тот мошеннический идеал, который заключается именно в отрицании необходимости и плодотворности идеала в жизни, но идеал по-

истине честный, могущий дать действительное мерило для оценки явлений. Обладая своим сокровищем, ты мыслишь идти твердой стопой по жизненному пути; ты рассматриваешь и обсуждаешь; одному явлению присвоиваешь название худого, другому – название хорошего; одним словом, ты распоряжаешься в мире, как в своей собственной квартире, и с восхищением видишь, как перед умственным твоим оком встает целая картина, в которой недостает только балетной мифологии, чтобы дело было совсем как следует. Но увы! практика на каждом шагу разбивает твой идеал, и даже не идеал собственно, а, что всего обиднее, разбивает его отношения к действительности. Она говорит: ты можешь иметь всякие идеалы, какие тебе заблагорассудится, но в то же время обязываешься хранить их для себя и для друзей. Повторяю: это очень обидно. С разбитием идеала примириться можно, потому что здесь есть возможность прийти, по крайней мере, хоть к внешнему оправданию такого факта; можно, например, солгать себе, что идеал, которым я доселе питался, оказывается слабым и ложным и что путем убеждения меня привели к сознанию этого грустного обстоятельства; но примириться с бессилием, но признаться себе, что сам-то я молодец, да вот руки, ноги у меня связаны, не позволяет ни самолюбие, ни здравый смысл. Я полагаю даже, что от одной мысли об этом бессилии можно с ума сойти и постепенно довести себя до зубовного скрежета. «Господи! да где я? да что со мной делается?» – придется беспрестанно восклицать

жадному искателю идеалов в этом море яичницы, каковым представляется жизнь, не выросшая еще в меру естественного своего роста. И вот тут-то является к нему на помощь так называемая сноровка, и притом является до того неслышно и незаметно, что подчинение ей делается актом почти бессознательным.

Начнем с отношений к людям, то есть к отдельным человеческим личностям. Идеал ваш, если он только заслуживает этого имени и если вы достаточно строги к самому себе, конечно, таков, что под его уровень могут подходить лишь немногие личности; следовательно, вне этой небольшой сферы, все остальное должно быть для вас безразлично, то есть безразлично ничтожно. Тут нельзя даже пустить в ход известных оговорок: вот эта личность более терпима, потому что менее вредна, а эта менее терпима, потому что более вредна, — от этих оговорок уже отзывается сноровкой и знаменитыми компромиссами. Перед идеалом нет большей или меньшей неправды, а есть одна неправда; идеал даже не имеет права входить в эти различия, потому что, ставши однажды на эту покатость, рискуешь очутиться гораздо дальше, нежели может предугадать самая расчетливая предусмотрительность. Но почему же, скажите на милость, нет в целом мире того последовательного и строгого идеалиста, который на практике, ведением или неведением, не допускал бы возможности и даже необходимости различий? Почему все эти Сидоры, Трифоны, Петры, Иваны, к которым иногда так

неловко бывает прикасаться, в действительности совсем не составляют безразличной массы, а выступают вперед каждый порознь, и притом снабженные очень определенными и своеобразными чертами? Нет ли в самой жизни чего-то такого, что ставит разделяющую черту между идеалами человека, с одной стороны, и практической, живую его деятельностью – с другой?

Нет сомнения, например, что вы происходите не из сырости, но что у вас есть родители. Как бы вы ни были дальнорозорки, до какого бы беспримесного аскетизма ни довели свою мысль, вы чувствуете, однако ж, что над душой вашей висит некоторое фаталистическое бремя, что над ней носится ваше прошлое, не то прошлое, когда вы уже признавали свои силы и от которого, при дальнейшем развитии, во всякое время можете отказаться (по крайней мере, вам так кажется), но то далекое прошлое, которое тяготело над вами всюю своей непосредственностью и беспомощностью. Несмотря на то что вы уже вышли из этого непосредственного и беспомощного состояния, оно и до сих пор окружает вас всюю силою воспоминаний, всюю мощью своего авторитета. Вы не можете даже сказать себе: я буду отдавать этому прошлому только то, чего оно, по справедливости, заслуживает; нет, вы всегда отдадите ему более, во-первых, потому, что оно с своей стороны представляет собою совсем не скопление мертвого материала, а нечто весьма жизненное, протестующее против попыток сухой и холодной оценки; а во-

вторых, потому, что как только вы приметесь за оценку и взвешиванье, то неминуемо придете к такому заключению: или что прошлое, в сущности, ничего не заслуживает, или что попытки ваши оценить его никуда не годятся и не выдерживают самого простого прикосновения жизни. Отсюда, первая уступка, первое признание уместности исключений, из которых немедленно и логически разовьется целый ряд дальнейших уступок и признаний, и притом несравненно более важных.

Не забывайте, что то же самое явление, которое сопровождало ваше младенчество, пройдет впоследствии через всю вашу жизнь и что самостоятельность и независимость, которыми с внешней стороны будут облекаться ваши действия, суть качества мнимые, могущие утешать лишь очень неопытные и младенческие души. В сущности, вас и в зрелом возрасте преследует та же беспомощность, та же железная необходимость принижаться и заглядывать в глаза, которая сопутствовала и вашему детству. Только внешняя обстановка жизни переменилась, но идея ее осталась одна и та же, и она неотразимо и не торопясь переберет одно за другим все звенья вашего существования от начала и до конца. Вы ни на минуту не ощущаете себя свободным, радужный призрак независимости непрерывно носится пред вашими глазами, но где же рука, которая уловит его? Увы! нет этой руки! нет этой крепкой руки! – вот что говорит вам тысячекратно повторяемый опыт и постепенно доводит до сознания темной

необходимости хоть как-нибудь, да развязать этот узел. Законность различений, снисхождений и сравнений в этом случае подкрадывается самым естественным порядком и незаметно засасывает в себя всего человека. На сцену выступают Петры Петровичи, Акакии Акакиевичи, Сидоры Сидорычи, которыми обставляется ваше существование, без участия которых ваше спокойствие делается крайне спорным, и выступают они совсем не в виде безразличной массы, равно негодной перед светом идеала, а в совершенно определенных формах отдельных личностей, из которых каждая имеет свои, собственно ей принадлежащие достоинства и пороки. Петр Петрович хотя никуда не годится в сущности, но у него есть некоторая струнка, которою не обладает Акакий Акакиевич и которая в известном отношении для меня необходима; Акакий Акакиевич тоже, что называется, лыком шит, но и у него есть струнка, которая может быть для меня полезна. Все эти струнки, рассматриваемые сами по себе, конечно, суть не что иное, как пакость, и даже самая отборная, но, прибегая к ним, я только следую общему всем людям чувству самосохранения, я делаю в этом случае, так сказать, благородное неблагородство.

Что подобными каламбурами только и может держаться человеческая жизнь, поставленная в известные условия, это явствует еще и из следующего факта. Нет, например, ничего естественнее, справедливее и святее, как признание прав большинства и защита их против притязаний каст. Как бы

ни был человек испорчен воспитанием и личной жизненной обстановкой, как бы ни сознавал он свою жизнь отделенную от общей жизни масс, все-таки он инстинктивно чувствует себя причастным к этой последней, и чувствует это не урывками, а непрерывно. Ни один его интерес, ни личный, ни кастический, не может быть приведен к осуществлению прежде, нежели найдет себе поверку в интересах масс. Самый обман масс может быть совершен только именем их самих и, так сказать, с их разрешения. Поэтому нет вообще того человека в мире, который сознательно или бессознательно, с озлоблением или с удовольствием не признавал бы этого главенства масс и не покорялся ему; в частности же, для многих людей это признание составляет цель всевозможных усилий, искание и смысл всей жизни. Облеченное в определенную форму, это признание возводится на степень социального убеждения, является источником целого образа действий, зерном целой системы. А система, как известно, требует с своей стороны дисциплины.

Все это прекрасно и даже в высшей степени похвально, но теперь посмотрим и на другую, оборотную сторону медали. Бывают такие моменты в истории человечества, когда массы самым странным и грубым образом ошибаются насчет своих собственных интересов, когда они являют самую жалкую зависимость и самое горькое неразумие. Это те моменты, когда надежда достигнуть ближайших интересов, возможность упиться выгодами настоящей минуты залепляют толпе гла-

за и лишают ее всякой предусмотрительности. В это время многое упраздняется, а преимущественно упраздняются именно те представления и понятия, которые заключают в себе семя жизни и залог общественного прогресса. Но семя это не может до конца погибнуть, и, упраздненное временно захмелевшею толпою, оно чудесным образом (а пожалуй, и не чудесным) сохраняется в меньшинствах и даже в тех замкнутых кастах, которых интересы, по-видимому, прямо противоположны интересам масс. Разумеется, это последнее положение временное и даже не совсем естественное, тем не менее оно далеко не составляет явления невозможного. На какой стороне, ввиду таких обстоятельств, станет деятель, который осуществление интересов большинства считает главной задачей своих усилий?

Я знаю, что каста, как и все вообще, что носит на себе печать привилегии, исключительности и особничества, представляет явление очень нехорошее, но я знаю также, что есть явления еще худшие, а именно: неразумие и произвол масс. И как бы я ни был предан массам, как бы ни болело мое сердце всеми болями толпы, но я не могу следовать за нею в ее близоруком служении неразумию и произволу. И вот во мне мало-помалу начинает образовываться колебание; потребность оговорки и различения является сама собою и действует все настоятельнее и настоятельнее; наконец делается ясным и неоспоримым, что в данном случае интерес, защищаемый кастой, выше и законнее интереса, защищаемого мас-

сами. Я понимаю очень хорошо, что мое положение до крайности конфузно, но, будучи обставлен известными вынуждающими условиями, я отнюдь не обвиняясь отступаю от одного из самых коренных начал моей деятельности и смело следуя указаниям минуты, которые на этот раз совпадают и с указаниями разума. И в этом случае, как и в предыдущем, мой поступок характеризуется тем же самым каламбуром, который приведен мною выше: это благородное неблагородство.

Еще пример, и даже более вразумительный. Всем известно, что есть на свете публицисты, которые защищают Южные штаты Америки (и у нас такие ходюки есть), и защищают с точки зрения, по возможности, не зазорной, а именно с точки зрения права, которое имеет каждое общество, управляться и развиваться по своему усмотрению. Взгляд этот нельзя даже назвать узким, нельзя даже возразить, что интерес общества должен в этом случае уступить интересу общечеловеческому; ибо, в сущности, здесь на первом плане стоит начало свободы развития, начало очень растяжимое, признание которого равно дорого как для целого государства, так и для каждого человека в отдельности. А между тем, несмотря на всю верность и достоинство принципа, кто же, кроме публицистов-паразитов, согласится защищать его в данном случае?

Примеров таких отступлений и каламбуров встречается в жизни множество, и мы, конечно, примиримся с ними, если примем в соображение, что иногда они даже украшают

жизнь и служат очень заметною и утешительной поправкой некоторым положениям, которые без этих колебаний дали бы себя почувствовать очень неудобно. Вообразим себе, например, – кого бы? ну, разумеется, вообразим исправника, городничего, станового и другую мелкоту, до которой, по чину нашему, нам досягать дозволяется. Что бы это было, если б эти сановники принялись за дело вплотную? если б они помышляли единственно об исполнении обязанностей? если б не брали взяток, не ухаживали за чужими женами и не прохаживались по хересам? Страшусь сказать, но думаю, что это просто было бы такое головушибание, против которого не устояла бы самая искушенная преданность. Но в том-то и дело, что природа всегда и во всем предусмотрительна, что она повсюду, даже в самую, что называется, головушибательную систему вводит соответственное ограничивающее начало в виде взяток, сластолюбия и проч., которое, собственно, и помогает нам, простым смертным, нести жизненные тяготы. Но если нам оказывается такое снисхождение, то какой же можем мы иметь резон не отвечать тем же? Я полагаю, что это было бы с нашей стороны даже неблагодарно.

Повторяю: в мире непоследовательном и колеблющемся одна только непоследовательность и может быть названа строго последовательною. Окончательные выводы, к которым, по самой природе своей, неудержимо и настоятельно стремится человек, достаются не легко, потому что требуют материала вполне выработанного и установившегося. А где

же взять этого выработанного материала, когда он на каждом шагу дополняется и изменяется новыми вкладками и когда эти дополнения заключаются не в одних только подробностях и мелочах, но в появлении целых новых сфер жизни, целых новых общественных слоев, доселе ничем не заявлявших о своем существовании? Понятно, что при таких условиях всякое поползновение создать что-либо целое и гармоническое должно сопровождаться постоянною неудачей и что попытки этого рода могут представлять лишь искомое, которого достижение составляет задачу более или менее отдаленного будущего.

Все это так справедливо, что нет надобности далеко ходить за доказательствами, нет даже надобности останавливаться с этою целью на самих себе. Обновление, как результат прилива новых элементов и сил, чувствуется одинаково всеми, но кто же будет так смел, чтобы формулировать положительно, в чем именно это обновление выразилось? «Дышится легче, живется спокойнее», – говорят одни, а другие, напротив, говорят совсем иначе: «Дышится тяжелее, живется труднее». И те и другие с своей точки зрения правы, потому что для одних свобода дышать уже сама по себе составляет результат, а для других тут еще совсем нет никакого результата, а есть только новое доказательство отсутствия деятельной свободы. И вот почему свобода «дышать легко» заставляет некоторых дышать тяжело, свобода «жить спокойно» заставляет метаться и беспокоиться. Нет никакого со-

мнения, что та порода людей, на которой так мрачно отражается прилив новой жизни, есть порода неосновательная, но ведь если уже она существует, то, стало быть, имеются же какие-нибудь причины, которые делают это существование возможным, стало быть, в самой жизненной обстановке есть нечто такое, что не противоречит этой возможности. Во всяком случае, законных поводов для истребления этой неблагонадежной породы не может быть никаких.

Затем, снова обращаясь к современной русской литературе, я невольно спрашиваю себя, какая должна быть ее роль в этом обществе, в котором на первом плане стоит разорванность и непоследовательность в стремлениях и взглядах? Может ли она, не рискуя быть заподозренной в лжесвидетельстве, посягать на творчество, когда в самой жизни происходит только процесс накопления материалов для творчества? Может ли она допускать какие-либо выводы, когда сама жизнь этих выводов не дает?

Издавна принято видеть в литературе не что иное, как выражение понятий, стремлений и верований той общественной среды, в которой она живет и действует. Это верное определение вместе с тем включает в себе и совершенно ясную характеристику обязанностей литературы относительно общества. Если последнее недоумевает и находится на распутьи, если оно чувствует свои прежние силы упраздненными, а новых еще не сознает, то литература обязывается вызвать из тьмы эти новые силы, указать на них обществу и

убедить его, что отныне его существование фаталистически с ними связано. Никаких других обязанностей литература иметь не может, и не вправе дать обществу ничего иного, кроме того, что таится в нем самом. Все эти скромные деятели, на которых свысока смотрят наши выдохшиеся и выболтавшиеся литературные авторитеты, в сущности, делают единственно возможное и единственно почтенное дело, которое доступно в настоящее время для литературы. Они не лгут и не клеветают на жизнь и не выдают за истину праздных фантазий подкупленного воображения, но скромно собирают материалы для будущего творчества, ничего не прибавляя и ничего не утаивая. В этом смысле какой-нибудь коротенький рассказ, вроде «Питомки» г. Слепцова, гораздо драгоценнее, нежели целое литературное наводнение, выданное г. Писемским под названием «Взбаламученного моря». Первый наглядно указывает на существование в обществе новой и свежей стихии, а вместе с тем и на возможность участия этой стихии в искусстве; второе, напротив того, не дает ни одной мысли, которая насквозь не была бы пропитана запахом ветоши, ни одного образа, который не был бы уже вконец истоптан и осквернен многочисленными ходами по части художественного воспроизведения родной жизни, ни одного намерения, которое не было бы отравлено ложью и преднамеренным извращением.

Да; старое искусство падает. Привыкши заявлять свою силу только в мире вымыслов и более или менее искусствен-

ных построений, оно приходит наконец к сознанию, что вымысел уже никого не удовлетворяет, что общество жаждет не выдумок, а настоящей жизни, той самой, которая покамест проявляет себя в отрывках и осколках. Это сознание наводит многих жрецов на мысль об обновлении, но увы! на этом поприще с ними повторяется история, случившаяся с мало-россом, у которого спрашивали, что бы он сделал, если б был царем? «Украл бы сто рублей и утек бы!» – отвечал мало-росс. Именно так поступают и представители нашего старого искусства, ищущие обновиться. Они подозревают, что во-круг них поражает что-то новое, и весьма естественно желают приобщиться к этому новому; но, приступая к этой новой жизни, они всецело оставляют при себе свое прежнее миро-созерцание и по-старому продолжают думать, что высшее в мире благо меряется обладанием ста рублей. Понятно, какой сумбур должен вносить в их произведения этот сторублевый взгляд на жизнь, которой фонды уже значительно поднялись; понятно, какое тупое недоумение должно охватывать их са-мих при взгляде на новые, доселе ему неизвестные движения жизни. Но понятно также, что, стремясь создать монумент, они в действительности созидают лишь невзрачное убежище для застигнутых врасплох проходящих.

До какой степени решительно влияет среда на отдельные человеческие личности, до какой степени она переработы-вает их, в этом мы убеждаемся на каждом шагу и многочис-

ленными примерами.

Рассказывают, что некто, находившийся в полном разуме и твердой памяти, будучи по ошибке заключен в дом сумасшедших, вскоре лишился и того и другого и, таким образом, без всякого стороннего понуждения, сам себя привел в соответствие с окружающей средою. Утверждают даже, что в древности заключение в дом умалишенных считалось одним из самых ловких и целесообразных укротительных средств и что на этом основании, как только появлялся субъект, который выказывал желание чем-нибудь отличиться, его немедленно брали и приводили в соответствие.

Один путешественник, по природе своей совершенно добрый малый и даже охотник поврать, рассказывал мне, что, будучи вынужден во время одного из своих странствий жить довольно долго в обществе аскетов, он до такой степени разревновался, что и сам чуть-чуть не пошел в аскеты. Уже отпустил он себе бороду до чресл, уже перестал и чесаться и мыться, уже обзавелся и гноищем и вретищем, уже начали являться к нему и искушения в виде обнаженных блудниц; одним словом, еще один шаг, и побежал бы этот человек, как оглашенный, в пустыню, и стоял бы там, быть может, и доднесь на одной ножке... Спасли его от этого пассажа клопы и блохи. Однажды, собравшись с силами, они задали такую жаркую баню его грешному телу, что он вскочил как озаренный и долгое время, ничего не понимая, взирал на небо. Наконец, однако, образумился: вымылся, выбрился, и с тех пор

к аскетам ни ногой. . .

Так вот как оно трудно бывает освободиться от засасывающего влияния жизненной обстановки, и вот почему должность героя (а в просторечии выскочки) делается с каждым днем все менее и менее доступною. Когда кругом человека раздаются глубокомысленные соображения вроде тех, которые некогда формулировал незабвенный титулярный советник Поприщин, и когда, к довершению всего, эти соображения долбят его со всею силою раздалбливающей камень струи, тогда всякое с его стороны ручательство за твердость и неприкосновенность его рассудка является делом крайне сомнительным и рискованным.

На днях в Петербурге я встретился с одним знакомым мне губернским аристократом, с таким аристократом, который никогда, даже ночью, не забывал держать свой хвост веером. Живя постоянно в провинции, этот человек до того умилился духом, что, казалось, во всякое время готов был с самим солнцем вступить в пререкание и доказывать, что солнечная теплота отнюдь не так живительна, как теплота, испускаемая им, губернским аристократом. Но в Петербурге этот соперник солнца глядел таким беспардонным фофаном, что я не на шутку обеспокоился.

– «Великолепный князь Тавриды»! отчего это вы таким фофаном смотреть изволите? – спросил я его.

Соперник солнца грустно улыбнулся и посмотрел мне в глаза с такой заискивающей лаской, как будто говорил:

«Хоть ты-то меня не ушиби!»

– Не по себе как-то, – отвечал он мне по секрету

– Больны, что ли?

– Домой хочу...

– Ну, не грех ли вам! у нас и опера, и балет, и устрицы...

Столоначальники вас ласкают, начальники отделения руку подают! и от этакой-то жизни да в Глупов бежать!

– Нет, нет, нет! Еще в древности, знаете, Юлий Цезарь...

Соперник солнца не закончил, вполне полагаясь на мое знакомство с Кайдановым. И точно, привлечение к нашему разговору такой особы, как Юлий Цезарь, не могло не польстить моему самолюбию. Уж если он утверждал, что лучше быть первым в деревне, нежели вторым в городе, то, стало быть, и в самом деле в этом первенстве должна быть какая-то сладость? Стало быть, в самой природе человека есть нечто такое, что заставляет его из всех сил стремиться вперед и выбиваться из общего уровня окружающей среды? Уж если сам Юлий Цезарь... «Господи! да уж не бежать ли и мне куда-нибудь вроде Дурацкого Городища! – подумал я в ту пору, взирая на почтенного старца. – Может быть, там только и ждут смельчака, который бы хвостом мог солнце затмить? Может быть, там совсем даже не нужно быть Юлием Цезарем, чтоб сделаться первым в деревне?» И счастье мое, что в эту самую минуту я увидел таких павлинов, идущих по улице, каких, наверное, не зрели в стенах своих ни Глупов, ни Дурацкое Городище. «Эге! – подумал я, – да, верно, и в Петербурге не

всё же фифаны живут... сем-ка останусь!» И остался.

По-видимому, здесь есть противоречие; по-видимому, желание первенствовать не только не способствует развитию завоевательных свойств среды, но и всячески ему противоречит. Но противоречие это, в сущности, совершенно ничтожно, и тот же Юлий Цезарь поможет нам выпутаться из него. Ведь не сказал же он: лучше быть первым в городе, нежели вторым в деревне, а выразился самым определенным образом наоборот – почему же? А потому именно, что он знал, что одна среда в деревне, другая – в городе; что первая легче поддается натиску силы, вторая, напротив того, стремится эту силу сделать почти безразличною. Нигде так решительно не уравниваются люди, нигде человек не чувствует себя до такой степени простым, смиренным, как в больших центрах человеческой деятельности. Привлечение к одному пункту разнообразнейшего умственного материала производит такое изобилие его, которое щедро отражается на всех: и на званых и на незваных. В строгом смысле, тут даже не может быть незваных, потому что всякий участвующий в общем движении непременно что-нибудь да принесет свое собственное в общую кассу. Я даже твердо уверен, что в больших центрах очень большие умники, точно так же как и очень большие дураки, в самом непродолжительном времени будут равно невозможны. Дурак точно так же может быть полезен, точно так же что-нибудь знает, в чем-нибудь искусен, как и самый гениальный человек. Правда, тут

еще остается нетронутым право, возникающее из способности к умственной инициативе, которую, конечно, обладают немногие, но и это право с каждым днем делается все более и более сомнительным, и с каждым днем признание его все теснее и теснее приводится к зависимости от добровольного согласия среды. Это и натурально и вполне справедливо, потому что способность инициативы есть способность, приходящая к нам даром и действующая в нас помимо всяких с нашей стороны заслуг; это, наконец, такая способность, которую мы не можем не проявить, если бы даже и хотели, в видах единоторжия, воздержаться от ее проявления; за что же, стало быть, тут восторгаться и производить различные сердечные неистовства? Да и что такое самая эта пресловутая способность инициативы? Не распадается ли она сама собою ввиду более дробного распределения человеческого труда? не делается ли она все больше и больше общим достоянием, переставая украшать собою одних избранных и баловней фортуны? Не становится ли она анахронизмом? Нет сомнения, что я и не подумаю взять на себя разрешение этих вопросов (откровенно сознаюсь, что я и сил, нужных для такого подвига, не имею), но всматриваясь внимательнее в смысл происходящих кругом явлений, но убеждаясь собственными глазами, что достаточно ничтожнейшей перемены в жизненной обстановке, чтоб из самого отчаянного индейского петуха получить самого беспардонного фифана, и наоборот, невольно как-то приходишь к заключению, что ед-

ва ли и здесь может быть допущен иной ответ, кроме утвердительного.

Но если доля притязаний на умственное господство и особничество, в общей сфере человеческого развития, мало-помалу делается значительно более скромною, то им еще долгое время будет полное, почти безграничное раздолье в таких расстроенных муниципиях, как, например, Глухов и Дурацкое Городище. Здесь, с одной стороны, царствует та умственная и нравственная неурядица, которая всякому, даже не хитрому уму дает возможность отличиться; с другой стороны – существует простор и благорастворение воздухов, которые дают человеку возможность растопыривать хвост беспрепятственно, и притом самым бесцеремонным образом. И именно хвост, только хвост. Стало быть, и тут на первом плане является все та же среда: или позволяющая, или не позволяющая. Поэтому-то Юлий Цезарь так и стремился в Дурацкое Городище, покуда на практике не изведаль, что в древности Дурацкое Городище существовало везде, где существовало благорастворение воздухов; поэтому же стремится туда и знакомец мой, губернский аристократ.

Помню я, что когда в губернский город Крутогорск (о незабвенный! ужели же я так и отживу свой век, не свидевшись с тобой вновь!) пришло известие об избрании Людовика-Наполеона президентом республики (из которой он сумел-таки устроить точь-в-точь такое же Дурацкое Городище, какое в древности устроил Юлий Цезарь из Рима), то тамош-

ний вице-губернатор Змеищев воскликнул:

– Знаю я этого Людовика-Наполеона! это тот самый, который, после страсбургской проделки, жил в Лондоне и, чтоб не лопнуть с голоду, торговал гусями!

Мы, разумеется, подивились превратности судеб, но возразить не осмелились и долгое время, вплоть до самого 2 декабря, иначе не называли принца-президента, как презрительным именем «гусятника».

Но когда этот «гусятник» все французские веси привел к одному знаменателю, а политиканов тамошних развеял по ветру и провозгласил себя отцом отечества, то тот же Змеищев значительно сбавил спеси, и хотя в душе признавал законным обладателем Франции Генриха V, но и у похитителя уже не оспаривал некоторых прав на титул императора и только изредка (да и то самым коротким знакомым) проговаривался:

– А каков гусятник-то! нет, да вы подумайте: каков гусятник-то!

Таким образом дело шло до самой Крымской войны; в это время название «гусятника» вылетало из уст Змеищева все чаще и чаще и наконец снова сделалось таким обыкновенным нарицательным именем, что даже глазам как-то не верилось, когда в газетах прочитывалось не это, а уже настоящее достославное имя знаменитого племянника.

Но Парижский трактат вновь изменил расположение мыслей Змеищева; слово «гусятник» исчезло окончательно из

его лексикона и заменилось другим, настоящим. В порыве удивления мой начальник называл Людовика-Наполеона даже императором всефранцузским, хотя это название решительно не имеет никакого смысла.

Как называет Змеищев пресловутого сфинкса нашего времени в настоящую минуту – я сведений не имею. Но не ругаюсь, чтобы он вновь не обратился к первоначальному слову, потому что Змеищев на эти дела довольно строг.

Что ж означает этот факт?

По моему мнению, значение его очень просто, а именно, что не только люди и события ближайшие к нам, но даже люди и события, имеющие смысл исторический, обсуживаются и оцениваются нами не иначе как под влиянием окружающей среды и того переходчивого настроения чувств и умов, которое над нею в данную минуту носится. Всем известно, например, до какой степени ученый редактор «Отечественных записок», А. А. Краевский, уважал и ценил покойного Белинского, однако это не мешало ему в то же время не пренебрегать и Ксенофонтом Полевым. Обвиним ли мы его за это? скажем ли, что такой образ действия доказывает отсутствие убеждения? Нет, мы этого не скажем, потому что, в этом случае, самое отсутствие убеждения есть тоже своего рода убеждение.

Истинные, заправские общественные деятели (к сонму которых мне приятно причислить А. А. Краевского) так и поступают: они никогда не прут вперед со своими убежде-

ниями и руководящими взглядами, но, напротив того, всегда наперед стараются разузнать, чего кому хочется. Все они смотрят Янусами, обладателями двух физиономий, из которых одна говорит: ничему не удивляюсь, а другая говорит: ничего не понимаю. Манеру эту они переняли у покойного Роберта Пиля, который, по нужде, являлся и торием, и вигом, и даже самим собою. Даже в настоящую минуту тот же самый А. А. Краевский ощущает себя счастливым обладателем двух литературных органов, из которых в одном один и тот же предмет похваляет, а в другом порицает. И нуждушки ему мало. Он чувствует, что может приносить пользу и с этой стороны и с другой, – и приносит.

И потому я пророчу А. А. блистательную будущность. Я знаю, например, что он со временем будет директором во всех акционерных компаниях и редактором всех политических и литературных газет и журналов. Я знаю, что если В. А. Кокорев изобретет новое средство отыскать миллиард в тумане, то предварительно покажет свой проект А. А., что ежели И. О. Утин задумает строить новый палаццо в Галерной улице, то попросит А. А. начертать ему план. Я знаю даже, что если начальство предпримет какое-нибудь новое преобразование, то так или иначе, но уж без действия А. А. это дело не обойдется.

И еще один вывод: представим себе, что упоминаемая выше страсбургская проделка случилась в настоящее время и что виновник ее, вместо того чтоб укрыться в Англии, нашел

себе убежище у нас, в России. Стал ли бы он торговать гусями? Нет, он, с свойственной ему пронизательностью, понял бы, что эта отрасль промышленности в России дать больших барышей не может, а потому немедленно выправил бы себе дощечку с надписью: «Навынос и распивочно», и Змеищев выразался бы об нем уж так: «А! это тот самый, который после страсбургской проделки у нас за прилавком сидел и мужиков сиволдаем спаивал!» Так вот оно что значит влияние-то среды!

Итак, времена геройства прошли, а некоторые думают даже, что их никогда и не бывало. Не только пример А. А. Краевского, но и сама история доказывает нам, что человечество всегда совершало дела лишь средние, то есть делало только то, что могло и что приходилось ему больше с руки.

Новое подтверждение этой мысли я встречаю в действиях тверского благородного дворянства. Было время, когда оно отличалось на поприще либеральных излишеств (да, был за ним, был-таки этот грех!); теперь оно отличается на поприще примирения двух никогда не враждовавших сословий. В обоих случаях оно совершало и совершает дела средние, то есть не обнаруживая особенного геройства, делало и делает только то, что имеет возможность делать.

Но хотя я и не признаю ни в том, ни в другом случае никакой особенной заслуги, однако, как человек мирный, не могу не сказать, что дело примирения двух никогда не враждо-

вавших сословий нравится мне гораздо более, нежели дело либеральных излишеств. Последнее всегда сопровождается волнениями, огорчениями и даже до некоторой степени грубиянством; напротив того, первое решительно ничем не сопровождается. Самое слово «либеральные излишества» уже показывает, что они излишни; напротив того, слово «примирение» не только не напоминает об излишестве, но даже ровно ничего не выражает. Присутствуя при деле примирения, я никогда ничем не тревожусь, ибо говорю себе: вот люди, которые съехались в одно место, чтобы чрез несколько времени разъехаться по домам! напротив того, присутствуя при деле либеральных излишеств, я только о том и думаю, что вот-вот вцепятся эти люди друг в друга и надобно будет разливать их водой (было, было и такое дело). Сверх того, дело примирения всегда сопровождается прекрасной едой, тогда как присутствующие при либеральных излишествах решительно ничем, кроме словесного уксуса, не угощаются. Вот почему первое кажется мне прочным и благонадежным, а второе шатким и на песке построенным; вот почему первое мне нравится, а второе не нравится.

Не далее как в начале нынешнего года существование мирового института не только казалось непрочным, но даже положительно ознаменовывало себя бурями и битвами. В разных местах России: в Порхове, в Полтаве, в Павлоградске, в Сердобске и т. д. – происходили генеральные сражения, причем, по словам корреспондентов, проливалась да-

же кровь (разумеется, извлекаемая самым холодным оружием в мире, то есть кулаком). «Современник», разумеется, тотчас же опечалился и выразил догадку, что кровопролития оттого будто бы происходят, что мировые учреждения не имеют под собой достаточно твердой почвы. Теперь, однако, журнал наш должен несколько отступить от этого мнения. Действительно, в составе почвы решительно никаких изменений не произошло, а между тем мировой институт, очевидно, вступает в новый фазис своей жизни. И теперь продолжается кормление (известно, что русский человек без хлеба-соли шагу ступить не может), но кормят уже не тем, чем до отвала откармливали в прошлом году, а обедами; и теперь продолжают опыты словесных упражнений, но уже не говорится при этом ни о том, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых», ни о том, что «хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операций», ни даже о том, что «дворянин, не имеющий примирительного характера, не может быть посредником»,³⁷ а просто-напросто возглашается:

Мы тебя любим сердечно,
Будь нам начальником вечно;
Наши пленил ты сердца,

³⁷ Все это говорилось в начале 1863 года. Желающих ближе ознакомиться с этим красноречием отсылаем к статье, напечатанной в 1–2 № «Современника» за сей год, под названием «Известие из Полтавской губернии». (Прим. М. Е. Салтыкова.)

Мы в тебе видим отца!

Очевидно, стало быть, что офицеры перестали бояться выстрелов и хирурги не падают больше в обморок при виде крови... Очевидно также, что тут совсем не в почве штука, а просто в том, что так уж оно исстари у нас колесом идет: сегодня битва, завтра мир, послезавтра (чего боже сохрани!) опять битва...

С этой точки зрения, я не мог не порадоваться появлению в газете «День» перепечатки из «Тверских губ. вед.» статейки под названием: «Описание двух дней праздника по случаю поднесения дворянами и крестьянами Кашинского уезда Тверской губернии, IV мирового участка, кубка своему мировому посреднику Петру Николаевичу Головину». Я не удивляюсь тому, что «День» вызвал эту статейку из того скромного убежища, в котором она первоначально появилась, – какая же редакция не рада украсить свое издание? – но положительно не понимаю, какая была почтенной редакции надобность снабжать статью примечанием, которое отнимает у нее весь *air fixe*?³⁸ Этим примечанием И. С. Аксаков доказал положительное незнание той среды, о которой идет речь, и в то же время совершенно безосновательно набросил тень подозрения на правдивый рассказ наивного кашинского бытописателя. И. С. говорит, что в этом рассказе на него произвело неприятное впечатление «выступ-

³⁸ характерный вид.

ление русской простонародности на театр официальности, участие русских «мужичков» в общем спектакле в роли русского «простосердечья», русского «прямодушия», русского «спасибо». Слова хорошие, но тем не менее едва ли справедливые, ибо заключают в себе намек на искажение истины там, где этого искажения совершенно не имеется. По-видимому, И. С. хочет дать понять, что кашинский летописец сочинил балет; однако я несколько раз сряду перечитал названную выше статью и не только не нашел в ней балета, но, напротив того, пришел к убеждению, что она писана в твердой памяти и нисколько не противоречит действительности. Ибо какое же имеем мы основание сомневаться в том, что русский «мужичок» может выйти в общем спектакле иначе, как в роли русского «простосердечия», русского «прямодушия» и русского «спасибо»? Кто дает нам право думать, что он не простосердечен, не прямодушен и не преисполнен спасибо? И сообразно ли было бы с действительностью, если бы мы, вместо того чтобы одеть «мужичка» в пейзажный костюм, вместо того чтоб заставить его говорить: «Наставник наш и сотрудник! прими хлеб-соль за твои законные рассуждения!» (так выражается в «Описании» мужичок Алексей Яковлевич), одели его в мужицкую сермягу и заставили беспокойно спрашивать себя: «Ну, на кой черт! на кой черт они меня от дела отбивают!» Нет, это было бы несогласно с истиной, потому что в действительности мы подлинно видим, что «мужичок» наш и простосердечен, и прямодушен, и пре-

исполнен всякого спасибо, и что торжества, подобные описываемому в «Дне», происходят точь-в-точь так, как описывает их кашинский бытописатель. А если и есть тут нечто балетное, то это меня не только не смущает, но даже радуется, потому что, думаю я: если жизнь действительная пришла в полное соответствие с балетом, то ведь это значит только, что человек счастлив, – что же тут огорчительного?

Но статейка так хороша сама по себе, что я, не решаясь перепечатывать ее вполне, не могу, однако, воздержаться себя, чтоб не поделиться ею с читателем хотя в кратком изложении.

Речь, разумеется, начинается с того, что о предполагаемом празднестве «давно ходили слухи в Кашинском уезде». Наконец они превратились в действительность: праздник состоялся 15 августа и продолжался три дня.

День первый

По приезде Петра Николаевича Головина в кашинское благородное собрание помещик Модест Евграфович Воробьев поднес ему кубок и от имени дворян произнес речь, в которой излагал виновнику торжества похвалу. Речь довольно пространна, и потому перепечатывать ее излишне; но сущность ее может быть сведена к следующим двум пунктам: а) «разъяснением нового законоположения П. Н. устранил беспорядки»; и б) «не дозволяя же ни себе, ни другим произвола, П. Н. сохранил возможный порядок». П. Н. Головин принял кубок и взволнованным голосом произнес (речь

вторая), что он ценит признательность дворян и постарается ее оправдать.

После дворян выступили крестьяне, то есть, собственно, не крестьяне, а волостные старшины, и поднесли П. Н. хлеб-соль, причем софროновский старшина Алексей Яковлев (почему он не Яковлевич и почему нет его фамилии?) произнес (третья речь):

«Петр Николаевич!

Наставник наш и сотрудник, прими хлеб-соль от всех временнообязанных крестьян твоего участка за твои законные рассуждения».

Прекрасно. Судя по тому, что в этой речи соединены и русское простосердечие, и русское прямотушие, и русское спасибо, я не могу сомневаться, что ее сочинял именно прямотушно-простосердечно-спасибствующий русский мужичок. Но, судя по тому, что речь написана хотя и не высоким, но правильным слогом, я, кроме того, заключаю, что Алексей Яковлевич получил воспитание, по крайней мере, в одном из средних учебных заведений. Радуюсь.

Приняв хлеб-соль, П. Н. отвечал особою речью (4-я), в которой назвал старшин «друзьями». Сели обедать, но был ли при этом соблюден порядок и какой именно – неизвестно. Вообще, современные нам бытописатели как-то начали пренебрегать этою подробностью, и, по мнению моему, совершенно напрасно. Во-первых, они могут этим навлечь на себя подозрение в либерализме (нам, дескать, эти пустя-

ки нипочем!), чего, конечно, и сами не желают, а во-вторых, как хотите, а порядок сидения – дело великое и для многих очень любопытное. Я, например, очень желал бы знать, кто сидел выше: губернский предводитель дворянства или вице-губернатор? если вице-губернатор сидел выше (я предполагаю, что он в это время что-нибудь ревизовал в Кашине, а не нарочно же проскакал 160 верст, чтоб отобедать в приятном обществе; стало быть, он представлял собой лицо начальника губернии, стало быть, должен был сидеть выше всех, даже выше виновника торжества, и все похвальные речи, произносимые сему последнему, принимать на свой счет: «Это, дескать, мой выбор! это я сделал всех счастливыми!»); по крайней мере, будь я на месте г. вице-губернатора, то непременно бы обиделся, если б не посадили меня на первое место), то это значит, что на обеде торжествовал принцип централизации; если, напротив того, выше сидел губернский предводитель дворянства, то это значит, что торжествовал принцип земства.

В первом случае я сказал бы слово поощрения, во втором... но, впрочем, отчего же и во втором случае не сказать слова поощрения? потому что, уж коли по правде рассудить, то не все ли равно, кто где сидит и какой принцип торжествует? Места равны принципам, принципы равны местам... Но продолжаю.

За первым тостом (за здоровье государя императора) последовал второй в честь П. Н. Головина. Но прежде нежели

он был произнесен, М. Е. Воробьев прочел «прекрасные стихи кашинского помещика Владимира Николаевича Постельникова, посвященные передовому российскому сословию». Этими стихами я желал бы поделиться с моими читателями, но не могу, потому что дееписатель скрыл их от меня. Опять-таки новомодный обычай, который похвалить нельзя. Во-первых, стишки читать всегда приятно; во-вторых, пользуясь безмолвием дееписателя, иной читатель, чего доброго, захочет пополнить пробел и сам сочинит такие стихи, от которых, пожалуй, у слушателя и лицо на сторону свихнет... Зачем допускать до этого?

Вслед за тостом помещик Александр Иванович Новиков произнес речь (5-ю), в которой изложил, что не станет делать анализ всей деятельности П. Н., но «остановится только на том, чего ожидали крестьяне от положения – и что оно дало им!». Затем хотя слушатели имели полное право ожидать, что последует разъяснение этих многозначительных слов, но А. И. только «остановился» и заговорил совсем о другом. На эту речь П. Н. ничего не отвечал. За г. Новиковым последовала речь члена от дворян в губернском присутствии, Василия Ивановича Литвинова (6-я), которую я привожу здесь вполне.

«Петр Николаевич!

Вы первый в Тверской губернии развязали узел крепостного права, кончив прежде всех уставные грамоты. Вы соединили два сословия условиями, основанными на взаим-

ном доверии, достигнув составления из 101-й грамоты 92-х по добровольному соглашению.

Вы внушили уважение к закону – в вашем участке нет никаких недоимков.

Вы, смело могу сказать, осуществили высокий идеал мирового посредника: на действия ваши ни от одного сословия не было ни одной жалобы.

Сегодняшнее собрание обоих сословий ясно доказывает, что ваша полезная, беспристрастная деятельность вполне оценена.

Как имеющий честь принадлежать к сословию тверского дворянства, я не могу не выразить чувства справедливой гордости, видя вас представителем его деятельности при разрешении жизненного вопроса.

Как удостоенный чести быть участником мировых учреждений, я счастлив, что с воспоминанием о деятельности их соединено навсегда ваше имя.

Как русский человек, за все, за все кланяюсь вам, Петр Николаевич, до земли».

Эту речь я выучил наизусть, и если бог приведет меня участвовать когда-нибудь в подобном же трехдневном торжестве, то я произнесу ее и в первый день, и на другой день. Пожалуй, я произнесу ее даже и на третий день, и уверен, что в слушателях моих произведу не пресыщение, а голод. Много слышал я на своем веку дивных обеденных речей, много и сам говаривал; слышал даже однажды речь, сопровождав-

шуюся исполнением трепака, но, клянусь, ничего подобного речи г. Литвинова не слышал и не говаривал.

Все присутствующие были тронуты, и так как русский человек переимчив, то крики: «и мы! и мы!» (то есть кланяемся до земли) огласили залу. С своей стороны, П. Н., выразившись, что слово Василия Ивановича навсегда останется в его памяти, поднял кубок и произнес 7-ю речь, в которой благодарил дворян IV участка за попечения о благе крестьян, и предложил третий тост за их здоровье. Громкое «ура!» всего общества было ему ответом.

Но если речь Василия Ивановича отличалась изысканностью выражения, смелостью чувства и глубиной мимики, то последовавшая затем речь волостных старшин (8-я) поражает изысканностью простосердечия, смелостью прямоты и глубиной русского спасибо. Но простодушные дети природы были до такой степени смущены великостью предстоявшего им подвига, что сами говорить не решились, а поручили это мудреное дело кашинскому помещику Петру Николаевичу Ладыженскому, который таким образом явился дворянским выразителем крестьянских чувств. Привожу эту замечательную речь вполне.

«Милостивые государи!

Я имею удовольствие сидеть рядом с волостными старшинами; между едою и рюмкою вина (какая простота! так, именно так рассказывал наивный Отелло о том, как пришла к нему любовь к Дездемоне), при привилегии простой ис-

кренней беседы, они очень ясно и определенно передали мне свои чувства, которые и просят теперь заявить вам. Крестьянам приятно сидеть с нами за одним столом, им лестно быть принятыми в наше общество, а потому сегодня от себя и от имени всех крестьян IV мирового участка искреннее пьют, господа, за ваше здоровье, чем прежде. Милостивые государи! крестьяне торжественно вам заявляют, что они ни в каком случае не зазнаются вследствие той чести, которой вам угодно было удостоить их, но, напротив, после такого внимания, которое показано им сегодня с вашей стороны, крестьяне торжественно заявляют, что они имеют искреннее уважение к дворянству, как к сословию образованному. Кроме того, после этой чести они желают еще более, чем прежде, думать и заботиться, чтобы дать возможное по средствам образование детям, в той надежде, что вы, господа, будете иметь к образованию детей крестьян такое же уважение, какое крестьяне имеют сегодня к вашему».

«Последние слова этой речи, – заключает кашинский бытописатель, – были заглушены криками: будем! будем! даже больше, чем они!» Затем тот же бытописатель повествует, что «П. Н. Ладыженский, идя к своему месту, был остановлен старшинами» и что «каждый из них его обнял». Еще бы! ведь не бесчувственные же они, чтоб не понять, что им и в жизнь бы не выдумать и не выразить того, что придумал и выразил за них П. Н. Ладыженский в каких-нибудь несколько минут! С своей стороны, я могу по поводу этой речи сде-

лать только одно замечание, а именно, что она уже слишком верно выражает то томное состояние души, в котором должны были находиться волостные старшины, удостоенные чести сидеть за одним столом с дворянами. Я понимаю, что они должны были чувствовать себя виноватыми и что слова: «Не зазнаемся! клянемся, что не зазнаемся!» не могли не становиться им, так сказать, поперек горла, но я решительно не понимаю, как можно было допустить их до выражения сих томных чувств, а тем более браться за такое дело самому. Предположим, например, что я хозяин, что, сверх того, состою в чине действительного статского советника, но и за всем тем до того излиберальничался, что пригласил к себе обедать коллежского регистратора. Разумеется, я очень хорошо вижу, что он сознает себя виноватым, что у него на лице выступают красные пятна, что он не знает, как сесть, и беспрестанно роняет на пол то ложку, то вилку. Я вижу даже, что он совсем не так ест артишоки, как их есть следует. Тем не менее я не только не преследую его за это, но делаю вид, что ничего не замечаю, и когда на лице его уже слишком явственно изображаются слова: «ваше превосходительство! видит бог, что я не зазнаюсь!», то я совсем не усиливаюсь вызвать эти слова наружу, а, напротив того, всячески стараюсь замять этот щекотливый разговор и начинаю показывать ему стороной, как следует есть артишоки. Почему я так поступаю? Потому ли, что не усматриваю в его похвальном намерении должной дани моему могуществу и рангу?

Нет, если я истинный действительный статский советник, то не признавать этого не могу, ибо очень хорошо понимаю, что все это должное и что коллежский регистратор, сидя за одним со мной столом, не может вести себя иначе, нежели так, как себя ведет. Но потому стараюсь я замять его излишня, что вижу в них отступление от основных гастрономических обычаев и преданий. Нигде чувство равенства не предъясляет столько прямой практической пользы, как за обедом, нигде начальнические отношения не делаются столь ненавистными. Приглашая к себе гостей, я, для собственного своего спокойствия, желаю, чтоб все они были равно довольны, и сердце мое дотоле не перестанет тревожиться, покуда им не будет обладать сладкая уверенность, что действительно всем гостям подается кушанье одинаковое, что в салате не может встретиться недостатка и что на заднем конце стола точно так же, как и на переднем, гости продовольствуются вином от Депре, а не от Зызыкина или Терликова. Повторяю: все это я делаю единственно в видах моего собственного спокойствия, а отнюдь не для того, чтоб приобрести популярность между коллежскими регистраторами, и если, несмотря на принятые меры, приглашенный мной коллежский регистратор все-таки будет настаивать, будет привставать с своего места и вопиять: «не зазнаюсь! богом свидетельствуюсь, что не зазнаюсь, ваше превосходительство!», то я, чтоб разом пресечь всякий повод к дальнейшему скандалу, способен решиться даже на самую крайнюю меру. Я не знаю... я

даже готов сказать этому ужасному коллежскому регистратору: «Уж если ты, любезный, не умеешь сидеть за столом смиренно, то ступай лучше в людскую!»

А потому, если б волостные старшины IV-го мирового участка обратились ко мне с просьбой сказать за них речь, то я редактировал бы ее несколько иначе. А именно, я сказал бы:

«Братцы!

Сладко едите вы, но еще слаще того пьете и разговариваете. Никогда того прежде не бывало, чтоб русский мужик за одним столом с барами сиживал, а теперь сидит. Стало быть, так оно нужно. А потому, если и напередки таким манером собираться будете, то и напередки милости просим нас приглашать. Мы ничего; мы придем. Ура!»

И я уверен, что общество столь же сочувственно откликнулось бы на мою речь, как и на речь г. Ладыженского. Потому что обществу что, в сущности, нужно? Обществу нужно, чтоб была речь и чтоб естественный ход торжества не был нарушен – и больше ничего.

Г-ну Ладыженскому отвечал П. Н. Головин (речь 9-я) и провозгласил тост (4-й) за здоровье крестьян IV участка. Затем уже последовало действительное торжество. Начались обнимания; тост следовал за тостом (числом до шести; тост губернского предводителя дворянства был провозглашен прежде, нежели тост вице-губернатора; из этого я заключаю, что торжествовал принцип земства), посылались

депешу по телеграфу, и зажжен был вензель П. Н. Головина.

Итого в сей день было произнесено девять речей и провозглашено десять тостов. По исполнении этого присутствующие, вероятно, разъехались по домам и легли спать.

День второй

17-го августа торжество происходило в усадьбе П. Н. Головина. К сожалению, кашинский бытописатель сохранил об этом дне гораздо меньше подробностей, нежели о предшествовавшем, и не только не сообщал, какие кушанья подавались за обедом, но даже утаил, в какое время дня происходило самое торжество. Произнесено было четыре речи (из них одна самим бытописателем) и провозглашено десять тостов. Речи были средние, и только когда начался уже разъезд, русское сердце не выдержало и шепнуло участникам торжества проводить губернского предводителя дворянства и В. И. Литвинова с русскою песнью. Грянула:

Чарочка моя серебряная,
На золотом блюде поставленная и проч.

В. И. Литвинов не выдержал и сказал последнюю свою (5-ю) речь, в которой выразил надежду, что «дворянское сословие не умрет во веки веков».

Дело, однако, этим не кончилось; был еще и третий день праздника. Но здесь я решительно отказываюсь продолжать мое извлечение и упомяну только о том, что софроновский

волостной старшина, Алексей Яковлевич, на сей раз не поверил никому своей тайны и самолично произнес две речи, из которых в одной даже применил к П. Н. Головину евангельское изречение: «блаженны миротворцы, яко тии сынами божиими нарекутся»...

Читатель! какое заключение можно вывести из этого рассказа? Какое, кроме того, что всё это «дела средние» и что всякий человек вообще делает только то, что он может и что для него ближе с руки? В этом, конечно, нет еще ничего ни смешного, ни предосудительного... Но не правда ли, какая странная фантазия публиковать о подобных средних делах во всеобщее сведение, да вдобавок еще снабжать эту публикацию примечаниями!

Рассказывают про Диогена, что однажды он, в ответ на ругательства какого-то плешивого, сказал: «Хвалю твои волосы за то, что они избавились от такой гнусной головы».

Если перевернуть это выражение и применить его к нашей современной гласности, то всякому россиянину, предающемуся этому делу, можно сказать: хвалю твой язык за то, что он избавился от нескольких лишних (не говорю гнусных) слов.

По крайней мере, такого именно мнения о нашей гласности г. Б. Чичерин. Этот знаменитый публицист день ото дня делается знаменитее и знаменитее. Прежде он был знаменит своими подвигами на поприще гласности, теперь – зна-

менит молчанием. Он совершил дело не легкое: освободил свой язык от ненужных слов – и теперь покоен. Он знает, что «Атеней» и «Наше время», в которых он преимущественно совершал свои подвиги, пали совершенно незаслуженно и что публика когда-нибудь раскается в своем заблуждении, он знает, что публика эта вынослива, что она вынесла период «Русского вестника», выносит период «Московских ведомостей», – отчего же не вынести ей когда-нибудь и период «Нашего времени»? Он выжидает этой благоприятной минуты; быть может, даже усматривает ее приближение и в ожидании молчит, но бодрствует и собирается с силами.

Странно и в высшей степени поучительно то положение, в которое поставили себя русские публицисты. Все они, в сущности, желают одного и того же, и в то же время все без изъятия враждуют между собой. Все желают, чтобы Россия благоденствовала, чтобы доверие между управляющими и управляемыми не прерывалось, чтобы правда царствовала в судах, чтобы войска были победоносны и чтобы журналы, в которых они принимают участие, приобретали все больше и больше подписчиков, – вот те законные идеалы, которые руководят их действиями. Казалось бы, что тут не может быть и самомалейшего повода для разногласия; казалось бы, что г. Катков должен был бы радоваться успехам г. Громеки, г. Громека – успехам г. Чичерина и т. д. (ибо только соединенные успехи могут иметь в результате общее ликование); однако на деле выходит не так. На деле выходит, что г. Катков

вполне сочувствует только П. И. Мельникову, а с гг. Чичериным и Громекой находится во вражде; г. Громека сочувствует только г. Краевскому и положительно завидует успехам гг. Каткова и Чичерина... Зритель поверхностный и непроницательный может подумать, что тут есть какая-то проклятая тайна, которая заставляет людей стремиться к одним и тем же земным идеалам и в то же время страстно желать взаимного кровопролития.

Тем не менее тайны тут нет никакой, и чтоб убедить в том неопытного читателя, мы постараемся раскрыть перед ним те сокровеннейшие пружины, которые скрываются за нашей домашней публицистической деятельностью.

Во-первых, при совершенной одинаковости общих руководящих идеалов, всякий вопрос, могущий служить предметом для публицистической разработки, распадается на множество подробностей, которые могут дать пищу для споров самых разнообразных и оживленных. Например, возьмем общее положение: войска должны быть победоносны; с этим, конечно, согласны все – и г. Катков, и г. Чичерин, и г. Громека. Но здесь возникает множество других, второстепенных вопросов, от разрешения которых зависит большая или меньшая твердость главного положения. Таким образом, г. Катков может утверждать, что для достижения этой цели необходимо обратить внимание на устройство пехоты, и в подкрепление этой мысли приведет множество примеров из древней истории; г. Громека скажет, что главная си-

ла войск заключается в хорошем устройстве огнестрельных орудий, и приведет примеры из недавно изданной им истории киевских волнений 1855 года; г. Чичерин выразит предположение, что войско едва ли может быть победоносно без кавалерии, а г. Краевский постарается соединить все мнения и скажет, что войско тогда только может быть победоносно, когда в нем есть и артиллерия, и кавалерия, и пехота. И вот эти люди, желающие, в сущности, одного и того же, вдруг возмнят, что они ратуют в разных лагерях, и почнут друг друга козырять. Г-н Чичерин будет насмехаться над пехотой, г. Катков возненавидит артиллерию, г. Громека расскажет взволнованным голосом несколько анекдотов об излишествах, которые позволяют себе кавалерийские офицеры, а г. Краевский будет восклицать: о чем мы, господа, спорим? Другой пример: доверие между управляющими и управляемыми не должно прерываться. В общих чертах это положение бесспорно, но и оно заключает в недрах своих множество таких вопросов и вопросовцев, по поводу которых публицист опытный и знаменитый может создать себе монумент, а публицист неопытный и незнаменитый может стяжать посрамление. Таким образом, г. Катков будет доказывать, что доверие достигается только посредством предводителей дворянства, г. Чичерин – что в этом деле могут оказать действительную помощь только исправники, и притом исправники, назначаемые от короны; г. Громека обратит внимание на мировой институт и спросит себя: не в нем ли следует искать клю-

ча для сближения сословий? г. Краевский постарается согласить все мнения и скажет, что для достижения желанной цели необходимо, чтоб были и предводители дворянства, и исправники, и мировые посредники. И пойдет у них тут пальба, хотя, в сущности, всем им стоит только отречься от ложного самолюбия, чтоб пристать к мнению г. Краевского.

Вторая причина разногласия заключается в различии темпераментов, которыми обладают наши публицисты. Таким образом, г. Громека посмотрит на каждый вопрос наивно и восторженно, г. Чичерин желчно и язвительно, г. Катков соединит язвительность с восторженностью, а г. Краевский не предъявит никаких качеств, кроме глубокомыслия. Поэтому, например, если им попадется под руку вопрос о правде в судах, то каждый из них растерзает его на свой манер. Г-н Громека нарисует картину, в которой покажет судью, благословляющего поселянина, и поселянина, благословляющего судью, и попросит Айвазовского облить все это золотыми лучами заходящего солнца и нарисовать на заднем плане пару волов, подаренных судье (волы эти подарены судье вчера, когда еще не было распоряжения о правде в судах; сегодня судья ни под каким видом не взял бы их); г. Чичерин взглянет на предмет иначе и справится наперед с русской историей, что-то она ответит насчет «правды в судах»; г. Катков скажет кратко: «С нас и этого будет», обругает при этом жуликов и мазуриков и докажет, что для последних никакого суда даже и иметь не следует; г. Краевский ничего не нарисует и не

выскажет, а подумает: подождем, как разрешит этот вопрос время. И пойдет между этими людьми баталия не на живот, а на смерть, хотя каждый из них положительно желает, чтобы правда царствовала в судах.

Третья причина разногласия заключается в самолюбии, которое в наших публицистах развито в невероятных размерах. Хотя все они тоскуют об одном и том же, но всякому хочется уверить публику, что он тоскует совершенно иначе, нежели его сосед, всякому хочется доказать, что сосед его с кем-то нюхается, а он... он хоть и нюхается, но совсем на другой манер, нюхается, так сказать, самостоятельно. И напрасно будете вы говорить им: «Друзья! оставьте эту прю! все вы тоскуете об одном, все вы нюхаетесь одинаково!», напрасно будете подтверждать вашу речь фактами – не согласятся ни за что, засыпят возражениями и войдут в такие тонкие подробности, от которых придется зажать нос. «Я, – скажет один, – не имею обязательной публики: я действую самостоятельно и бескорыстно». – «Да что ж, что у тебя нет обязательной публики, – возразит другой, – ведь ты очень хорошо понимаешь, что и без обязательной публики подписчик на твою приманку побежит! ты преднамеренно льстишь подписчику! ты смотришь на его карманы и сообразно с их положением излагаешь ту или другую мысль! хорошо бескорыстие!» И опять пойдет тут у них брань да баталия...

Наконец, четвертую причину разногласия составляет та врожденная человеку склонность к спектаклю, которая вы-

нуждает его, за недостатком существенной духовной пищи, прибегать к обману чувств и различного рода самообольщениям. Если жизнь представляет мало разнообразия и ровно никакого исхода для деятельности человека, то он устроит это разнообразие в своем кабинете, утопит снедающую его жажду деятельности в каком-нибудь театральном представлении, вроде «Ливанской красавицы, или Горного духа». Это однообразие жизненных мотивов столь же решительным образом действует и на публицистов наших. В сущности, имея в виду одни и те же идеалы, стоя на одной и той же почве и не дерзая идти за пределы тех форм жизни, которые составляют нескончаемое повторение того, что уже заявило о своей несостоятельности, они должны ощущать непреодолимую скуку в этом переливании из пустого в порожнее, в этом взаимном поддакивании, в котором, по необходимости, должна скружиться вся их общественная деятельность. Отсюда – потребность разнообразия, потребность спектакля. У иных эта потребность рождается сознательно, сопровождается преднамеренностью, у других выражается совершенно наивно. Иногда замешается в дело какая-нибудь разни́ца с горошину, а публицисту уж кажется, что перед ним лежит целая глыба; иногда объявится какая-нибудь ничтожная трещинка, а публицисту кажется, что перед ним разверзлась целая пропасть... И вот он тщательно примечает все эти горошинки и трещинки, нанизывает их одна на другую, придирается к словам и, устроивши все как следует, затевает, на-

конец, большой спектакль. Нужды нет, что в этом спектакле все фальшиво и ложно; цель публициста достигнута уже тем одним, что у него есть развлечение, есть возможность избежать того давящего однообразия, которое, по необходимости, истекает из совершенного тождества принципов, желаний и стремлений.

Так вот сколько есть причин для разногласия даже между такими публицистами, которым, по сущей правде, следовало бы ходить под ручку и любоваться друг другом. Больше всего теряют от этого, разумеется, читатели, которые через это вовлекаются в обман, наводятся на мысли о каких-то раздорах, партиях и междоусобиях и содержатся в постоянном страхе за целостность тех великих принципов, неприкосновенность которых, в сущности, защищается всеми публицистами с одинаковым рвением. Страх напрасный. Когда тайна, которою окружают себя ратоборцы, разоблачена, когда самые раздоры низводятся с высот величия к тем естественным границам, в которых им быть надлежит, то опасения исчезают сами собою. «Эге! да вы это только для собственной потехи турниры-то затеваете!» – скажет читатель и успокоится совершенно насчет неприкосновенности великих принципов.

Сколько раздоров мы были свидетелями, сколько словесных упражнений были читателями в течение настоящего, благополучно оканчивающегося года! С одной стороны, «Московские ведомости» препирались с «Днем», с другой стороны, те же «Московские ведомости» вели войну с «Го-

лосом». Дело шло об том, кто больше любит отечество, и ведь ни одному-то из этих почтенных органов русского печатного слова не пришло на мысль сказать себе, что все они равно любят отечество и все равномерно заботятся о благе его, а всё приходили на мысль думы горькие: о том, кто у кого позаимствовал проект всероссийского словоизвержения, да о том, есть ли у кого обязательные подписчики или нет? Ну, какому же читателю дело до того, у кого г. Катков заимствовал свой проект всероссийского словоизвержения? Кому дело даже до того, что он, позаимствовав этот проект у покойного К. С. Аксакова, счел тут же за долг уязвить славянофилов? Разве достоинство проекта теряет от этого? разве он оттого делается менее прелестным? Редакции «Дня» следовало бы радоваться, что мысли ее популяризируются, а не уличать г. Каткова в позаимствованиях и недобросовестности.

На днях опять возник спор в том же роде между И. С. Аксаковым и Б. Н. Чичериным. Оба они любят отечество в равной степени, и вот, однако ж, заспорили... и об чем же? о каком-то ничтожнейшем фестончике этого великого вопроса! О том, собственно, как приличнее любить: с участием ли языкочесания, как желает г. Аксаков, или без участия оно, как утверждает г. Чичерин!

Дело в следующем. «День» очень заботится о развитии русской гласности; ему хочется иметь корреспондентов во всех углах России, хочется знать досконально, что делается

в этих отдаленных земных рассединах, из которых не только голоса, даже писка человеческого никуда не доходит. По-видимому, И. С. Аксаков задумывает громадный труд: издание балетной этнографии целой России, и потому присутствие в его журнале корреспонденции из одного Кашинского уезда не удовлетворяет его: хотелось бы, чтоб и в прочих местностях завелись такие же балетные корреспонденты, которые с точностью заносили бы на страницы «Дня» словесные подвиги местных витий, сопровождаемые земными поклонами, коленопреклонениями, а подчас и пляской. Не видя осуществления своего замысла, почтенный редактор естественным образом пришел к раздумью: что означает это поголовное, гробовое молчание? и разрешил этот вопрос не совсем лестно для земных расседин. По мнению его, молчание отнюдь не означает здесь благоденствия и благорастворения воздушных, а свидетельствует только о полнейшем равнодушии захолустных россиян не только к интересам общечеловеческим, но и к тем маленьким, захолустным интересам, среди которых происходит их жизнь. В пример такой апатии привел он Тамбовскую губернию, которая, несмотря на все усилия создать в ней балетного корреспондента, решительно упорствует в самом непроходимом молчании. Мало того: он даже усумнился, доподлинно ли эта губерния существует, не составляет ли она пустого географического термина и не сбегала ли, наконец, куда-нибудь?

За Тамбовскую губернию вступился почтенный профес-

сор Московского университета Б. Н. Чичерин. В письме, напечатанном в 48 № «Дня», он поведал г. Аксакову, что ему заподлинно известно, что сделалось с Тамбовской губернией; что он в ней родился, воспитывался, живет там каждое лето и любит ее сердечно. Заручившись таким фактом, он продолжает, что Тамбовская губерния стоит на месте и что в настоящее время молчание есть именно признак «благополучного пребывания на месте». По мнению его, в такую минуту, когда «Россию постигла язва непомерного языкочесания», когда свое слово хочет сказать даже тот, кому и говорить-то, в сущности, нечего, губерния, которая молчит о себе, должна быть названа «мудрейшею из губерний». «Куда бежать, где найти успокоительный угол, если даже тихая степь начнет об себе разглагольствовать? – восклицает он. – Возвращусь я домой – и найду знакомую мне Тамбовскую губернию волнующуюся, обличающую, критикующую, анатомирующую собственные внутренности, обуянную задором и честолюбием красоваться на страницах журналов. Г-н редактор, пощадите!» Затем г. Чичерин объявляет, что молчание тамбовцев означает, что они заняты делом, и что там, в этой степи, «в тишине совершается великое превращение народной жизни». «Поверьте, – заканчивает он, – молчаливые губернии – столпы русской земли. Ведь, между нами, мы от русского слова большого прока до сих пор не видали, но в русском молчании таится громадная сила»... Г-н Аксаков, конечно, не оставил без ответа этого заявления и объяс-

нил: 1) что если Тамбовская губерния молчит теперь оттого, что у ней много дела, и оттого, что в недрах ее совершается великое превращение народной жизни, то почему же она столь же упорно молчала в то время, когда существовало в ней крепостное право, когда дела у нее решительно никакого не было и когда ни в тишине, ни в громе и блеске молний не совершалось в недрах ее никаких превращений? 2) что доказательства г. Чичерина насчет благополучного состояния Тамбовской губернии «напоминают стихи Шевченки, что от Кавказа до Финляндии, от Балтики до Океана, у нас

.....все молчат,
Бо благоденствуют...»

и, наконец, 3) что Тамбовская губерния пришлась только к слову, но что, и кроме ее, есть предостаточно губерний, которые отнюдь не уступают Тамбовской в молчаливом благоденствии, и что из этого, по логике г. Чичерина, должно заключить, что «мы окружены целым океаном гражданского благоденствия и мудрости».

«Счастливый г. Чичерин! – восклицает по этому поводу почтенный редактор «Дня», – как ему должно быть хорошо и тепло на свете, под сению тамбовского счастья, при сиянии тамбовской мудрости, с его тамбовским мирозерцанием!»

Признаюсь, мне очень хотелось бы теперь же разъяснить читателям, что такое это «тамбовское счастье» и эта «там-

бовская мудрость», о которых говорит И. С. Аксаков, но покамест я воздержусь и возвращусь к вопросу. Чего добивается г. Аксаков? что отстаивает против него г. Чичерин?

Очевидно, г. Аксаков добивается истины; он хочет, чтобы в земные расседины проник луч солнца и осветил их внутренность; он ищет, чтобы всякий россиянин, любящий свое отечество, знал, что именно он любит, чтоб он, вступая в разговор с каким-нибудь липпе-детмольдским подданным, мог сказать: «Да, я люблю Россию, ибо в отечестве моем есть Тамбовская губерния, которая столько-то сот тысяч пудов ржи производит на продажу, есть село Кимра, в котором работается ежегодно до десяти тысяч пар сапогов, и есть город Ржев, в котором готовится прекраснейшая яблочная пастила!» Таким стремлениям решительно нельзя не сочувствовать, тем более что они составляют крутой поворот в убеждениях самого «Дня», который, как известно, был всегда поборником любви для любви. В самом деле, ведь только почитатели французской кухни могут оставаться равнодушными к тому, из чего приготовлено и как приготовлено лакомое блюдо, которое они едят: было бы, дескать, лишь вкусно! Но любовь к отечеству не еда; она, как и всякое другое разумное чувство, допускает анализ и поверку, которые ни в каком случае не подрывают, а, напротив, могут только укрепить ее. Правильно.

Но с другой стороны, г. Чичерин, становясь на точку зрения общечеловеческую, защищает любезнейшее из прав че-

ловека, – право молчания. Такому стремлению тоже нельзя не сочувствовать, ибо право молчать должно быть столь же неприкосновенно сохранено человеку, как и право говорить, и г. Чичерин, взяв на себя защиту этого права, поступил как настоящий гражданин. Затем, что касается собственно любви к отечеству, г. Чичерин в этом отношении, очевидно, принадлежит к той школе философов, которая в этом чувстве всего более похваляет его непосредственность. И в самом деле, что может выиграть это чувство, если мы в сферу его внесем элемент аналитический? – Отнюдь ничего, ибо никакое кушанье ни на волос не может улучшиться от того, что составные его части и способ приготовления известны. Напротив того, самое присутствие анализа в любви (не говоря уже о том неприятном кортеже новых фактов и открытий, который всегда приводит анализ с собою) не умалит ли ее живость и цельность? Умалит, непременно умалит, ибо анализ сам по себе есть элемент по преимуществу охлаждающий, тормозящий, и мы, простые смертные, каждый день убеждаемся в этом в нашей обычной будничной деятельности. Правильно.

Таким образом, я нахожусь в самом адском затруднении. Почему? а потому именно, что чувствую, что оба публициста правы. Об чем идет здесь дело? спрашиваю я себя и отвечаю: очевидно, здесь идет дело о любви к отечеству. Но если дело идет об этом, то не все ли равно, какая это любовь: молчащая или говорящая, анализирующая или основанная на одном непосредственном стремлении? Все равно, отвечаю я,

ибо любовь сама по себе остается неприкосновенною и несколько не зависящею от форм, в которых она проявляется. «Пусть тот, кто может вместить любовь говорящую, вместит любовь говорящую, а тот, кто может вместить любовь молчащую, пусть вместит любовь молчащую!» – восклицаю я, и, по мнению моему, восклицаю правильно, потому что отечество может только выиграть оттого, что его любят на разные манеры.

Следовательно, вот еще и третье мнение, которое, прошу заметить, вовсе не навеяно мне А. А. Краевским, а есть мое собственное.

Но дело это так любопытно, что я решаюсь продолжать мои исследования далее.

По-видимому, г. Чичерин руководился в своем «Письме» следующими соображениями:

Во-первых, ему показалось, что как только Тамбовская губерния последует искусительному совету г. Аксакова, как только «тихая степь начнет о себе разглагольствовать», то она утратит большую часть своей наивной прелести. Г-н Чичерин, очевидно, уже утомился; он совершил свой подвиг, который именно в том и состоит, что он ничего не сделал, а так как подобных подвигов впереди может предстоять еще множество, то очень естественно, что он не хочет, чтобы при совершении их его развлекал излишний шум. В этом смысле Тамбовская губерния служила ему надежным убежищем; он утешался ею и успокоивался на лоне ее от московских

треволнений. Там, посреди молчания тихой степи, он обдумывал планы новых московских подвигов, там, под влиянием великой, но безмолвствующей черноземной силы, писал он бессмертное свое сочинение о казачестве в науке... Правильно.

Во-вторых, ему, естественно, представлялся вопрос: что может сказать о себе Тамбовская губерния, ежели, паче чаяния, последует совету г. Аксакова? А ну, как она, вместо сведений о молоканах, об общинном начале и о народных юридических обычаях, столь настоятельно требуемых почтенным редактором, заведет нескончаемую речь о скотоводстве? Получат ли тогда читатели «Дня» правдивое понятие о губернии или не получают? Да полно, есть ли еще в ней такие литераторы-обыватели, которые и о скотоводстве-то без грамматических ошибок говорить могут? А то ведь, пожалуй, как раз нарежешься на балетную корреспонденцию, вроде «кашинской»...

Нет, лучше смерть, чем жизнь позорну! –

воскликнул г. Чичерин и ринулся отстаивать право Тамбовской губернии на молчание. И в самом деле, положение предполагаемых тамбовских корреспондентов до крайности затруднительно. Для большей ясности сравню его с моим собственным. Я очень желал бы, например, быть петербургским корреспондентом «Дня» и посылать ему отчеты о ка-

ких-нибудь заседаниях или прениях, в которых принимали бы участие все светила современной русской публицистики. С каким бы восторгом записал я на скрижали «Дня» следующий, например, протокол заседания:

Президент. В прошлое заседание г. Чичерин...

Г-н Павлов (de la Moscowa³⁹). Я требую слова!

Президент (продолжает). Г-н Чичерин представил предложение такого рода: «В Тамбовской губернии, как существующей, собственно, для увеселения его, г. Чичерина, не допускать проявления гласности, под опасением строжайшего взыскания по Уложению царя Алексея Михайловича». Слово за г. Павловым (de la Moscowa), предлагающим поправку.

Г-н Павлов (дрожащими стопами идет к ораторской трибуне; публика смеется). Милостивые государи! Я ничего не имею сказать против предложения почтенного моего друга...

Г-н Катков. Я требую слова!

Президент. Слово принадлежит г. Каткову (ропот со стороны гг. Чичерина, Кетчера, Солдатенкова, Корша (de la Moscowa) и Дмитриева).

Г-н Павлов. Позвольте, г. Президент, это с вашей стороны несправедливость, это, наконец, систематическое угнетение благоразумного меньшинства (плачет).

Г-н Катков (тронутый). Я предоставляю г. Павлову объяс-

³⁹ от Москвы.

ниться, хотя заранее уверен, что он скажет вздор! (Садится на место; в публике слышится: «О, великодушный!», между помещиками: «О, спаситель!», между девицами: «Душка!»; один голос отделяется резче и произносит: «Mais regarde, comme il est bien fait, ma chère!»⁴⁰)

Г-н Павлов. Я желал бы только, милостивые государи, распространить силу этого предложения и на Рязанскую губернию, в которой жена моя имеет недвижимую собственность. (Дрожащими стопами сходит с трибуны и возвращается на место; г. Солдатенков поздравляет оратора с успехом; известный издатель Стелловский подсылает поэта Вс. Крестовского, чтобы узнать, не позволит ли блестящий оратор напечатать свою речь отдельными экземплярами и разослать при афишах.)

Г-н Катков (входит на трибуну задумчивый и ищет носового платка; из дамской трибуны, сыплется на него целая сотня платков; слышится в публике женский голос: «Oh! ma chère! mais il est d'un blond cendré!»⁴¹) Милостивые государи! не имея ничего против самой сущности принципа, защищаемого гг. Чичериным и Павловым (de la Moscowa), я вооружаюсь единственно против тех преувеличений, к которым может повести принятие предлагаемой вам меры. («Андил!» – кричит какая-то купчиха с хор; общий смех.) Милостивые государи! Я не вижу здесь никаких поводов для смеха! бед-

⁴⁰ Но посмотри, дорогая моя, как он хорошо сложен!

⁴¹ О, дорогая моя, но ведь он – пепельный блондин!

ная женщина выражает свой восторг простодушно... я решительно не понимаю, в чем тут комизм! (Всеобщие знаки одобрения.) Итак, я не против самой сущности принципа, но против преувеличений. Я нахожу, что, приняв это предложение, мы только дадим новое оружие в руки жуликов и свистунов. Поверьте, милостивые государи, что я и друзья мои справимся с этою гласностью совершенно легко и без всяких принудительных мер (оратор опять чего-то ищет; оказывается, что он растерял все платки; к ногам его вновь сыплется целая сотня). Тут даже не место сказать: *timeo Danaos et dona ferentes*,⁴² потому что это и не данайцы совсем, а просто сотрудники «Дня», которых могут опасаться только гг. Чичерин и Павлов. А потому я предлагаю: отвергнуть предложение г. Чичерина, формулировав этот отказ словами: *gisum teneatis, amici!*⁴³

И т. д. и т. д.

Но что же мне делать, если я, вместо подобных фантастических отчетов, должен говорить о распрях между гг. Чичериным и Аксаковым? Точно в таком же горьком положении, наверное, найдутся и предполагаемые тамбовские корреспонденты. Не выдумывать же им в самом деле факты и происшествия для увеселения публики «Дня»! Вот мысль, которую, вероятно, имел, и не мог не иметь г. Чичерин, когда представлял себе Тамбовскую губернию, соблазненную

⁴² опасаясь данайцев, даже и дары приносящих.

⁴³ не смешно ли?

советами г. Аксакова. Правильно.

В-третьих, г. Чичерина могли застрашать призраки корреспондентов «Московских ведомостей» гг. Виноградова и Петерсона. Что, если, в самом деле, и в Тамбовскую губернию проникнут такие же витязи? Да ведь тогда нельзя будет фунта балыка купить, чтобы не быть обвиненным в сепаратизме в пользу Земли Войска Донского, нельзя будет выкурить трубки турецкого табаку, чтобы не заподозрили тебя в наклонностях к музульманству! Господи! да при одной этой мысли.

Меня объемлет хлад, и сквозь пронзает трепет (пусть потрудится г. Лонгинов отыскать, из какого водевиля взят мною этот стих)! Представляю я себе такую картину: нарисована Тамбовская губерния; на первом плане г. Чичерин сочиняет статью о казачестве в науке; по бокам расположены помещики, которые молчат и занимаются делом; внизу изображены поселяне, которые «в тишине совершают великое превращение народной жизни». Все спит. И вдруг вдали грядут гг. Петерсон и Виноградов... желал бы я видеть те волосы, которые не встали бы дыбом при этом зрелище! Каков ужас должен изобразиться на всех этих спящих, но занятых делом лицах! какая страшная сумятица должна произойти в самой природе от такого нежданного и нежеланного появления!..

Увы! я очень хорошо понимаю и этот ужас, и эту сумятицу, а так как г. Аксаков не может представить никакого руча-

тельства, чтоб г. Петерсону и Виноградову был воспрещен въезд в Тамбовскую губернию, то я вполне разделяю опасения г. Чичерина и нахожу, что в этом смысле он рассуждает... правильно.

Таковы могут быть совершенно основательные соображения, руководящие г. Чичериным. Но так как я справедлив и не могу обойтись без того, чтоб не выслушать и противной стороны, то постараюсь формулировать и те возражения, которые могут быть представлены со стороны г. Аксакова. Отчего же не выслушать и его?

С своей стороны, г. Аксаков мог быть руководим в своей полемике тоже тремя соображениями.

Во-первых, он может сказать, что предполагаемая тамбовская гласность не только не может мешать сочинению статей о казачестве в науке, но даже должна поощрять труды в этом роде, и в подкрепление своей мысли сошлется на корреспонденцию кашинского бытописателя. Кого огорчила эта корреспонденция? кому помешала она? не пролила ли она, напротив того, веселие во все сердца? И кто может поручиться, что в эту самую минуту в Кашинском уезде не изготовлено несколько десятков тысяч статей о казачестве в науке, о казачестве в литературе, о казачестве в торговле, о казачестве в фабрикации виноградных вин и т. д., написанных именно под влиянием веселых чувств, пробужденных кашинскою корреспонденцией? Ибо веселие поселяет добрые чувства в человеке, укрепляет его мышцы и поощряет к новым подви-

гам. Правильно.

Во-вторых, г. Аксаков мог рассуждать и так: если призываемая мною тамбовская гласность и действительно принесет мне сведения исключительно о скотоводстве, то что же из этого следует? Не лучше ли раз навсегда убедиться, что там ничего нет, кроме скотоводства, чем питать себя розовыми мечтами о каких-то народных юридических обычаях и проч.? И притом, разве скотоводство постыдная вещь? разве оно не может составлять, в некотором смысле, мерила для народной характеристики наравне с любым юридическим обычаем? Дело не в том, чтобы губерния давала именно то, чего мы от нее желаем, а в том, чтобы знать, что в ней есть на самом деле, какими глазами мы должны на нее смотреть и чего вправе от нее ожидать... Правильно.

В-третьих, наконец, опасение появления в Тамбовской губернии гг. Виноградова и Петерсона, в качестве ли местных литераторов-обывателей или в качестве туристов, лишено основания, ибо такие люди рождаются веками, да и то не иначе, как при содействии «Московских ведомостей». Следовательно, необходимо соединение особенно благоприятных условий, чтобы опасения такого рода могли осуществиться; скорее же всего, судя по естественному ходу тамбовской, курской, вятской и других цивилизаций, следует ожидать там появления точь-в-точь таких корреспондентов, каким представляется бессмертный кашинский бытописатель. Правильно.

Правильно, правильно и правильно. Правильно рассуждает г. Чичерин, и точь-в-точь так же правильно рассуждает г. Аксаков. Потому что оба они рассуждают о таких предметах, о которых нельзя иначе и рассуждать, как правильно. И если бы я захотел и взял на себя труд поставить рядом эти враждебные, по-видимому, мнения двух московских публицистов, ратоборствующих в совершенно различных лагерях, то вышло бы из этого третье мнение, которое также было бы правильно.

Выгоды от такого рода рассуждений неисчислимы. И прежде всего, разумеется, бросается в глаза та полная свобода, которую пользуется человек, решившийся рассуждать правильно. Он может говорить все, что хочет, все, что случайно набредет ему на мысль, он может противоречить самому себе, может даже, по произволу, давать своей речи или положительный, или отрицательный смысл, – вреда от этого не произойдет никакого, и всякое слово его, наверное, будет правильно, потому что самый сюжет правилен, потому что самый предмет речи вынесет какую угодно словесную забаву. В подобных трудах обыкновенно закаливаются великие люди, которые постепенно готовят себя для великой общественной деятельности. Это, без всякого сомнения, самая лучшая школа.

Не здесь ли разгадка тамбовской мудрости? не здесь ли искать ключа к объяснению тамбовского счастья?

Кончаю, но в заключение не могу не спросить себя: до че-

го, наконец, мы договорились? какие вопросы рассматриваем и разрешаем? Мы разрешаем вопрос о том, что лучше – гласность или молчание? Мы предаемся розовым мечтам о том, как хорошо и покойно жить в тех земных рассединах, которые о себе не разглагольствуют! Мы утверждаем, что эти расседины – мудрейшие из расседин! Мы вспоминаем поговорку: речь – серебро, а молчание – золото!..

Славно.

Читатель! эта хроника последняя в настоящем 1863 году. Но из того, что я беседовал с тобою по большей части веселым слогом, не торопись заключать, что я человек веселых нравов и что жизнь для меня точно так же легка, как для г. Фета и других поэтов мотыльковой школы. Нет, я беседовал с тобою весело совсем не потому, чтобы в душе моей не было горечи, чтобы я, в порыве гражданских чувств, не ощущал по временам потребности возвышаться до красноречия истинно тропического (производное от слова «тропы»), но потому единственно, что я добродушен и милосерд, и милосердие свое не ограничиваю тесною сферой бесплодных сетований и аханий, но изливаю его в виде действительного утешения, каковым и является в настоящем случае веселый смех.

Когда ребенок плачет, когда он ушибся или чем-нибудь огорчен, то няня прежде всего старается развлечь его, и по большей части достигает этого, обратив его внимание на ка-

кой-нибудь веселый предмет. Начнет показывать ему «козу рогатую» или читать лекцию о том, как «сорока кашу варила»... смотришь, ан дитя и рассмеялось, смотришь, ан оно позабыло и об ушибах и о других огорчениях, которыми обставляется детское существование! Но это еще не значит, однако ж, чтоб нянька сама принимала непосредственное участие в тех утешениях, которые она предлагает огорченному ребенку, чтоб они были в равной степени занимательны для нее, как и для него.

Этот пример я совсем не для того привел, чтоб сравнить себя с няней, а тебя, читатель, с ребенком (боже меня упаси от подобных поползновений!), но для того, собственно, чтобы выяснить мою мысль. Ибо согласишься, что действительно утешения были для тебя не лишни. Чем же я тебя утешал? Какого рода бальзам проливал в твое уязвленное сердце?

Я утешал тебя тем, что грозное лето не может продолжаться до бесконечности, что наступит когда-нибудь и зима. Я говорил: если тебе кажется, что небо разваливается, что земля трепещет и стонет, что воды выходят из берегов, то не тужи и не убивайся, ибо небо это картонное, земля картонная и вода картонная. Я доказал, что так называемые нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в первоначальном диком и нераскаянном состоянии, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты. Я, посредством длинного ряда примеров, убедил тебя, что нет на свете того заиндевевшего «в боях домашних» воина, который не был в свое вре-

мя «мальчишкою», и что, следовательно, присутствие мальчишеского элемента в нашем обществе не только не дает нам повода смущаться и недоумевать, но, напротив того, должно наипаче наполнять все сердца сладкой уверенностью, что со временем из пламенных мальчишек образуются не менее пламенные каплуны. Одним словом, я пролил покой в твое сердце, я дал возможность взглянуть на мир умиленными глазами, я указал тебе, что есть средство спать спокойно даже и при кажущемся треске грома... или и этого мало?

На мой взгляд, это заслуга значительная; на мой взгляд, я явился в этом случае и проницательным историком, и глубокомысленным философом. Я первый, с свойственною мне твердостью и стойкостью, высказал ту мысль, что нет на свете той пакости, которая, с точки зрения исторической или философской, не могла бы найти себе оправдания и которая, в случае нужды, не представлялась бы даже милою. Еще в древности великий поэт наш сказал:

Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло;
То, что было, то пройдет,
Что пройдет, то будет мило...

«До новой пакости», могу я прибавить к этому от себя, хотя нет сомнения, что и эта «новая пакость» когда-нибудь и кому-нибудь да будет же казаться милою... И если я не всегда действовал успешно на избранном мною поприще, ес-

ли не вполне развил мое учение о преимуществах человеческих заблуждений, то не забудь, читатель, что я никогда не являлся перед тобой в своем натуральном виде, но всегда несколько искаленным. Я надеялся не столько на то, что ты в совершенстве усвоил себе механизм чтения, сколько на твою проницательность и догадливость, на то, одним словом, что ты не только читать, но и понимать можешь. Откуда эта странная манера изъясняться с читателем? Знаю, что многие приписывают это обстоятельство цензуре; но я решительно не разделяю этого мнения и нахожу, что хотя привычка выражаться обиняками есть явление очень горькое и почти, так сказать, холопское, но оно принадлежит не цензуре, а тому понятию, которое мы, писатели, о цензуре имеем. Ибо что такое, в сущности, цензура? цензура есть учреждение, предупреждающее размножение человеческих заблуждений (тех самых, которые когда пройдут, то будут милы), одних заблуждений; следовательно, по самой задаче своей, она может только оберегать, поддерживать и ободрять, но отнюдь не преследовать или стеснять. Но мы, литераторы, неизвестно почему, привыкли представлять себе цензуру в виде ножниц, которые режут себе да режут как попало и где попало. И вследствие этого постоянно находимся в страхе. Понятно, какой переполох должно производить в наших мозгах такое опасное заблуждение! Вместо того чтоб стараться о том, чтобы устранять заблуждения и распространять здравые мысли, мы нередко смешиваем те и другие, и здравые наши мысли

скрываем, а заблуждения рассеваем. И совсем даже не потому, чтобы имели тут злостное какое-нибудь намерение, а просто потому, что сбились с толку и не умеем различать. Естественно, цензура видит это и исправляет. Чем же она виновата тут?

Сказывают, что в будущем году цензура будет упразднена. Если это случится, то я первый же фельетон мой начну словами: «Что они с нами делали! они вынимали часть нашего мозга! они бестрепетною рукой надевали на нас дурацкий колпак!» и т. д. и т. д. Одним словом, пожалуюсь. Но как ни лестна для меня возможность такой своевременной жалобы, все же слух об упразднении цензуры, скорее, смущает, нежели радует меня. Ибо я чувствую, что буду неправ. Во-первых, я привык к цензуре; я приучил себя писать как можно больше слов, в том соображении, что из множества всё хоть что-нибудь да останется (увы! нередко я и на этот счет очень горько заблуждался); следовательно, на первый раз умеренность и употребление настоящих, а не подставных слов для выражения моих мыслей будет для меня делом чрезвычайно трудным. Во-вторых, меня не на шутку тревожит заявление М. Н. Каткова о том, что он ждет не дожидается упразднения цензуры, чтоб поговорить с петербургскими журналами со всею искренностью и на всей своей воле. Что хочет сказать знаменитый публицист этою угрозой? Какой план кампании загодя составляет он в голове своей? Пригласит ли он себе в помощники по этой части гг. Виноградова и Петерсона или

разделит всю славу литературной расправы только с г. Пановским? Признаюсь, я в особенности боюсь гг. Виноградова и Петерсона; я даже думаю, что таких и публицистов совсем нет и что фамилии эти просто-напросто суть псевдонимы синильной кислоты...

Нет сомнения, что г. Катков думает, что как только цензура будет упразднена, то петербургская литература, почувствовав себя без узды, первым же делом примется за пропаганду мыслей о содомских увеселениях и вообще устремит своей бег исключительно в сферу свободного клубничества. Но это мнение ошибочное и, очевидно, составляет результат неумеренного чтения «Взбаламученного моря». Я, с своей стороны, например, совершенно уверен, что петербургская журналистика выкажет себя вполне достойною той свободы, которая ее ожидает, что она даже постепенно обуздает самого г. Каткова, разумеется, обуздает умеючи и там, где это можно и нужно... Потому что ведь таких обоюдоуязвительных псевдонимов, как гг. Виноградов и Петерсон, и в Петербурге найдется предостаточно... ей-богу, так!

Но, конечно, все эти опасения преувеличенные, и я льщу себя надеждой, что начну будущий фельетон совсем не тою фразой, какая приведена выше, а несколько иначе. «Она еще с нами! она еще направляет и напутствует нас! она невидимо поддерживает нас на трудном пути нашем!» – воскликну я и буду себе потихоньку радоваться смущению гг. Каткова, Петерсона и Виноградова...

Но на прощание не могу не поделиться с тобою, читатель, новым произведением музы нашего публициста-поэта кн. Вяземского. Вот этот перл:

О НАШИХ НИГИЛИСТАХ

(Avec circonstances atténuantes⁴⁴)

Грех их преследовать упреком или свистом.
На нет нет и суда: плод даст ли пустоцвет?
Ума в них нет, души в них нет,
Тут поневоле будешь нигилистом.
Благодарю.

⁴⁴ Со смягчающими (вину) обстоятельствами.

<VIII. Январь 1864 года>

Если б мне предложили вопрос, чем именно нравится мне прошлый 1863 год, я скорее всего ответил бы: «Ничем он мне не нравится», и предполагаю, что публика осталась бы довольною таким ответом.

В самом деле, что такое «старый год», что такое «новый год»? Неужели человечество еще недостаточно умудрено опытом, чтоб убедиться, что это не более как термины, имеющие значение исключительно астрономическое. А какое дело нам, простым и бедным людям, до того, что происходит в области астрономии! Разве «новый год» приносит нам пироги и жареных поросят? Разве, уходя, «старый год» уносит в вечность все черствые куски, которыми усеяна сия юдоль плача? Чему мы радуемся? Что жалеем? О, оставим лучше астрономов в покое доказывать все, что им доказывать надлежит, и будем жить, как живется, ничего от себя не утаивая, но ничего и не преувеличивая.

И в старом году хорошо жилось, и в новом хорошо будет житься. Это уж так изначала заведено, чтоб всегда жилось именно так, как живется. И если иногда тебе кажется, о птенец! что мир не всегда идет так, как бы ему идти надлежало, то это не что иное, как горькое, детское твое заблуждение, которое потому только и прощается, что тебе, как птенцу, заблуждаться приличествует. В сем мире все предусмотре-

но, все подчинено неизменным законам; заблуждения и мудрость, увлечения и трезвый глас рассудка, жар и холод – все это заранее размещено по своим местам, все это следовало, следует и будет следовать одному раз навсегда определенному церемониалу. Птенцы заблуждаются, старцы постепенно умудряются, юность увлекается и впадает в ошибки, зрелость подмечает эти ошибки, и если они не внимают трезвому голосу рассудка, то вычеркивает их, потому что в числе ее обязанностей, кроме убеждения посредством голоса рассудка, находится и вычеркивание. Что можешь сказать ты, птенец, против этого? Разве Африке не приличествует изнемогать под лучами палящего тропического солнца, а Европе – наслаждаться благорастворением воздушных масс? Или ты и против этого будешь спорить? Спорь, мой друг, спорь! это тебе приличествует!

Я знаю, почему ты споришь: тебе не нравится право вычеркивания, которое, по моей теории, предоставляется старшим... Друг! успокойся! помни, что когда пора заблуждений пройдет, когда наступит пора постепенного умудрения, то право вычеркивания предоставится и тебе (тогда-то поймешь ты, сколько сладости заключается в этом праве!). И даю тебе голову на отсечение, что ты не только не отвернешься от него с негодованием, но воспользуешься им, до такой степени воспользуешься, что даже из всех сил будешь протестовать против всякой попытки, которая стремилась бы его отменить или ограничить! Итак, не волнуйся и не спорь, но

с терпением и уверенностью ожидай своей очереди!

Мне уж давно перестали нравиться «годы»; давно уж я перестал вспоминать о старых и ожидать чего-нибудь путного от новых. Время всегда равно времени, говорю я себе, и спокойно гляжу на прошедшее, и не прихожу в восторг при виде грядущего. Помню, когда я еще был маленький, то меня по целым годам водили в дрянной ситцевой рубашонке, и всё твердили: «А вот погоди! будешь умником, так сошьем тебе к Новому году бархатную курточку и алые штанишки с светленькими пуговками!» Но напрасно старался я быть умником, напрасно преодолевал отвращение при виде моей дрянной и ветхой рубашонки, – наступал Новый год и никакой-таки бархатной курточки с собой не приносил! Сколько горьких детских слез пролил я в то время, вновь надевая мое ветхое рубище! Сколько глупых упреков, сколько невинных проклятий назревало тогда в моей юной груди!

Но я был юн, а следовательно, и легкомыслен. Когда я стал подрастать, то меня продолжали обольщать с прежним успехом, но обольщали уже не курточкою и алыми штанишками, а обещанием хорошеньких маленьких книжек и надеждой поступить в заведение, где воспитываются хорошенькие маленькие дети. И я опять старался быть умником, опять с восторгом приветствовал какую-то новую эру своей детской жизни... и опять в результате были слезы, страшные детские слезы! И не то чтоб мне не давали хорошеньких маленьких книжек, не то чтоб меня не отдали в хорошенькое маленькое

заведение, – но даже я детским умом своим понял, что хорошенькие книжки, которые мне предлагали, были подобны тем позеленевшим дождевикам, которые при малейшем прикосновении выпускают из себя один прах, и что заведение, в которое меня наконец отдали, могло быть только источником новых детских слез и огорчений, а отнюдь не предметом нетерпеливых восторгов.

Я помню, нас было в классе двадцать три ученика, и между ними, по успехам в науках, я был восьмым. Но однажды в головку татап пришла несчастная мысль попристальнее заняться моим воспитанием и слегка поруководствовать мной.

– Прилежно ли ты учишься, друг мой? – спросила она меня таким вкрадчивым голосом, как будто бы, вслед за этим вопросом, должна была разом произойти выгрузка конфет из всех ее карманов.

– Я, маменька, восьмой по классу! – отвечал я с некоторой гордостью, совершенно надеясь, что здравый смысл сделает остальное, то есть подскажет татап, что «восьмой» совсем не значит «двадцать третий».

– Гм... однако не первый? – пробормотала татап и отпросила меня на целый день домой.

Я собирался с радостью и всем товарищам говорил, какая у меня татап добрая и сколько ожидает меня впереди сладких пирожков. Но дома меня высекли... за то, что я не был первым по классу, и по окончании этой операции сказали: «Вот, если ты будешь умником, то тебя сечь не бу-

дем!» – «Только-то!» – шевельнулось тогда в моей голове, и в то же время зароилось там множество и других, самых разнообразных мыслей. Во-первых, мне совершенно логически представилось, что весь наш класс, исключая первого ученика (бедный! ужели ты не чувствовал, что это изъятие сечет тебя гораздо больше, нежели всевозможные розги!), должен быть высечен; во-вторых, мне пришло на ум: а что, ежели, вследствие такой экзекуции, все наши ученики, точно так же как и я, пожелают быть первыми? ведь этак, пожалуй, опять придется остаться восьмому восьмым, а двадцать третьему двадцать третьим? в-третьих, я с ужасом думал: если татап высекла меня за то, что я восьмой, то что же должна сделать татап Кротикова с моим другом Феденькой, который был постоянно первым по числу съедаемых им булок, но по успехам в науках решительно всегда стоял двадцать третьим.

Но главный результат, который приобретен мною вследствие этих разочарований, заключается в том, что я почувствовал себя умудренным и стал смотреть на «годы», как на пустую формальность, из которой, как ни бейся, никакого другого сока не выжмешь, кроме того, который в ней заключается. Время равно времени, год равен году; в одном нет повода для воспоминаний, в другом – для надежд; и в том и в другом случае ветхая ситцевая рубашка остается все тою же ветхою ситцевою рубашкой. И если при таком убеждении жизнь утрачивает свою игривость, то, взамен того, она приобретает то завидное спокойствие, которое замечается в фи-

зиониях кукол, с вставленными вместо глаз светленькими оловянными кружками.

Само собой разумеется, что для того, чтобы стать на ту философическую высоту, с которой дела сего мира кажутся безразличными, необходимо пройти сквозь множество такого рода испытаний, которые на русском языке слынут под общим характеристическим наименованием «огней и медных труб» (сколько мне известно, в нашем отечестве это наименование считается синонимом того, что в других странах называется наукой); но с другой стороны, как же и требовать, чтоб блага истинные и прочные доставались нам даром? Если б я с юных лет не был обманываем самым простым и нахальным образом и если б самолюбие мое не выкипело дотла в этой презренной тине лукавств, подвохов и умолчаний, то, быть может, я и до сих пор ждал бы моей новой бархатной курточки. А теперь я не жду ничего и такими глазами смотрю на мое дырявое, ветхое рубище, как будто бы ему и по штату положено быть именно дырявым и ветхим.

«Но чего же, каких жизненных результатов добился ты с приобретением такого взгляда?» – спросят, быть может, меня читатели.

Сознаюсь откровенно, вопрос этот несколько затрудняет меня. В самом деле, чего я достиг? спрашиваю я себя. Достиг ли я мира душевного? нет, не достиг, ибо покой мой беспрестанно нарушается чужим беспокойством, ибо для того, чтобы беспечно наслаждаться своим спокойствием, нужно, чтоб

и все окружающее предавалось такому же наслаждению. Достиг ли я, по крайней мере, права прозябать втихомолку в своем темном углу? – нет, и этого права я не достиг, потому что право прозябания, несмотря на свою очевидную некажистость, есть слишком ценное право, чтоб быть доступным кому бы то ни было, исключая тех редких избранников фортуны, которые до того уже щедро наделены природой, что, при ближайшем рассмотрении, кажется, как будто они и совсем ничем не одарены... Итак, в результате оказывается, что я обладаю, собственно, только точкою зрения, взглядом хорошим, возможностью с полным убеждением произнести, что ничто не ново под луною... Кушанье неважное, и нет сомнения, что я не потерпел бы никакого убытка, если б даже не обладал им.

Но чего же достиг и ты, о люд волнующийся и стремящийся! Вглядись пристальнее в твою деятельность, не увидишь ли ты в ней жалкой пародии на деятельность тех служителей искусства для искусства, науки для науки, против которых устремлено было все твое горячее негодование? Волнение для волнения, стремление для стремления; сегодняшняя пустая деятельность, поправляющая вчерашнюю пустую деятельность, и в свою очередь поправляемая завтрашней пустою деятельностью! Вот процесс твоей жизни, а в результате – вечное, непрерывающееся самообольщение, то жалкое самообольщение, которое для человека, непричастного этой суматохе, кажется совершенно необъяснимою психологиче-

скую загадкой. Согласись, что и это кушанье неважное и что ты не понес бы убытка, если бы не обладал им.

Прошлом лето мне случилось сделать из Москвы небольшое путешествие. Ехал я в так называемых дилижансах компании «Общая польза», которые, как известно, таким образом устроены, чтобы едущие в них, вследствие взаимных толчков и невольных телесных оскорблений, к концу путешествия непременно делались заклятыми врагами. Нас ехало шестеро, и между прочим один бывший ополченец, который, каким-то чудом, до 1863 года донашивал бранные остатки своего ополченного казакина. Ополченец разговорился первый.

– Да-с, не катался бы я в этой чертопхайке, кабы не брат злодей! – сказал он, обращаясь ко мне.

Я изъявил готовность продолжать разговор.

– Я и теперь было надумывал взять особенный тарантасик... чтобы, знаете, было покойно... да и взял бы, кабы не случилось со мной этой оказии!

– Гм... оказии?

– Да-с, оказия не маленькая! разом-таки тридцать тысяч на улице посеял! И ведь представьте: поутру был в Новотроицком – пощупал: здесь! потом сходил в Московский – здесь! потом зашел к Иверской... туда, сюда... хват! в одном кармане пусто, в другом нет ничего!

Все пассажиры переглянулись; купец, тут же ехавший с Нижегородской ярмарки, даже побледнел и пощупал у себя

за пазухой; один только зарайский мещанинишка, по всем видимостям сиделец питейного дома, как будто усомнился и заметил иронически:

– Однако жаль, что нас тутотка не случилось, как ваше благородие капитал-то роняли.

– А что, небось подтибрил бы?

– Известно, нечем им валяться, уж пусть лучше хозяина знают!

– Держи карман! так бы я и смотрел тебе в зубы, доколе бы ты денег моих не подобрал! Нет, брат, я на эти дела сам прозорлив!

Мещанинишка даже хихикнул.

– Что? смеешься теперь, курицын сын? А вот кабы самому пришлось хоть пять рублей потерять, так небось во все стороны заметался бы, всех бы городских с ног сбил и Москву-то бы всю языком вылизал!

– На что лизать? и для нас пять рублей не суть важно...

– То-то «не суть важно»! Я вот тридцать тысяч потерял – и не скорблю, потому душа во мне благородная! а ты пять рублей потерял – и Москву языком всю вылизал, потому ты курицын сын!

– На что же курицын сын-с? у нас тоже тятенька с маменькой были-с!

– Ну да, тоже «тятенька с маменькой»! а знаешь ли ты, что тятенька-то твой петух, а маменька курица! – не велика, брат, родословная! Туда же, смеется! да ты знаешь ли, что

кабы не злодей у меня брат, так я бы тебя и с потрохом-то твоим поганым живьем купил!

– Вы прежде польто мое купите, а то ваше уж очень после войны-то износилось.

Мещанин, очевидно, начинал обижаться.

– И купил бы! и чучелу бы из тебя набил, в огород бы вместо пугала поставил!

– Ну, это еще как пришлось бы. У нас тоже был такой-то...

Мещанин остановился.

– Ну, что ж дальше? продолжай, любезный! продолжай.

– Ну, и ничего... тоже всё деньги терял...

– Однако неужели же вы так и не дали знать об вашей потере полиции? – вмешался я, чтобы отвлечь внимание ополченца от мещанина.

– А зачем? Это чтобы меня по частям да по судам-то таскали? так я, сударь, отечеству моему двадцать пять лет служил и ни разу по судам, кроме благородных делов, замешан не был! Неужто ж мне куска хлеба не будет! неужто ж мне-то, мне-то хлеба не будет? Да это упаси бог!

– Гм, как хотите, все-таки потеря немаловажная...

– А вы думаете, я не наверстаю? Я вот и теперь к брату еду; приеду к нему, скажу: «Брат! да отдай же ты, злодей, те деньги, которые ты у меня украл!» – и отдаст!

– Ихний братец в нетовской губернии селом Праховым обладают-с... помещики основательные! – сострил занозистый мещанин.

– Не Праховым, курицын сын! а селом Последовым с деревнями, в коем по последней ревизии числится тысяча восемьсот двадцать одна душа! Слышишь: тысяча восемьсот двадцать одна душа!

– Так вы думаете, что братец вам деньги эти отдаст? – вновь вмешался я.

– Как не отдать! как свят бог – отдаст! Потому, брат у меня, доложу вам, не человек, а душа! Позамотался он в последнее время немного, ну, и меня тоже по карману хватил... У него, я вам доложу, одних овец сто тысяч по Оке пасутся, так если с каждой... ну, по сколько? – ну, хоть по полупуду шерсти получать, так ведь денег-то какая охапка выйдет.

– И не огребешь! – фыркнул мещанин.

– Так как же тут не отдать! У него, батюшка, в оранжереях одних этих персиков счетом пятьдесят тысяч снимается... всё один к одному! А он только знай собирает их, да в Москву, да в Москву!

– Следовательно, вы думаете у него и поселиться?

– У него и поселюсь! Он мне флигель отдаст! Тяжеленько ему это будет – потому жена, дети, всякому угол надобен! да нет, брат, у меня уж ау! умел, брат, денежки мои прикарманить, умей и распоясываться! А места там какие! охота какая! у брата моего псарня, доложу вам...

– Одних, чай, собак двести тысяч! – опять пристал мещанишка.

– С тобой, брат, двести тысяч и одна будет! Да скажи ты

мне, однако, курицын сын, что ты это пристал ко мне? Разве не видишь, что я не с тобой, а с своим братом, благородным дворянином, разговариваю?

Этот разговор продолжался целую дорогу, и, сознаюсь откровенно, я внимал ему с удовольствием. Во-первых, этот прогоревший ополченец представлял собой тысячекратное повторение той замечательной психологической загадки, которую так блистательно осуществили: Жорж Занд в своем Орасе и Гоголь в своем Хлестакове. Мой ополченец был, по малой мере, двоюродным братцем этих двух родных братьев (я надеюсь, что только люди очень непроницательные поставят мне в укор, что я нахожу родство между такими личностями, как Орас и Хлестаков); он лгал и в одно и то же время и сознавал, что лжет, и не сознавал, что лжет. Он совершенно не верил себе, когда говорил, что потерял тридцать тысяч и что у него есть брат, одновременно и разбойник, и «душа-человек», и в то же время искренно верил этому. Он верил не факту, а словам своим, выразившим то соблазнительное представление о факте, которое неожиданно подсказывала ему фантазия. Нет сомнения, что деньги, еда и другие материальные блага были для него долгое время предметом мучительных и сокровенных дум; быть может, часть этих благ он даже и вкусил когда-нибудь – и вот этот несуществующий, но привлекательный мир упорно носится перед его глазами и преследует несчастного до тех пор, покуда не сделается его внутренним миром, покуда не облечется в та-

кие живые и художественные формы, которым почти невозможно не поверить. Здесь повторяется, одним словом, тот самый процесс, который совершается над жаждущим путником, застигнутым в безводной степи маревом, с тою только разницей, что путник под влиянием марева еще мучительнее изнемогает, а Орасы и Хлестаковы под звуки своей собственной лжи умеют ободряться, а подчас и сладко засыпать... Во вторых – сказать ли? ополченец этот напомнил мне тебя, о бедный, волнующийся и чего-то ожидающий люд! И ты тоскуешь об утраченных капиталах, которых никогда не имел, и ты обвиняешь какого-то фантастического брата, обзываешь его и разбойником, и злодеем, и в то же время надеешься от него великих и богатых милостей...

Итак, о птенцы, внимайте мне! Вы, которые еще полагаете различие между старыми и новыми годами (не без некоторых, конечно, любострастных в вашу собственную пользу надежд), вы, которые надеетесь, что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к которой прикоснутся засохшие от жажды губы ваши, вы все стучащие и ни до чего не достучивающиеся, просящие и не получающие, – все вы можете успокоиться и прекратить вашу игру. Новый год, наверное, будет повторением старого, потому что и старый был хорош; никакой чаши ниоткуда не сойдет, по той причине, что она уж давно стоит на столе, да губы-то ваши не сумели поймать ее; стучать и просить вы будете по-прежнему (таково уж крохоборническое назначение ваше), и по-прежнему

ничто не отворится перед вами, и ничего не будет вам дано, потому что жизнь дает только тем, кто подходит к ней прямо, и притом в «благопристойной» одежде (так, по крайней мере, всегда объявляется в афишах, приглашающих почтеннейшую публику в танцклассы).

Я не говорю, чтоб это была перспектива хорошая, но, по крайней мере, она не заключает в себе никакого марева, а как хотите, и это уж немалое преимущество. Радужные цвета обливают ландшафт только изредка, настоящий же цвет, с которым мы должны иметь дело и который один не подкупит и не обольстит нас, есть цвет серый. Правда, что он не возбудит в нас выпретенных мыслей, не окрылит наших помыслов до тех высот надзвездных, где витают души гг. Майкова и Фета, но, взамен того, наверное, не помешает нам делать наше маленькое, будничное дело, и даст достаточно света, чтобы в темных кротовых норах наших мы могли продолжить ту скромную работу, которая со временем изведет нас из темницы на свет вольный.

Со временем, птенцы, со временем!..

Поверьте, что это великое слово, которое может принести немало утешений тому, кто сумеет кстати употребить его. Когда я вспомню, например, что «со временем» дети будут рожать отцов, а яйца будут учить курицу, что «со временем» зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что «со временем» милые нигилистки будут бесстрастной рукой рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать

и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста. С чистою совестью я надеюсь прожить сто лет и ничего, кроме чистоты совести, не ощущать. С чистою совестью я считаю себя застрахованным против всех невзгод и потасовок судьбы, ибо если обину пору меня и пристукнет нечто, то я могу сказать на это: «А мне что за дело! по крайней мере, у меня совесть чиста!» С чистою совестью я могу прямо смотреть в глаза даже тем, которые хотя и с нечистою совестью, но тоже смотрят всем прямо в глаза. И так я в своей жизни на эту «чистую совесть» надеюсь, что стараюсь поселить мои надежды даже в сердцах петербургских нигилистов.

Еще недавно одна нигилистка, вся содрогаясь от негодования, рассказывала мне, что была она в опере (давали, конечно, «Карла Смелого») и, по обыкновению, обитала в пятом ярусе, а между тем в это самое время пресловутая Шарлотта Ивановна, вся блестящая и благоухающая, роскошествовала в бельэтаже и бесстыдно предьявляла алкающей публике свои обнаженные плечи и «мятежный груди вал».

– И как она смела, эта скверная! – визгливо заключала рассказчица, топая ножкой.

– Да вам-то что до этого? – спросил я, пораженный некоторым изумлением.

– Помилуйте! я, честная нигилистка, задыхаюсь в пятом ярусе, а эта дрянь, эта гадость, эта жертва общественного темперамента... смеет всенародно показывать свои плечи... где же тут справедливость? и неужели правительство не обратит, наконец, на это внимания?

К счастью, что во мне в это время уже созрела теория «чистой совести», и я мог возражать моей взволнованной собеседнице. С помощью этой теории я успел доказать самым наглядным образом, что если Шарлотта Ивановна имеет возможность сидеть в бельэтаже, то, взамен того, она не обладает чистой совестью; что, напротив того, она, нигилистка, обладает чистой совестью, и, в виде поправки, осуждена на сидение в пятом ярусе.

– Ну, согласились ли бы вы променять вашу чистую совесть на ложу в бельэтаже? – спросил я в заключение.

– Конечно, нет! – отвечала она, но как-то так невнятно, что я должен был повторить свой вопрос.

– Так вот видите ли, как природа-то премудро устраивает, – продолжал я, когда она вторично отреклась от бельэтажа. – Шарлотте Ивановне дает она ложу в бельэтаже и сопровождает этот дар угрызениями совести; вам дает чистоту совести и скромное место в пятом ярусе. Взвесьте эти дары, и вы найдете, что они вполне один другого стоят.

Не знаю, убедилась ли юная нигилистка моими доводами, но уверен, что большинство нигилистов думает именно так, как я. Некоторые из них уже начинают исподволь по-

говаривать о «скромном служении науке», а к «жизненным трепетаниям» относятся уже с некоторою игривостью, как к чему-то не имеющему никакой солидности и приличному только мальчишескому возрасту.

– Да ведь давно ли вы утверждали противное? давно ли вы говорили, что и наука и искусство только в той мере заслуживают этого имени, в какой они способствуют эмансипации человека, в какой дают человеку доступ к пользованию его человеческими правами? – спросил я на днях у одного из таких кающихся нигилистов.

– Наука и даст все это, – отвечал он.

– Да ведь наука развивается туго, а «жизненные трепетания» не ждут... Кто знает: быть может, она и заснула бы, ваша наука-то, без этих «жизненных трепетаний»...

– Ну да, наука и даст... все даст «со временем»... Что же касается до того, что она подстрекается «жизненными трепетаниями», то это положительный вздор, потому что наука отыскивает истину абсолютную, а «жизненные трепетания» все без изъятия основаны на вечном блуждании от одного призрака к другому...

– Но послушайте, ведь вы рассуждаете уже слишком приблизительно к «Русскому вестнику»!

Я надеялся сразить и устыдить его этим аргументом, но, к величайшему моему изумлению, он не только не устыдился, но хлопнул меня по плечу и, вздохнувши (увы! последний призрак исчезающей стыдливости!), сказал:

– Э, батюшка! все там будем!

И по-моему, он сказал вещь совершенно резонную. Но и я сказал вещь не менее резонную, когда утверждал, что нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты...

Все там будем!

Вот, например, до настоящего 1864 года я совсем-таки не имел никакого понятия о том, что в числе фигур, перечисляемых в русских реториках, есть одна, которая известна под именем «понижения тона» («*allegro ma non troppo*», «*moderato*», а отчасти и «*morendo*»⁴⁵ – вот музыкальные термины, которым эта фигура соответствует), а теперь мне и с нею привелось познакомиться (по разъяснении, впрочем, оказалось, что я знаком с ней давно, чуть ли не от самого рождения, но только не знал, как ее назвать).

Надобно сказать тебе, читатель, что у меня есть множество меценатов, которые покровительствуют моим скромным талантам, охраняют меня от увлечений и заблуждений и вообще делают все, что лицам, с особенною любовью наблюдающим за литературой, делать приличествует.

Вообще говоря, я не охотник до меценатов в том смысле, который обыкновенно соединяется с этим словом. Я нахожу, что это народ назойливый, сующий свой нос туда, где

⁴⁵ «не слишком скоро», «умеренно», «замирая».

ему совсем быть не следует, и окружающий человека такими попечениями, от которых подчас становится тошно. Это народ жалкий, не знающий куда приклонить голову, и вследствие решительной неспособности ни к какому другому, более путному делу, решающийся покровительствовать литературе: это, дескать, блудница вавилонская, всё стерпит.

Одного такого сиятельного мецената я знал даже в Петербурге, и хотя был у него всего один раз, но видел достаточно, чтоб не желать повторения посещений. Я видел, как мрачный философ (*philosopho di forza*) Ризположенский пожирал фазана на тарелке *vieux saxe*;⁴⁶ я видел, как легкий философ (*philosopho di gratia*) Семечкин выпил разом три рюмки водки из богемского хрусталя и жадно искал ополоумевшими глазами колбасы, но не находил ничего, кроме страсбургского пастета и разных подстрекающих аппетит сыров; я видел, как Шекснинска стерлядь золотая сделалась жертвою плотоядности критика Кроличкова; я видел, как страдал мажордом мецената, стоя за стулом публициста Бенескриптова и чуть-чуть не вслух восклицал: «*embourbé! embourbé!*»⁴⁷ – я видел все это и страдал не менее самого мажордома. Я думал: «Как очутился ты здесь, бедный, трудящийся люд? что общего между тобой и этим гнилым расслабленным меценатом, у которого даже головы совсем нет, а есть вместо нее какое-то прозрачное на свет яйцо? Зачем притащился ты сюда с хо-

⁴⁶ старого саксонского фарфора.

⁴⁷ «увяз! увяз!»

лодного твоего чердака, где, по крайней мере, честно зарабатывал свой незавидный кусок хлеба? embourbé! embourbé!»

Да, это картина ужасная, потрясающая. Представьте себе развалившегося в креслах маленького, преждевременно от глупости оплешивевшего мецената и перед ним согбенного в дугу философа Ризположенского.

– Мне было бы необходимо тысяч двадцать для продолжения моего дела, – заискивающим голосом говорит философ.

– Хорошо, я вам дам их; но надеюсь, что вы будете проводить мои идеи! – отвечает меценат, грациозно поматывая своей прозрачной головкой.

«Какие такие это идеи!» – секретно думает Ризположенский, но вслух вещает так: – Уж это само собой разумеется... тем более что наши идеи и ваши...

– Ну да, ну да, а то меня Бенескриптов однажды уж надул... И если вы будете хорошо вести дело, будете проводить мои идеи, то я не ограничусь... я еще...

Ризположенский бледнеет и краснеет; у него, что называется, «от радости в зобу дыханье сперло». Он спешит откланяться, ибо опасается, чтоб меценат не раздумал, не обратил своих милостей на кого-нибудь другого, и вообще не перевершил своего великодушного решения (иногда и это случается).

– Петр! – говорит меценат своему камердинеру, – походи догони Ризположенского и поднеси ему рюмку водки!

Повторяю: это картина мрачная и потрясающая. Но я не

о расслабленных меценатах намерен здесь говорить, но о тех настоящих русских меценатах, которые более или менее сопровождают каждого литератора в его земном странствовании с первой минуты вступления на словесное поприще и до самой смерти. Таких меценатов, конечно, нельзя не любить, по той простой причине... ну, да просто потому, что их не любить невозможно.

Итак, в начале уже нынешнего года один из моих многочисленных меценатов, встретивши меня на улице, сказал мне:

– Друг мой! я должен сознаться, что иногда вы пишете очень... да, очень недурно!

Я расцвел.

– Да, недурно. Но за всем тем, я позволю себе одно, только одно дружеское замечание...

Я увял.

– Замечание, в сущности, очень неважное, но которое – не скрою от вас – не бесполезно было бы вам принять к надлежащему сведению. Я говорю насчет общего тона ваших статей.

Меценат смотрел на меня в одно и то же время и добродушно, и пронизательно. Я чувствовал, что он меня порицает, но вместе с тем не прочь и простить.

– И если бы вы взяли на себя труд несколько понизить этот тон, то нет сомнения, что сочинения ваши читались бы с гораздо большею приятностью. Вы, конечно, понимаете меня?

Я не понимал ничего, но, однако, отвечал, что понимаю.

– Как человек умный – вы видите, я отдаю полную справедливость вашим достоинствам, – итак, как человек умный, повторяю я, вы, конечно, найдете средства, каким образом устроить это дело...

При этих словах меценат пожал мне руку. Я расцвел вновь. Я чувствовал, что сердце мое тает и что хоть я ничего еще не понимаю, но исполнить могу. Я во весь дух побежал домой, чтобы немедленно же начать целый ряд статей под названием: «Делай со мной что угодно».

Однако через несколько минут я образумился. «Что же буду я исполнять, коли ничего не понимаю?» – спросил я самого себя и для разъяснения своих сомнений направился к одному приятелю, который преподает реторику в одном из кадетских корпусов и, следовательно, должен быть по этой части сведущ. Я застал его сидящим в нетопленной комнате и грызущим окаменелую колбасу.

– Скажи мне, друг Антроп! что понимает реторика под именем «понижения тона»? – спросил я его.

– Под именем «понижения тона», – отвечал мой друг, – реторика понимает такое оного ограничение, которое, по наружности, хотя и не касается внутреннего содержания, послужившего поводом для словесного упражнения, но на деле преестественнейше оное изменяет и претворяет.

– *Exempli gratia*?⁴⁸

⁴⁸ Например?

– Для примера, возьмем сейчас изложенное нами определение. Мы сказали, что «понижение тона» есть такое оно-го ограничение и т. д. Чем руководствовались мы, определяя таким образом эту замечательную фигуру? Очевидно, мы руководствовались при этом сею же самую фигурую. Мы употребили слово «ограничение», а не «окаплунение», например, несмотря на то что это последнее выражение, быть может, даже преимущественно перед прочими предмету нашей речи соответствовать могло бы.

– Но какие же могут быть последствия такого понижения тона? и кто от этого что бы то ни было выигрывает?

– А никаких других последствий из этого проистечь не может, кроме того, весьма важного, что фигура «понижения тона» будет в точности соблюдена.

– Антроп! ты пьян!

– Уже три дня ничего не имел во рту, кроме этой колбасы.

– Но помилуй, какой же есть смысл в твоём определении? кому какое дело, то или другое слово я употребляю для выражения моей мысли? Ведь важна сущность моей мысли, а не случайная оболочка ее!

– Поди посмотри в «тетрадке», коли не веришь!..

Я последовал его совету и справился с «тетрадками». Действительно, там было слово в слово записано то самое определение, которое я только что выслушал из уст Антропа.

Разумеется, это определение удовлетворило меня лишь в посредственной степени, и потому я отправился за разъясне-

ниями к одному опытному литератору, который по старости лет хотя уже не занимается литературой пристально, но изредка еще пописывает антикварско-библиографические фельетоны для воскресных прибавлений «Московских ведомостей».

– Михаил Логгинович! вы тридцать лет сряду держите в руках своих меч российской словесности; вы должны знать, что следует разуметь в литературе под именем «понижения тона»? – сказал я ему.

– Увы! это изобретение времен новейших, – отвечал он мне. – В наше время «понижения тона» не существовало, по той причине, что возвышения оно не было.

– Однако существовал же и в ваше время какой-нибудь тон в литературе?

– Был тон любезный. Литература в наше время приглашала читателя насладиться и возбуждала в нем тихое чувство благодарности. От неприятных зрелищ отклоняла, требования предъявлять не советовала и, не рассевая заблуждений (как ныне), направляла умы и сердца к предметам достойным вероятия и рекомендуемым людьми опытными и нарочито уполномоченными. В настоящее время этот любезный тон сохранился лишь в воскресных прибавлениях «Московских ведомостей».

– Но позвольте; я сам убедился, что «понижение тона» существует, что оно возведено даже на степень риторического правила; одним словом, я видел его записанным в тетрадке

у Антропа...

– Антроп человек новый; к тому же он получил воспитание в семинарии, и потому с жадностью заносит в свои тетрадки все лжеучения, порожденные современностью.

– Однако что бы вы разумели, хотя приблизительно, под этим выражением, если б вам подобный вопрос предложило начальство?

– Приблизительно, я полагал бы возможным определить его так: «понижение тона» есть такое оного ограничение, которое, по наружности, хотя и не касается внутреннего содержания, послужившего поводом для словесного упражнения, но на деле пресущественнейше оное изменяет и претворяет.

– Представьте себе, это точь-в-точь то самое определение, которое сказал мне Антроп!

– Я с Антропом не вижусь, и даже его опасуюсь!

– Но как хотите, а это определение непонятно.

– Оно непонятно лишь по видимости, но как скоро вы начнете применять его на практике, то почувствуете немедленно, как легко и просто разъясняются иногда вещи самые запутанные. Одним словом, это то самое правило, которое так метко выражено и старинною русскою пословицей «по Сеньке и шапка».

– Но согласитесь, что пословицы положительно ничего не доказывают. Можно, например, эту самую пословицу перевернуть и сказать «по шапке Сенька»...

– И будет даже лучше, ибо шапку по Сеньке подыскать и

переделать – дело не трудное, но Сеньку по шапке отчеканить – это задача хотя и не рискованная, но, во всяком случае, требующая некоторого мастерства. И я полагаю, что так называемое «понижение тона» именно не что иное означает, как искусственное приведение Сенькиной головы в соответствие с той шапкой, которая, по воле судеб, для нее предназначена.

– Примеров, Михаил Логгинович, примеров!

– В пример приведу вам «Риголетто». Человек этот имеет двойственную физиономию; у себя дома он гражданин добродетельный, наклонный к меланхолии и даже прекрасный отец семейства; в присутствии же дука – он забавный негодяй, гороховый шут, попирающий ногами все, перед чем человечество издревле привыкло склоняться. Отсюда два тона: в первом случае он если и не возвышает тона, то, по крайней мере, поддерживает его на средней высоте, во втором, очевидно, понижает.

– Гм... Риголетто! какое, однако ж, сравнение!

– Недостаточно этого примера, – возьмем другой. Нет сомнения, что московские публицисты, находясь в кругу своих семейств и знакомых, соблюдают все требуемые законами общежития приличия. Нет сомнения, что они посещают храмы божии и не едят ни друг друга, ни самих себя. Но эти же самые люди, как только выступают на арену публицистики, так тотчас же как бы вступают в какую-то темную область, где владычествует Плутон. Ими внезапно овладева-

ет горячечный бред в соединении с свистопляскою (болезнь ужасная, достойная изучения знаменитейших питомцев Иппократа!); они делаются способными глотать огонь, выматывать из себя сколько угодно аршин лент, чесать у себя ногой за ухом, пожирать свое собственное тело, одним словом, приводить публику в такое состояние, чтобы она могла сказать: «О! да нам с такими разухабистыми молодцами никаких театров не надо!» Очевидно, что здесь чувствуется два тона: в первом случае тон хотя и не возвышается, но поддерживается на высоте среднего регистра, во втором – он положительно понижается.

Но я остался неудовлетворенным и этим объяснением, ибо ни на одну минуту не позволил себе допустить, чтоб можно было желать от меня «понижения тона» в смысле Риголетто или в смысле московских публицистов. В этой крайности, я решился испытать последнее средство для разъяснения моих сомнений, а именно зашел в первый попавшийся мне на пути департамент и остановил первого попавшегося мне на глаза чиновника.

– Позвольте узнать, что следует разуметь под «понижением тона»? – спросил я его.

– Под «понижением тона» следует разуметь сообщение человеческой речи такого характера, чтобы она всегда имела в предмете лицо директора департамента, хотя бы в действительности и не была к нему обращена, – отвечал он без запинки и тотчас же скрылся.

Я понял. Я бросился догонять моего просветителя и хотел благодарить, но он наотрез отказался принять мою посильную лепту и сказал мне, что нынче чиновники не только ничего не берут, но даже огорчаются, когда замечают в просителе хотя малейшее покушение на их бюрократическое целомудрие...

Но повторяю: я понял. Я понял даже, что слышанное мною сейчас определение отнюдь не составляло для меня новости, что поиски мои были не более как плод недоразумения, что я сам с малолетства ничем иным не занимался и не занимаюсь, кроме «понижения тона». Была ли когда-нибудь моя мысль свободна от того представления, которое чиновник так оригинально осуществил в лице директора департамента? По совести, никогда. Употреблял ли я когда-нибудь иные выражения, кроме самых изысканнейших? Клянусь, никогда. Дерзал ли я когда-нибудь выразить что-либо иное, кроме того, что могло и должно было нравиться людям самым благоуханным, благовоспитанным и благонамеренным? Никогда, никогда и никогда! Мысль о «генерале», мне сопresentствующем, до такой степени была всегда присуща моему уму, что вошла мне в плоть и кровь, сделалась частью меня самого. Даже когда я обедаю дома один-одинехонек, то и тут не плескаюсь, не брызгаюсь, не позволяю себе ни хрустеть зубами, ни скрежетать, ни чавкать, но обедаю с «понижением тона», обедаю так, как бы рядом со мной сидел мой директор департамента...

В одном каюсь: не знал до сих пор, что действия эти называются «понижением тона». Это открытие принес мне с собой новый 1864 год, и я с удовольствием спешу занести его на страницы моей летописи. Конечно, это не бог знает какой драгоценный камень, а простой булыжник, и притом старый, давно уже валявшийся в сокровищнице глуповского мирозерцания, но к нему прилеплен новый ярлык, – не могу же я пройти такой факт молчанием!

Ибо в новых ярлыках вся человеческая жизнь совершается.

Ибо новые ярлыки суть наши естественные союзники, и вместе с тем естественные предвозвестники нашего прогресса.

Ибо за новыми ярлыками скрывается возможность запроса.

Ибо при виде нового ярлыка можно сочинить себе представление о новой вещи.

Ибо с новым ярлыком в руках можно предъявить поползновение и на новую вещь.

Таким образом, например, обладая ныне новым ярлыком, называемым «понижением тона», я могу явиться куда следует и требовать...

Чего требовать?

Другое открытие, которое принес для меня новый год, заключается в том, что я значительно менее обольщаю себя

мечтами о независимости и твердости убеждений в области русской публицистики.

В прошлом году (см. «Современник», 1863 г., № 1–2) я был уверен, что для того, чтобы в этом деле произвести переворот, необходимо, по малой мере, секретное участие «четвертака» (хотя слабое, но все-таки некоторое ограждение нашей литературной независимости), и согласно с этим предположением всех русских публицистов разделял на оболыщенных и не оболыщенных. Ныне я получил убеждение, что для того, чтобы перевернуть вверх дном мирозерцание русского публициста, не нужно даже и четвертака. Оказывается, что есть тысячи других средств, с помощью которых литературная независимость человека приводится к нулю. Оказывается, что даже в тех случаях, когда публицист мнит себя твердым, как каменная стена, то и тогда есть возможность повлиять на эту твердость самыми незамысловатыми мерами. Ибо и стена состоит из камней и кирпичей, которые могут быть, при помощи ломов и кирок, выламываемы и даже совсем раздробляемы.

Человек покорил себе всю природу. В самую эту минуту я вижу из окна моей квартиры мальчугана, который ведет за собою лошадку. Лошадка эта очень хорошо знает, что ее ведут запрягать и что ей совсем не того желательно; сверх того, она знает еще и то, что только захоти она, то в одну минуту могла бы из этого мальчугана надергать столько пакли, сколько бы ей пожелалось. Тем не менее она беспрекословно

идет за своим бессильным жожаком, и разве тем только выражает протест, что идет невесело и понуривши голову. Но протест этот уже до того слаб, что мальчуган не обращает на него никакого внимания (он знает, понятливый мальчик, что есть другие лошадки, которые ржут, пляшут и выделывают бог весть какие вензеля ногами в то время, когда их ведут запрягать, и думает, что эта лошадь, которая голову-то понурила, сделала это совсем не в видах грубиянства или протеста, а просто вследствие особенной лошадиной своей глупости).

Очевидно, что для достижения подобного результата нужно было много труда и не малую дозу хитрости и что только при таких условиях победа представляется возможною и законною. Нужно было, например, прежде всего выдумать аркан, потом нужно было придумать для дикой лошади такие особенные условия, которые окружали бы ее непрерывно и среди которых она пришла бы к сознанию (конечно, лошадиному), что существование ее совершенно зависит от большей или меньшей степени человеческого вмешательства. Нужно, одним словом, чтобы между древнею дикою лошадью и нынешним домашним животным легла целая история. И если при этом мы не упустим из вида еще того обстоятельства, что лошадь относительно человека есть организм низший, что она не понимает многого такого, что для человека ясно, как день, что вся лошадиная порода, от начала мира и до наших времен, не выделила из себя ни одного по-

эта, ни одного философа и ни одного публициста (даже московского) и что, следовательно, победа над нею, по всем соображениям, не должна бы представлять особенных затруднений, то нам будет еще понятнее, сколько труда должно потребоваться для достижения подобного же результата в таком деле, которое само по себе представляется более сложным.

Между тем на деле выходит совершенно наоборот; на деле оказывается, что самый сложный из всех организмов, тот, который покорил себе прочие организмы и даже ограничил свободу стихий, одним словом, сам человек подчиняется легче других, подчиняется не только без всяких усилий, но даже с некоторым энтузиазмом. Философы утверждают, что это явление оттого происходит, что человек обладает разумом, и, конечно, не я выражу поползновение оспаривать такую остроумную догадку, но во всяком случае не могу воздержаться, чтоб не высказать здесь, что, по мнению моему, на этот случай разум сыграл над человеком скорее остроую, нежели приятную штуку.

Конечно, человеческий разум очень хитер на выдумки и охотно упражняется в сочинении пословиц, вроде «плетью обуха не перешибешь», «лбом стены не пробьешь» и проч., но все-таки я позволяю себе думать, что человек, который первый сказал другому подобному себе человеку (первый вдохновился такою мыслью): «сделай милость, будь моим руководителем», был человек рассудка слабого и неоснова-

тельного. Я полагаю даже, что это был какой-нибудь профессор философии, который ничего другого не признавал, кроме своей собственной никуданегодности. Признаюсь, я не понимаю этого поступка, несмотря на то что, с известной точки зрения, он может казаться даже высоким актом самоотвержения. Я охотно могу сочувствовать человеку, который говорит другому: «изволь, я буду твоим руководителем», – и который с удовольствием принимает заявление знаков подчиненности, потому что тут есть смысл, тут есть сладость, но с какой бы точки зрения я ни взглянул на поступок «первого подчиненного», как бы ни старался отыскать в нем поводы для удовольствия, решительно становлюсь перед ним, как перед стеною. «Ты, брат, просто, должно быть, глупеек был!» – заключаю я, хотя, с другой стороны, совершенно согласен, что быть подчиненным хорошего и чистоплотного руководителя все-таки лучше, нежели быть руководителем дрянных и прокаженных подчиненных.

Как бы то ни было, понимаю я или не понимаю его, но факт существует, история твердо-натвердо закрепила его законность. В наше время состояние подчинения и зависимости есть единственное, которое можно назвать естественным, и представить себе человека, свободного от этих непременных условий жизни, столь же трудно, как и вообразить того же человека гуляющим по Невскому проспекту без всякого признака одеяния. Очевидно, что городские вынуждены будут взять такого чудака и запереть в часть.

Но из всех зависимых смертных наиболее зависимый есть, конечно, русский публицист. Тот, кто, подобно мне, задался мыслью, что для приведения русского публициста к одному знаменателю необходимо подарить ему, по крайней мере, хоть четвертак, выказал легкомыслие, свойственное лишь неопытности или крайнему благодушию. Русский публицист обязывается быть зависимым без всякого вознаграждения; русский публицист приводится к похвальному мыслию мерами самыми нехитрыми; русский публицист, если даже ничто его не связывает и не спутывает, сам сплетет сеть, которою и окутает себя с головы до ног.

Зависимость бескорыстная, зависимость, не требующая себе вознаграждения, есть факт до того высокий, что я даже предпочитаю ему зависимость с вознаграждением. Не знаю: быть может, это мой личный недостаток, но откровенный и умный плутяга нравился мне всегда более, нежели вдохновенный глупец, искренно вещающий те же самые неудобоваримые пошлости, которые плутяга проводит с чужого шепота и поддерживает искусственными цветами наемного красноречия. Во-первых, под пером вдохновенного глупца пошлость приобретает лирический оттенок, что значительно смягчает ее характер и дает ей вид глупого убеждения; между тем под пером плутяги пошлость всегда остается пошлостью, ибо никакое вознаграждение в мире не вырвет из груди человеческой тех воплей и звуков, которые извлекаются из нее собственною пошлостью человека. Во-вторых, когда

я вижу плутягу, усердно трудящегося по найму и выполняющего свои обязательства с талантливостью и искусством, то всегда говорю себе: «Этого человека надобно иметь в виду! когда мои материальные средства поправятся, то его можно будет нанять!», между тем как при виде вдохновенного глупца, болтающего по собственному своему произволению, я решительно никаких мыслей иметь не могу и думаю только: «Вот вдохновенный дурак, который болтает и будет болтать, покуда не захлебнется струями своего собственного красноречия!»

Теперь будем развивать нашу мысль дальше и спросим себя, чувствуется ли у нас недостаток во вдохновенных глупцах? Нет, этого недостатка не чувствуется, – это скажет всякий, в ком не угасла последняя искра совести и здравого смысла. Но если так, то зачем же прибегать к плутам, когда то же самое дело и даже с большею искренностью и силой убеждения могут для нас обделать наши естественные союзники, вдохновенные глупцы? Зачем прибегать к трате четвертака, когда то же самое дело мы можем сделать даром? Вопросы, как видится, совершенно категорические, ибо хоть четвертак и малая монета, но все же это монета, которая, в числе прочих, может играть свою роль. Конечно, могут возразить на это, что, несмотря на изобилие вдохновенных глупцов, никогда не мешает иметь в запасе некоторое подкрепление, но такое возражение может быть принято только тогда, когда доказано, что и четвертаков имеется боль-

шое изобилие, а не тогда, когда число вдохновенных глупцов несомненно превышает число четвертаков. Итак, вот первое доказательство, указывающее, что обольщение посредством четвертака есть, по малой мере, предмет прихоти, не обуславливаемой никакою насущною потребностью.

Второе доказательство будет заключаться в следующем. Предположим, что явился такой диковинный публицист, который с яростью сочетал бы самостоятельность и, находясь в твердой памяти, принял бы на себя пропаганду хлыстовщины – разве есть надобность прибегать к четвертаку, чтоб поворотить такого молодца к похвальномыслию? Нет, это дело можно устроить с гораздо меньшими издержками и притом самым бесхитростным образом. Прошу вспомнить читателя, что не бессудная же у нас земля, чтоб не было в ней ограждения от наплыва хлыстовщины. Напротив того, эти ограждения встречаются даже в излишестве и притом на каждом шагу, и всякому мирному обывателю твердят они о том, что он может спать спокойно. Чтобы сделать мою мысль понятною для читателя, прибегну к примеру, который хотя и не совсем будет верен, но который легко может быть пояснен различными применительными соображениями. Положим, например, что я редактор журнала и принес ко мне хлыст-публицист такую статью, в которой воспевает привольное житье обывателей Гоморры. Неужели же я стану убеждать моего публициста возвратиться к здравому образу мыслей, а тем более обещать ему за это какое-нибудь вознаграждение!

Помилуйте! да этак меня нарочно завалят содомскими статьями, чтоб выжать из меня побольше четвертаков. Нет, я поступлю совершенно иначе; во-первых, я вычеркну из статьи все места, в которых упоминается имя Гоморры, и заменю это последнее именем какого-нибудь уездного города, во-вторых, вместо похвал, я везде напишу порицания; в-третьих, наконец, я сокращу статью наполовину, и для того чтоб выгнать из нее содомский дух окончательно, вместо эпитафия, поставлю в начале известное двустишие из «Аскольдовой могилы»:

Вот как жили при Аскольде
Наши деды и отцы!

Статья будет чистенькая и похвальненькая. Хлыст-публицист, конечно, будет ругать меня на чем свет стоит (не в глаза, однако ж, не в глаза!), будет называть меня гасителем и Омаром (а мне, быть может, это-то и льстит? быть может, это в переводе на мой язык означает неуклонное исполнение возложенных на меня обязанностей!), но в то же время, наверное, согласится на все изменения, ибо он живет трудами рук своих. Он даже и опять принесет мне статью в том же роде, и опять заранее согласится на всевозможные изменения; ибо это уж так в книге судеб написано, что он должен на все соглашаться, а я должен ничего не уступать. И таким образом неуклонно действуя, я непременно приведу его к той

точке, на которой ему быть надлежит...

Но если я, редактор, существо слабое и в некотором смысле само зависимое, имею возможность так действовать, то чего бы я не дерзнул, если бы был природою поставлен в положение еще более выгодное и независимое? Очевидно, я вычеркивал бы и исправлял в веселии сердца все, что мне вздумалось бы и как вздумалось бы. А то еще четвертак! будет и без него писать, как мне надобно!

Третье доказательство еще проще. Достаточно, чтобы читатель припомнил себе, что публицист не анахорет, а существо общежительное, и сверх того по преимуществу одаренное посползновениями изящного свойства. Первое качество, то есть общительность, приводит его в соприкосновение с людьми разнообразнейших характеров и направлений и делает для него совершенно невозможною деятельность в одиночку. Подыскивая товарищей по шерсти (одной партии), он редко находит себе равных, и отсюда начинается целый ряд уступок в известном направлении, уступок, значение которых таково, что от первоначальной пышной ризы публициста постепенно остаются одни лохмотья. Никакое дело не требует так настоятельно дисциплины, как дело литературное, а что же такое дисциплина, как не самое горькое иго, не самое насильственное подчинение? Но с особливою тяжестью дает себя чувствовать это трезвое чудище в такое время, когда никто ни об чем и ни с кем сговориться не может, когда каждый новый день приносит с собой новую злобу, ко-

гда краеугольнейшие камни сами собой выскакивают из мест своих, когда понятия самые обыкновенные и доселе слышавшие бесспорными спутываются до такой степени, что никто не может сказать утвердительно, в действительном или ироническом смысле они употребляются. Люди сходятся между собой, сговариваются насчет общих начал деятельности и с первого раза замечают, что без взаимных уступок дело не обойдется. Но чем далее в лес, тем все более и более оказывается дров. Уступка следует за уступкой, клочки ризы летят один за другим, и в одно прекрасное утро публицист с изумлением видит себя или оборванным, или – что еще хуже – одетым в ризу, совершенно ему не принадлежащую. Увы! это история грустная, но совсем не столь исключительная, как было бы можно предполагать. Если вообще среда оказывает на человека втягивающее влияние, то тем решительнее ее действия в настоящем случае... Где же, скажите, тут независимость, где самостоятельность? А если к тому же припомнить еще поползновения изящного свойства, которые также влияют довольно настойчиво, то поневоле воскликнешь: «О публицист, что ты такое, как не хрупкий сосуд, временно прикидывающийся сосудом твердым и несокрушимым?»

Совокупность всех этих условий составляет именно то, что называется зависимостью и подчинением. Я обрисовал здесь положение русского литературного деятеля только в общих чертах и не поименовал ни одной подробности, которых, однако ж, множество и из которых некоторые не менее

характеристичны, нежели и изложенные выше общие черты. Я не сказал, например, ни слова о литературных антрепренерах, из рук которых публицист получает свою скудную пищу и которые тоже предъявляют свои требования; я не упомянул о положении литератора в обществе, о той физиономии, которая ему присвоивается общественным мнением и которой он волей-неволей обязан придерживаться. Я прошел молчанием жену и детей публициста, его друзей детства и проч. и проч., которые имеют с публицистом сожителство и общение, но не обязываются при этом быть ни нигилистами, если он нигилист, ни благонамеренными, если он благонамеренный. Не разводиться же публицисту с женой, если она не сходится с ним в понятиях насчет женского труда! не лишать же ему наследства детей (ох, не желал бы я быть наследником русского публициста!) за то только, что они относительно воскресных школ имеют свои оригинальные понятия! не отказывать же от дома друзьям детства из-за того, что они с наслаждением или с негодованием относятся к «Отцам и детям» г. Тургенева! Я знаю, что истинный гражданин, конечно, не затруднится ни перед какою жертвою, но пусть же он согласится со мною, что это жертва очень нелегкая.

И вот в сердце публициста начинает закрадываться пагубное двоегласие, которое, постепенно зрея и пополняясь все новыми и новыми большими соками, образует само по себе зависимость, горчайшую всех возможных зависимостей...

Итак, вот это другое открытие, которое принес с собой

новый 1864 год и которое, конечно, не было мне безызвестно и прежде, но почему-то еще не составляло для меня предмета размышлений столь едких и неутешительных. Но я не ропщу на эту едкость и неутешительность, потому что как бы ни была прискорбна истина, все же она лучше, нежели сознательная ложь или бессознательное неведение.

И еще открытие – это необычайное изобилие гениальных людей. Никогда петербургские стогны не вмещали в себе такого множества гениев самых разнообразных, сколько встречается их в настоящую минуту на каждом шагу. Происходит нечто вроде искусственного рыбоводства. Кого ни спросишь, всякий чем-нибудь знаменит: одни лично обрабатывают какие-то проекты, другие только приписаны к обработке проектов, третьи предлагают какие-то действительные меры, четвертые с большой охотой вызываются исполнять их, пятые, наконец, там-то и тогда-то высказали такую-то удачную остроту. Одним словом, такое наводнение проектов, мероприятий, соображений и острот, что если бы хотя малая часть их была приведена в исполнение, то несомненно, что человечество было бы вконец осчастливлено. Даже Федька Козелков, даже Левушка Погонин – и те состоят при каких-то проектах, облачаются броней непроницаемости, корчат дипломатов, подмигивают друг другу и ждут не дождутся той минуты, когда все эти *tracas*⁴⁹ кончатся и им можно будет на свободе укатить куда-нибудь в далекий, но милый

⁴⁹ беспокойства.

Туруханск, где ожидают их ces dames.⁵⁰

– Федя! просись в Туруханск! on dit que la société y est charmante! Il y a une fille d'ispravnik – délicieuse!⁵¹ – уговаривает Федю Козелкова Левушка Погонин.

– А ты отчего ж туда не просишься?

– Я, mon cher, в Гижигинск! У меня там, признаться, давнишняя страстишка есть...

– Так ты по части древностей российских?

– Ah! mais c'est que c'est une petite femme jolie à croquer!⁵²

Она мне протекцию по юпочной части будет оказывать. Я, mon cher, не из тех, которые ходят битыми дорогами; я понимаю, что в этих делах разнообразие важнее всего...

Друзья расстаются и с новым рвением принимаются состоять при проектах в надежде получить за это право на бесплатный вход в Магометов рай.

Да, Магометов паскудный рай – вот цель всех этих юных шелкоперов, которые походкой с развальцем щеголяют по Невскому и, прищуривши глазки, взирают на все, что, по мнению их, не принадлежит к так называемому société.⁵³ Им хотелось бы сразу перепортить весь Туруханск и потом переехать в Гижигинск, и Гижигинск перепортить, и таким об-

⁵⁰ эти дамы.

⁵¹ говорят, что общество там очаровательно! Есть там дочь исправника – прелесть!

⁵² Ах! но дело в том, что эта барынька красива – просто объедение!

⁵³ обществу.

разом объехать все закоулки и не оставить ни одного места непропленным. О, старые драбанты! о, дельцы беспримерные! вы, которые так долго стояли на страже общественного процветания и спокойствия! встаньте из могил ваших! посмотрите, что за мразь лезет из щелей на места ваши! Встаньте, посмотрите... и лягте опять в ваши могилы!

Ужас! ужас! волосы шевелятся на голове, мороз подирает по коже при виде той общей свистопляски, которая затевается над родными могилами нашими! Где же ты, честный голос, голос, вопиющий в пустыне! Или ты замерло и изгибло, правдивое, честное слово! Громче, громче раздавайся, кричи во всю силу легких и не обращай внимания, что окрест тебя расстилается безграничная пустыня! В этой пустыне есть камни, которые будут внимать тебе, есть леса, которые будут перекачивать могучие звуки из конца в конец! Правдивое, святое слово не изгибнет и не рассеется по ветру; оно застынет в воздухе, оно отпечатлется на камнях и на песках зыбучих и пронзит, как мечом огненным, первого путника, которого приведет нужда в пустыню! Но голос молчит, ибо он с придурью, которую, ради приличия, называют гражданским мужеством...

Шутки в сторону, я решительно не могу понять, почему я, по крайней мере, не в такой же степени знаменит, как друзья мои, Федька Козелков и Левушка Погонин. Я наверное сочинил на своем веку более сотни проектов и сказал, по малой мере, миллион острых слов. И все это погибло в безвест-

ности, все сделалось жертвою прожорливой Леты, как будто бы никогда не говорилось и не сочинялось!

Впрочем, я могу даже объяснить, почему это так случается. Для того чтоб делаться по временам знаменитым и заставляя говорить о себе, необходимо или быть дураком, или стоять на таком видном посту (например, быть исправником, городничим, винным приставом и т. п.), чтобы все взоры, откуда бы они ни устремились, в конце концов все-таки невольно останавливались бы на тебе. В этом случае ничтожество и величие подают друг другу руки, то есть одинаково возбуждают общее любопытство.

Если Федя Козелков и летом, и осенью, и зимой, и весной, и днем, и ночью, и в сумерки – всегда одинаково глуп, то само собой разумеется, что никто и не дожидает от него чего-нибудь умного. Даже маркёр у Доминика, даже буфетчик у Дюссо – и те знают, что Федька глуп, и терпят его присутствие потому только, что он не просто гадок, а как-то уморительно гадок. И вдруг этот Федька случайно обмолвится словечком и вымолвит что-нибудь такое, что имеет даже не совсем нечеловеческий характер. Понятно, в какое оцепенение должны быть повергнуты слушатели; понятно, что, на первый раз, они должны даже усумниться, точно ли перед ними тот самый Федька, который доселе так исправно выполнял должность Риголетто.

– Эге! да он это надувал нас, прикидываясь дураком! – произносит Левушка Погонин. – Федька! ну-тка, ну-тка, по-

втори, что ты сейчас сказал!

Феденька повторяет, и постыдная острота его разносится всюду, куда проникают милые шалуны.

– Слышал, что сказал Федька?

– Impossible!⁵⁴

– Ах, шут гороховый!

И вот, благодаря природной своей глупости, Федька делается знаменитостью; острота его ходит по рукам, молодых поощряет, старцев умиляет и утешает. И если при этом случайно произойдет, что его припишут к составлению какого-нибудь проекта, то знаменитость его окончательно упрочивается, и он начинает серьезно задумываться о том, чтобы выйти из шутов и покончить с ремеслом *rique-assiette*'а.⁵⁵ Конечно, это никогда не удастся ему вполне; конечно, прозорливый зритель и под напускную важностью сумеет открыть коренную пик-ассиетскую закваску, которая бродит в нем, но такая прозорливость отнюдь не изменяет сущности дела, потому что, выйдя на ровную дорогу, Федька уже делается нахалом вполне откровенным и совершенно искренно начинает смотреть на свое шутовство, как на нормальное состояние человека.

Вы скажете, быть может, читатель: да где же тут справедливость, и что за острота такая, которая может прославить даже такое нечистое животное, как Федьку Козелкова? На

⁵⁴ Невозможно!

⁵⁵ блюдолиза, прихлебателя.

это отвечаю: тут идет речь совсем не о справедливости, самое имя которой зазорно произнести даже в той комнате, в которой находится Федя Козелков, а об истолковании факта, как иногда естественно и понятно происходит возвеличение таких людей, которые, по существу своему, не стоят плевка. Что же касается до того, какую именно сказал Федька остро-ту, которая наделала столько шуму, то я нахожу всякое любопытство в этом случае совершенно неуместным, ибо козелковское остроумие может производить фурор только между милыми шалунами, а в обществе порядочных людей (каковыми я предполагаю себя и вас, читатель) оно ни под каким видом допускаемо быть не должно.

Другую группу людей, которой доступно средство прославиться быстро и дешево, составляют те немногочисленные избранники, которые находятся в слишком исключительном положении, чтоб не привлекать к себе взоров толпы.

Воображаю я себе, например, что я какой-нибудь тюкалинский городничий и что, несмотря на это, выражаю такую мысль, что не следует сажать в часть зря, а не мешает при этом и рассматривать. Мысль, несомненно, либеральная, но тем не менее все-таки такого рода мысль, что выражай я ее, в качестве простого смертного, тысячу раз на дню, она отнюдь не запечатлется ни в чьих благодарных умах. Но так как я стою на высоком посту и за всем тем не гнушаюсь некоторым либерализмом, то речь моя производит решительный и всеобщий восторг. Умеренные консерваторы опираются на

нее, как на каменную стену, и побивают ею безумных нигилистов – мальчишек. Это только вы, мальчишки, говорят они, сеете семя вражды, распространяя невыгодные мнения о городничих! а знаете ли вы, безумцы, что сказал на днях наш тюкалинский городничий? Он сказал, государи мои: не следует сажать в часть зря, а необходимо при этом рассматривать! Мальчишки, с своей стороны, цепенеют и перемигиваются между собою, нет ли в словах моих подвоха. Даже литературные хлысты – и те, я уверен, поднесут мне серебряную стопу, на которой с одной стороны будет вычеканено: «Не следует никогда сажать в часть зря, но лишь по внимательном рассмотрении». «Января 1864 года», а с другой стороны: «Тюкалинскому городничему благодарные литературные хлысты».

Но что ж это будет такое, если я, при исправлении должности соликамского или белебеевского исправника, вдруг брякну: «Н-да... женский вопрос стоит на очереди, а вопрос об эмансипации детей требует непременно и ближайшего разрешения»?.. Да тут поднимется такой гвалт и вой, что я не ручаюсь даже, чтобы литературные хлысты, в восторге, не лишили меня нечаянно жизни (самые ласки их бывают убийственны)! Увы! все это я говорю и повторяю ежедневно по нескольку раз, а за всем тем до сих пор никто не поднес мне за это серебряной вазы, хотя, конечно, никто не лишил меня и жизни. Обвиню ли я современников моих в неблагодарности? Заподозрю ли их в раболепстве и пристрастии?

Нет, не обвиню и не заподозрю, ибо знаю, что я стою затерянный в густой толпе, откуда звуки моего голоса, по причине спертости воздуха, не могут быть слышны, а тюкалинский городничий и белебеевский исправник стоят на некотором возвышении, откуда могут отчеканивать каждое свое слово со всеми необходимыми ударениями.

Я знаю множество острот самых горемычных, которые потому только и считаются остротами, что их сказал такой-то статский советник (что же было бы, если б эти остроты истекали из источника еще более гремучего?), и напротив того, знаю множество острот действительных, которые совсем не считаются остротами, потому что они сказаны каким-нибудь департаментским сторожем или дьяческим сыном. Наполеон III делает накануне рождества елку императорскому принцу и решается провести этот день, «как простой семьянин», – об этом пишут во всех газетах и усерднейше напоминают, что вот даже великий человек и тот удостоивает на один день сделаться простым семьянином; между тем там же, неподалеку, *épiciet Crésoquin*⁵⁶ каждый божий день удостоивает быть простым семьянином, и никто об этом не пишет, никто этому не удивляется.

Я мог бы набрать множество примеров подобного рода, но полагаю, что читатель и без того поймет справедливость моей мысли. Я гораздо более опасаясь, что он не сумеет вывести из всего мною сказанного надлежащих заключений, а

⁵⁶ бакалейщик Крекокен.

потому и перехожу прямо к ним. Заключение всего одно и состоит в следующем.

Друзья! если вы хотите проявить ваши таланты наиболее рельефным образом, я, конечно, не приглашаю вас сделаться Козелковыми (это была бы слишком большая жертва с вашей стороны), но серьезно советую поприлежнее мыслить о том, как бы взойти на возвышение, с которого ваш голос был бы слышнее.

Я знаю, что вам любо, когда вас окружают известного рода сумерки, что вам по сердцу некоторая спертость воздуха, которая обыкновенно царствует в низменных сферах. Я даже готов согласиться, что все это действительно может иметь своего рода притягательное свойство в том смысле, что источники всей силы общественной не в другом каком-либо месте находятся, а именно в тех низменностях, где вам так привольно живется; но дело заключается совсем не в том, что и почему вам нравится, а в том, что полезная, разумная жизнь немыслима без деятельности, а деятельность, в свою очередь, совершенно немыслима до тех пор, покуда она не будет выведена из низменных сфер на больший простор.

Для того чтобы жизнь не прошла праздною, необходимо держаться около живого дела, и горькое горе ждет того деятеля, который внезапно ощутит себя оторванным от жизни и лишним в этой общей тревоге, которою повсечасно живет общество. А потому человек, который видит за общею трапезой вакантное место и не спешит занять его, есть человек

глупый, а человек, который такое место уже имеет и оставляет его по своему произволу (а не потому, что у него живот болит), рано или поздно раскается в своем поступке, ибо в награду за свое самоотвержение получит фигу.

Здравый смысл народа давно понял эту истину и сочинил по сему случаю пословицу, которая в собрании г. Буслаева читается так: «лучше маленькая рыбка, чем большой таракан».

Даже так называемые литературные хлысты это поняли и не прут читателю в укор своею ерундою, а тоже изворачиваются и дают ей благовидную наружность.

Стало быть, все дело состоит только в недостатке откровенности и в том, чтобы всякий искренно предложил себе вопрос: «Да из чего же в самом деле я волнуюсь и обнаруживаю гадливость к жизни? разве я сам невольным образом не привлекаюсь к ней на каждом шагу? разве я независим? разве и над моею деятельностью не висит такое же ярмо, какое висит над всею вообще совокупностью жизненных явлений?» И если при разрешении этих вопросов будет принята в основание та же искренность, как и при постановке их, то все будет хорошо.

Но довольно об открытиях; поговорим лучше, в заключение, о том, что нового в Петербурге.

Здесь все тихо, читатель; по крайней мере, из моей квартиры, где я пишу настоящий фельетон, ничего не видно и

не слышно. Литературное движение ничтожно, и, по моему мнению, это знак не дурной, показывающий, что жизнь вступает наконец в настоящую свою колею, что она поглощена вполне настоящими, насущными своими потребностями. Не то чтобы я был враг литературы или считал ее пустым делом, но нахожу, что бывают эпохи, когда более, нежели когда-нибудь, дает себя чувствовать знаменитое изречение: делу время и потехе час. Быть может, со временем и опять наступит золотой век для русской литературы («опять»! да разве когда-нибудь был такой век? – спросит меня читатель-скептик, но я сошлюсь на старика Державина и, конечно, заставлю согласиться самого завязтого скептика, что он был целой головой выше А. Н. Майкова); быть может, она только временно сконфузилась, чтоб выработать на свободе что-нибудь очень сильное и своеобразное, но покамест мы обязываемся пробавляться жанристами, вроде г. Генслера, идилликами, вроде г. Громеки, обличителями, вроде г. Кушнерева, лириками, вроде г. Ф. Берга, и юмористами, вроде г. Розенгейма. Если б А. Ф. Смирдин был жив, то, конечно, теперь больше, нежели когда-либо, затеял бы свое знаменитое издание «Старусских литераторов». Самое время.

Тот же застой и в театре, несмотря на то что в нынешнем году чаще, нежели прежде, даются пьесы Островского. Лучшие произведения репертуара, как нарочно, исполняются нашею драматической труппой до того меланхолически, что даже совестно смотреть. Только и проявляется ка-

кая-нибудь жизнь на театре, когда дают какого-нибудь «Актера» или же водевиль с переодеванием. Тут артисты наши воодушевляются и начинают плескаться, словно рыбки в воде. Жаль, что запас этих армяно-греко-жидовских фантазий с каждым годом оскудевает, ибо они доставляли самую пригодную и самую естественную пищу для петербургского театра.

На днях, например, я видел «Воспитанницу» Островского. Бесспорно, это одно из лучших произведений талантливого автора как по чрезвычайной драматичности развиваемых в ней положений, так и по той поэтической прелести и свежести, которою проникнута вся пьеса. Но что из нее сделали наши протеи! Что это была за жалкая, несчастная игра! Положительно можно сказать, что, кроме роли г-жи Линской, не осталось в пьесе ни одного живого места. Через несколько дней после того я видел какой-то водевиль с переодеваньем (кажется, «Актер») – и с изумлением убедился, что те же самые протеи могут исполнять свое дело с усердием и даже с увлечением. Стало быть, пьеса-то именно в меру человеческого роста пришлась, оттого и идет хорошо.

Но как ни прискорбен факт заметного понижения искусства, он представляет у нас не более как отражение того, что происходит, в этом же смысле, в целой Европе. Во Франции, например, какие-то беззастенчивые господа, Барбье и Карре, охотно берут на себя труд нанести бесчестье Гете и из бессмертной поэмы о Фаусте делают бессмысленное оперное

либретто, а г. Гуно пишет на него музыку. В этой диковинной опере Фауст является каким-то помадным фабрикантом, Маргарита из простодушной, поэтической и благоухающей Гретхен претворяется в жеманную и знающую, в чем штука, гризетку Риголетту, а Мефистофель делается чем-то вроде воспитанника парижских *maisons de tolérance*,⁵⁷ насквозь пронизанным самым дешевым и пошлым развратом... Стало быть, это уж неизбежно; стало быть, такое уж время неблагоприятное, и так этому делу и быть.

Однако если искусство падает, а литература безмолвствует, то жизнь не молчит и постепенно вырабатывает для себя новые формы. Несмотря на уголовные обвинения, взводимые «Московскими ведомостями» на петербургскую атмосферу (по мнению почтенной газеты, эта атмосфера до того тлетворна, что располагает даже к канцелярскому воровству), оказывается, однако ж, что все реформы и преобразования, которых мы были свидетелями в последнее время, зародились не в ином каком-либо месте, а именно в Петербурге, и что в Москве и в других местностях Российской империи, – может быть, именно по причине слишком большой чистоты воздуха, – представляются удобства только для крепкого и безмятежного сна.

Деятельность наших канцелярий не умолкает и не прерывается, и в ожидании других важных реформ мы имеем, для нового года, новое положение о губернских и уездных зем-

⁵⁷ домов терпимости.

ских учреждениях. Я уже успел прочесть это «положение» и, конечно, ничего, кроме удовольствия, заявить не могу. Но я решительно не понимаю, по какому, например, случаю встревожился почтенный редактор «С.-Петербургских ведомостей», и по поводу обнаружения столь давно ожидаемого закона напечатал в своей газете такого рода загадку:

Тут нечего останавливаться перед второстепенными и мелочными обстоятельствами, которые могут впоследствии вызвать и исправления. Примемся прежде добросовестно и серьезно за то, что уже принадлежит нам вследствие преобразований, и потом уже будем рассуждать о второстепенных вопросах. Мы, с своей стороны, с теми, кто считает умеренность своих желаний необходимым условием движения вперед, а не с теми, которым все нипочем, кроме их личных фантазий.

Мы также, с своей стороны, «с теми, которые считают умеренность своих желаний» и т. д.; но желательно бы знать, какие материалы послужили г. редактору основанием для его преждевременной фантазии о «тех, которым все нипочем» и т. д. Что до меня, то я думаю, что фантазия эта составлена им, собственно, для придания себе храбрости («это, дескать, я сам, сам по себе, невынужденно, добровольно, не хитростно и не ложно»), чтобы не могли как-нибудь впоследствии, по примеру прошедшего лета, «Московские ведомости», стоящие на страже газетной чистоты, упрекнуть: «Да! да! и вы похваливать начинаете!» Что ж, я нахожу, что

это тоже хорошая публицистическая фигура, которую можно приобщить к прочим под названием «У страха глаза велики, или Готов заранее».

«Московские ведомости» посредством своего воскресного прибавления («Современная летопись», 1864 г., № 2, в статье «Роман на берегах Невы») вновь обнадеживают публику, что как только цензура будет упразднена, то «Современник» немедленно прекратит свое существование, потому что они, «Московские ведомости», легко с ним справятся. «Современная летопись» указывает в особенности на мою хронику, которая будто бы обязана своим процветанием именно цензуре, «принимающей на себя грехи авторов», и затем, выдергивая из ноябрьской хроники несколько фраз, ему непонятных, именует их чепухой. Прием простой, но совершенно свойственный такому глубокомысленному органу, как «Московские ведомости».

Я, с своей стороны, не берусь истолковывать неизвестному мне публицисту смысл непонятных для него выражений, ибо знаю наверное, что он понимает их. По крайней мере, родственная «Современной летописи» редакция «Русского вестника» очень хорошо разумела точь-в-точь такие же выражения, которые печатались именно мною на страницах этого журнала в то время, когда я был постоянным его сотрудником, и смотрела на них более нежели снисходительно. Что же касается до того, что выражения этого рода буд-

то бы порождаются требованиями цензуры, то я не встречаю препятствия согласиться с этим, нимало, впрочем, не остроумным предположением, с тем, однако ж, ограничением, что блага, ожидаемые «Современною летописью» от уничтожения цензуры, едва ли будут соответствовать надеждам ее. Конечно, мне и обиняками очень удобно говорить о науке, утверждающей, что земля стоит на трех рыбах, но уверяю, что я отнюдь не сконфужусь, если и прямо придется высказать, что это та самая наука, которой представителями служат г. В. Ржевский с его прямыми последователями гг. Катковым и Леонтьевым, и даже назвать эту науку ее надлежащим именем. Поверьте, что я при первом удобном случае исполню это с полною ясностью и вразумительностью и что вы останетесь мною довольны.

Но не скрою от вас, г. публицист «Современной летописи», что настоящее положение книгопечатания, по мнению моему, гораздо благоприятнее для вас, нежели, например, для «Современника». Оно дает вам возможность разыгрывать в отношении к нашему журналу роль великодушного Баярда, которую вы исполняете тем с большим удовольствием и беспечною, что она представляет вам случай выказать лишней раз ваши бесспорно похвальные чувства. Тем не менее вы прикидываетесь так неискусно, что образ убогого Лазаря так и сквозит из-под заемных одежд, которыми вы себя облекаете. В самом деле, что за странная путаница понятий! С одной стороны, влияние цензуры на печатное сло-

во представляется не полезным и, следовательно, всякое в этом смысле послабление предполагается желательным, а с другой – чуть только проходит в печать что-нибудь такое, что вам не нравится, вы первые сыплете косвенными предостережениями, первые кричите: «Смотрите! смотрите! вот что печатается у нас с дозволения цензуры!» Воля ваша, а для меня ясно в ваших действиях одно из двух: или вы не понимаете сами, о чем говорите, или вы слишком хорошо понимаете, чего вам надобно. Я, конечно, скорее склонюсь в пользу последнего предположения и, сверх того, убеждаюсь окончательно в том, что для печатного русского слова грозит в будущем неудобство гораздо горшее, нежели официальная цензура, ныне существующая: ему грозит цензура аматерская. Да поймите же, наконец, что если такое аматерство и может быть допущено, то ведь для того, чтоб оправдать его, нужна целая совокупность условий, которая позволяла бы полную свободу полемики! А без этого аматерство делается наконец вещь, которой трудно приискать соответствующее имя...

Затем, что касается до суждений неизвестного публициста о повести «Смелый шаг», напечатанной на страницах «Современника», то они слишком наивны, чтоб можно было серьезно говорить об них. Рьяный публицист, в невинном увлечении своем, видит какую-то угрожающую доктрину даже там, где, в сущности, нет ничего другого, кроме простого рассказа из современной общественной жизни. Это по-

весть, повесть, повесть – и ничего больше... кроме разве того, что повесть эта, по внутреннему своему содержанию, несравненно более нравственна, нежели те паскудные произведения легкого клубничизма, которыми, тоже под фирмою повестей, отравляет свою публику «Русский вестник».

<IX. Февраль 1864 года>

Я посетил тебя, знакомый уголок...

Посетил не в видах общения с народом, конечно, и даже не в видах отыскивания некоторой фантастической «почвы», а просто, как говорится, по собственному своему делу.

Зима в полном разгаре; зима в полях, зима в лесу, зима в этих душных конурах, которые на языке поэтов называются «хижинами бедными, богом хранимыми». Словно смерть настигла окрестность, окутала ее саваном и крепко-накрепко сковала по рукам и по ногам невидимыми путами; только ветер не подчиняется властительной руке и визгом своим, очевидно, силится превзойти юридические вопли московских публицистов, да еще человек, с грехом и горем пополам, барахтается в этом море сугробов и терпеливо выслушивает «музыку будущего», которую его потчует неугомонная стихия...

Вчера было вьюжно, а потому проселок почти совсем замело; даже и нынче в воздухе словно кисель какой-то стоит; снег падает ровно, большими клочьями; ни впереди, ни по сторонам ничего не видать; там далеко что-то темнеет, но что это такое, деревня ли, лес ли, или длинной вереницей тянувшийся обоз – нельзя понять. Маленькие сани так и тонут в

пушистом снегу; лошадь, несмотря на незначительность тяжести и на краткость пройденного расстояния, взопрела и выбивается из сил. «А ну, милая, не много! не далеко, милая, не далеко!» – беспрестанно подбадривает ее сидящий на облучке мужчина в заплатанном полушубке, и «милая» идет себе, послушная кнуту и ласке обожаемого хозяина (разве существуют на свете хозяева не «обожаемые»?), идет и не много и много, и далеко и не далеко, и опять слышит сзади знакомый голос, поощряющий ее: «Не далеко, милая, не далеко!»

Лошадь животное глупое и легковерное. Сколько веков ее обманывают всякого рода извозчики, сколько веков обещают ей: «Не далеко, милая, не далеко», и все-таки она не может извериться и вывести для себя никакого поучения. Повидимому, она даже искренно убеждена в том, что и действительно есть в природе нечто такое, что осуществляет собой и «не много», и «не долго», и «не далеко», и что за этими выражениями непосредственно следует та самая «суть», о которой говорится в русской пословице: «умирать не надобно». Заблуждение печальное и, очевидно, происходящее от совершенного отсутствия памяти, мешающего ей делать сравнения и наблюдения и передавать лошадиному потомству результаты своей лошадиной опытности. Только благодаря этому отсутствию памяти лошадь может еще ржать, плясать и выделывать бог весть какие вензеля в то время, когда ее ведут запрягать; только благодаря этой фаталисти-

ческой неосновательности она может с пламенной готовностью предлагать всякому встречному: «Вытягивай меня чаще кнутом по спине, а я буду за это в пользу твою усердствовать!»

Впрочем, когда едешь хорошенько закутанный, то и зимой выходит иногда хорошо. Ноги не коченеют; в теле не чувствуется никакой неприятной боли; уединение сообщает мыслям сосредоточенность; пение ветра, проходя через поднятый воротник шубы, утрачивает свои резкие, визгливые тоны; медленное плавание повозки по пушистым сугробам разнеживает и ниспосылает на душу благодатные мечтания. Бог знает, об чем тут не припомнишь, об чем не передумаешь, в какие уголки видимого и невидимого мира не заглянешь. И, что всего лучше, исполняешь все это без всякой системы, переходишь от одного предмета к другому бессвязно, отрывочно. Эта отрывочность, это, так сказать, мление мысли есть самое драгоценное и любезное ее качество. Не знаю, знакомы ли с ним люди хуdorодные, осужденные на вечные телесные упражнения, но людям рождения деликатного и притом досужим оно известно в совершенстве.

Едет, например, друг мой, Léon Городищенский, и хоть день на дворе уж померк, но так как глаза у него закрыты, а воображение возбуждено, то ему все равно, какая царствует кругом сумятица и усматривает ли что-нибудь впереди ее возница, которому дан рубль серебром именно затем, чтоб он усматривал, угадывал и предотвращал. В душе у него

светло; мысленно он даже совсем не здесь, на бедном забытом проселке, среди окоченевшей природы, а где-то далеко, среди ярко освещенной залы, где рассказывает синьор Тамберлик синьоре Барбо о том, как Фауст полюбил простодушную Гретхен, где млеет синьора Барбо под сладостные звуки мелодии Гуно, и склоняется она, как тростиночка тоненькая, к плечу обольстительного primo tenore...

– Да, эта Барбо... – думает он вслух, но не оканчивает фразы, потому что мысль его не останавливается, и сряду же создает другую не менее волшебную обстановку. Он в саду; летняя, теплая ночь дышит ему в лицо своим влажным дыханием; по синему небу, словно дым, выются прозрачные облака; под горою уснула речка; за речкой купы деревьев, и каждая из них представляется взору каким-то очарованным приютом любви, от каждой словно шепот сладострастный какой-то несется; кругом цветы, целое море цветов, и каждый цветок живет, каждый льет свой аромат... Сердце его ждет чего-то, но в этом ожидании нет ни тени нетерпеливого раздражения, а есть какая-то сладостная, нежащая истома. Вот вдали мелькнула женщина в белом; неслышно и плавно, словно призрак, плывет она по темной аллее; вот она ближе и ближе, вот она подле него, и вся трепещущая, вся подавленная всесильным очарованием любви тихо-тихо склоняет ему на грудь свою милую, дорогую голову.

– Все мое сердце смеется, милая! – говорит он ей.

Но она еще не отвечает; она в каком-то сладком забытии

покоит свою голову на его груди, словно ищет еще прийти в себя и вполне насладиться этим безмолвием любви, которому так сочувственно вторит безграничное безмолвие ароматной летней ночи...

А сани все едут да едут, все покачиваются из стороны в сторону и убаюкивают милого, благовоспитанного путника. Мысль бежит дальше и дальше. Вот мелькнули в глаза огни помещицкой усадьбы. «Что-то теперь там делается, за этими окнами?» – вопрошает себя юный путник, и вдруг ни с того ни с сего воображение переносит его в какой-то мрачный кагал, наполненный московскими публицистами. Мой юный друг малый очень добрый и даже несколько стыдливый; когда в голову его залезет какая-нибудь дрянь, он непременно покраснеет. Мало того, он ищет отогнать от себя эту дрянь, а когда она льнет уж слишком настоятельно, то старается не то чтобы оправдать ее, а придать ей какие-нибудь благовидные формы. Так поступает он и в настоящем случае.

– Не может быть! – рассуждает он. – Это они не без задней мысли так действуют. Я думаю даже, что это с их стороны очень зрело обдуманная военная хитрость. Они просто хотят во что бы то ни стало утвердиться в самом центре укрепленного места, а потом, когда...

Но легкий ухаб прерывает нить размышлений...

Друг мой до такой степени пленяется своим предположением, что даже сочиняет целый план кампании. Он очень живо представляет себе, как один публицист заманивает в

трусобу, другой действует в это время боковыми движениями, третий подсылает лазутчиков с ложными вестями, четвертый отводит глаза, и вдруг...

– И вдруг соединенными силами подпускают кулеврину! – мысленно восклицает мой друг и даже поворачивается на месте от удовольствия.

Но через минуту его берет раздумье.

– Для чего же, однако, тут лазутчики? – спрашивает он самого себя.

– Для чего пострадали от них даже эти невинные литературные птицы, которые.

В роще поживали, смиренно толковали? – разве могло кого-нибудь растревожить их тихое, безвредное пение? Разве это было не самое смиренное и почтительное толкование из всех почтительных и смиренных толкований, когда-либо перекачывавшихся из одного конца в другой нашего беспредельного отечества? Нет, тут что-нибудь да не так!

Опять легкий ухаб, и опять пауза.

– Но с другой стороны, может быть, птицы оттого-то и оказывались вредными, что очень уж они безвредны, – вот и убили их из ружья. Когда люди делают дело или, по крайней мере, говорят об деле, то нет ничего несноснее, как замешается тут же какой-нибудь Карней (один из замечательнейших типов, созданных г. Успенским), который пристаёт ко всем по очереди и без очереди, и просит выслушать, и хватает каждого за пуговицу... Такой человек опаснее вся-

кого врага, потому что он не умеет даже удержать язык за зубами, потому что он сейчас же пойдет рассказывать, что и он там был, что он то-то советовал, то-то предлагал... И потом начнет подмигивать, ухмыляться, без толку кивая головой, и вообще изображает из себя тонкого дипломата...

Еще ухаб, и еще пауза.

– Н-да, это с их стороны просто подвох, да еще какой подвох-то! Но отчего же от этого подвоха так скверно пахнет? Отчего этот подвох как будто и не подвох совсем? Н-да, это даже почти верно, что тут никакого подвоха нет и не бывало.

А сани все едут да едут, и наконец особенный стук передка возвещает путнику, что он проезжает через деревню. Узкая черная полоса, там и сям прорезываемая тусклыми огнями, представляется глазам; на улице ни души, даже собаки и те куда-то от стужи попрятались и не бросаются на лошадь с хриплым лаем и вяканьем. «Гм... может ли труд быть привлекательным?» – спрашивает себя Городищенский.

Повторяю, Городищенский имеет душу добрую, до того добрую, что она не чуждается даже вопроса о привлекательности труда. И когда в товарищеском кружке поднимается шумная беседа об этом предмете, то у него, для убеждения неверующих, всегда готово неотразимое доказательство, заключающееся в том, что несчастный Людовик XVI был слабый король, но в то же время очень искусный слесарь. «Стало быть, первое занятие было для него непривлекательно, а второе нравилось – вот и все».

– Разумеется, труд должен быть привлекателен, – рассуждает он и теперь, поглядывая на «хижины бедные, богом хранимые», – нужно только таким образом это устроить, чтобы... ведь Людовик XVI делал же замки с удовольствием!..

Но тут же, и притом совершенно некстати, припоминается ему беседа, которую он однажды имел с своим камердинером и дядькой Иваном Прокофьичем...

– Иван Прокофьич! как вы думаете, труд может быть привлекателен? – спросил он его.

– Какой это такой «труд»?

– Ну, труд... работа, то есть...

– Нет той работы слаще, как с бабой лежать, а опричь того другой приятной работы не знаю, – отвечал Иван Прокофьич и хотел было удалиться, что он делал всегда, когда, по мнению его, барин начинал говорить пустяки.

– А надобно, Иван Прокофьич, таким образом сделать, чтобы всякая другая работа была так же приятна, как с бабой лежать.

Иван Прокофьич остановился; ему показалось, что барин начинает говорить занятно.

– Знаю, сударь, еще одну работу хорошую, – сказал он, – это деньги займы брать и назад не отдавать.

– Ну вот видишь?

– Только какая же это работа! Это, сударь, как бы сказать, одно времяпровождение, все равно что другой вот малодушеством этим занимается, по трактирам ходит. Вот сапоги

вычистить, комнаты ваши убрать – это работа. Хоша, конечно, для вас это мне очень приятно, – прибавил он мягким, но как будто нерешительным голосом.

Городищенский на минуту задумался.

– Вот тоже работа, – продолжал Иван Прокофьич, – когда вот мужички для вас хлебушка молотят, дрова рубят... в то время, сударь, и плечики-то у них ноют... Хоша, конечно, для вашей милости им это очень приятно...

На этом разговор и кончился. В то время он не произвел на Городищенского особенного впечатления и потому скоро забылся; но теперь слова Ивана Прокофьича почему-то припомнились во всей подробности и произвели в его мыслях некоторую разладицу. «В самом деле, может ли быть труд привлекательным, да и в том ли задача, чтобы сделать его привлекательным? не в том ли скорее все дело, чтоб совсем эманципироваться от труда физического, чтобы приобрести как можно больше досуга для труда исключительно умственного? Не доказывает ли нам история, что с успехами естествознания, технологии, механики...»

И, конечно, мой юный друг сообщил бы своей мысли надлежащее развитие и, может быть, до чего-нибудь и додумался бы, если б сани в эту минуту не остановились и ямщик не доложил ему, что цель путешествия уж достигнута.

Так вот какого рода мысли и соображения могут посещать голову путника, даже во время завываний вьюги, когда он едет хорошенько закутанный и ноги его не коченеют от сту-

жи.

Но могут ли подобные мысли и соображения занимать такого путника, который во время вьюги обязывается идти пешком за возом и вязнуть в снегу и который при этом плохо защищен от нападений ветра ветхим и малозащищающим полушубком, этого я не знаю, и даже думаю, что такой вопрос должен быть решен отрицательно. Ибо путник этот на каждом шагу обязывается думать о том, как бы ему выдраться благополучно из сугроба, и о том, как бы малосильная лошаденка его не стала в тупик или не повалила воза, и о том, что когда повалится этот воз, ему надобно будет выжидать проезжих и с помощью их поднимать этот воз. Я даже полагаю, что этот путник совсем ни об чем не думает, а просто клянет и вьюгу, и горькую долю, которая выслала его в эту стыть за ворота.

Но оставим в стороне Городищенского и его соображения и обратимся к делу. Не знаю, оттого ли, что я плохо себя окутываю, или оттого, что я от природы не мечтателен, но зимний проселок не навеивает на меня ровно никаких мечтаний, ни светлых, ни темных, ни веселых, ни горьких. Сидя в городе, за каменными стенами, вдали от того трудного, нечужеядного дела, которое воистину в поте лица снискивает хлеб свой, еще можно по временам отдаваться мечтам о сближениях и о почве, любоваться чистопсовым эпосом, создаваемым фантазией г-жи Кохановской, увлекаться описаниями вроде «Года русского земледельца» г. В. Сели-

ванова (любопытные могут отыскать это диковинное в своем роде описание в «Русской беседе» за 1857 год) и создать фантастические дивертисменты с пением и танцами, но как только станешь лицом к лицу к настоящей, неподкрашенной действительности, как только въедешь в это необъятное, стонущее пространство, называемое проселком, то затеи городского досужества опадают сами собой, как опадают листья с деревьев под хмурым осенним небом. С одной стороны пошлая, насквозь пропитанная сентиментальным враньем идиллия прошлого, с другой стороны – не менее сентиментальная идиллия будущего. В обоих случаях – мельканье, от которого только рябит в глазах; в обоих случаях запрос или ничтожен до гадости, или до того уж огромен, что делается ничтожным вследствие самой своей огромности.

Увы! и я когда-то увлекался и чистопсовым эпосом г-жи Кохановской, и рассыченной на патоке идиллией г. В. Селиванова, и тоскою по почве, и мечтами о всевозможных сближениях (из них всего более нравились мне сближения, выражаемые поцелуями и приветствиями вроде: вы наши отцы, а мы ваши дети). С каким умилением, помнится, читал я следующие, например, строки, начертанные рукою г. В. Селиванова: «Проснувшись на утреннем рассвете и протерши глаза, земледелец смотрит в окно... и радостно сияет лицо его». Так начинает любезный автор свое описание деревенской зимы. Почему лицо земледельца сияет радостью? А потому оно сияет, что на дворе валит хлопьями снег и становится зима.

Когда снег стает и земледелец, «проснувшись на утреннем рассвете», увидит, что перед его хижинкой голая черная земля, лицо его тоже радостно сияет, потому что становится весна. А когда подспеет сенокос и в полях начнет дремать налившаяся рожь, – тоже надо радоваться, потому что наступило лето. И таким манером, лицо его круглый год будет сиять радостью, ибо круглый год в природе непременно что-нибудь да происходит: либо сияет солнышко либо не сияет, либо идет дождик либо не идет. Резон.

Вот, например, как описывает г. Селиванов зимний день русского земледельца:

День зимний короток и не видать, как проходит. В руках баб жужжат веретенцы; старый дед ковыряет лапти; мужика-работника днем в избе не сыщешь: мужицкая работа не в избе. На полатях мурлычет кошка; она либо спит, свернувшись в клубочек, либо обмывает рыльцо лапкой. По полу ползает младенец, иногда и не один, с выпачканными молочной кашей рожицами, поднимаются на ножки, падают, ссорятся или смотрят с вниманием и радостью на играющих и шумно бегающих котят. Но вот распахнулась дверь, и в избу вбегают перезябшие ребята. С утра они на улице играли в шары, кричали, бегали, и им наконец приходит желание погреться. Но в избе и без них тесно; они надоедают вознею и шумом старухе, и та, чтоб от них избавиться, гонит их опять на улицу, где они предаются игре с новым азартом. Вот наконец начинается вечереть; сверчок за печкой заводит свою од-

нообразную песню. Дед лезет на печь распаривать свои старые кости да греть остывающую кровь. Невестка достает из-за печки березовые или осиновые поленья и косырем щепает длинные лучины, которые вкладывает в светец, зажигает и освещает избу. Лучина пылает ярко, то вдруг меркнет, то опять вспыхнет. Беспреданно надобно обламывать обгорелые концы, беспреданно надобно переменять догорающую лучину. Но все ли знают, что такое светец? Светец есть небольшой, аршина в полтора или менее вышиною столбик в вершок толщины, утвержденный на двух крестообразно сложенных брусочках, четырехугольной доске или чурбане. В верхний конец стоящего столбика вбита трех- или четырехконечная железка, в которую вкладывают лучину одним концом. Когда лучина горит, на пол под нее подставляют либо таз, либо чугунок с водой, в который падают огарки.

Когда на дворе сделается совершенно темно, в избу возвращаются мужики с работы, лезут также на печь или на полаты, где разуваются, снимают холодную, сырую обувь и одежду, которую развешивают в теплом духу. Изба оживлена. Мать успокаивает и убаюкивает грудного младенца, ребята то хохочут, то ссорятся на полатах, старуха бранит невестку или что-то бормочет сквозь зубы, на что никто и внимания не обращает. Молодая невестка, сидя на донце, поет вполголоса, а на дворе косматая жучка, чуя бродящего по окрестности волка, и лает и завывает. Но вот уж время и ужинать. Денщица накрывает стол скатертью, достает из вы-

движного в столе ящика деревянные чашки, ставит на стол деревянную узорочную солоницу, кладет ложки и огромный круг хлеба. Мужики умывают руки из висящего над лоханкой возле печи рукомойника и утирают тут же на стенке всегда висящим полотенцем. Русский человек не сядет ни обедать, ни ужинать, ни завтракать, предварительно не умыв рук. Для этого-то в рукомойнике всегда есть вода.

Не правда ли, какая милая, трогательная картинка, каким миром и счастьем веет от этой крестьянской семьи, где и кошка мурлычет, и молодая мать убаюкивает грудного ребенка, и на ворчанье старухи никто не обращает внимания? И чем дальше идет читатель за автором, тем больше и больше саднит ему сердце от умиления. Являются на сцену патриархальные помещики, которые охотно молятся богу вместе с своими земледельцами, однако ж в работах общения с ними почему-то иметь не желают. Читатель постепенно приходит в восторг от всех этих трогательностей и, наконец, в исступлении, восклицает: «Господи! так бы и не вышел отсюда, из этой хижины, в которой кошка обмывает рыльцо лапкой и молодая невестка, сидя на донце, поет вполголоса!»

Я знаю, в русской литературе много таких отводящих глаза произведений, но в действительности жизнь русского мужика всего менее дает места для идиллических предположений. Патриархальный фальшфейер, выработанный крепостным правом, позволявший одному говорить: мы ваши отцы, а другим – мы ваши дети, пал сам собою, как только

уничтожилась причина, его породившая. Жизнь приняла общий, человеческий характер; нет ни отцов, ни детей, а есть люди, стоящие рядом. Писателям-художникам, так упорно настаивающим на патриархальности отношений и усиливающимся сообщить крепостным формам жизни какой-то величаво-эпический характер, не мешало бы поближе взглянуть на нынешние условия сельского быта, чтобы отрезвиться от всякого рода напускных и мечтательных предположений. Они убедились бы, что если и существовала когда-нибудь патриархальность, то она совсем не была результатом естественно установившихся и для обеих сторон равно любезных отношений, а просто насильственной формой, которую одна сторона предлагала, потому что могла предлагать, а другая принимала, потому что не могла не принять. Иначе ведь не было бы резона не устоять этой патриархальности и доднесь во всей своей идиллической неприкосновенности, — а где же, в каких захолустьях ее теперь отыщешь?

Жизнь русского мужика тяжела, но не вызывает ни чувства бесплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни тем менее идиллических приседаний. Как всякая другая жизнь, как вообще всё на свете, она представляет богатый материал для изучения, а еще больше для сравнений и сопоставлений. Когда факт представляется перед нами в виде статистического данного, в виде цифры, то это еще совсем не факт, это просто мертвая буква, никому ничего не говорящая. Чтобы понять истинное значение факта, необходи-

мо знать, чего он стоил тому, кто его выносил, и по милости чьей он сделался фактом. Необходимо, одним словом, создать такую статистику, в которой слышалось бы присутствие тревожной человеческой деятельности, от которой отдавало бы запахом трудового человеческого пота.

Уже одно то, что коренное условие мужицкой жизни составляет вечный, никогда не прерывающийся труд, достаточно указывает на совершенно серьезный ее характер и на положительную невозможность относиться к ней с умилениями и приседаниями. Начинать каждый свой день мыслью о насущном хлебе и эту же мыслью день заканчивать, — как хотите, а тут потребно или великое мужество, или же полное и трудно постигаемое равнодушие. Я, с своей стороны, думаю, что в настоящем случае исключительно присутствует то великое и никем еще достаточно не оцененное мужество, которое одно может дать человеку и силу, и присутствие духа, необходимые, чтобы удержать его на краю вечно зияющей бездны. Положение мучительное, мимо которого мы потому только проходим без крайне болезненного чувства, что не даем себе труда вникнуть в его сущность. Да мы с вами, читатель, не можем и вникнуть в него, потому что для нас все в этом деле непонятно: и невозможность досуга, и вечная зависимость жизни от личного материального труда, и эти опасения, эти ужасные опасения, которые ни на минуту не отходят от человека, ни на минуту не дают ему забыться и отдохнуть.

Ничего мы этого с вами не понимаем и потому ценим мужицкий труд четвертаками, полтинниками и рублями, то есть ценим то, чему, в сущности, никакой цены нет и не может быть. Конечно, мы в своем праве, ибо видим и в производстве человеческого труда, и в самом труде не что иное, как товар; между тем это совсем не товар, а пот и кровь человеческая, а утраченное человеческое здоровье, а оскорбление человеческого достоинства, а потеря человеческого образа. И, говоря таким образом, я отнюдь не думаю сентиментальничать или искать какой-то немислимой у нас популярности, а просто желаю обратить внимание на то, что так легко гложет под горами мертвых статистических цифр, но что, в действительности, одно только и составляет истинное, неподкрашенное дело.

Прошлым летом («Современник» 1863 г. № 8-й; статья «В деревне») я старался обратить внимание моих читателей на некоторые подробности мужицкого быта. Картина выходила далеко не удовлетворительная, но то было летом, когда сама природа все-таки представляет некоторые условия, облегчающие трудовое существование, зимой же, при отсутствии даже этих скудных даровых условий, жизнь делается еще более трудною и рискованною.

Зимою наружный вид деревни поражает тоской и унынием. Мужичьи избы, и летом далеко не приглядные, кажутся еще темнее, слепее и сиротливее. Если б они не были со всех сторон укутаны соломой (что все-таки дает намек

на потребность некоторого комфорта или, по крайней мере, тепла), то можно было бы подумать, что это не дома, а какие-то карточные, совсем не серьезные помещения. Окруженные со всех сторон снежными сугробами, придавленные сверху толстым снежным пластом, они одним своим видом говорят путнику о всякой бесприютности, о всевозможных лишениях и неудобствах. Так тянется целая длинная улица, и редко-редко бросится в глаза исключение в виде веселого домика с тесовую крышею, не обезображенную растрепанной ветром соломой, да и тут, наверное, живет не заправский мужик-землепашец, а какой-нибудь выскочка, всякими неправдами наживший себе капиталец и успевший забрать в свои руки монополию торговли баранками, веревками и другим незатейливым крестьянским товаром.

Внутренность избы еще печальнее. Там на пространстве какого-нибудь десятка квадратных аршин теснится нередко два-три семейства; тут и древние старики, отживающие свой век на полатах, тут и взрослые дети их обоего пола, и подростки, и, наконец, малые дети до грудных младенцев включительно. Несмотря на распространение так называемого просвещения, избы до сих пор еще по большей части курные; утром, вплоть до самого обеда, в них выедает глаза дым и царствует сырость и холод, остальное время дня и ночью – несносная духота. Смрад от всякого рода органических остатков, дым от горящей в светце лучины, миазмы от скопления на малом пространстве большого количества лю-

дей, от мокрой одежды и всякого тряпья, развешанного для сушки около огромной печи, занимающей без малого четверть всего жилья, – все это, вместе взятое, составляет такую зловредную атмосферу, которой, конечно, не позавидовал бы ни один арестант, если б арестант этот не испытал ее во времена счастливого своего пребывания на свободе. А неряшество, грязь и нечистота, как прямые последствия этой вечной тесноты и толкотни? а паразитные насекомые? Вот те гигиенические условия, которые представляет собой русская изба с точки зрения жилья, и вот где рождается, стареется и умирает поилец и кормилец русской земли.

С точки зрения нравственной эти условия, по малой мере, равносильны описанным выше. И возрасты и полы постоянно смешаны. Смешение первых имеет прямым последствием то, что поколения одни за другими коснеют в одних и тех же предрассудках, благоговеют перед одними и теми же преданиями и становятся навсегда застрахованными от прикосновения всякой свежей мысли. Непроницаемая тьма свинцовым пологом ошетибилась и отяжелела над этими хижинами, и в этой тьме безраздельно царствует старый Сатурн, заживо поедающий детей своих. Сын, безотлучный свидетель безмолвного малодушия или трусливого лукавства отца, может ли вынести из своих наблюдений что-нибудь иное, кроме собственного малодушия и лукавства? Сын, от сосцов матери привыкший видеть, что все вокруг него покоряется слепой случайности, не делая ни малейшей попытки к освобождению,

дению себя из-под гнета ее, может ли выработать что-нибудь иное, кроме безграничной веры в ту же слепую случайность? И таким образом переходит она, эта тьма, от одного поколения к другому, все круче и круче закрепляя проклятые тене-та, которыми они спутаны. Что же касается до смешения по-лов, то последствия этого явления слишком очевидны, что-бы следовало распространяться об них. Во всяком случае, можно сказать утвердительно, что, вследствие совокупности всех условий, пресловутая чистота русской семьи, взятая да-же в ограниченном смысле половых отношений, есть не бо-лее как сентиментальная утопия, которую славянофилы от-водят глаза публике. Нужен ли этот отвод глаз? не похож ли он на те казенные рапорты о всеобщем благополучном об-стоянии, которыми слишком усердные подчиненные успокаи-вают своих добрых начальников? Предоставляю разреше-ние этих вопросов самому читателю, но думаю, что ложь, ка-ков бы ни был ее характер, никогда не полезна и не нужна, а особенно в тех случаях, когда истина не только не обвиняет, но положительно оправдывает... Вот та нравственная и ум-ственная среда, в которой рождается, стареется и умирает по-илец и кормилец русской земли.

Пища русского мужика не роскошная, но и не сытная. Земледелец охотно соблюдает посты, которых в году прихо-дится более нежели наполовину, и в это время питается пу-стыми щами и каким-то дрянным крошевом из кваса, редь-ки, картофелю и хлеба. Каша допускается как исключение,

потому что масло льняное и конопляное мужику не по карману. Однажды на маслобойной я собственными глазами видел, как бабы лакомились льняной избоиной, обмакивая ее в свежесбитое масло.

– Неужто от этого нутро не воротит? – спросил я.

– Э, сударь! у нас что баба, что корова – одинаково до дуранды падки, – отвечал мне маслобойщик.

И бабы ничего, даже рассмеялись этой шутке.

В скоромные дни эта пища немногим лучше. Все улучшение составляет молоко в различных видах, но и того не объешься, потому что, по большей части, одна плохонькая корова продовольствует целую семью. Так называемая убоина, то есть говядина или свинина, составляет в деревнях такую редкость, которая допускается только по большим праздникам, как, например, на пасху, на рождество и на храмовые дни. Поэтому мужик старается исключительно только о том, чтобы брюхо у него было наполнено и чтоб его пучило, но поступает он таким образом совсем не потому, чтобы не понимал, что говядина питательнее хлёбова из промозглой серой капусты с квасом, а просто потому, что поступать иначе не может.

– Откуда, барин, сил-то тут набирать? – спрашивал меня однажды один мужичонка, занимавшийся у меня земляною работой.

– Набирай, братец, набирай! – пошутил было я в ответ, но тут же, не знаю сам от чего, сконфузился.

Неизвестно, откуда идет мнение, будто русскому мужику именно такая пища и нужна и что другой он принимать не будет. Я думаю, что первые пустили в ход эту мысль дворовые, которые, как известно, считают себя, относительно мужиков, высшими организмами. По крайней мере, однажды, когда я распорядился, чтоб работник Иван ел вместе с моими домочадцами, то кухарка почтительно протестовала против этого.

– Мы, сударь, едим пищу легкую, – сказала она, – он, сударь, пищей нашей обижаться будет!

Однако когда Иван призван был на совет, то оказалось, что он ни во щах с говядиной, ни в каше с маслом никакой обиды себе не видит; и действительно, через месяц он так отъелся, что та же самая кухарка называла его не иначе как «гладким чертом». А из этого следует, что сытная еда вовсе не так противна мужику, как уверяют кухарки.

Откуда же, в самом деле, набирает себе сил русский мужик? Неужели источник ее заключается в одних телесных упражнениях? Эта задача мудреная, и разрешить ее я не считаю себя компетентным.

Русского мужика называют пьяницей, однако это или положительное заблуждение, или непростительная клевета. Заблуждение может происходить оттого, что мужика чаще видят пьяным на улице, нежели людей, носящих так называемую «благопристойную» одежду. Но не следует забывать при этом: во-первых, что число мужиков сравнительно с чис-

лом людей, ходящих в «благопристойной» одежде, несравненно обширнее, а во-вторых, и то, что человек, носящий «благопристойную» одежду, напивается по большей части в уютных и закрытых заведениях, где и протрезвляется, а мужик напивается в кабаке, откуда для протрезвления выносятся на улицу, а оттуда уже попадает в часть. Оттого нам и кажется, что пьянствуют на свете одни мужики.

В сущности же, мужик очень умерен, даже более умерен, нежели по климатическим условиям можно было бы предполагать. Эта обычная умеренность, а также и недостаток питательной пищи производят то, что он хмелеет быстрее, нежели человек, ходящий в «благопристойной» одежде. Мужик пьет по большей части только в городе, а в деревне только по большим праздникам, то есть в те дни, когда он разрешает себе мясо или рыбу. С одной рюмки его уже отуманивает, со второй словно отшибает руки и ноги, с третьей – он раскисает и начинает говорить комплименты, с четвертой – ожесточается и лезет драться, после пятой – его выносят. Клянусь, что люди в «благопристойной» одежде, канканирующие в гостинице «Синоп», после пятой рюмки только во вкус входят. А мужика не только уж вынесли, но и лошадь у него угнали, и кошель с медными деньгами отобрали, и шапку с головы сняли. Возвращается на третий день мужик в деревню пешком, и озирается кругом на покрытые белой пеленой поля, и что-то бормочет, и что-то припоминает. Может быть, он припоминает, что обещал деткам калачика из города при-

везти, и сообразно с этим бормочет: «Ай да калачик!», а может быть, дает себе зарок к другому вору-целовальщику, от которого лошадь-то угнали, больше не заходить и сообразно с этим замечает себе: «Да, голубчик! чист молодец вышел!» А дома ждет его плач и вой баб, их надоедливая брехотня и бессмысленное приставаньё. Поедом они съедят его, а человек, носящий «благопристойную» одежду, глядя на него, скажет: «Ишь свинья, как наакался! даже шапку с головы пропил!» Правильно.

Ах! смешно и мелочно кажется горькое горе ближнего, веселость и иронию вызывает в постороннем зрителе его оторопелая, словно сейчас высеченная физиономия... да, смешно! Но долго ли же, однако, смеяться-то?

И, конечно, не я стану защищать русского мужика в таком зорном деле, как неумеренное употребление спиртных напитков, но все-таки скажу человеку, носящему «благопристойную» одежду: «Свинья-то, брат, ты! только нет в тебе смелости даже и пакость вслух сотворить! и свиньишь-то ты втихомолочку, словно кукиш в кармане показываешь!»

Итак, условия жилья и пищи не вполне благоприятны для русского мужика; посмотрим теперь, каков-то его труд.

Труд мужика, за самыми ничтожными исключениями, совершается на воздухе, и в зимнее время это условие, конечно, одно из самых неблагоприятных. Холод, и сам по себе составляющий страдание, сверх того лишает человека нужной при телесных упражнениях развязности, которая еще более

затрудняется теплою мужицкой одеждой, почти всегда неуклюжей и дурно пригнанной. Это общее замечание, показывающее, что зимний труд мужика сам по себе имеет особого рода ценность. Затем, следует рассмотреть виды телесных упражнений, которым предается мужик.

Зимние мужицкие работы могут быть разделены на два главных разряда: одни совершаются дома, другие на стороне.

Хотя и дома работа большею частью нелегка (молотьба, рубка дров и т. п.), но здесь, по крайней мере, мужик может более или менее свободно располагать своим временем и применять на практике теорию привлекательности труда. Надоело молотить – руби дрова; надоело рубить дрова – ступай в поле за сеном. Бабы в это время заняты по хозяйству, а в свободные минуты прядут или разматывают бумагу. Это последнее занятие, вследствие обилия рук, ему предающихся, ценится до того дешево, что самая усердная баба вряд ли может выработать на нем более двух-трех рублей в месяц. Впрочем, если мужиков в селе мало или им недосужно, то бабы не пренебрегают и мужицкими работами.

На стороне главное (по крайней мере, наиболее, по своей общедоступности, распространенное) занятие мужика есть извоз. Подмосковные крестьяне (речь идет об них) промышляют и легковым извозом, и перевозкою произведений земли, как своих собственных, так и по найму; легковое извозничество когда-то было выгодно, но теперь, когда извозчиков в Москве расплодилось, как песку морского, и кор-

мы непомерно вздорожали (прошлый 1863 год составляет, впрочем, в этом отношении приятное исключение), промысел этот становится все больше и больше невыгодным. Он требует капитала до 100 р. на первоначальное обзаведение, то есть на покупку саней, сбруи и кой-какой лишней теплой одежды (лошадь своя и полагается не стоящую ничего); выехать в день так называемый ванька – я об них только и говорю – может круглым счетом до 1 р., или в месяц до 30 р., а во весь зимний сезон, считая с 15 ноября по 1 апреля, 130 р. В это время расход у него следующий: десять процентов с затраченного капитала (включая тут же и ремонт санишек и сбруи) составляют 10 р.; проесть в сутки и пропить ваньке на чаю необходимо не меньше 30 к., стравить лошади нужно не менее полумеры овса и полупуда сена, что, по средним ценам, стоит 35 к., следовательно, продовольствие извозчика с лошадей стоит ежедневно 65 к., или около 20 р. в месяц, а в зиму 90 р.; наем квартиры в зиму стоит до 20 р., ковка лошади и другие мелочи составляют рублей пять; всего, стало быть, расхода 125 р., в остатке имеется 5 р. Таким образом, человек с лошадей, в продолжение четырех с половиной месяцев, за пять рублей несет работу глупую и нездоровую, подвергается брани и тычкам седоков и по временам даже испытывает удовольствие возить даром господ хожалых. Правда, что дома лишняя лошадь и лишний человек с корму долой (этим «лишним», как увидим ниже, и есть-то было бы нечего), но правда и то, что от изъятой из хозяйства лошади

не получается удобрения, а от изъятого из хозяйства мужика часто получается вместо выгоды такой ущерб, который впоследствии ничем не вознаграждается. Не надобно забывать, читатель, что в Москве мужик окружен всякого рода соблазнами, что там существуют разные «Миланы» и «Крымы», которые именно и устроены с целью обдирания русского мужика. И потому, о москвич! ты, который с Плющихи или из-под Новинского поспешаешь на кабалистико-чревовещательный вечер на Спиридоновку или на юридическо-сиккофантское утро на Страстной бульвар, вспомни все изображенное выше и не торгуйся с ванькой, запрашивающим с тебя четвертак, не вынуждай его ехать с тобою за пятиалтынный, но действуй щедрой рукой и даже прибавляй пятак на водку!

Извозничество с тяжестями сопряжено еще с большими неудобствами: тут при наших благоустроенных проселках и при русских метелях напринимаешься такого лютого горя, что, кажется, и в жизнь бы другой раз не поехал... и все-таки и в другой, и в третий, и в четвертый раз – все едешь. Возьму местность в 30 верстах от Москвы. Кажется невероятным, чтобы одна поездка в Москву и обратно на таком расстоянии требовала около 30 часов, а между тем ничего нет справедливее этого. Положим, что мужик везет в Москву воз сена и что с вечера у него этот воз уже навит и увязан. Поднимается он из дому с десяти часов ночи и тогда только может быть уверен, что поспеет в Москву часам к осьми следующего утра. Медленность движенья объясняется очень просто:

во-первых, проселки наши обилуют всевозможными ухабами, во-вторых, на тех же проселках, особенно около деревенских околиц, до того иногда переметает дорогу снегом, что малосильная мужицкая лошаденка становится в тупик. Кроме того, может случиться встречный обоз, и в таком разе положение делается поистине трагическим; начинается брань, толкотня, метание жеребьев, и время летит незаметно. Кроме того, может встретиться или барин, или поп, или старшина, или писарь в санках – тут уж никакой пустой болтовни не бывает, а съезжает обоз мужицкий в сугробы без всяких разговоров, так что только морды лошадиные виднеются из-под снега. И тут время летит незаметно.

В Москве крестьянин видит себя со всех сторон облепленным скупщиками и кулаками, которым тоже хочется есть (господи! что значит еда-то!) и которые поэтому величают его и «любезным», и «почтенным». Но мужик еще крепится и не сдается на обольщения; ему думается еще, что найдется такой храбрый покупатель, который пробьется сквозь эту толпу паразитов и обратится прямо к нему. Опыт, однако, доказывает, что это случается редко, и обыкновенно дело кончается тем, что мужик побьется-побьется и все-таки обратится к той же компании скупщиков. В этих переворотах проходит время до самых сумерек, а там пойдут сборы, является надобность обогреться, выпить чаю, сделать кой-какие закупки – и пройдет в этой суете часов до восьми вечера. И счастлив он, если воротится домой в то время, когда

начнет уж светать. Теперь посмотрим, что он приобретает от своего труда, сопряженного, кроме потери времени, еще с бесчисленным множеством разных других неприятностей.

Обыкновенно подмосковный мужик везет в Москву сено или дрова; исчислим прибыли, которые он получает от того и другого промысла. Бессильная крестьянская лошаденка не свезет более 20 пудов такого громоздкого товара, как сено; в нынешнем году продукт этот самого лучшего качества стоит в Москве не более 15–16 коп. за пуд; но крестьянину лучшего качества сена взять негде (кроме, впрочем, огуменного, которое он уже продал по осени), и потому он везет так называемую леснину, или полевину, за которую красная цена от 12 до 13 коп. за пуд. Таким образом, он получает за свой воз максимум 2 р. 60 к.; из этих денег он должен издержать на харчи себе до 30 к. и лошади до 35 к. (около 30 к. за меру овса и около 5 к. за сено); остается 1 р. 95 к. В этой цене заключается: плата за провоз сена на расстоянии 30 верст и за проезд обратно, плата за наем земли, с которой снято сено, и, наконец, плата за работу по скошению и уборке сена, что у одного человека занимает не менее четырех дней, так как сена лесного и полевого получается с целой десятины никак не больше сорока пудов, а уборка его требует немногим менее времени, нежели уборка сена лугового. Вообразите себе, что крестьянин дешево-дешево арендовал землю по 75 к. за десятину, окажется, что за полдесятины он все-таки заплатил 371/2 к. и что, следовательно, за его с лишком пятидневный

труд остается не более 1 р. 571/2 к., и за какой труд! А если взять в расчет ту арендную плату, которая в Московской губернии полагается за землю, отрезанную крестьянам в надел (что, в сущности, и будет совершенно справедливо), то есть по 2 р. 50 к. за последние две десятины, то из 1 р. 95 к. останется мужику всего 70 коп.

Другой промысел – дрова. Этот материал подмосковные мужики скупают в рощах: березовые рубля по три, осиновые и другие рубля по два и меньше за сажень. Возьмем березовые дрова, как наиболее выгодные. В нынешнюю зиму хорошие швырковые дрова можно было сплошь и рядом купить в Москве по 4 р. 50 к. за сажень, но мужик продаст свою сажень дороже, потому что рощинская кладка для него выгодна (она делается без боковых клеток, и притом всегда допускается к сажени пример вершка на два или на полтора), и из рощинской сажени он может без всякой фальши выкласть в городе сажень с третью, следовательно, продаст он эту сажень за 6 р. Если у него только одна лошадь (в большинстве случаев это так и бывает), он сажень дров может перевезти на ней в город никак не меньше как в три раза; следовательно, за прокорм себя и лошади заплатит в эти три дня 1 р. 95 к., и затем ему останется чистого барыша 1 р. 5 к. за пять с лишком дней работы (более 3-х на поездки в Москву и около 2-х на поездку в рощу).

Если таковы выгоды от перевозки двух товаров, считающихся наиболее ценными в подгородном сельском быту, то

что же можно сказать о поездках в Москву с возом, например, осоки, которая продается от 8 до 9 к. за пуд, или соломы, который и весь-то стоит 1 р. сер.? Какую выгоду приобретает здесь мужик – это просто непонятно, кроме разве той, что он и его лошадь не состоят в дни поездок на домашнем корму.

Затем, за извоз по найму платится на этом же расстоянии зимой по 5 к. с пуда – плата не только удовлетворительная, но, что называется, красная. Этим путем мужик может выработать с лошадыю 1 р. с. в сутки и привезти домой чистого капитала до 35 к. с. Многие даже восстают против громадности этой цены, многим кажется, что подмосковные мужики избаловались, что они облопаются; но, конечно, если мы вникнем в самую суть дела, и притом вообразим, какую муку должен принять мужик, чтоб достать эти 35 к., то едва ли согласимся с подобным мнением. Не надобно при этом забывать, что перевозки продолжительные, не сопряженные с потерей времени на базарах, и притом товара не громоздкого, как, например, торфа, дров и т. п., стоят дешевле и обходятся, на том же расстоянии, не дороже 3 1/2 – 4 к. с пуда.

Взглянем же теперь на так называемые мужицкие угодыя (опять-таки говорю о подмосковной местности). По положению, в Московской губернии намеривается на душу по 3 дес. земли (высший надел), и за пользование таким участком взимается в пользу помещика 10 р. с.; сверх того с каждой души на разные другие потребности, как-то: подушных, земских повинностей, на мировые учреждения, на волостное и

сельское управление и т. п. – сходит по меньшей мере 2 р. – итого 12 р. Представим себе двор, помещающий в себе два тягла; в этом дворе, по самому выгодному расчету, должно заключаться две мужских души рабочих, две таких же души не рабочих и от 4 до 5 душ женского пола; стало быть, это семейство владеет в настоящую минуту 12-ю десятинами, за которые обязано уплатить в год 48 рублей. Из числа этих 12 десятин полдесятины находится под усадьбой, четыре с половиной под пашней (обрабатывается только 3 дес., остальные полторы десятины под паром), затем семь десятин под кустарником («по коему покос»), под бывшею господскою вырубкою, под калугами, под мокрым местом, под чистым болотом («по коему покос», как говорится в плане) и т. д. Пусть не смущается читатель этими цифрами: более земли такое хозяйство не может обработать, потому что у него даже и на это количество никогда недостает удобрения. Что может получать это семейство с владеемой им так называемой удобной земли? А вот что.

Озимого хлеба высевается, по крестьянскому обычаю, около двух четвертей на десятину, итого во всем озимом поле сеется три четверти, от которых, при недостаточно удобренной земле, получается урожай не более сам-четверт – 12 четвертей. Ярового высевается (положим, овса) вдвое, то есть шесть четвертей, от которых самый большой урожай сам-третей, итого 18 четвертей. С семи десятин дрянного покоса он получит до 280 п. столь же дрянно-

го сена, да усадебного и огуменного отличного сена до 50 пудов. Это результат употребления в дело всех рабочих сил семейства в продолжение целого лета, за исключением, быть может, весьма немногих дней, остающихся залишними, которыми пользуются члены семейства, чтоб добыть копейку поденную работой на стороне. За исключением количества хлеба, необходимого на семена, все это по средним ценам стоит: 9 четвертей ржи (по 5 р. за четверть) – 45 р., 12 четвертей овса (по 3 р.) – 36 р., 50 пуд. усадебного сена (по 20 к.) – 10 р. и 280 пуд. полевого (по 15 к.) – 42 р.; итого 133 р. Уплативши из этого количества 48 р., остается на содержание семейства, состоящего из 4 мужеского пола и 5 женского пола душ, – 85 р. в год, и из этих денег надобно еще поддерживать усадебное строение. Чем тут жить? чем питаться? Очевидно, что здесь надежды должны быть рассчитаны не на земледелие и доставляемые им выгоды, а на те посторонние заработки, о которых говорено было выше.

Из этого видно, в какой степени неоснователен ропот тех господ, которые позволяли себе негодовать на то, что правительство будто бы излишне понизило норму оброка, платимого крестьянами, ибо выгода, получаемая крестьянином от найма земли, до того мала, что он существовать ею положительно не может. Чтобы достать себе соли и кусок мяса в праздник, чтоб одеть себя и свое семейство, он обязан пускаться в заработки, но не так, как пускаемся мы с вами, читатель: у себя в кабинете или через дорогу в департаменте,

а с обречением себя на лишения, на усталость и на всякого рода случайности.

Нет, вы представьте же себе эту жизнь, в которой яйцо считается плодом запретным, а простое коровье масло – непозволительною роскошью, в которой соль составляет предмет мучительных тревог, в которой человек не знает другого ложа, кроме голых досок с постланною на них соломою, другого изголовья, кроме свернутого, кишашего насекомыми полушубка, в которой неизвестно, что значит тепло, а известны или стужа, или жар непереносный. Дворовый человек, который тоже не бог знает из какой глины слеплен, но который успел пожить в таком доме, где ему дается и комната, и постель, и возможность несколько часов в сутки провести у себя, с ужасом оглядывается на эту жизнь и охотно соглашается понизить получаемое жалованье до крайности, лишь бы не быть вынужденным влачить подобное существование. Это просто ад, и мужик до такой степени понимает это, что когда ему выдается такой момент, что его не терзают ни тараканы, ни клопы, ни вши, когда его не печет в упор солнцем и не обжигает сзади и спереди морозом, когда он может успокоить свое тело на чем-нибудь более мягком, нежели голая доска, то он выражается так: «Точно я, сударь, в раю побывал».

«Как же, однако ж, живут таким образом люди?» – спросит меня изумленный читатель. Ну да, так и живут. Живут, и даже песни дерут по праздникам, и подсмеиваются, и под-

шучивают друг над другом, и совокупляются, и даже празднуют по этому случаю...

Да, желание жить, жить во что бы то ни стало – вот застарелая болезнь, которую томится человек, в каком бы положении ни застала его жизнь, каким бы холодом она ни дохнула на него. Обдаёт она его невзгодами, словно ливнем снежным, качает его из стороны в сторону: и к земле пригнет, и опять, словно на смех, даст выпрямиться, и опять ещё пуше пригнет, – и все-то живет человек, все-то цепляется обеими руками за обшмыганный подол своей потаскухи-мачехи. Надежды, что ли, радости ли какие блещут впереди? – нет, дорога жизни стелется до того ровною лентой, что взор без труда проникает в даль на безграничное пространство, и ничего в этой дали, кроме повторения пройденных задов, не усматривает, а все-таки живет да живет себе человек, и даже во всю силу своих легких запротестует против того, кто посягнет на его нещечко. О, сладкая привычка жить! И ни в ком-то ты так сильно не сказываешься, как в русском мужике да в русском литераторе!

Нас, танцующих у Ефремова в «благопристойной» одежде людей, могут еще тешить какие-то словесные турниры, прикрывающие себя пышными именами свободы, прогресса и т. п., но мужику до этих словесных турниров решительно нет никакого дела. Вследствие ли природной ограниченности, или оттого, что он пришибен всякими обстоятельствами, мужик не прозревает умственным оком своим в отдален-

ные перспективы прогресса и желает получить хотя то улучшение, которое доступно его пониманию, и притом получить немедленно. Я думаю даже, что с ним было бы очень трудно сговориться и насчет привлекательности труда, несмотря на то что теория эта, очевидно, построена в его пользах. На что уж, кажется, полезно и общепонятно дело новые земские учреждения, но и к нему он как-то странно относится. На днях как-то бывши в деревне, я разговорился об этом предмете с сельским старостой.

– Ну вот, друг мой, поздравляю: и у вас будут земские учреждения, – сказал я.

– Какие такие учреждения?

– А вот видишь, друг мой: с вас теперь сходит на земские повинности около тридцати семи копеек с души... но прежде я должен тебе сказать, что земские повинности, по предмету своему, разделяются на государственные и земские...

– Так-с.

– Из тридцати семи копеек около тридцати поступают в государственные повинности, так в государственные-то ты не ходи.

– Не ходить?

– Ну да, то есть их не трогай, а вот насчет прочих, как и куда их употребить, об этом будет у нас рассуждение, ну, и мужички в этом рассуждении участие примут.

– Так-с.

– Выборных вам нужно будет изобразить, и выборные избе-
рут от себя гласных...

– Это для чего же-с?

– Да ведь я тебе сказал, любезный, что надобно иметь рас-
суждение...

– Это об семи, то есть, копейках?

– С души, любезный, с души! Пойми ты. Ведь знаешь же
ты русскую пословицу: с миру по нитке – голому рубашка.

– Так-с.

– Да ты понял?

– Отчего не понять... народ сгонять в волость надо будет.

Вот и толкуй с ним. Кажется, на что уж я вразумительно
объяснял, а не понял-таки человек, да и полно. Почему он
не понял? уж конечно, не потому, что трудно было понять,
а просто потому, что не его разума дело. «Про то старшие
знают! про то начальство рассудит, а нам некогда!» – отве-
чает мужик на все вопросы, сыплющиеся на него и сверху,
и снизу, и с боков, и прет себе да прет полегоньку с возом
соломы в Москву.

«Что же из этого следует?» – быть может, спросит меня
благоразумный, но не совсем понятливый читатель. А из это-
го следует одна очень простая вещь, что когда говоришь о
мужичках, то нет никакой надобности ни умиляться, ни при-
седать, ни впадать в меланхолию. Надо смотреть на это по-
чтенное сословие как можно проще, и в настоящее время,
думается мне, достаточно будет с тебя, читатель, если ты до-

подлинно будешь знать, что делает русский мужик и во что ему это его дело обходится. Никогда не мешает иметь правильные и непреувеличенные сведения о предмете, о котором иметь таковые желаешь. Это отсутствие преувеличений, быть может, огорчит несколько любознательного изыскателя, лишит его удовольствия рисовать картинки на розовом масле и вообще идеальничать и поэтизировать, но взамен того оно положит начало чувству более прочному и плодотворному, чувству справедливости. Если идеализация, всегда основанная на поверхностном и неполном знании вещей, помогает нам распускаться в умилениях и мечтах о сближениях, то не надо забывать, что нередко та же самая идеализация ведет нас и к мордобитию. Напротив того, знание вещи необходимо отразится и на отношениях человека к ней, и эти отношения будут именно такими, какими они быть должны. Не будет поцелуев, но не будет и оплеух, не будет любви всепрощающей, но не будет и поучений телесных. Будет справедливость, а покамест она только и требуется.

Но мужики составляют только одну сторону сельского быта; другая его сторона представляется помещиками. Увы! их положение тоже далеко не казисто.

Зимой наши помещики обыкновенно сводят счета. На днях один мой сосед, Елпидифор Кондратьич Птицын, шелкал-шелкал счетами, потел-потел над итогами, да вдруг как фыркнет.

– Что это, друг мой, как ты нехорошо смеешься! – заметила супруга его, урожденная княжна Забиякина.

Но сосед зажал себе нос и, бегая по комнате, испускал какие-то невнятные звуки.

– Да вы знаете ли, что я за прошлый год от хозяйства два рубля тридцать четыре с половиной копейки барыша получил! – произнес он наконец, останавливаясь передо мною. – А? можно с успехом поздравить?

Я и присутствовавший тут же другой сосед, Антиох Никифорович Коромыслов, тоскливо-сочувственно переглянулись между собой.

– Я, с своей стороны, даже убытку рубль две копейки потерпел! – заметил Антиох Никифорович каким-то сладко-пономарским фальцетом, который он выработал себе немедленно после крестьянской эмансипации.

Я тоже сознался.

– А посмотрите, какие я книги завел, чтоб отчетность в порядке была! нет, да вы посмотрите, книги-то, книги-то какие! – продолжал Птицын и в другой раз не удержался и прыснул так, что даже маленькие дети, игравшие в зале, – и те услышали и прибежали посмотреть, как папаша веселится.

В самом деле, весь стол был завален книгами в не совсем изящных, но прочных переплетах. Я полюбопытствовал заглянуть в одну, вижу – разграфлена и сверху написано: «Розина, корова голландская, приобретена по совету известно-

го агронома, надворного советника и кавалера Б***». Сбоку под рубрикой «общие свойства» написано: «Прожорлива и к молоку равнодушна; сначала давала даже до полуведра в день, и довольно сносного, но с течением времени постепенно стала ослабевать и дошла наконец до чайной чашки; между молок ходила целых два месяца и в заключение принесла теленка об двух снастях, которого, в знак признательности, и отправили к надворному советнику Б***». Заглянул я и в другую книгу, тоже разграфлена и носит общее название: «Описание полей экономии отставного штабс-капитана Елпидифора Кондратьича Птицына. Система осьмипольная, принятая по указанию надворного советника и кавалера Б***».

– Что, хороши книжки? – обратился ко мне хозяин. – Да вы прочтите хоть одну... ведь тут, батюшка, целый роман! А вот и самое оное руководство, по которому я всю эту механику в действие производил... овес, батюшка, у меня нынче сам-друг с половиной родился! это нынче-то! нынче-то!

При этих словах Птицын подал мне руководство, составленное тем самым надворным советником Б***, о котором упомянуто выше; но так как я уже был достаточно знаком с этою книжицей, то мог только содрогнуться при виде ее.

– Эй вы, мелюзга! Кликнуть ко мне Романыча! – закричал Птицын детям. – Нет, тут надобно сразу принять средства героические!

Через несколько минут явился Романыч.

– С нынешнего года чтоб у меня никакого хозяйства... ни-ни! – сказал Птицын и посмотрел на нас триумфаторским взглядом.

– Слушаю-с.

– Ни пахать, ни сеять, ни жать... ни-ни!

– Слушаю-с.

– И все эти книги хранить в конторе, как свидетелей моего легкомыслия!

– Ах, mon cher! peut on parler de la sorte!⁵⁸ – пискнула было мадам Птицына.

– Коров продать, сено продать, инструменты продать! скотниц-воровок расчесть! – командовал Птицын. – И чтоб этого духа, чтоб даже следов этого поганства в доме моем не оставалось! Кроме дурака Антипки – чтоб ни одного работника в доме не было!

Птицын, очевидно, пришел в восторженное состояние; мы с Коромысловым удивлялись его героизму, но, признаюсь, все это казалось нам как-то дико. «Как же это, однако ж, без хозяйства быть? – вертелось все в голове, – как это жить в деревне и не видеть, как «золотые колосья» дремлют до земли?»

– Всю землю отдавать внаймы! – продолжал между тем Птицын. – А если никто не наймет, или будут неподходящую цену давать, – ну, и черт с ней! Одни покосы убирать, а если в Москве будут такие же анафемские цены на сено стоять, как нынче, – черт и с покосами!

⁵⁸ Ах, дорогой мой, можно ли так говорить!

Одним словом, это было какое-то всеобщее разрушение, какое-то агрономическое валтазарово пиршество, в заключение которого неожиданно являлось роковое мани-текел-фарес.

Какие мысли шевелились в это время во мне, невольном свидетеле геройской решимости моего соседа? Конечно, прежде всего я подумал: друг! это правда, что ты нажил всего два рубля тридцать четыре с половиною копейки, но вспомни, что у тебя спокойна совесть, вспомни, что ты можешь сказать себе: «Да, эти деньги я нажил своим собственным честным трудом! эти деньги не облиты кровью и потом моих ближних! эти деньги я могу истратить на свои удовольствия, не опасаясь никаких угрызений совести!» Неужели сего не довольно? Неужели и этого утешения мало? По моему мнению, так это просто утеха – первый сорт! Но, с другой стороны, мне представлялся и такой вопрос: чем-то ты жил, друг, при таких доходах? и на какие предметы ты их промотал? То-то, чай, затруднялся! Я был даже так неосторожен, что формулировал вопрос свой вслух.

– А чем живем? – отвечал сосед. – Известно чем: выкупные свидетельства помаленьку продаем! Я ведь, батенька, либерал, либерал ведь я, либерал! идеями тверскими увлекался, в честь Унковского старшего сына Алексеем назвал, Европеус с Головачевым и Сабанеевым от купели у меня воспринимали... вот ведь обстановка-то какая у меня была!

– С’était tout un rêve de félicité!⁵⁹ – вздохнула хозяйка, урожденная княжна Забиякина.

– Жену, батюшка, до восторженного состояния довел! Картину, изображающую членов тверского большинства, над изголовьем у нее повесил! элегию в стихах к Унковскому имел честь посылать и получил от него в ответ собственноручное письмо! вот она какая обстановка-то у меня была!

– Да, обстановка...

– Да уж такая обстановка, что казалось, только сиди да деньги огребай, ан вышло совсем напротив!

– Да-с, этот господин Унковский много нашего брата с сумой по миру пустил! – язвительно пискнул Коромыслов. – Сказывают также, что какой-то тут Кошелев много интриговал и что если б не они, так ничего бы этого не было.

– Ну вот-с, только напивавшись таким манером тверскими идеями, и говорю я жене: «Совестно мне, та chère, с мужичков оброк брать; стану-ка я с ними жить, как с добрыми соседями!» А тут еще, как на грех, вопрос о сближении словий подняли...

– Ах, это была целая цепь ужаснейших обольщений! – вставила свое слово хозяйка.

– И пошел я, сударь, на выкуп; всех крестьян сразу порешил... – Птицын не договорил, словно бы чем поперхнулся.

– Так вы капитал-то и проживаете? – договорил я без церемонии.

⁵⁹ Это был настоящий счастливый сон!

– Мы и проживаем, – повторил Птицын за мною.

– Мы и плазываем! – отозвался, подпрыгивая, старший из детей Птицына, тот самый, который в честь Унковского назван был Алексеем.

Водворилось молчание, то тягостное молчание, которое водворяется всегда, когда один из собеседников сознает себя съевшим гриб.

– А ведь, я думаю, тоскливо-таки жить зимой в деревне? – спросил я, чтобы дать разговору другое направление.

– Помилуйте, какая тоска! да у нас тут такое веселье, что никаких театров не надо!

– Чем же вы занимаетесь?

– А чем занимаемся – полемизируем, сударь, полемизируем! Я полемизирую с своим Ванькой, жена полемизирует с своей Машкой! И какие, я вам доложу, они нам предики и реприманды отчеканивают – просто загляденье! Я даже журналы выписывать перестал.

– У меня на первых порах, как это объявили, так ни одной печки в доме целых два дня не топили! Хотел было к станковому послать, так ведь никто не идет! – сказал Коромыслов и устремил взоры к небу.

– Ирония, батюшка, какая-то в лицах появилась! словно вот так и хотят они прыснуть со смеху, на тебя глядя! – продолжал хозяин.

– Зачем же вы обращаете на это внимание?

– Нельзя не обращать-с. Поймите, что мы здесь точь-в-

точь арестанты живем; выехать в город нельзя – не на что; общества – никакого; ни книг, ни журналов не выписываем: нет средств; занятий зимой – никаких, да и какие тут могут быть занятия, когда в результате выходит два рубля тридцать четыре с половиной копейки! Ну, вот и втягиваешься помаленьку, всматриваешься в выражение Ванькиных лиц, начинаешь полемизировать...

– Неужели же вы никаких ни книг, ни журналов не выписываете!

– Выписывал прежде «Московские ведомости», да и те нынче бросил. Расписывают это, расписывают: и передовое-то сословие, и опора там какая-то, словно вот иногда во сне сытный-пресытный обед видишь, а проснешься – и нет ничего. Так уж пристойнее, по-моему, совсем не дразнить себя...

– Я нынче для людской «Русские ведомости» выписываю, да и то потому, что становой пристав очень рекомендовал, – сказал Коромыслов.

– Встанешь это с утра с раннего, ходишь, ходишь, инда одурь тебя возьмет – за попом для развлечения пошлешь. «А что, батюшка, ведь Гарибальди-то герой?» – спросишь его. «Офицер не робкого десятка, – ответит батюшка, – но в русском войске навряд ли бы храбрость свою оказать мог!» – «А почему вы так думаете, батюшка?» – «А потому главное догадываюсь, что у Гарибальди этого уважения к старшим душа принимать не может, а в русском войске это первейшая

вещь». И пойдет тут у нас разговор, какого нет глупее, и зеваем мы оба, зеваем, покуда не придет Ванька и не спросит иронически: «Не прикажете ли, сударь, водки подать?»

– Но почему же вы думаете, что он спросит непременно иронически?

– А потому, что он очень отчетливо понимает, что я ни на что другое не годен, кроме как водку пить да с батюшкой об Гарибальди пустые речи разговаривать. Он на каждом, можно сказать, шагу проводит параллели между мной и собой и, разумеется, приходит к невыгодным для меня заключениям. Он и сапоги-то вычистит, и самовар-то поставит, и печку-то истопит, а я только и делаю, что слоняюсь день-деньской из угла в угол! Ведь я с голоду помру, если он меня не накормит – так как же ему и не отнестись-то ко мне иронически?

– Душа моя, ты, кажется, начинаешь страдать ипохондрией, – заботливо заметила супруга моего соседа.

– Нет, это не ипохондрия, а настоящая, истинная истина! Ведь мы, батюшка, и детей-то народим, так после не знаем, куда с ними деваться! И воспитать-то их – тоже чужих людей нанимать надо!

Разговор, очевидно, принимал характер самообличения, тем более тягостный, что madame Птицына едва ли не приняла последней выходки своего супруга на свой счет.

– Ну-с, а как вы насчет сближения с народом полагаете? – спросил я, придумывая новую канву для разговора.

– Н-да, это было бы невредно, только так уж не сблизись-

ся, как было при крепостном праве!

– И вы называете это сближением?

– А то какие же другие сближения бывают! У меня нынче летом все овощи из огорода крестьянские мальчишки потаскали, вот я однажды и подкараулил одного. Разумеется, он сейчас стрекача; только я ему вслед: «Да куда же, куда же ты, миленький! поди сюда, пряничка дам!» – «Нет, говорит, ты обма-а-нишь! ты высики-ишь!» Так-таки и не пришел...

– Что же из этого следует?

– А то и следует, что мужик благородных этих чувств не понимает. Вы к нему с благородствами да с лизаньями, а он на суконцо ваше поглядывает и думает про себя: ишь ты! стало быть, барину-то что-нибудь померещилось, коли он с сиволапым мужиком целоваться лезет!

– Нет, вы сегодня решительным мизантропом смотрите. Елпидифор Кондратыч!

– Это оттого, что годовой результат моих хозяйственных распоряжений очень уж меня обрадовал!

– Вот о «почве» нынче очень занятно в книжках рассказывают, – вставил свое словцо Коромыслов.

– Да, и «почва» вещь не вредная, потому что ведь, в сущности, что такое «почва»? Это именно та самая штука, из которой можно сделать двоякое употребление, то есть или высасывать из нее соки, или попирать ее ногами. Надеюсь, что приятнее этого занятия трудно что-нибудь придумать!

В таком тоне продолжался наш разговор довольно значи-

тельное время, и я в сотый раз мог убедиться, что бывают на свете такие щекотливые предметы, в которых нет ни одного места, до которого можно было бы прикоснуться, не почувствовав себя сразу стоящим как бы на горячих углях. Всего лучше было бы вовсе не касаться подобных предметов, но, к сожалению, они сами напрашиваются на язык и до такой степени со всех сторон осаждают человека, что он не успокоится, покуда до конца не растревожит всей накипевшей в его груди боли. Одним из самых неиссякаемых источников подобных жгучих болей будет еще долго служить заживо схороненное крепостное право. Упразднение его до такой степени перевернуло вверх дном все отношения, перемешало все понятия, что большинство заинтересованных и до сих пор находится в изумлении и чувствует себя застигнутым врасплох. Я знал очень многих, которые относились к этой правительственной реформе, по-видимому, очень даже любезно, но странное дело! в то же время я очень явственно понимал, что если верхний этаж у них и произносит льстиво-либеральные речи, то это несколько не мешает существованию какой-то темной преисподней, в которой в эту самую минуту бурчат иные звуки, в которой нечто как будто и захлебывается, и хохочет, и плачет... Воображаю я, как тяжело должно быть этим людям, какую муку должны испытывать они! Если б еще могли они выговориться, могли излить свою желчь! Но нет, они лишены даже и этого блага и волею-неволею, как некую драгоценность, должны хранить в

своих внутренностях свои собственные нечистоты.

Птицын сказал правду: ему скучно, ему просто нельзя жить. У него нет дела, которое он мог бы назвать своим, и отныне он навсегда осужден или полемизировать с Ваньками, или разговаривать с батюшкой о геройстве Гарибальди, или же, наконец, язвительно-жалостным тенором перебирать старую ветошь, безвозвратно потонувшую в бездне прошедшего. И в том, и в другом, и в третьем случаях старые раны только растрavляются, ибо мы не должны забывать, что даже Гарибальди тут не более как отвод и что разговор об нем есть не более как разговор губ, в котором мысль не принимает никакого участия.

Мы склонны раздражать себя всякого рода утопиями, мы постоянно питаем свое воображение на счет прочих умственных сил. Причины такого явления заключаются в совершенной неподготовленности к делу, в полном незнании того материального процесса, сквозь который всякое дело должно пройти в своем естественном развитии. Мы охотно перескакиваем через все препятствия, устраняем подробности процесса и заранее наслаждаемся уже концом неначатого еще дела. От этого-то между нами такое множество и такое разнообразие Хлестаковых. Крепостное право укоренило в нас эту погибельную склонность, положило ей начало, давая нам возможность жить не думая; упразднение крепостного права не только не ограничило ее (как следовало бы на первый взгляд ожидать), но окончательно развило и

довело до громадных размеров. Явились утописты вольнонаемного труда, утописты плодoperемных хозяйств, и, не приступивши еще к делу, уже предвкушали урожаи сам-двадцать и наколачивали какую-то баснословную деньгу. Оказалось, однако, что расчеты не верны, или, лучше сказать, что их даже совсем не было.

Если я посею на десятине земли одну четверть ржи и тут же представлю себе, что эта четверть непременно должна дать мне пятнадцать таких же четвертей, то тут еще совсем не будет дела, а будет только марево, созданное алчущим и жаждущим моим воображением. Но положим, что я и в самом деле, на основании некоторых данных (закрывающихся в хорошей обработке земли, в достаточном ее удобрении и т. д.), имею право надеяться получить эти пятнадцать четвертей, однако и тут еще не будет дела, если я при этом позабыл прикинуть на счетах те издержки, которых стоит мне производство этого хлеба, если я не принял в соображение всех случайностей, которым подвергается сельскохозяйственное дело, в особенности такое дело, которое не имеет еще настоящего установа, которое колеблется и прокладывает себе новое ложе. Большая часть наших новых сельских хозяев именно и руководится этим последним мыслительным процессом в своих агрономических мечтаниях. Очаровательные пятнадцать четвертей до такой степени неотступно мелькают перед их глазами, до такой степени радостно захватывают им дыхание, что они очень искренно убежда-

ются, что между зерном, брошенным в землю, и тем же зерном, убранном в житницу, нет никакого другого процесса, кроме благополучного произрастания. И когда суровая действительность возьмет на себя труд доказать, что в результате нуль все-таки всегда равен нулю, то начинаются вопли и крики.

Вот почему г. Фет так воззрился на крестьянских гусей, произведших в его полях потраву, – он не рассчитывал на такое своеволие, он думал, что стоит ему бросить свое зерно в землю, и не только никакая птица не посмеет прикоснуться к нему, но даже ветер смолкнет и вся природа оцепенеет, как очарованная, в немом созерцании процесса прозябания принадлежащего г. Фету зерна.

Но как бы то ни было, положение наших сельских хозяев далеко не красивое. Доходов нет, капиталов нет, и взамен того громадные пространства никому не нужной земли, громадные усадьбы с парками, с проточными прудами, с дорожками, убитыми щебнем и засыпанными песком! Как заглохнут со временем эти старинные усадьбы, в которых так легко и привольно жилось когда-то! как зазеленеют и заплесневеют эти проточные великолепные пруды, как зарастут эти дорожки! Чем это кончится? чем это кончится? – спрашиваешь себя с невольною тревогой. Неужели...

А отставные откупщики, отставные менялы, отставные предприниматели различных *maisons de tolérance*⁶⁰ весело

⁶⁰ домов терпимости

потирают себе руки и ждут не дождутся, когда ветхая плотина, кой-как еще поддерживаемая остатками хвороста, окончательно прорвется и река неудержимым потоком ринется вперед, унося в своем беспорядочном течении всю зазевавшуюся старину. Но успокойтесь, милые кровопийцы! вы тоже не много наколобродите на свой пай! Ведь и в ваших головах ума-то не пуды, а золотники! Почудесите мало-мало, повыводите греческих фронтонов, понастройте беседок в виде «храмов удовлетворения», повешаете на стенах картин Айвазовского и сойдете-таки, сойдете же под конец в общую могилу, dans la fosse commune.

Я знаю, мне заметят, что все написанное мной выше отнюдь не составляет хроники так называемой «общественной жизни», но нахожу, что замечание это будет несправедливо. Мы извратили смысл слова «общество»; мы привыкли искать проявлений общественной жизни совсем не там, где их искать следует. Мы представляем себе «общество» чем-то вроде многоэтажного здания, в котором признаки жизни замечаются только в бельэтаже и в rez de chaussée,⁶¹ а все, что обитает в так называемых подвалах и чердаках, без всяких разговоров полагается неживущим. Быть может, в древности оно и было так, но в настоящее время это заблуждение довольно грубое. То есть, коли хотите, жизни-то собственно, той стройной, счастливой и безмятежной жизни, к которой

⁶¹ в первом этаже.

с одинаковым пылом рвется все живущее, нет еще нигде: ни в бельэтажах (было какое-то подобие, да сплыло), ни на чердаках и в подвалах, но есть уже позыв на жизнь, есть запрос на нее, и этот запрос всего живее чувствуется именно в тех забытых помещениях, которые мы так неосновательно полагаем совсем неживущими.

Собственно, так называемое «общество» представляет слишком мало интересного, чтобы стоило много распространяться об нем. Оно живет своею обычною, бесцветною жизнью; порою, от нечего делать, фантазирует, порою, тоже от нечего делать, эти же самые фантазии преследует. Вечная жертва колебаний и судорожных подергиваний, оно наглядным образом свидетельствует о несостоятельности и о совершенном отсутствии действительных и серьезных жизненных основ. Точка зрения его беспрерывно меняется; порой в нем замечаются проблески света, порой царствует густая, безрасветная мгла, но радоваться мгновенным проблескам, надеяться от них чего-либо хорошего столь же мало основательно, как и жаловаться на мглу. Во всяком случае, говорить тут нечего, да и не об чем, а надо просто терпеливо ожидать, покуда вся эта искусственная и случайная ерунда не изгибнет сама собою.

В настоящее время, например, термометр так называемого «общества» указывает на точку соглядатайства – что могу сказать я об ней? Что эта точка противна? Но чем же она противнее так называемой либеральной точки? И не скрыва-

ется ли в самом либерализме этого выживающего из ума общества зачатков будущего соглядатайства. В сущности, все его произвольные фантазии, как либеральные так и соглядатайские, должны быть безразличны, ибо все одинаково ничего не обозначают; и если есть еще что-нибудь горького и страшного в этой неурядице, так это именно то, что она не встречает нигде отпора, что новая, чуть-чуть пробивающаяся жизнь еще слишком слаба, чтоб сделать возможным безразличный взгляд даже на неурядицу.

Да; мы должны сознаться, что не можем не различать. Есть ерунда размазисто-благонамеренная, и есть ерунда пронзительно-неблагонамеренная; мы должны желать первой и опасаться последней. А так как черта, которая отделяет обе эти ерунды, до того тонка, что нельзя сказать, где кончается первая и где начинается вторая, то очевидно, что мы обязываемся постоянно жить между страхом и надеждой, что вот-вот благонамеренная размазистость сменится неблагонамеренною пронзительностью. Да, трепетать мы обязаны, но говорить об ерунде все-таки никакого резона нет.

На этом же основании я хотел бы вовсе умолчать и об нашей литературе. Питомица бельэтажей, она невольно следует за всеми колебаниями мнимого общества, которого интересы исключительно и представляет. Но я не могу молчать, потому что русская литература есть именно та проклятая, но милая язва, которою, по-видимому, вечно суждено болеть моему сердцу. Есть что-то странное в этой привязанности к

литературному кагалу. Понимаю я, очень понимаю, что ничего он не может вынести на свет божий такого, что не было бы насквозь проедено молью, а между тем сердце влечет к нему невольно, и стучит оно, бедное, тук-тук, словно заранее предвкушает таинственные сладости любовного свидания. За что так люблю я литературу – не знаю, но полагаю, что за хороший слог и за правильную орфографию.

Поэтому, не огорчаясь господством соглядатайства в так называемом обществе, я безмерно огорчаюсь этим явлением в литературе. На днях, например, я прочитал в одном журнале повесть начинающего писателя, и не знаю почему, но мне показалось, что я провел несколько часов в обществе милого, образованного и талантливого квартального надзирателя. Это меня огорчило. Не потому огорчило, чтобы я находил сравнение с квартальным надзирателем невыгодным для русского литератора, но потому, собственно, что я (говоря слогом «Московских ведомостей») осмеливался думать, что оба эти должностные лица могут приносить пользу каждый на своем месте.

Помнится, некогда («Современник» 1863 г., № 1–2, «Петербургские театры») я находил живую органическую связь между целями, которые преследует искусство, и теми, которым служит полиция. «Цель искусства – красота, цель полиции – порядок; но что такое красота? что такое порядок? Красота есть гармония, есть порядок, рассматриваемый в сфере общей, так сказать, идеальной; порядок, в свою оче-

редь, есть красота... красота, так сказать, государственная». Вот что говорил я год тому назад, и так как не отрицаюсь от этого взгляда и доднесь, то весьма натурально, что не могу порицать его и в начинающих моих собратях по ремеслу. Тем не менее не знаю почему, но я совсем не был бы огорчен, если б в применении этого взгляда, в проведении его в литературу замешалась некоторая непоследовательность. Мне кажется, что это даже несколько бы не отняло цены у дебюта молодого писателя.

Я очень уважаю сословие городских и очень дорожу их мнением в той сфере, в которой они действительно компетентны. Поэтому, когда хожалый, встретив меня на улице, потребует моего содействия к изловлению мазурика, я, как добрый гражданин, окажу ему это содействие от всей полноты моего сердца и буду горд, как павлин, если он поощрит меня за это содействие словом «молодец». Но я не знаю... если этот хожалый... прочтет мою повесть... И за нее, собственно... скажет «молодец!»... Я не знаю, я, быть может, и сконфужусь. Не потому совсем сконфужусь, чтоб думал о хожалых непочтительно, а потому, собственно, что в литературном деле, позволительно думать, они не всегда могут быть компетентными судьями.

Но, конечно, это только предрассудок, а в наше время, как известно, предрассудки тают, как мартовский снег под лучами весеннего солнца. Совершенная зрелость, законченность, несомненность и разрешенность господствуют всю-

ду – удивительно ли, что те же самые свойства обуревают и головы юных писателей и преждевременно сгоняют румянец с их щек? Но нельзя не сказать, что эта юная запальчивость, эта тревога чувств, это изобилие текущей в жилах крови, которые преимущественно все-таки остаются роковой принадлежностью очень молодого таланта, тоже имеют свою неотразимую прелесть. Читатель, быть может, и видит, что молодой человек горячится, что перед глазами его мелькает марево, но он не сердится и не негодует, потому что и эта горячность, и это марево носят на себе признаки свежей и изобильной силы и в известных случаях составляют драгоценнейшее и ничем не заменимое достояние. Тут самые бросающиеся в глаза недостатки, как-то: неумение совладать с своим материалом, растянутость, ненужные отступления, излишнее резонерство и т. д. – все служит признаком силы, все свидетельствует о ее несомненности. И читатель, по большей части, не ошибается в своих симпатиях и не раскаивается в своей снисходительности... Но я положительно не знаю более горького горя, как то, когда начинающий писатель с первого же разу является совсем мастером своего дела. Такому писателю я ничего не могу предвещать в будущем, ибо ему уже некуда развиваться, ибо он завял и сморщился при самом своем рождении...

Читатель! это правда, что я говорю с тобой обвиняками, но надеюсь, что ты поймешь то чувство, которое заставляет меня не называть никого.

Но ты поймешь также, почему я не имею в настоящую минуту ни малейшей охоты говорить ни о так называемом обществе, ни о литературе, которая служит естественною его представительницей. О том и об другой я предоставляю себе побеседовать в следующей книжке.

<X. Март 1864 года>

На свете не всё же мальчишки; не всё жулики и демократы. Рядом с тем молодым поколением, против которого ратуют московские публицисты, растёт другое, на котором с доверчивостью и любовью могут отдохнуть взоры их. И если бы И. С. Тургенев попристальнее следил за нашею современностью, то, нет сомнения, что от наблюдательного взора его не ускользнуло бы это новое явление русской жизни. Это тем более вероятно, что уже в изображении молодого Кирсанова он обнаружил некоторые признаки знакомства с ним.

Это особенное молодое поколение, не имеющее ничего общего с так называемыми жуликами, я назову «мальчиками».

Хотя «мальчишки» не со вчерашнего дня завелись на Руси, однако я имею полное основание называть их явлением новым. Нов не факт собственно, ново его положение, нова та роль, которую он завладел среди общего жизненного круговорота. И вчера были «мальчишки», но вчера их гладили по головке, их называли умниками, им обещали ляльки; сегодня – они гладят по головке, они называют умниками, они обещают ляльки. Роли за ночь переменялись. Старые драбанты расшаркиваются, старые драбанты слоняются по передним, вздыхают и потеют в интимных беседах с лакеями и сторожами; старые драбанты вопиют умиленными голоса-

ми и ходатайствуют... Молодые драбанты возлежат, задравши ноги на стол; молодые драбанты снисходительно выслушивают, поощряют и обещают... Молодой драбант улыбнется – у старого сердце засмеется от умиления; молодой драбант учинит невежество – старый драбант допытывается, отчего окрестность заблагоухала розами; молодой драбант наморщит брови – у старого насквозь цепенеет желудок; молодой драбант протянет руку – старый уж ловит ее, ловит с энтузиазмом, но в то же время и с осторожностью, как будто он хочет сказать: «Я вне себя, но я не смею!» Разве это не ново? разве это бывало когда-нибудь видано?

Если б я был на месте московских публицистов, то взглянул бы на «мальчиков» – и утешился бы. Я позабыл бы о всех своих горестях: и о том, как, будучи учителем латинского языка, вынужден был трепетною рукой ставить полный балл мальчишке, который склонял *mensa, mensis, mensorum*, о *mens'e*, но зато провозглашал себя прогрессистом, и о том, как, будучи учителем российской словесности, я должен был воздержаться от телесного наказания даже тогда, когда некий кадет на публичном экзамене, вместо того чтоб отвечать на билет, во всеуслышание гаркнул: «Величайший из критиков новейшего времени, Кроличков...» Повторяю: я всё забыл бы, потому что далеко не все пропало. Я взглянул бы на «мальчиков» и увидел бы в них именно тот прочный залог неторопливого преуспеянья, о котором тоскуют их публицистские души.

Я рассуждал бы так: «Старых драбантов жалеть нечего, ибо они в течение всей своей многовислой жизни ничего, кроме яичницы, сотворить не сумели». И не то чтобы яичница была противна моей публицистской душе, но досадно и горько, что, сотворивши яичницу, старые драбанты не умели ее отстоять. Между тем у молодых драбантов руки молодые, искусные и проворные; этими руками они успевают не только отстоять какую угодно яичницу, но даже сумеют отыскать в ней какой угодно принцип.

Ввиду такого результата, я пошел бы даже дальше на пути самоутешения: быть может, я простил бы даже «мальчишкам»...

Но увы! я не московский публицист и потому не имею достаточных поводов для заявления «мальчишкам» о своем сочувствии. Признаюсь, во мне нет даже той прозорливости, которая необходима для того, чтоб усматривать в них будущих великих общественных деятелей. По правде сказать, я просто думаю, что это мразь.

Когда я сравниваю теперешних молодых драбантов с прежними, отживающими свой век, так делается совестно и горько за самого себя. С каким легкомыслием поражал я тебя, о добродушное, развеселое российское меренье! с какою несправедливою жестокостью погружал я свой шурф в то зыбкое болото, которое ты именовал своей жизнью! Да; только теперь я вижу, что и в самом запустении может усматриваться нечто трогательное, чуть-чуть даже не пленитель-

ное; только теперь я понимаю, как много было в тебе привлекательной гадости, мой старый, добродушный драбант! Ты был бездельник, но ты был мил, и, конечно, сам прежде всего был бы удивлен, если бы кто-нибудь объявил тебе о том, что ты бездельник. Эта непосредственность бездельничества выкупала многое. Тот еще не весь злодей, кто бьет с маху; тот злодей, кто дерется с вывертами, кто бьет и при этом зеленеет, бьет и при этом чувствует, как томительная, почти сладострастная судорога пробегает по всем его суставам... Да, я был неправ! Сии люди были просто юмористы, и если их юмор был невысокого сорта, если он принимал по временам даже мрачные тона, то это было качество случайное, не захватывавшее сущности самого юмора. Увы! я еще не понимал, что может существовать иной юмор, юмор беспощадный и хладный, юмор, который приведет в ясность и возведет в перлы создания те противоестественные и противообщественные стремления, которые в старых драбантах являлись в беспорядочном и бессильном виде!

Когда я начинаю говорить о «мальчишках», то чувствую, совершенно отчетливо чувствую, что во мне происходит что-то нехорошее. И кровь закипает в жилах, и желчь поднимается, и все кажется, что как бы я ни усиливался отыскать здесь какую-нибудь примиряющую черту, всякий труд в этом смысле будет напрасен. Откуда это? Разве они не дети отцов своих? Разве они не уроженцы той исстаринной яичницы, на которую мы привыкли взирать с тою же доверенностью, с какою

устрица взирает на свою раковину?

Да; они дети отцов своих, но дурные, растленные дети; они аборигены той же яичницы, но аборигены неблагодарные, отрекающиеся от сосцов, которые питали их. В своем ренегатстве эти люди идут до самых крайних пределов: они посягают на целомудрие своей матери, они из яичницы усиливаются устроить какой-то отвратительный «финизерв» и даже мечтают кого-то обольстить этою неслыханною смесью.

Но яичница только тогда имеет свой оригинальный вкус, когда она в самом деле яичница, когда в ней нет никаких несвойственных подмесей. Горе тому, кто будет отыскивать в ней способность развиваться и совершенствоваться и на основании этого произвольного предположения возымеет мысль обкормить ею вселенную. Он не достигнет своей цели ни под каким видом и в то же время вконец испортит неприхотливое это блюдо; он никого не обманет, но в то же время отчаянные его потуги, быть может, и не пройдут без горьких последствий для тех, которые волею или неволею вынуждены ограничивать себя скудною, обязательною трапезой.

Вот какое противоестественное и недолжное дело задумали «мальчики»!

Я понимаю, что яичница не может не нравиться им: она воспитала их юность, с нею связаны их воспоминания, на ней зиждутся их виды в будущем. Поэтому проще всего было бы откровенно признать себя сыном яичницы и продолжать бес-

трепетно достославное дело белокурой древности. Но «мальчики» прозорливы и очень хорошо понимают, что действовать так прямо нельзя. Во-первых, яичница всем надоела, во-вторых, она местами даже и попротухла. Следовательно, надобно ее подправить, надобно перемешать желтки с белками так, чтоб издали казалось как будто нечто новое. И вот начинается та безнравственная и в существе даже не умная работа, которой весь смысл заключается в том, чтобы отводить глаза и подменивать одни шары другими. Начинается раскапыванье принципов даже в таких трущобах, которые только потому и живы были, что никаких принципов не предъявляли, ни о каких принципах не сокрушались; начинается приведение к одному знаменателю такой среды, которая потому только и была сколько-нибудь терпима, что никакого знаменателя не признавала, кроме того, который падал ей сверху, в виде грома, града, труса и молнии; начинается бессмысленное подтягиванье, придумываются неслыханные самоновейшие термины; юные лилипуты копошутся и взаимно друг друга ободряют и в то же время взаимно друг друга давят...

Работа неискusstная и напрасная, повторяю я, но это не мешает ей быть в то же время и в высшей степени вредною.

Уже одно то, что она совершенно непроизводительна, достаточно свидетельствует о ее вредности, ибо мы совсем не в таком излишестве обладаем досугом, чтобы проводить время в переливанье из пустого в порожнее и в заштопыванье совсем разлезшихся ветошей. Но это бы еще терпимо, – де-

ло в том, что подобного рода предприятия никак не ограничиваются одною отрицательною стороною деятельности, но стремятся насильственно остановить развитие действительно живых сил общества, бесцеремонно поворачивают последнее к бесплодному и обязательному повторению задов и вообще становятся перед ним глухою стеной.

Если общество изверилось в старые формы жизни и, познавши всю тщету их, прокладывает себе новое ложе, и если при этом оно встречает на пути своем такие препятствия, которые можно преодолеть только с бою, то само собою разумеется, что оно не остановится перед ними и все-таки будет продолжать пробивать искомое ложе. Но разумеется также и то, во-первых, что борьба с препятствиями отнимет много полезного времени и бесплодно истребит много сил, во-вторых, что самое направление ложа может подвергнуться более или менее значительному отклонению и, в-третьих, наконец, что борьба, как бы она ни была скоропребоящая, никак не совершится без того, чтобы не оставить после себя горького осадка, который далеко не благоприятно отзовется в будущем. В этом смысле задерживание общества на тех битых колеях, из которых оно давно рвется выбиться, составляет труд не только глупый, но и чреватый всякого рода мрачными последствиями. Тут даже не может быть речи ни о незрелости, ни о неосновательности и преждевременности его запросов. Пустой запрос только украсится вследствие насильственных задержек, предоставленный же своим собственным силам,

он изноет сам собой, как изнывает дряблый мартовский снег под дыханием первого весеннего ветра. Но разумное и живое дело не изгибнет никогда, хотя легко может случиться, что ненужные задержки извратят на время его характер и вынудят пролагать себе дорогу волчьими тропинками. Вообще борьба с препятствиями всегда предполагает в результате или падение, или торжество. Но так как падения для живого и разумного дела не может быть, то остается в виду одно торжество, неперемненное, неотразимое торжество... Будущность ни в каком случае не привлекательная, ибо из всех плохих дел на свете самое плохое – это, конечно, так называемое «торжество», по какому бы поводу оно ни праздновалось и что бы за собою ни приводило.

Не нужно падений, но не нужно и торжеств. Рациональная жизнь никогда не празднует побед, но течет своим обычным, разумным порядком. С словом «торжество» в каждом уме невольно возникает понятие о побежденных, с поникшими головами следующих за колесницею триумфатора (а есть и такие чудачки, которые следуют даже и не с поникшими головами, а как бы приплясывая), о возмездиях, о великодушиях и тому подобном дрязге, придуманном для увеселения и отуманивания нищих духом и праздношатающихся. И если роль триумфатора еще может для людей полудиких и грубых иметь некоторую привлекательность, то именно только потому, что они слишком часто забывают, что рядом с этою ролью есть еще другая, неизбежная ее спутница – роль вла-

чимого за колесницей, которая уже ни в каком случае ничего завидного в себе не заключает.

Почему именно должность глухой стены судьба предоставляет исправлять именно Ивану, а не Петру, – это одна из тех тайн, проникнуть которые очень трудно. Во всяком случае, эта должность совсем не завидная, и вакантные места этой категории пополняются из тех, покамест еще плотных рядов, которые образуют собой так называемое отребье человеческого рода. Это именно отребье, потому что оно одно только и может пойти па такое занятие, которое в одно и то же время и пошло, и подло, и невыгодно. Пошло – потому, что не видит перед собой никакого ясно определенного результата; подло – потому, что мешает обществу в его лучших инстинктах; невыгодно – потому, что дело все-таки оканчивается неизбежным разрушением стены. Очевидно, что надобно или быть доведенным до полного и притом злобного отчаяния, или же обладать огромным запасом внутреннего растления, быть именно дрянным отребьем с головы до ног, отребьем до мозга костей, чтобы веселыми ногами идти на подобное предприятие.

Но оставляю этот крупный разговор и вновь обращаюсь к «мальчикам». Надеюсь, что был достаточно серьезен и что «мальчики» должны быть довольны тем, что даже и по поводу их есть возможность вести более или менее философический разговор.

Но прежде нежели продолжать, я считаю не лишним сде-

лать небольшую оговорку. Говоря о «мальчиках», я буду вынужден нередко прибегать к выражениям, вроде «благонаравие», «благонамеренность», «готовность», «почтительность» и пр. и пр. Прошу читателя знать наперед, что все эти выражения я буду употреблять отнюдь не в собственном их смысле, а в ироническом. Предупреждаю об этом в том внимании, что такое предупреждение должно избавить меня от разных неполезных недоразумений и в то же время дать речи моей тот характер, который она действительно имеет.

Мне ставили в вину, будто я преследую слово «благонамеренность» (и притом совершенно безвинно) и даже будто бы имею тайное намерение изгнать из людской памяти самое понятие, которое в этом слове заключается. Это клевета. Я, собственно, не имею ничего против этого почтенного выражения и преследую лишь иезуитизм, который им прикрывается. Вообще, на мой вкус, ни один лексикон не представляет никакого выражения, которое можно было бы назвать неприличным, но человеческая злоба так велика, что нередко прибегает к самым почтенным словам для изъяснения понятий совершенно неприличных. Отсюда тьма-тьмущая преднамеренных извращений, искажений, которые ни под каким видом терпимы быть не могут. Конечно, такие извращения допускаются вовсе не из вражды к слову, но с целями более дальновидными и хитрыми. Бывают странные примеры в истории: иной человек до того себя отрекомендует, что и сам наконец начинает секретно сознаваться, что не было бы ре-

шительно никакой несправедливости, если бы за его деяния кто-нибудь пришиб его, как кошку. Но открыто выразить это он не хочет, во-первых, потому что скромн, а во-вторых, потому что умирать никогда не поздно. Он решается жить, но в то же время очень хорошо сознает, что жить в том виде, как он есть, совсем невозможно, потому что никакой, даже самый простодушный человек не имеет ни малейшей охоты служить общей ходячей лоханью. Нужно, стало быть, добыть себе маску, нужно прикрыть себя такую броней, которая представляла бы некоторый *decorum*,⁶² держала бы в решпекте слишком любознательные и развязные руки и представляла бы защиту от заушений. Вот эту-то неловкую броню и представляют те самые слова и выражения, о которых мы с вами ведем теперь речь, читатель. А так как это броня всё <же> фальшивая, и люди, добивающиеся ее, могут постепенно весь наш академический словарь перепортить, то мудрено ли, что я, как издавна одержимый любовью к отечественной словесности, преследую подобные поползновения и стараюсь возвратить словам настоящий их смысл?

Но для того чтобы ближе познакомить читателя с «мальчиком», я попытаюсь начертать здесь примерную биографию одного из них. Назову моего героя хоть Чубиковым.

Вася Чубиков, которого вы нынче видите распространяющим из себя во все стороны свет, когда-то был маленьким. В то время, когда он родился, в природе не происходило ни-

⁶² благопристойный вид.

чего величественного: солнце не померкло от стыда, звезды не падали как листья от жалости, и завеса не разодралась от негодования. Тем не менее так как родины были легкие и быстрые, то родители заключили, что и мальчик будет легко и быстро происходить в жизни. И действительно, как только родился маленький Вася, так тотчас же попросил ляльки, а так как вместо ляльки ему с двух сторон закатали изрядную дозу ромашки, то он заревел благим матом и обнаружил при этом ту голосистость, которую обнаруживают вообще младенцы, предназначенные природой совершить в жизни что-либо очень великое.

Родители у Васи были чистенькие и миленькие: рара служил и получал чины, татап занималась поддерживаньем родственных и других связей; сверх того, они имели и порядочные средства. Поэтому воспитание Васи было самое блестящее. Ничто огорчительное не поражало души его, и он рос в полном неведении, есть ли на свете иные рубашечки, кроме батистовых, и иные курточки, кроме бархатных... С самого раннего детства он не знал другого названия, кроме «mon bijou» и «mon petit coeur»;⁶³ когда у татап бывали гости, его выводили напоказ, и он грациозно расшаркивался сперва одной ножкой, потом другой; гости гладили его за это по голове и говорили: генералы – «Э! да какой у вас воин растет!», а штатские – «Посмотрите! ведь уж он и теперь дипломатом смотрит!» И, таким образом, Вася почти грудным

⁶³ «мое сокровище» и «мое сердечко».

ребенком уже получил весьма прочные начатки того пошло-гласия, которому впоследствии с таким успехом посвятил целую свою жизнь.

И действительно, мудрено было не заразиться в этой атмосфере. Куда ни оборотится Вася – пошлость так и кипит вокруг, так и выступает, словно пот обильный, из всех пор. При таком положении дела пошлость делается законом, становится правом, руководящею нитью жизни. Рано начал помышлять Вася о том, что хорошо бы сделаться «воином», но не худо бы, пожалуй, и «дипломатом» быть. Что такое «воин», что такое «дипломат» – он хорошенько не сознавал и в простосердечии своем мыслил, что это продолжение того же бархатно-курточного периода его жизни, в течение которого он был так счастлив. Любознательности в ребенке было мало; а если и проявлялись по временам слабые ее признаки, то они очень скоро увядали, благодаря глухой и безответной атмосфере, в которой он жил. Его никогда не интересовал вопрос, что это за конфета, которую он ест, откуда она и из чего сделана, что такое курточка, которую он носит, и что за образ, перед которым он каждое утро и каждый вечер повторяет заученные молитвы: он просто думал, что это какие-то первоначальные тела. Но этот недостаток здорового реального элемента в жизни с лихвою восполнялся обилием элемента мечтательного и иссушающего. Целые фантастические истории одна за другой слагались в воображении Васи, истории, в которых тщеславие и чванство были на первом

плане, а галуны, побрякушки и всякого рода шитье играли роль орнаментов. И Вася уже серьезно начинал задумываться над тем, чем ему лучше быть, воином или дипломатом, когда вопрос этот, помимо его воли, был разрешен родителями.

Вася был мальчик хилый, и потому родители решили, что ему всего удобнее избрать дипломатическую карьеру. И вот, на тринадцатом году, он был отдан в какое-то очень милое заведение, имевшее специальностью выпускать из недр своих совершенно готовых общественных деятелей. И действительно, заведение имело свою историю, которая как нельзя более подтверждала такую репутацию; воспитанники его славились изящными манерами и безукоризненным знанием французского языка, так что про них говорили: «Это почти что пажи!», сверх того, заведение уже поставило благодарному отечеству несколько знаменитостей, на которых указывали пальцами, и всякому родителю было лестно сказать: «Вот и мой Сенечка будет такой же!» Одним словом, Васенька очутился здесь в той самой сфере, к которой он был, так сказать, предназначен самою природою, и, бросив воинственные поползновения, окончательно посвятил себя дипломатии.

Учили в заведении плохо: всему понемногу, и притом такому «всему», после которого в самой благоустроенной юношеской голове могла оставаться только чепуха и белиберда. Было тут что-то похожее и на законоведение, и на историю, и

на математику, и на политическую экономию, и даже на философию, но все это преподавалось в таком благонаравно-сокращенном и искаженном виде, что даже в глазах самих воспитанников это были совсем не науки, а только «предметы», в которых ежемесячно каждый обязывается получить, по мере возможности, высший балл. Даже профессора были какие-то чудачки, которые как будто для того только и нанимались, чтобы в лицах показать воспитанникам, до какого прискорбля могут доходить люди, лишенные прекрасных манер. Зато в танцевальном классе дело шло самым успешным образом; профессор был человек ловкий, обладавший изящными манерами, и тем с большим успехом посвящал своих юных питомцев во все тонкости хореографического искусства, что эти последние, еще прежде поступления в заведение, были самым основательным образом по этой части подготовлены. Такие же точно утешительные результаты оказывались и по части нравственности.

Нравственностью отличались все вообще воспитанники заведения, но не в том смысле, в каком понимают это слово угрюмые моралисты, а нравственностью, так сказать, изящною. Главные признаки ее заключались в милой предупредительности, в почтительном выслушивании наставлений старших, в умении, по зову наставника, бесшумно и не торопясь перебежать в одно мгновение ока с одного конца залы на другой, в искусстве смотреть в глаза старшим доверчиво и прямо, но не дерзостно и т. д. Рядом с этим казенным кодек-

сом, как необходимое к нему дополнение, развивался воспитанниками свой собственный нравственный и умственный кодекс, отличительными признаками которого служили: *élégance, sentiments chevaleresques* и *culte des dames*.⁶⁴ Этот кодекс развивался по субботам и воскресеньям, когда воспитанников отпускали по домам. Милые *cochonneries*,⁶⁵ изящно разыгрываемые на сцене Михайловского театра, с самых юных лет составляли исключительную умственную пищу питомца; воображение его возбуждалось самым неестественным образом, и притом не тем собственно, что видели его глаза и слышали уши, а, так сказать, по поводу слышанного и виденного. Такого рода возбуждения самые тлетворные и в то же время самые паскудные, ибо французские драматические *cochonneries* дают зрителю не действительность, которая, как бы ни была гнусна, все-таки ограничивает воображение, а только заставляют угадывать эту действительность, манят и дразнят воображение и вынуждают его совершать самобытные подвиги творчества. И точно, Вася уже в школе очень твердо знал, что у женщины есть такие милые подробности, которые, вместе с французским языком, делают ее существом в высшей степени шикарным.

Вася всем нравился, у всех успел заслужить. Он нравился старшим своею почтительною преданностью и откровенною доверчивостию взгляда. По-видимому, Вася никогда не

⁶⁴ элегантность, рыцарские чувства и культ дам.

⁶⁵ свинства.

огорчался, но всегда был весел и за все благодарил. Он хорошо понял, что в стенах заведения заключается зерно его будущности, и потому вполне сообразовался и с духом, в нем господствовавшим, и со всеми его требованиями. В то же время и дома он успевал исподволь обделывать свои дела, был ласков и любезен с родными, изысканно-предупредителен с покровителями и сильными мира, целовал ручки у барынь, в особенности же у пожилых, и как-то робко, но в то же время и горячо нажимал при этом губами. По вечерам (в праздники) он не прочь был покутить с товарищами и за это получил от них название лихого малого. Одним словом, будучи семнадцати лет от роду (почти накануне своего выпуска из заведения), он уже всех пленил. Милые старушки, которые еще не решились сделаться старушками, просто млели при виде его, милые старички уже угадывали в нем будущую опору и, взирая на его вечно ясное лицо, говорили: *quel charmant enfant!*⁶⁶ Родители радовались и втихомолку проливали слезы.

Вася мечтал и что-то обдумывал. Перед умственным его оком расстилалась целая бесконечная карьера, усеянная богатством и почестями и обрамленная, в виде орнаментов, картинками паскудно-игривого содержания. Разумеется, что и мечтал-то он как-то рутинно, то есть представлял себе карьеру не в ином каком-нибудь виде, а именно в том, в каком таковая была сделана дядей Иваном или кузенком Simon;

⁶⁶ что за очаровательный ребенок!

но разве оно и могло быть иначе при той рутинной обстановке, которая шаг за шагом преследовала его детство? Ум, рассудливость и пытливость были вычеркнуты в нем из личности еще гораздо прежде вступления его в настоящую, заправскую жизнь; всем завладело, все полонило изворотливое, честолюбивое и похотливое воображение. И к удивлению, Вася не только <не> пострадал от такого неестественного, почти смрадного состояния своей головы, но сразу почувствовал себя как нельзя лучше. Должно думать, что голова эта была как раз у места на плечах своего владельца, а сам владелец как раз у места в той сфере, где ему приходилось жить и производить фурор.

Наконец Вася оставил школу и, сопровождаемый изрядным чином и приличным напутствием от школьного начальства, оделся у Шармера и расчесал себе пробор на затылке. Наступил 1856 год, год, который, без сомнения, останется надолго памятным в истории нашего общественного развития. В воздухе пахло уничтожением крепостного права; дворяне и литература благородным манером толковали о каких-то новых экономических началах, о гласности и устности, о том, что государству нужны слуги молодые и бодрые, и о том, что Россия есть золотое дно. Начальство улыбалось и даже поощряло эти толки, ибо видело в них не что иное, как упражненьца на заданные темы. Оно само как-то расползлось и почувствовало себя снисходительным. «Что ж, – думалось ему, – довольно-таки взаперти посидели, пускай и по-

гуляют немножко. И действительно, началось гулянье великое, и продолжалось оно до тех пор, пока на смену улыбающемуся поколению не явилось поколение новое, уже не улыбающееся, но вооруженное «принципиями» и «мероприятиями», поколение, которое, отгулявши на скорую руку свое гулянье, в непродолжительном времени положило таковому конец.

Вася, как круглый невежда, ничего из всего этого не понял, кроме того только, что Россия есть золотое дно и что государству нужны люди молодые и бодрые, но этого скудного умственного материала было для него достаточно, чтоб пленять и приводить в восторг неприхотливых слушателей. Эту идею (вместе с другою – о необходимости уничтожения инспекторского департамента гражданского ведомства) он развивал везде: и в канцелярии, и у Дюссо, и в салонах. «Mop cher, – говорил он, – как посмотришь да сообразишь все это, так ведь просто изумительно, какую наше старичье чушь наделало!» и, конечно, был бы первый весьма сконфужен, если бы кто-нибудь был настолько догадлив, чтоб спросить: а какую же такую чушь старичье наделало? Но тогда на этот счет было просто: вопросов никто не делал, все верили на слово и восклицательную форму считали лучшею и удобнейшею для выражения человеческих мыслей. Вася и это хорошо понял, и тем более не скупился на воздыхания и восклицания, что эти последние, как известно, никогда никому ничего не стоили. Напротив того, Васе они принесли даже положитель-

ную пользу, ибо при помощи их он успел себе составить репутацию юноши либерального и не чуждого «современных идей».

Одним словом, герой наш, с помощью способов весьма дешевых и незамысловатых, сумел пристроить себя в жизни довольно прочно. Он уже успел скомпоновать несколько проектов, из которых в одном был с замечательной ясностью разработан вопрос «о предоставлении частным лицам, в губернских и уездных городах обитающим, права открывать танцевальные и увеселительные заведения, не испрашивая на то разрешения начальства»; и хотя проекты эти были оставлены без последствий, однако на «перо» было обращено внимание. Замечено было, что Вася малый со смыслом, что перо у него бойкое, и даже идеи хоть не совсем удобные (как будто гнусные), но оригинальные. Очевидно, что Вася крепчал и мужал и что в голове его назревал некоторый злокачественный нарыв, из которого готова была развиться какая-то целая система. «*Mon cher!* надо администрировать посредством увеселений – *c'est le système autrichien et c'est le seul bon!*»⁶⁷ – проповедовал он, граня тротуары по Невскому, и так как это была единственная сфера, в которой он чувствовал себя достаточно приготовленным, то и развивал свою идею научным образом и во всех подробностях. Сержи, Мишели, Леоны и Юшки слушали его и спрашивали, не предположено ли по его проекту каких-нибудь инспектор-

⁶⁷ это австрийская система, и это единственно хорошая система!

ских мест по части административных увеселений.

Крестьянская реформа несколько осадила Васю и остудила его либеральные увлечения. При одном известии о том, что дело кончено, мамап Чубикова мгновенно позеленела; рара говорил: «Бог милостив!» Сержи, Леоны, Мишели и Юшки подняли головы, насторожили уши и нюхали, чем пахнет.

Вася задумался и начал размышлять о том, что эта за штука такая, от которой позеленела его мамап. Перед умственным его оком один за другим сменялись все его проекты увеселений, и ему в первый раз показалось, что он хватил уж чересчур, что он уж слишком большой прогрессист. Он кстати припомнил, что, кроме теории увеселений, есть еще теория ежовых рукавиц, и принял ее к соображению.

С этих пор юную его грудь стал грызть некоторый червь. Ему было всего двадцать восемь лет, но он уже был на виду и мог дерзать высоко. Он начал развивать свою новую теорию и стал доказывать, что цикл либеральных увлечений уже совершился и что в дальнейшем ходе все зависит от того, как будет себя вести общество. Мысль эту он развивал исподволь и, так сказать, келейно, потому что опасение прослыть ретроградом все-таки еще заставляло его по временам трепетать. Но перед старцами он изливал свою душу со всей откровенностью и понравился им еще более. Наконец наступил 1862 год и окончательно развязал Васе язык.

1862 год совершил многое: одним он дал крылья, у других

таковые сшиб. Вася был из тех, у которых выросли крылья и вытянулся язык в целую версту. Уж и болтался же он в ту пору, эффектно освещенный заревом петербургских пожаров. Маман в это время еще больше позеленела, трясла головой и потихоньку шептала: «Qu'allons nous devenir!»,⁶⁸ но папа все еще говорил: «Бог милостив!» В первый раз Вася имел по этому поводу стычку с рара.

– Нет, тут не «бог милостив», а ежовые рукавицы надо! – говорил он и, казалось, изрыгал из себя пламя, как Везувий. Рара оставалось только умолкнуть и удивляться, какой у него сын способный.

С этих пор теория ежовых рукавиц окончательно вытеснила из Васиных разглагольствований теорию увеселений и проповедовалась беспрепятственно. Казалось, он верным чутьем поднюхивал, что кому и когда нужно, и сообразно с этим управлял утлюю ладью своей. Он опять скомпоновал несколько проектов в самом новейшем духе, из которых один трактовал «об истреблении губительного нигилистского разврата в самом его зародыше», и хотя эти проекты оставлены были без последствий, однако на «перо» было вновь обращено внимание. Одним словом, мой Вася опять сугубо понравился.

На днях я его встретил на той всеобщей людской выставке, где встречаются люди, бог весть с которых пор друг друга не видавшие, – на Невском проспекте. Идет мой Вася со-

⁶⁸ «Что с нами будет!»

лидно и истово; идет – и блещет. В глазах какая-то мгла; нос холодный; на сжатых губах – ироническая улыбка.

– Что это, какой ты, Вася, мрачный? – спросил я его после первых взаимных приветствий (меня Вася до сих пор любит за то, что я в школе растолковал ему, что Омар и гомар совсем не одно и то же).

– Mon cher, тут не до веселья! дела такая пропасть, что, право, не постигаю, как еще я изворачиваюсь! – отвечал он и таинственно шепнул мне на ухо: – Я в настоящее время проект составляю!

– Гм... проект?

– Вот изволишь видеть, mon cher: теперь у нас везде какая-то разладица. Принципов нет, bureaucratie⁶⁹ с земством ни то ни сё... я предпринял все это привести в известность!

– Однако это, брат, штука!

– Ничего! с божиею помощью, как-нибудь уладим! Главное, mon cher, надобно доказать, что bureaucratie и земство – одно и то же... ты меня понимаешь?

– Да это само собой разумеется; это нечего и доказывать!

– Ну вот! Я хочу доказать этому Каткову (я, mon cher, им очень в последнее время недоволен; эта история с гласными... это, наконец, черт знает что такое!), что там, где он видит какой-то разлад, какие-то две стихии, в сущности нет ничего... такого!

Вася взглянул на меня, как бы спрашивая, понял ли я, и

⁶⁹ бюрократия.

когда увидел, что я понял, то прибавил:

– Я даже хотел бы, чтобы ты прочитал мой проект, потому что хоть мы и в разных лагерях...

– Помилуй, Вася! какие же тут лагеря!

– Ну нет! признайся... ведь ты... немножко нигилист?

Вася улыбнулся и ласково потрепал меня обеими руками за бока. Но я глядел ему прямо в глаза, как человек совершенно ни в чем не виноватый.

– Я не знаю даже, об чем ты говоришь! – сказал я.

– Я говорю о прошлогодних поджигателях! – отвечал он совершенно спокойно. – Но не в том дело; я пришлю тебе мой проект и попрошу высказать откровенно твое мнение. Я желал бы, чтобы мысль моя была обсуждена со всех сторон. Ты понимаешь: со всех сторон!

Мы расстались; Вася, разумеется, не присылал мне своего проекта, и я решительно не знаю, какая его постигла участь. Не сомневаюсь, однако, что он будет оставлен без последствий, но что «перо» опять-таки будет замечено, и Вася прослышет окончательно талантливым и даже необходимым публицистом. Дело, очевидно, не в том, каковы проекты, а в том, каковы люди, их составляющие. Если эти люди нам милы, то как бы ни были нелепы их мысли, все-таки авторы их не перестанут быть нам милыми. Как растолковать невольные симпатии, которые связывают людей между собой? А может быть, Вася в самом деле в какой-нибудь фантастической рубашке родился? а может быть, скрывается у него где-нибудь

родинка такая, которая привлекает к нему все сердца?

Я совершенно убежден, что Вася пойдет очень далеко, потому что такого рода люди и ко времени, и к месту. В такой исторический момент, когда разрозненные общественные стихии ищут опознаться и организовать, нельзя отказывать и ерунде в праве высказывать подобные же стремления. Напротив того, не лишнее даже ее к тому поощрять, потому что, получив известную организацию, ерунда перестает быть разлитой в целом обществе, утрачивает свою неуловимость и делается более доступною для истребления. Это уж плохой признак, если ерунда начинает о чем-то беспокоиться, если она оказывает поползновение сплотиться, подыскивает союзников и заговаривает о каких-то принципах: это значит, что ей приходится туго и что недалек ее час смертный. Ибо ерунда только тогда хороша, когда она ерунда веселая, разудалая и разухабистая, когда всякое чрево поет ей хвалу, и нет в целом свете души человеческой, которая не отплясывала бы трепака по вся дни живота своего, а не тогда, когда ерунда корчит серьезные мины, начинает объяснять себя и даже выделяет из себя философов. Но так как процесс умирания – процесс продолжительный, и как в то же время ерунда, по приведении ее в известность, оказывается ратью-силой великою, то очень понятно, что такие философы, как мой друг Вася, весьма ей по сердцу и что она всячески стремится их ублажить и обласкать.

А потому моему Васе не житье, а малина. Триста купчих

предлагали ему руку и сердце; из Крутогорска, из Семиозерска и даже из Глупова шлются к нему телеграммы за телеграммами, в которых приглашают его продолжать; портной Шармер вызывается делать ему даром платье, с тем чтобы Вася с трех до пяти часов пополудни прогуливался в нем по Невскому. Но Вася бережет себя; он отказал всем тремстам купчих, потому что заметил княжну Оболдуй-Тараканову, которой в настоящее время двенадцать лет и при помощи которой он надеется свою карьеру усугубить; на глуповские телеграммы он отвечал сухим «благодарю», потому что всякое поползновение со стороны глуповцев к выражению чувств (хотя бы и панегирических) считает еще преждевременным; что же касается до Шармера, то и его предложения Вася не принял из опасения, что об этом могут узнать в его *société*.⁷⁰

Вася великий интригант, и если видит у кого-нибудь во рту кусок, то с быстротою молнии его выхватит и проглотит. Если же кусок засел слишком плотно, то он смотрит на него и казнится. Вообще, он полагает, что все куски по праву принадлежат ему, и это убеждение дает его лицу такое приятное выражение, что даже вчуже смотреть на него весело. Точно вот так и говорит его взор соколиный: всем вам, сколько вас тут ни есть, не разминуться-таки с моей пространной утробой! Приятелей у Васи нет, но связи он поддерживает охотно; он не прочь при случае и подольститься, если

⁷⁰ обществе.

от этого должно произойти что-нибудь очень хорошее, а в особенности если это подольщательство можно произвести как-нибудь секретно. Я полагаю, что в темной комнате он даже отважится поцеловать в плечико. Но самое величайшее для него наслаждение – это подставлять ножки и двоедушничать. Мысль, что он дипломат, до такой степени крепко засела в его голове, что он слова не может сказать, чтобы не соврать, шагу не может сделать, чтобы не вильнуть ногой куда-нибудь в сторону. Но это не только не вредит ему, а придает еще больше блеску и привлекательности, потому что члены той ерунды, в которой он обращается, на всякую ложь взирают с почтением и признают ее за высшее выражение человеческого ума. И когда сойдется разом несколько таких Вась, равной силы, то зрелище выходит даже занимательное, потому что все врут. Разумеется, когда-нибудь может за это и достаться Васе, но он загадывать вперед не любит и весьма основательно рассуждает, что если и доподлинно придет такое время, что его к стене прижмут, то и тогда можно будет солгать, только солгать надобно будет как-нибудь почудовищнее, чтоб у самих допрашивателей встали от этой лжи дыбом волосы и отшатнулись бы они от него, как от пса зачумленного.

Убеждений Вася, ни вообще, ни в частности, не имеет никаких, но охотно говорит о том, что «в наше время, mon cher, прежде всего необходима дисциплина».

Если ему возражают, что дисциплина есть только орудие,

а отнюдь не убеждение, то он не дает возражателю кончить и очень самодовольно говорит: «Я, mon cher, в эти тонкости не пускаюсь: по-моему, дисциплина, дисциплина и дисциплина!» И действительно, когда на него смотришь и слышишь его голос, то невольно начинаешь что-то понимать и об чем-то догадываться.

– Я, любезный друг, – говорил мне однажды Вася, – могу сегодня думать так, а завтра могу думать не так. Я думаю, mon cher, как мне нравится и как мне в данную минуту думать выгодно. И в этом случае дисциплина...

– Должна схватывать твои мысли, так сказать, на лету?..

– C'est le mot!⁷¹

И как я ни старался доказать Васе, что обязанность ловить на лету такие мысли, которые перебегают из одного угла в другой, есть обязанность трудная, почти невозможная, но Вася несколько моими доводами не тронулся.

– Во-первых, – сказал он мне, – я могу тебе указать на историю, которая именно свидетельствует, что невозможно на свете не существует; во-вторых – entendons nous, mon cher!⁷² Я согласен, что могу мыслить так или иначе, но, во всяком случае, мои мысли все-таки принадлежат к одной категории и вращаются не бог знает в каком необъятном пространстве. Я, любезный друг, звезд с неба хватать не желаю и обнять необъятное претензии не имею; все мои желания

⁷¹ Вот именно!

⁷² договоримся, дорогой мой!

и помыслы не выходят из скромного круга благонамеренности и благоустройства; следовательно, и сообразоваться с ними совсем не так трудно, как это представляется с первого взгляда. Нужно только на всякий случай быть готовым...

Наружность Вася имеет красивую, солидную, почти почтенную. Для каких-то таинственных целей он страстно желал поседеть поскорее, и ласковая природа даже в этом не отказала своему баловню и украсила его голову несколькими преждевременными сединами. Вася носитя со своею тридцатилетнею сединой словно с сокровищем и теперь хлопочет только о том, чтоб в его зоре показывалось нечто меркнушее. Если и этого он достигнет, то счастью его не будет границ, потому что тогда он уж совсем будет похож на деятеля высшей школы, изнывающего под бременем соображений. Словотечение Вася имеет изобильное и беспрепятственное. Он может свободно, в продолжение нескольких часов сряду, нанизывать одну пошлость на другую, и ни разу не поперхнется, ни разу не обмолвится умным словцом. Из одной пошлости он незаметно переходит в другую, потом опять возвращается к первой, и опять переходит в другую, и таким образом топчется на одном месте, как те негодные лошади, про которых говорят, что они «секут и рубят и в полон берут», а с места все-таки ни взад, ни вперед не трогают. Голоса он никогда не возвышает, и если вступает с кем-нибудь в спор, то спорит чрезвычайно легко и приятно, а именно: никогда не обращает внимания на возражения сво-

его противника и продолжает мерно, учтиво и всладце растягивать свою пресненькую, благонамеренную канитель. Во время словотечения Вася охотно прислушивается к звукам своего собственного голоса, как будто бы целый мир гармонии проносится в эти минуты над его душой. За эту способность члены той ерунды, в которой он обращается, прозвали его оратором.

Несмотря на свою холодную наружность, Вася нравится дамам. Они находят, что наружность часто обманчива, и в особенности хвалят Васю за его скромность. Действительно, никто никогда не слышал от Васи ни одного слова об его сердечных победах, хотя достоверно известно, что он всею своею карьерой обязан преимущественно женскому влиянию. Вася любит женщин, но относительно увлечений держит себя осторожно; в глазах его они не что иное, как милое средство, правда, очень милое, но не больше, как средство. Даже тапан, которая очень интересуется победами Васи и, пожалуй, не прочь ему посодействовать, – и та не может добиться от него никакого признания по этой части, потому что другой очень хорошо понял, что в таком деле первое условие успеха есть величайшая тайна. «Женщина, топ шер, – это святыня, – говорит он, – ее нужно держать строго, ее можно даже мальтретировать (иногда они это даже любят), но келейно, топ шер, келейно! чтобы про это знали только заинтересованные в деле лица, да стены, которые достаточно, в этом случае, благоразумны, чтобы не выдать секрета!» И

согласно с этим действует.

Одевается Вася солидно, но не без щегольства; пестрых цветов не допускает решительно и ограничивается черным и белым. Иногда он умышленно производит небольшой беспорядок в своей куафюре, потому что это дает ему вид мыслителя. Иногда вдруг начинает ходить с перевальцем и грациозно покачиваясь, чтобы показать себя утомленным, и потом тут же сряду, если нужно, начнет выступать бодро, чтобы показать, что он бодр и никакие труды сломить его не могут. Вообще, заботы о наружности стоят у него всегда на первом плане, и слово «приличие» вертится у него на языке бесменно. «Mon cher! приличие соблюсти необходимо, – выражается он по этому случаю. – Приличие – это весь человек! Приличие – это то тавро... ты понимаешь: тавро? – по которому всегда можно отличить un homme bien né⁷³ от всякой дребедени, которою наполнена наша печальная земная юдоль!» «Всегда готов, всегда приличен» – вот девиз, который избрал себе Вася, и даже самые смелые, самые искушенные ерундисты и ерундистки не могут надивиться той стойкости, с которой он преследует самую малейшую подробность того обширного и разнообразного кодекса, который называется кодексом приличий.

Вася не прочь и покутить, но изредка и притом в таком обществе, которое и по своему положению в жизни, и по своим взглядам на нее вполне подходило бы к его собственно-

⁷³ человека благородного происхождения.

му положению и его собственным взглядам. «Таким образом, не может случиться ничего неприятного, а если что-нибудь и выйдет, то сора из избы не вынесет никто». Посещает он и лореток, и даже у влиятельнейших из них целует ручки, но от увлечений воздерживается, потому что лоретки народ болтливый и пылкий и могут, пожалуй, нагородить в его жизни чепухи. Впрочем, хорошенькая и бойкая лоретка играет-таки не последнюю роль в его жизненных предположениях, и он не отказывается доставить себе это хорошенькое лакомство со временем... когда достигнет. «Когда достигнет!» – в этом слове заключается для Васи разрешение всех жизненных загадок, и так как он сладострастен, то понятно, что эдем, который рисует ему воображение, не отличается ни особенным целомудрием, ни даже умеренностью. В сущности, Вася больше всего на свете любит милую безделку, и ему стоит танталовых мучений то воздержание, на которое он временно себя осудил. Но зато, когда достигнет, – что это будет, что это будет, когда он достигнет!

Таким образом, жизнь Васи течет как по маслу; но не могу скрыть, однако ж, что и у него встречаются кое-какие огорчения, которые слегка возмущают чистые струи его существования.

Во-первых, в самой той ерунде, в которой он постоянно обращается, выискиваются люди, которые, бог весть почему, именуют Васю «балалайкою». Я очень верю, что люди эти поступают таким образом единственно из зависти, но

Васю тем не менее название это оскорбляет. Быть может, тайный голос говорит ему, что в названии есть что-то похожее на правду, быть может, самолюбие его возмущается тем, что «как же это балалайки осмеливаются обзывать меня балалайкою?». В том странном, полудиком оркестре, где нет иных инструментов, кроме балалайки, между исполнителями всегда происходит непримиримая, остервенелая вражда. Всякому хочется доказать, что странные, нелепые звуки, которые наполняют воздух, извлекаются не им, а его соседом; всякому хочется обозвать своего соседа «балалайкой». Сосед, разумеется, обижается, и затем начинается одна из тех бестолково-бесконечных распрей, в которых и оскорбляющие, и оскорбляемые, вследствие совершенного и непонятного ослепления, не могут сообразить, что стоит только взглянуть им себе на руки, чтобы прекратить всякие недоразумения и взаимно облобызать друг друга. Сверх того, на Васю прозвище это еще и потому оказывает неприятное действие, что он боится, как бы оно навек за ним не осталось. А это иногда бывает. Иногда человека, даже добродетельного, таким прозвищем наградят, в котором, пожалуй, и смысла отыскать трудно, и за всем тем пойдет он щеголять с ним через всю свою жизнь, до такой степени, что и фамилия-то его настоящая забудется, а прозвище за ним останется. И если тот человек был на пути к почестям, почести от него отнимутся; если он в это время имел в виду сделать прекрасную партию, родители невесты откажут ему от дома, и счастье

его расстроится навеки. Все это Вася имеет в виду, и потому самое слово «балалайка» ему ненавистно, и он не только не откликается на него, но даже в разговоре осторожно его обходит.

Второе огорчение Васи заключается в том, что у него есть несколько прискорбных знакомых, от которых он почему-то не имел решимости отстать. Связи эти начались отчасти в школе (где между множеством чистеньких и приглаженных мальчиков все-таки попадались пять-шесть лохматых личностей), отчасти же образовались немедленно по выходе из школы, когда Вася еще, так сказать, метался и не знал, куда себя пристроить. С тех пор как в нем окончательно утвердилось и созрела теория ежовых рукавиц, знакомства эти стали особенно ему ненавистны. Встречаясь с ними, он как-то уморительно сжимается и все озирается по сторонам, словно опасается, чтобы кто его не застал.

– И ведь какие между ними нахалы есть – так и лезут! – жаловался он мне однажды. – Один там у меня отставной поручик есть... все это, понимаешь, еще скверные остатки детства и молодости... так трудно даже поверить, какой наглец! так вот и стремится! так и стремится! и такая ведь беситя: чем больше видит народу, тем нахальнее и настойчивее действует!

– Да ты бы как-нибудь развязался с этим поручиком! – посоветовал я.

– Не могу! Ты понимаешь, любезный друг, что он не один,

а их тысячи, и что мы в такое время живем, когда никто ничего не понимает. Кто может поручиться, что этот самый поручик не окажется завтра каким-нибудь инфантом испанским?

– Я тебя начинаю, наконец, плохо понимать, Вася!

Вася остановился, взял меня за руку и крепко сжал ее.

– В такую эпоху, – сказал он мне взволнованным голосом, – когда вчерашние мальчишки сегодня уже являются сильными мира... в такую эпоху нет ничего невозможного!

Я угадал, что Вася намекает на Сашу Клаверова, который в это время действительно сделал какой-то удивительный скачок на жизненной лестнице, и понял его горечь.

– Так вот видишь, оно и нельзя пренебрегать-то, – продолжал Вася. – А между тем только грудь да подоплёка (я ведь немножко славянофил, mon cher!) знают, чего мне это стоит! Однажды этот поручик...

По всем видимостям, Вася хотел рассказать что-нибудь ужасное, потому что даже волосы на голове у него зашевелились, но разговор наш был прерван чьим-то приходом, и я, к сожалению моему, так и не успел узнать, какое свинство учинил ужасный поручик с моим приятелем.

Третье горе Васи – это так называемые «нигилисты». Невинные эти люди решительно возмущают светлое течение его жизни. Пойдет ли он на Невский – ему кажется, что навстречу ему ползут целые выводки нигилистов, что они смеются над ним и даже грубят ему. Пойдет ли он в итальян-

скую оперу – ему кажется, что он со всех сторон угнетен, что он уж не хозяин здесь и что г-жа Барбо млеет совсем не для него.

– Помилуйте! ведь я не хожу в ихнюю Александрию, ведь я не мешаю им! так пусть и они не мешают мне, пусть же оставят мне хоть это убежище, в котором я мог бы спокойно предаваться моим удовольствиям.

Вообще, он полагает, что с нигилистами следует поступить строго: дозволить им посещать только Александрийский театр и гулять только по мещанским и подьяческим. Я не ручаюсь даже, что он не составит проект в этом смысле, но знаю наверное, что проект этот, как влекущий за собой совершенное загромождение мещанских и подьяческих улиц, принят не будет.

Итак, я рассказал тебе, читатель, полную биографию друга моего Васи и даже, легко может быть, и наскучил тебе ею. Но скорее всего может случиться, что я упустил из виду многие характеристические черты, которые могли бы сделать задуманный мною образ более заманчивым. К этим чертам я могу еще возвратиться впоследствии, потому что подвиги моего Васи не только не прекратились, но, напротив того, обещают литься как река.

Но во всяком случае, ты не отопрешься, читатель, что личности, подобные описанной мною, далеко не чужды тебе. Их, этих новых Колумбов, неустанно отыскивающих принципы в мире яичницы и ерунды, развелось на наших глазах

такое великое множество, что уже невозможно равнодушно относиться к такому явлению, невозможно его игнорировать. И если я успел наметать хотя некоторые черты его, то и этого уже для меня достаточно.

Быть может, это и смешно, но сознаюсь, что я считаю такие явления не только прискорбными, но даже далеко не безопасными. Это уже не просто так называемый тормоз, который действует механически и, по крайней мере, оставляет нетронутым самый предмет, который он тормозит; нет, это ядовитая слизь какая-то, которая незаметно заползает всюду и разъедает все, к чему бы ни прикоснулась. «Мальчики» кишмя кишат в этом мире и ловко подставляют ногу всему, что не смотрит на жизнь, как на милую безделицу. Они идут по дороге жизни подплясывая, они высовывают толпе язык и в то же время ловко выкрадывают друг у друга изо рта лакомые куски, которые и стараются поспешнее проглотить... Это целая проклятая система, это целая проклятая каста, в которой трепещет и бьется один принцип – неимение никаких принципов.

И действительно, если мы вникнем ближе в так называемые идеи касты мальчиков, то найдем, что главная и руководящая их идея в том именно и состоит, что идей никаких иметь не следует, а следует иметь дисциплину. «Нам не нужно идей, – говорят они, – идеи хороши для тех, кто в них нуждается для оправдания своего существования, а мы сами по себе составляем идею, и, следовательно, для нас требует-

ся только солидарность и дисциплина». Понять такую мысль довольно трудно, потому что тут, собственно, есть только зародыш мысли, но если вникнуть, то окажется, что зародыш этот довольно ехидный. Не поленитесь наблюсти когда-нибудь за улыбками «мальчика», за его пожатиями руки, всмотритесь в разнообразные оттенки и тех и других, и вы без труда догадаетесь, что это за канальский зародыш. В этих улыбках откроется для вас весь внутренний мир этой, если можно так выразиться, заживо разлагающейся душонки со всем ее тайным высокомерием. Вы поймете, что здесь, как в гробу некоем, заключено тление целого мира, что было бы напрасным трудом искать тут признаков жизни, потому что этой последней нельзя да и нет никакой надобности входить в какое-либо прикосновение с этим заживо истлевшим миром.

«Мальчик» от рождения страдает мыслебоязнью и потому в своей упорной борьбе с мыслью призывает на помощь интригу. Все, что кажется ему выше той сферы, в которой он прозябает, все, что живет с ним рядом и в то же время не чурается мысли, – все это ложится на него горячею укоризною и возбуждает в нем ненависть. И не потому совсем, чтобы такое соседство влекло за собой какой-нибудь ущерб для него, а просто потому, что оно нравственно давит его, что оно на каждом шагу служит ему безмолвною уликой того, что в нем не осталось ничего человеческого. Он сам понимает, что и изолгался, и избеждельничался, но в то же время очень ло-

гично рассуждает, что дело его до того плохо, что никакими обличениями тут помочь уже нельзя. Следовательно, все, что прямо или косвенно обличает его, все принимает в его глазах характер бесплодной назойливости и возбуждает его негодование. И тут-то начинает он интриговать. Интригует он не очень хитро, но зато усердно, без отдыха... И велика бывает его радость, когда он убеждается, что враг, наконец, свален, и притом свален средствами самыми незамысловатыми – почти что с помощью одного лганья! Гвалт, бестолковое карканье стоном стоит над болотом, и долго потом дрянное болотное население будет передавать из рода в род трогательную повесть о том, как нашим чибисам удалось взять в полон коршуна.

Да, я каюсь перед вами, старые, отживающие век драбанты! Я был близорук, я не предвидел, что сквозь вас прорастут драбанты новые, и гораздо более ехидные, нежели вы. Я верил в какую-то звезду и умилялся, взирая на мальчиков, которые росли на моих глазах не по дням, а по часам. Оказалось, что это даже и не звезда совсем...

Толки о молодом поколении, о том, какую роль оно играет в современном общественном движении, и о том, какую роль ему играть следовало бы, продолжают питать нашу литературу. И беллетристы, и публицисты, и философы всех цветов и лагерей предаются разглагольствованию об этом предмете с равным увлечением, так что человек, непричаст-

ный литературе, может и впрямь подумать, что тут-то и заключается разрешение будущих судеб русской жизни.

И действительно, вопрос о том, до какой степени праздны подобные толки, еще весьма спорен и сомнителен. С одной стороны, кажется, что они ни к чему не ведут, ибо смешивают понятие о деятелях с понятием о деле и, ставя на главный план первое, значительно заслоняют последнее. Но, с другой стороны, думается и так: не представляют ли все эти, по-видимому, бесплодные толки о деятелях лишь вынужденную форму, под прикрытием которой получается возможность говорить о самом деле, подобно тому, как в свое время такую же прикрывающую форму представляли толки об искусстве? Далеко ли ушли мы от этих последних и получили ли возможность смотреть на дело прямо? Нет, отвечает простой здравый смысл, мы ушли не далеко, и даже до сего дня обязываемся тратить свои лучшие силы на разрешение вопросов об околичностях и мелочах. Отчего происходит столь медленное шествие вперед – это вопрос посторонний, но факт существует, и мы обязаны его констатировать и с ним сообразоваться. Последствия этого факта таковы: во-первых, толки, занимающие нашу литературу в настоящее время, точно так же как и толки, занимавшие ее несколько лет тому назад, суть толки иссушающие, не имеющие живого смысла, и во-вторых, что эти же самые толки, несмотря на свою бесплодность, имеют законную причину существования, которая дотоле останется в своей силе, доколе не из-

меняются общие условия жизни.

Положение незавидное. Вместо того чтобы оплодотворяться живым делом, мысль оскопляется мелочами и постоянным, обязательным обращением в порочном круге. Можем ли мы сетовать на нее за это призрачное путешествие от одного призрака к другому? Имеем ли мы право сказать литературе: довольно болтать пустяки о молодом поколении, приищи что-нибудь другое, более занятное и полезительное! Говоря по совести, не можем и не имеем права, потому что мысль, в своем развитии, находится в зависимости от известных обстоятельств, а есть такие обстоятельства, которые, так сказать, осуждают ее на производство пустяков. Поставленная в такие условия, мысль если и оставит бесплодное поприще, на котором ратует ныне, то к делу-то все-таки не пристанет, а придумает новое бесплодное поприще и на нем начнет заявлять о своем существовании, станет трепетать и биться, чтобы сделать этот новый покров как можно более прозрачным и легким, и в конце концов все-таки обманет себя, потому что покров всегда останется покровом, и как бы мы ни старались его сделать прозрачным, все же первый план нашей деятельности будет занят не делом, а усилиями выразиться о деле таким образом, чтобы оно уж не очень было похоже на безделье.

Но даже и на этой грустной арене, где средства смешиваются с целями, а орудия дела с самим делом, положение, в которое становится мысль относительно той или другой ме-

лочи, составляющей предмет ее изысканий, далеко не одинаково выгодно. Есть мелочи, к которым, в известном смысле, можно прикасаться с полной ясностью (потому, вероятно, что «смысл» этот признается уже достаточно разработанным), а в другом – только с величайшей осторожностью и крайнею, почти рабскою изворотливостью (потому, конечно, что этот «другой смысл» недостаточно еще созрел и разработан). В первом случае не представляется никаких затруднений, и мысль катится, как зерно бурмицкое по бархату, для всех вразумительно и для самой себя безвозражательно. Во втором случае, мысль испытывает двойное крушение: во-первых, она обязывается тратить свою силу на мелочах, и во-вторых, даже в этой работе обязывается отыскивать самый, что называется, из бисеру бисер, и притом с таким расчетом, чтобы ни один слишком любознательный соглядатай не мог сказать: аа! да ты вот откуда, почтеннейшая, идешь! но чтобы можно было во всякое время такому соглядатаю ответить: нет, ты клеветешь! я совсем не оттуда иду, а я просто гуляю! Понятно, что при таких способах выражения не может быть и речи о чем-нибудь действительно серьезном, что мысль обязывается политиканить и изворачиваться и что на первый план выступает та гнусная наука умолчания, которая, в окончательных результатах, ведет к полнейшей анархии здравого смысла. Понятно, что мысль лишается при этом возможности исполнить даже первейшую свою обязанность – обязанность сознать самое себя, обязанность

очистить тот предмет, который она исследует и которому сочувствует, от ненужных примесей, которые ему вредят.

От этих размышлений перейдем собственно к толкам о молодом поколении и взглянем на отношения к нему современной литературы. Выше мы видели, что толки эти составляют, так сказать, обязательное содержание нашей литературы, и потому нас больше всего занимает в этом случае разнообразие их.

Относиться к молодому поколению отчасти поучительно, отчасти язвительно, видеть в нем элемент всеразрушающий, всеотрицающий и ничего не созидующий, – сделалось делом почти модным и потому чрезвычайно приятным и легким. Слова: «космополитизм», «нигилизм», «сепаратизм», «демократизм», «материализм» и проч., слова, имеющие смысл нарочито порочный, – рассыпаются щедрою рукой направо и налево, причем весьма глубокомысленно не принимается в соображение ни то, к кому эти эпитеты прилагаются, ни то, по какому случаю они прилагаются, ни то, наконец, что они действительно означают. Дело заранее полагается для всех ясным, и на всякое возражение или недоумение по этому предмету имеется один ответ – хохот, издревле составляющий, как известно, простейшую и самую выгодную форму опровержения. А между тем если взглянуть на дело попристальнее и подбросовестнее, то, конечно, самый предубежденный человек согласится, что тут-то и господствует самый густой туман, и именно тот туман, против которого с таким

прискорбным успехом, хотя и с противоположной стороны, гремят московские публицисты. Рассейся этот туман, – и кто знает, во-первых, будет ли о чем толковать, а во-вторых, если и есть о чем толковать, то таким ли чисто голословным способом, как это делалось до сих пор? Но, с другой стороны, быть может, такое рассеяние тумана совсем и не желательно? быть может, потому-то именно и приятно положение мысли нападающей, что она благодаря туману может посылать свои удары, не подвергаясь опасности быть сбитою с выгодной позиции?

Быть может и это. Но как бы то ни было, а сыпать направо и налево обвинениями и эпитетами сделалось делом чрезвычайно приятным и свободным. Образовалась целая литература, поставившая себе целью исследовать свойства ядов, истекающих из молодого поколения, или, лучше сказать, не исследовать, а представить в живых (более или менее) образах, что молодое поколение никуда не годно, что оно не имеет будущего и что оно сплошь одарено способностью испускать из себя гангрену разрушения. Бессмысленное слово «нигилисты» переходит из уст в уста, из одного литературного органа в другой, из одного литературного произведения в другое. Беллетристы положительно упитываются им; даже г. Григорович, сей цветок, взлелеянный на полях не фигурального, а настоящего всероссийского нигилизма, – и тот торопится с своею лепточкой, и тот несет какую-то микроскопическую сориночку и опускает ее в «Русский вестник»,

это верное и неизменное хранилище родимого сора... Все спешат напитаться от убогой трапезы нигилистской! Любопытно, стало быть, посмотреть, что такое всполошило этих невинных людей и во имя чего, во имя каких идей они сами ратуют.

Но о том, что их всполошило, я покамест говорить не стану; я предпочитаю в этом случае последовать примеру мысли нападающей, то есть предположу все сие достаточно ясным (впрочем, читатель увидит, что я кое-что и разумею-таки в этом деле), и потому поговорю о том собственно, во имя каких идей на это ясное и известное делаются прямые и косвенные нападения.

Для примера возьму недавно появившийся роман «Марев», имеющий в публике довольно значительный успех.

Герой этого романа, Русанов, человек еще молодой, едва начинающий свое жизненное поприще, но уже спокойно расположившийся в лагере мысли безопасно торжествующей и неотразимо нападающей. Каким образом он пришел к этому безмятежию, автор не объясняет и заставляет читателя предполагать, что человек этот так и родился уж мудрецом. Те вопросы, в постановке которых сгорают целые поколения, в его глазах совсем не составляют вопросов, а просто представляют собой явления горячечного бреда, очень трудно объяснимого, а по результатам своим даже и опасного. Даже не на том совсем настаивает этот юный герой, что нельзя с презрением обходить действительность, что необ-

ходимо считаться с нею даже в том случае, если она положительно теснит и гнетет, – на этом-то пункте, пожалуй, можно было бы и поговорить с ним, – но на том, что никто не имеет даже права возмущаться действительностью уже по тому одному, что она действительность и что ничья мысль не должна выходить за пределы той сферы, которая почему-то и кем-то признана для нее достаточною. Такое воззрение на жизнь очень замечательно, в особенности если обладатель его, Русанов, сам принадлежит к молодому поколению, ибо молодость, при обыкновенных условиях, скорее склонна к преувеличениям, а здесь она является склонною к сокращениям. Стало быть, здесь что-нибудь одно из двух: либо преждевременная зрелость, либо фаталистическая ограниченность.

Если мы вникнем в дело ближе, то увидим, что это, скорее, ограниченность. Прежде всего, Русанов совсем не заявляет себя враждебным прогрессу (по-видимому, он даже не прочь от всякого рода «принципий» и «мероприятий»), но, кажется, он недостаточно выяснил себе значение этого слова и потому на каждом шагу затемняет его и впадает в противоречия. Умственному его оку представляются два прогресса: один какой-то шутовской и пошловатый, другой – разумный; против первого он вооружается, второму – сочувствует. Первый представляется ему в виде или гимназических и кадетских протестов (в сущности очень невинных, существовавших всегда с тех пор, как существуют гимназии и корпуса, и подлежащих обличению разве со стороны одного учи-

личного начальства), или же в виде темной интриги, всецело жидущейся на тех же самых основаниях, которыми проникнута и столь любезная ему действительность. Если бы Русанов теснее специализировал предметы своих антипатий, если бы он сказал прямо: мне кажутся ничтожными гимназические протесты и недозволительными те поработительные поползновения, которым дает место слишком возбужденное чувство национальности, тогда, по крайней мере, видно было бы, о чем он говорит; но он более заставляет догадываться и подозревать, нежели объясняет, и потому в уме читателя невольно возникает сомнение, что тут идет речь совсем не о школьных проделках и не об интригах, а о чем-то другом. В чем заключается это «другое» – Русанов не дает положительного ответа, потому что и сам не знает того явления, которое возбуждает в нем враждебное чувство. Очевидно, он имеет в виду те самые бранные слова, о которых говорено выше, но выбирает гимназические проделки и интригу потому единственно, что они более доступны его пониманию, потому что они представляют более поводов для увеселения, и потому, наконец, что поражать на другой почве было бы не совсем для него удобно. Отсюда непрерывная путаница; едва начнет читатель утешаться вместе с автором описаниями невинных затей взбудораженной гимназической мысли, как Русанов уже спешит изгладить веселое впечатление неприятными намеками на то, что эти затеи совсем не так невинны, как кажутся, но что они суть порождение того вредного

влияния, которое проникает извне вследствие распространения в обществе некоторых темных сил, о которых ему, Русанову, достоверно известно. И так как Русанов ничего, кроме намеков, все-таки не дает (ибо, по ограниченности своей, и дать-то ничего другого не может), то простодушный читатель так и остается при наивном убеждении, что в гимназических протестах заключается весь смысл русского прогресса.

Но допустим, что Русанов хоть и близоруко, но все-таки установил свою точку зрения на современное понятие прогресса, – что же, какое другое, настоящее понятие противопоставляет он ему? Сосудом такого настоящего, разумного понимания прогресса является он сам, г. Русанов. Он что-то любит, о чем-то волнуется, к чему-то стремится, но все это делает до такой степени разумно, основательно и аккуратно, что читателю кажется, что он вовсе ничего не любит, вовсе ни о чем не волнуется и вовсе ни к чему не стремится. Это убеждение еще более укрепляется тем обстоятельством, что к чему бы ни прикоснулся наш юный скопец, за что бы он ни принялся, – везде он проваливается самым постыдным образом. Чтобы показать, как следует действовать истинному гражданину, он поступает па службу в гражданскую палату (причем довольствуется весьма скромною должностью) – и проваливается; чтобы показать, как следует иметь общение с народом, он идет уговаривать взбудораженных крестьян – и проваливается. И хотя неудачи свои он объясняет тем-

ною интригой, которая, словно чудом каким, охватила целый здоровый край, однако это натяжка, очевидная для всякого сколько-нибудь смышленного читателя. Отчего же ваша правда, г. Русанов, так слабо действует, а эта ложь, против которой вы ратуете, представляется вам всеильною? Вот вопрос, который невольно возникает в уме всякого, слушающего вашу умеренно либеральную размазню, и на который вы, конечно, не ответите. А дело между тем очень просто; причина вашего неуспеха заключается совсем не в общем затмении здравого смысла и не в всеильном владычестве лжи, а в том, что вы, говоря по правде, ничего никогда не любили, ничего никогда не желали и выдаете за правду ту теорию каплуньего самодовольства, которая может удовлетворять только людей положительно нищих духом.

Теория Русанова напоминает знаменитую, но давно забытую теорию искусства для искусства, в том виде, как ее проповедовал не Белинский лично (у него эта теория служила только поводом), а многочисленные его последователи. Подобно тому как эти последние видели в искусстве нечто отрешенное от жизни, само себе служащее и само из себя питающееся, и на этом основании отделяли для искусства совершенно особенную сферу, в которую не допускались непосвященные, подобно тому и господа Русановы полагают, что прогресс есть нечто такое, что совершается само собою, помимо человеческих усилий, и что стоит только погодить, чтобы получить желаемое. Верный этой теории,

Русанов ждет и не шевелится, но этого мало: он смотрит в оба глаза, чтобы и другие тоже ждали не шевелясь; а так как подобная каплунья мудрость не всякому легко достается, то выходит из этого нелепая драма. Гимназисты и интриганы не слушаются, а Русанов делает глупости, говорит пошлости, попадает в просаки, никого не убеждает, никого за собой не увлекает и ничего никому не доказывает. И всем этим неудачам и несчастиям подвергается он по поводу гимназистов и интриганов; что же было бы, если бы такой златоуст появился с своей проповедью в среде более серьезной? Вопрос до того щекотливый, что надо полагать, что в подобной среде он даже не мог бы и появиться.

Вообще этот тип очень замечательный по той внутренней комической струе, которая изобильно течет в нем, и тем больше досадно, что талантливый автор не только не воспользовался этой струей, но даже относится к своему герою очень серьезно. Это какой-то Дон-Кихот консерватизма, который наивно думает, что в жизни большой вес могут иметь доказательства вроде: «подумайте! что вы делаете», «вы погибнете!» и т. д., который даже на мысль человеческую простирает свое негодование, ибо и у нее отнимает право на тот деятельный и свободный процесс, который составляет необходимый признак ее бытия.

Из таких отношений к явлениям жизни естественно может вырасти только нетерпимость, а между нетерпимостью и даже тою кисленькою проповедью, которой предается Руса-

нов, целая бездна. Процесс деятельности гг. Русановых достаточно известен и совершается всегда при одних и тех же признаках. Прежде всего, начинается дело с убеждений, но так как убеждения эти бывают или очень мизерны, или очень мертвы, или очень своекорыстны, то, конечно, никто ими не убеждается и вследствие такой неудачи в сердце убеждающего невольно поселяется некоторый горький осадок. Все кажется, что люди своего собственного блага не понимают и веселыми ногами идут к своей собственной гибели. Тогда Русанов вступает во второй период своей гражданской деятельности, период, так сказать, благоволительную будирующую. Он сердится, но все еще жалеет; он негодует, но хочет спасти погибающих против их собственного желания; он усугубляет свою попечительную деятельность и укоряет безумцев в неразумии и неблагодарности. А безумцы так-таки и коснеют в своем безумии и даже – о, верх неблагодарности! – посмеиваются над русановскою попечительностью и его самого осмеливаются обзывать расколотою балалайкою. Это, наконец, положительно раздражает Русанова и заставляет его поспешить вступлением в третий и последний период его гражданской деятельности. Период этот может быть назван периодом «по всем по трем»...

Вот с какими данными наши литературные Русановы всевозможных оттенков выступают на борьбу с молодым поколением и теми убеждениями, которых оно, по праву или не по праву, считается носителем...

Прежде всего, они совершенно не понимают предмета, о котором говорят, и слишком охотно отступают в этом случае от того коренного правила, в силу которого всякое явление следует рассматривать преимущественно в его типических чертах, а не в подробностях и отступлениях, которые, конечно, не должны быть упускаемы из вида, но отнюдь не имеют права затемнять главный характер явления. Поэтому-то им и мерещатся всё нигилисты, да бунтующие гимназисты, да интриганы. Но, без сомнения, замечательнейшее их качество все-таки заключается в том нравственном и умственном убожестве, с которым они являются на арену и которое решительно препятствует им приобретать прозелитов. Можно сказать безошибочно, что они, с большою выгодой для себя, могли бы отложить к сторонке свои маленькие скопческие теориейки (которые, наверное, никогда никого не соблазнят) и прямо приступить к третьему периоду той гражданской деятельности, о которой упомянуто выше. Это спасло бы их от потери драгоценного времени, а лиц, к которым они простирают свои притязания, – от обязательного выслушивания противной либерально-размазистой болтовни.

Тем не менее, несмотря на явную внутреннюю несостоятельность, нападающая мысль в некоторых сферах русского общества пользуется значительными успехами, а незамысловатые ее подвиги имеют привилегию возбуждать шумные рукоплескания. Причина такого явления, кажется мне, заключается, во-первых, в неприхотливости вкусов большинства

русского читающего люда и, во-вторых, в некоторой степени свободы, которую присвоила себе нападающая мысль и которая позволяет ей выразиться, по крайней мере, с тою ясностью, на какую она способна.

Неприхотливость русской публики есть факт до того общеизвестный, что о нем нет надобности и распространяться. Она не любит ни углубляться, ни анализировать, а желает, чтобы писатель действовал на нее посредством живых образов и убеждал сравнениями и уподоблениями. Стало быть, учительницею ее стоит на первом плане так называемая беллетристика. Если писатель начинает вести свою речь издали, публика скучает; если писатель анализирует или делает вывод, она томится и ждет: да когда же, наконец, расскажет он какой-нибудь анекдот разлюбезный? В этом я мог наглядно убедиться, присутствуя однажды в Москве на лекции профессора Юркевича; покуда профессор объяснял, что «сознание в этом разе (во время сна) носится на волнах душевного настроения», публика безмолвствовала, но как только он приступил к толкованию снов, она встрепенулась, и по аудитории пронесся веселый и живой шепот. Таким же точно образом, и даже проще, действует нападающая мысль в своих походах против молодого поколения. Она не считает нужным соблюсти в этом случае даже тот призрачный приличия, которому отдает дань г. Юркевич, предпосылая своим истолкованиям размышления о сознании, носящемся на волнах душевного настроения. Нет, она просто говорит: молодое по-

коление – это социалисты, материалисты, жулики, нигилисты, мазурики и прелюбодейцы, а затем начинает рассказывать анекдоты о том, как некто Басардин украл золотую табакерку. Из всех этих слов публика понимает только одну половину, то есть жульничество и т. д., и сверх того твердо знает, что воровать табакерки в законах не разрешается; но этого уже довольно, чтобы пробудить во всех сердцах благодарность за то, что так просто и наглядно истолковали значение тех слов, которые до сих пор казались мудреными. Начинаются рукоплескания; воришка Басардин получает наименование социалиста и передового человека и возводится в звание представителя молодого поколения.

Свобода выражения тоже немало в этом случае помогает. Когда преднамеренно и сознательно смешиваются понятия самые противоположные, когда этим смешением угощается публика малосведущая и плохо различающая и когда вся эта нетрудная работа производится безвозражательно, то понятно, что публика становится, так сказать, в положение крепостного человека, который, постоянным давлением на него крепостного права, доводился, наконец, до совершенной бесчувственности и полного непонимания его ненормальности. Она постоянно испытывает одни и те же веселые впечатления и потому весьма естественно покоряется их влиянию. Едва успела она сегодня прочитать веселый рассказ о Басардине, как уж на завтра готов к ее услугам не менее веселый рассказ о гимназисте Горобце. И таким обра-

зом, воспитанная па Басардиных, Кукшиных и Горобцах, доводимая до опьянения наркотическими завываниями «Московских ведомостей» и не видя этой галиматье отпора, публика не вступает даже в разбирательство причин, почему нет и не может быть этого отпора, а прямо приходит к убеждению, что так тому делу и быть.

Но, без сомнения, всего более содействуют заблуждению публики некоторые вислоухие и юродствующие, которые с ухарскою развязностью прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением, и, схватив одни наружные признаки этого дела, совершенно искренно исповедуют, что в них-то вся и сила. Эти люди считают себя какими-то сугубыми представителями молодого поколения, забывая, что дрянь есть явление общее всем векам и странам и что совершенно несправедливо и даже непозволительно навязывать ее исключительно современному русскому молодому поколению.

Выше я сказал, что самым тяжким положением мысли следует признать то, когда она не только обязывается тратить свою силу на мелочах, но, сверх того, не имеет даже возможности объяснить самоё себя надлежащим образом, очистить исследуемый ею предмет от тех примесей, которые ему вредят. В самом деле, что такое это молодое поколение, о котором так много говорят, какие его стремления и какова его деятельность – всё это вопросы темные не только для публики, но и для большинства самих тех, до которых они бли-

жайшим образом относятся. А этот туман еще более способствует размножению тех темных личностей, которые упомянуты мной выше под именем юродствующих и вислоухих и которые сами совершенно серьезно готовы признать воришку Басардина за тип современного прогрессиста, как признали таковым в недавнее время болтуна Базарова.

В январском обозрении общественной жизни я сделал очень скромную (и даже, сознаюсь, не довольно резкую и определенную) попытку отличить этих вислоухих и юродствующих и изъять их из общего представления о молодом поколении, которое и без того уже захламощено различными услужливыми ревнителями, – и надобно видеть, какую бурю в среде этих милых лилипутов подняла моя мимоходная и притом лишенная всякого злостного характера заметка. В одном невинном, но разухабистом органе невинной нигилистской ерунды (по врожденной мне скромности, я не называю здесь этого органа) стали доказывать, что я всегда был такой, что в прошлом году я притворялся, а теперь, дескать, не выдержал и обнаружил свою настоящую суть. Очень приятно.

Да, я всегда был такой, но и в прошлом году отнюдь не притворялся и высказывал свои мнения с полной откровенностью. Вислоухие никогда не прельщали меня; я всегда был того мнения, что они одним своим участием делают неузнаваемым всякое дело, до которого прикасаются, подобно тому как мухи летом в одну минуту засиживают какую угод-

но вещь, хотя бы самую драгоценную. В прошлом году, как и нынче, я с сожалением смотрел на людей, которые в слове «нигилизм» обрели для себя какую-то тихую пристань, в которой можно отдыхать свободно, по временам делая набег в область ерунды; в прошлом году, как и нынче, я находил, что эти невинные существа отнюдь не должны считаться представителями какого бы то ни было поколения, но что они изображают собой тот паразитский, из угла в угол шатающийся элемент, от которого, по несчастью, не может быть свободно никакое, даже самое лучшее дело. И если я выражал свою мысль не всегда одинаково рельефно, то это происходило, во-первых, оттого, что сюжет сам по себе еще слишком деликатен, а во-вторых, оттого, что при срочной журнальной работе трудно и требовать, чтобы писатель был всегда одинаково ясен и изобразителен.

Но предмет этот так интересен сам по себе, что в настоящее время я решаюсь посвятить ему несколько слов, причем предупреждаю читателя, что здесь не будет и речи об обвинениях, на меня взводимых, так как к этим последним я совершенно равнодушен.

Всякая партия, всякое дело имеют своих *enfants terribles*,⁷⁴ которые до тех только пор и бывают терпимы, покуда дело еще слабо и покуда малейший разлад в недрах той партии, которая его поддерживает, может повредить ему. Эти *enfants terribles* юродствуют, мечутся, не умеют держать язык за зу-

⁷⁴ сорванцов.

бами и всего охотнее хватаются за внешние признаки дела, так как других они и понимать не могут. Серьезно на них никто и не смотрит, но видя, с одной стороны, их невинность и усердие, а с другой, опасаясь, чтобы от их неводержности не изгибло хорошее дело, стараются действовать на них посредством ласки, которая, как известно, имеет свойство отчасти поощряющее, а отчасти умеряющее. Большинство убеждается этими ласками, и хотя продолжает заниматься мелкоплаваньем и не обещает никакой существенной помощи делу, однако уже и тем ему отрицательно содействует, что не мешает и не умножает собой победоносные ряды его противников.

И таким образом шло бы это дело воздержно и безопасно к вожделенному концу, если б из среды невинных *enfants terribles* не возникали своего рода горлопаны, юродствующие и вислоухие. Эти последние плавают столь же мелко и точно так же не идут далее внешних признаков какого бы то ни было дела, но уже возводят эти признаки в принцип и проповедают громко, самодовольно и с ожесточением. На этих людей простая ласка уже не действует, и дело, в своих собственных пользах, должно оградить себя от их несносного и навязчивого влияния.

В позапрошлом году пущено было в ход слово «нигилизм», слово, не имеющее смысла и всего менее характеризующее стремления молодого поколения, в которых можно, пожалуй, различить всякого рода «измы», но отнюдь не ни-

гилизм. Между тем слово пошло в ход и получило право гражданства, и совсем не потому, что его пустил в ход г. Тургенев (это-то бы еще небольшая беда), а именно благодаря тем вислоухим, которые ухватились за него, словно утопающие за соломинку, стали драпироваться в него, как в некую златотканую мантию, и из бессмыслицы сделали себе знамя. Если б г. Тургенев употребил вместо «нигилистов» слово «дураки» или «безголовые», как выразился однажды г. Юркевич, они бы и за эти слова ухватились с жадностью и самодовольно склоняли бы в настоящее время: мы дураки, мы безголовые, нам, дуракам, и т. д. Это уж такая несчастная страсть красоваться глупостями, беседовать о глупостях и лезть на стену по поводу глупостей, и главный источник этой страсти заключается, конечно, в скудном запасе умственных способностей.

Другой пример: в прошлом году вышел роман «Что делать?» – роман серьезный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека это факт совершенно ясный, и всякий разум-

ный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками. Точно так же, например, в сочинениях Фурье их увлекла бы не теория страстей, положенная в основание его универсальной ассоциации, не плодотворная концепция гармонического воспитания и проч., а какие-нибудь *anti-lions* и *anti-réquins*,⁷⁵ а какие-нибудь когорты мальчиков, с самоотвержением предающихся очищению отхожих мест и т. п. В этом случае они следуют примеру составителей паскудных французских литографий: посмотришь на надпись – написано «*L'oiseau envolé*»,⁷⁶ посмотришь на картину – никакой *oiseau envolé* тут нет, а просто девица грациозно приподняла платье и показывает *sa jambe bien faite...*⁷⁷ И когда такие их пошлые проделки останавливают чье-нибудь насмешливое внимание, то они на того человека указывают пальцами и восклицают: «Эге! да вы, кажется, уж над Чернышевским глумитесь!» И таким образом сваливая с больной головы на здоровую, думают прикрыть свое неистовое нравственное убожество.

⁷⁵ антильвы и антиакулы.

⁷⁶ «Улетевшая птичка».

⁷⁷ свою хорошо сложенную ножку...

Третий пример представляет вопрос женский... но здесь предпочитаю остановиться, потому что вовсе не желаю увлекаться, а говорить хладнокровно об этом предмете, благодаря паскудному покрову, который набросили на него вислоухие, совсем не легко.

Одним словом, нет мысли, которой наши вислоухие не обесславили бы, нет дела, которого они не засидели бы. «Я демократ», – говорит вам вислоухий и доказывает это тем, что ходит в поддевке и сморкается без помощи платка. «Я нигилист и не имею никаких предрассудков», – говорит вам другой вислоухий и доказывает это тем, что во всякое время дня готов выбежать голый на улицу. И напрасно вы будете уверять его, что в первом случае он совсем не демократ, а только нечистоплотный человек, и что во втором случае он тоже не более как бойкий человек, без надобности подвергающий себя заключению в частном доме, – не поверит он ни за что и вас же обругает аристократом и отсталым человеком.

Если вы посещали, читатель, петербургскую биржу весною, то, конечно, имели возможность наблюдать за неугомонною деятельностью обезьян. Сидит обезьяна в клетке и все кругом озирается, все высматривает, нет ли чего перенять. Видит она, например, рабочего, который заколачивает ящик, и тотчас же начинает суетиться, отыскивает на дне клетки заваливающую щепочку, в другую лапку берет орех и пресерьезно начинает щепочкой постукивать по ореху. Вот

действительный смысл работы наших *enfants terribles*. На сколько он полезен, предоставляю судить читателю, с своей же стороны думаю, что он вреден уже тем, что возбуждает смех в зрителях и дает им повод делать неправильные и произвольные обобщения. Конечно, мне могут возразить, что много будет чести, если обращать внимание на мнения каких-нибудь праздных зрителей, и я, разумеется, принял бы подобное возражение, если бы оно исходило от людей серьезных (впрочем, оговариваюсь: принял бы только отчасти, ибо, по моему мнению, праздных зрителей нет и не может быть, и презрительное отношение к ним составляет большую и очень часто неисправимую ошибку), но ведь надо же понять, что деятельность наших *enfants terribles* совершенно по плечу самому праздному из праздных зрителей, и, следовательно, от них никакое возражение в этом смысле принято быть не может.

Но этого мало. Не забудем, читатель, что, кроме *enfants terribles*, у нас есть вислоухие, которые потщатся подчеркнуть пошлость и возвести ее в принцип. Об *enfants terribles* можно бы еще объясниться, что это просто милые люди, на невинную переимчивость которых стоит только не обращать внимания, чтоб она упала сама собой; об вислоухих же этого сказать нельзя, потому что они лезут вперед, входят в азарт, выдают себя за людей серьезных и убежденных и подбирают себе поклонников. Посторонний зритель, непосвященный, смотрит на вислоухого уже с некоторым трепетным смире-

нием, как на сосуд некий, в котором заключена мудрость будущего, и если ему порою кажется, что эта мудрость смахивает на ерунду, то он тут же спешит поправиться и уверить себя, что это оттого ему так кажется, что он сам преисполнен ерунды, а что ерунда вислоухого есть действительная мудрость, но только мудрость не настоящего, а будущего. Скажите же, не обидно ли это?

Итак, вот каких именно вислоухих и юродствующих имел я в виду в моем январском обозрении нашей общественной жизни, а совсем не то, чтобы «выругать огулом молодежь», как выразился в письме ко мне некоторый анонимный корреспондент, который обругал меня при этом самым вислоухим образом. Ибо я очень хорошо понимаю, что взгляд на молодое поколение, как и на всякое другое, должен определяться общею его деятельностью, общими его стремлениями, а не уклонениями и юродствами, хотя бы этих последних было и великое множество.

А еще и вот что имел я в виду сказать: что одно из самых пагубных свойств вислоухих составляет непомерное их самолюбие. С одной стороны, им кажется, что вся Россия взирает на них и что сам Мошотт напутствует их из своего далека, с другой стороны, – что нет на свете ни одной отрасли практической деятельности, которую бы они могли занять, не уронив своего достоинства. Вольными ремеслами они заниматься не могут, потому что нет у них ни ума, ни искусства, ни прилежности, ни даже физической силы, ко-

торая потребна в некоторых из них, называемых низшими. Обязательным ремеслом, тем самым, которое как бы нарочно создано для того, чтоб давать приют всякого рода неспособным и от природы обиженным, заниматься несогласны, потому что: что скажет Россия! А Россия даже не подозревает, существуют ли они, эти нового рода социалисты, взирающие на жизнь как на увеселительное представление с пением и плясками! От этого-то слово «нигилизм», слово бессмысленное и ничего решительно не выражающее, было для них как бы манной небесной, потому что оно дало им повод успокоиться, дало возможность на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» – отвечать: «Мы занимаемся нигилизмом».

Но это презрение к практической деятельности (я разумею здесь эту деятельность в известном и притом весьма ограниченном смысле) составляет столь любопытное явление, что я считаю не лишним поговорить об нем несколько подробнее.

Принято за правило рассуждать таким образом: действительность притязательна, притеснительна и несправедлива, следовательно, вступать с нею в какие-либо соглашения значило бы признать себя солидарным с ее притязаниями и несправедливостью; сверх того, в своем настоящем практическом развитии она представляет чистейший продукт принципов фальшивых или бессмысленных, следовательно, принять в ней деятельное участие значило бы оказать прямую или косвенную поддержку тем самым принципам, которые

мы презираем и отвергаем. Надобно, чтобы лучшие общественные силы отказались от всяких стачек с нею, и тогда она изгибнет сама собою, жертвою своего собственного бессилия.

Рассуждение, по-видимому, правильное, но, не знаю почему, оно напоминает мне рассуждение одной очень глупой барыни, которая до того обозлилась на упразднение крепостного права, что дошла, наконец, до желанья, чтоб «уж хоть бы бог, что ли, ее поскорее прибрал». И вот при таком-то экзальтированном состоянии, однажды этой самой барыне нагрубил какой-то временнообязанный Антипка или Прошка, – и как вы думаете, что она сделала? «А вот погоди, – сказала она, – ты видишь: я беременна, а как от твоей грубости выкину, так тебя в Сибирь ушлют!» И должно думать, что сильно было в ней желание допечь грубияна Антипку, ибо она действительно выкинула и даже подала жалобу, что от Антипкиной грубости «изныл у нее внутри сын». Так вот до чего может доходить фанатизм идеи: до того, что приходится сражаться за нее уж своими боками!

Не знаю, может быть, этот пример и неостроумен, но он мне нужен, потому что очень верно характеризует всякого рода экзальтацию. Господа, столь логически рассуждающие о презрении к действительности, слишком легко забывают, что эта действительность есть сама жизнь, сражаться против которой нужно средствами, по малой мере равносильными и притом по образу и по подобию. Что пользы будет в том,

что вы станете ненавидеть ее своими боками? Она будет по-мыкать вами, будет пригибать и трепать вас, а вы в ответ на это станете в уединении и самодовольно скрежетать зубами? Подумайте, что за глупую роль вы играете в этой глупой комедии! Кого вы удивите ею? кого убедите? И робеет ли эта несправедливая и притязательная действительность, если вы не удостоите ее своим участием? Нет, она не изгибнет, а будет себе скрипеть и тянуть потихоньку канитель своими собственными средствами.

Когда я желаю, чтобы голос мой был слышен, то всегда выбираю такое место, которое наиболее этой цели способствует (обыкновенно устраиваются даже в этих видах особенные возвышения). Никто не знает, что буду я говорить, и я сам не знаю, будет ли иметь моя речь успех, но и мне и всякому другому совершенно ясно, что первое условие, о котором я должен позаботиться, все-таки заключается в том, чтобы аудитория моя могла меня слышать. А если и есть такие ораторы на свете, которые находят за лучшее пиццать где-нибудь в укромном месте, куда никому даже лазу нет, то я их не одобряю и успеха им предрекать не могу. Это могут быть люди, обладающие очень сильными талантами, но таланты их так и погибнут без следа.

В январском моем обозрении я уже имел случай заметить, до какой степени может изменяться значение действий и слов, смотря по тому, откуда они идут и в какой среде совершаются и произносятся. Это же самое замечание я счи-

таю не лишним повторить и здесь, ибо, действительно, мне случилось встречать в этом смысле примеры поистине изумительные.

Воображаю я себе, например, что я не смиренный хроникер «Современника», а какой-нибудь тюкалинский городничий, и что, несмотря на свой пост, выражаю такую мысль, что не следует сажать в часть зря, а не мешает при этом и рассматривать. Мысль, несомненно, либеральная, хотя и не пронзительная, но тем не менее все-таки такого рода мысль, что выражай я ее, в качестве простого хроникера, тысячу раз на дню, она отнюдь не запечатлеется ни в чьих благородных умах. Но так как я тюкалинский городничий, и за всем тем не гнушаюсь некоторым либерализмом, то речь моя производит решительный восторг. Умеренные консерваторы опираются на нее, как на каменную стену, и побивают ею безумных мальчишек. «Это только вы, мальчишки, говорят они, сеете семя вражды, распуская невыгодные слухи о городничих! а знаете ли вы, безумцы, что сказал на днях наш тюкалинский городничий? Он сказал, государи мои: не следует сажать в часть зря, а необходимо при этом рассматривать!» Мальчишки, с своей стороны, тоже цепенеют и перемигиваются между собой, нет ли в словах моих подвоха. Даже «вислоухие» – и те, я уверен, поднесут мне серебряную стопу, на которой с одной стороны будет вычеканено: «Не следует никогда сажать в часть зря, но лишь по внимательном рассмотрении» «» «Марта 1864 года», а с другой стороны: «Тюка-

линскому городничему благодарные вислоухие сию стопу».

Но что ж бы это было такое, если б я при исправлении должности белебеевского исправника вдруг брякнул: «Н-да, милостивые государи! женский вопрос стоит на очереди, а вопрос об эманципации детей требует непременно и ближайшего разрешения»?.. Да тут, наверное, поднялся бы такой гвалт и вой, что я не ручаюсь даже, чтобы вислоухие в восторге не лишили меня нечаянно жизни (самые ласки их бывают убийственны)!

Увы! все это я говорю и повторяю почти ежедневно, а за всем тем ни один вислоухий не поднес мне серебряной вазы, хотя, конечно, никто и не лишил жизни. Обвиню ли я современников моих в неблагодарности? Заподозрю ли их в раболепстве и пристрастии? Нет, не обвиню и не заподозрю, ибо знаю, что я стою затерянный в густой толпе, откуда звуки моего голоса, по причине спертости воздуха, не могут быть слышны, а тюкалинский городничий и белебеевский исправник стоят на некотором возвышении, откуда могут отчеканивать каждое слово, со всеми необходимыми ударениями.

Так вот о какой чаше говорил я в своем январском обозрении, и напрасно вы рассвирепели на меня, господа вислоухие, ибо о содержании, которым следует ту чашу наполнить, я не упоминал покуда еще ни слова.

Да, говорил и буду говорить без устали: гадливое отношение к действительности, какова бы она ни была, не поведет ни к каким результатам, кроме апатии и бездействия

со стороны тех, которые предаются такой гадливости, и кроме окончательного торжества тех темных сил, которые и без того торжествуют не мало. Необходимо, наконец, отрезвиться, необходимо поставить свою деятельность на почву реальную. Пусть каждый делает то, что он может и на что он способен, ибо мы никогда ничего не доспеем, покуда будем смотреть разиня рот и ненавидеть своими боками...

Скоро ли поймут эту истину господа вислоухие и юродствующие?

<XI. Апрель 1864 года>

Начну с того самого пункта, на котором оставил свою хронику в прошедший раз.

Протестовать своими боками – дело очень нетрудное, но в то же время и совершенно невыгодное. И если выгоду (разумеется, это слово следует понимать в самом обширном и разнообразном его применении) считать за исходную точку мало-мальски рассудительного человеческого действия, то подобного рода протесты можно назвать даже бессмысленными. Это простое наследие или рабства, или дикости, или такой цивилизации, которая растлена в самых своих источниках.

Известно, например, что бывшие крепостные люди против тягостей барщинной работы протестовали тем, что делали себе какое ни на есть увечье; известно также, что вотьяк или черемисенин мстят за нанесенную им обиду тем, что лишают себя жизни на дворе своего обидчика; и еще известно, что истинный японец (японский славянофил), чтобы наилучшим образом уязвить лицо, ему ненавистное, распарывает себе ножом брюхо. Примеры эти, конечно, не новы и даже избиты, но они именно тем и хороши, что, несмотря на свою избитость, имеют за собою драгоценное в этом случае качество: доказательность. Подобного рода протесты, как живые свидетели насилия, неразвитости и фаталистиче-

ской нелепости, исчезают сами собой по мере торжества свободы, цивилизации и здравого смысла. Люди начинают постепенно прозревать и понимать, что, протестуя на копейку, делают на рубль вреда самим себе, и, понявши это, стараются приискивать для своей протестантской деятельности другие, более удобные и безвредные приемы.

Разумеется, если мы вникнем пристальнее в сущность этого явления, то найдем, что со стороны крепостного человека, вотяка и японца такая нелепая форма протеста совершенно понятна. Кроме того, что она соответствует известным жизненным условиям, кроме того, что во всех такого рода случаях у протестующего или руки связаны, или умственные способности задержаны пеленою, кроме всего этого, говорю я, в результате подобных протестов все-таки оказывается ущерб, хотя и ничтожный сравнительно с ущербом, претерпеваемым самим протестующим, но тем не менее ущерб действительный. Когда крепостной человек нарочно порубал себе руку, то знал, что этот поруб исключал его из числа рабочих сил и что вследствие этого у владельца его должно произойти замешательство в полевых работах; когда вотьяк устраивает себе удавку на перекладине ворот своего обидчика, то знает, что накликает этим своему недругу беду, от которой он должен будет откупаться; когда японец, в пику врагу, распарывает себе брюхо, то знает, что враг этот действительно обидится и даже сочтет себя обесчещенным. Как ни явно нелепы их способы протеста, все-таки они имеют в

виду результат реальный, который может удовлетворить хотя чувству мстительности. Но увы! может быть протест еще более жалкий! могут быть случаи, когда протест всею своею тяжестью ложится исключительно на бока протестующего и когда при той силе, против которой он направлен, не происходит ущерба, даже ни на копейку.

Но такого рода положение дела, отчасти комическое, а более прискорбное, достаточно любопытно само по себе, чтобы остановиться на нем с некоторым вниманием.

Протесты такого рода с особенной силою сказываются в такие моменты жизни обществ, когда эти последние находятся под влиянием напряженного возбуждения, то есть что-либо торжествует или празднуется. Минуты таких празднеств в глазах многих имеют большую привлекательность, но, в сущности, они представляют очень плохой признак, доказывающий только, что жизнь находится в состоянии разложения, что она отказалась от старых форм, почему-либо оказавшихся непригодными, а новых выработать еще не успела. В такие минуты, несмотря на кажущееся торжество каких-то новых начал, всё и все протестуют, и именно потому, что торжества-то, собственно, никакого нет, а есть одно возбуждение. Одни протестуют во имя воспоминаний прошлого, другие – во имя предчувствий будущего. Жизнь сходит с реальной почвы, утрачивает последний смысл действительности и ударяется в исключительный утопизм. И как ни противоположны полюсы (прошедшее и будущее), из которых

отправляется протест, но они сходятся именно в том смысле, что в обоих случаях протест не имеет ближайшей, реальной цели и отзывается исключительно на боках самих протестующих.

Но прежде нежели продолжать мою речь, я обязан оговориться, что, употребляя здесь слово «общество», я понимаю его в том ограниченном смысле, который обыкновенно присвоается ему в литературе. Я говорю об обществе мнимом, о той накипи, которая плавает на поверхности, а не о низкой силе, которая никогда не покидает реальной почвы и не знает никаких утопий.

Выше я сказал, что при возбужденном состоянии общества протест производится или во имя воспоминаний прошлого, или во имя предчувствий будущего. И в том и в другом случае источник протеста – упразднение известных жизненных форм, которые долгое время безраздельно царили над обществом, которым одна часть этого последнего бессознательно покорялась и из которых другая часть извлекала немаловажные выгоды.

В первом случае протест идет из среды людей, для которых упраздненные формы жизни были выгодны. Люди эти очень хорошо понимают, что время обладает способностью беспощадно и безвозвратно затягивать архивную пыль все, что однажды отмечено жизнью клеймом негодности, и что протестами своими они никому и ничему, кроме самих себя, ущерба учинить не могут, но тем не менее протестуют, пото-

му что сердца своего унять не в силах. «Погоди ты у меня, – говорила одна барыня (она была тогда беременна) временнообязанному своему лакею, – вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!» И говорила это барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть! чтобы потом иметь право написать, что «от огорчения, причиненного ей грубостью подлеца Ваньки, изныл внутри у ее ребенок!» Быть может, даже по ночам ей мерещилось, что вот она выкидывает (конечно, без особенно скверных последствий), что Ваньку за это судят и, наконец, ссылают в Сибирь. Но ведь кто же не понимает, что и угрозы и самые желания, при всей своей искренности, – все здесь, до самой последней подробности, призрачно и фантастично? Сама барыня это очень хорошо понимает; она знает, что Ваньку-подлеца ни в каком случае не сошлют (даже если б она действительно разрешилась мертвым младенцем), но у ней до того раскипелось сердце от огорчения, не от Ваньки даже идущего, что она впадает в злобную мечтательность, начинает строить воздушные замки, рисует себе соблазнительно-фантастические картины, в которых на первом плане стоят во всех положениях и на все манеры расписываемые Ваньки. Это даже и не мечтательность, а какое-то совсем особенное состояние духа: не сон и не бдение. Юноша с пылким, но рано развращенным воображением испытывает иногда нечто подобное: он сидит над книжкой, а перед глазами его воочию мелькает фантастическая женщина; он очень хорошо знает, что жен-

щины тут никакой нет, а есть латинская грамматика, но в то же время чувствует, что в жилах его закипает кровь... А рот у него облепили мухи. Моя огорченная барыня жила такую же полусознательную жизнью, и потому, как только действительность вызывала ее из забытья, она протестовала, и, разумеется, протестовала самым крайним и нелепым образом, не щадя, так сказать, своего живота. Протест жалкий и только в своей бессознательности находящий себе оправдание. «Господи! уж хоть бы разорвало, что ли, меня поскорее!» – вопит человек и в этих невинных воплях находит для себя утешение. Но если б он знал, какой веселый смех возбуждают они в окружающих! Если бы он знал, что даже окрестность, неодушевленная окрестность – и та улыбается, взирая на то, как он в порыве нелепой и бесплодной мести раздирает свои собственные внутренности!

Если бы он знал! Но в том-то и дело, что он не знает, да и не следует ему этого знать, потому что в противном случае он мстил бы иначе и, может быть, не возбуждал бы даже смеха. Это положительно повредило бы ему, потому что смех есть именно то единственное качество, при посредстве которого возможно примирение с людьми такого рода. Не будь этого смеха, оставалась бы налицо только сухая и безрезультатная их злоба, а теперь, сверх того, всюду просачивается еще достаточная доля глупости. И, таким образом, причина злобы объясняется сама собою и в значительной степени смывает с ее обладателя то темное пятно, которое, в против-

ном случае, лежало бы на нем.

Но как иначе назвать такой протест, как не протестом своими боками? Здесь протестующий не только не наносит ни малейшего ущерба ненавистному делу, но сам всечасно подвергается всеобщему осмеянию и, кроме того, испытывает на себе все горькие последствия, длинной вереницей сопровождающие всякое неудавшееся действие. Он чувствует себя раздраженным и злым, тогда как по природе своей он апатичен и добр; он худеет и стареется, тогда как, не будь проклятого протеста, ему по всем правилам надлежало бы тучнеть и юнеть. И все-таки он протестует, протестует, несмотря на очевидную невыгоду такого действия, протестует, несмотря на то что протест, при таких условиях, явно действует в ущерб ему одному!

Однако случаи подобного рода далеко не исключительны; может существовать обстановка, хотя и не имеющая ничего общего с изображенной выше, но которая отнюдь не меньше благоприятствует тем протестам, о которых идет речь. Если в первом случае человек выходит из мирозерцания, ограничивающего развитие жизни, то во втором – он выходит из мирозерцания, возводящего представление о жизни до размеров идеала. Если в первом случае запрос поражает своим ничтожеством, то во втором – он поражает своею громадностью. Но практический результат и того и другого запроса всегда одинаков.

Я понимаю, что могут существовать на свете люди мыс-

ли страстной, не останавливающейся ни перед какими выводами, мысли, не повинующейся никакому иному закону, кроме закона своего собственного логического развития. На людей такого закала известного рода открытия действуют чрезвычайно решительно. С одной стороны, подробный анализ разнообразных положений, в которых находился человек при испытанных доселе порядках, доказывает совершенную несостоятельность этих последних; с другой стороны – столь же подробный анализ свойств человека и его отношений к внешней природе указывает на возможность другой действительности, действительности разумной и для всех одинаково удовлетворительной. Строгим, почти математическим процессом мышления человек доходит до сознания идеала и с высоты смотрит на действительность. На этой высоте мысль, отрешенная от реальной почвы, питается своими собственными соками и даже приобретает способность создавать свои собственные живые образы. Понятно, что при таком богатстве внутреннего содержания, разнообразные, но бедные и тощие мотивы жизни действительной должны казаться не более как безразличным дрязгом, к которому надлежит относиться не с ненавистью или отвращением, а с полным равнодушием. Люди волнуются, усердствуют, подставляют ноги, льстят, взаимно друг друга истребляют из-за какого-нибудь черствого куса хлеба; люди ценой величайших жертв и усилий шаг за шагом вырывают из пасти чудовища разорванные и помятые клочки того «счастья», о котором

мечтает всякий человек и которое составляет его естественное и законное достояние, – но разумно ли поступают эти люди, волнуясь таким образом, и не являются ли они в своих усилиях глупцами и пошлецами? Я не знаю, как на деле ответит на этот вопрос мысль, дошедшая до сознания идеала, но знаю, что если она верна самой себе и достаточно искренна, то обязана ответить: «Да, эти люди пошлецы и глупцы!» И действительно, разве кусок черствого хлеба сделает человека навеки счастливым? разве, например, одна эмансипация слова удовлетворит умственным потребностям человека? Разве возможно из общей цепи жизненных явлений выдвигать по произволу то или другое звено, а прочие оставлять ржаветь на старых местах? Разве не перестанет человек и после того волноваться и биться, домогаясь и еще какой-нибудь обглоданной кости и еще какого-нибудь обкусанного и оплеванного клочка? Кажется, что ответ на эти вопросы не может быть сомнителен, а если он не сомнителен, то, следовательно...

Повторяю: я совершенно понимаю возможность людей такого закала и вполне сознаю законность той роли, которую они играют в сфере мысли. Тем не менее это все-таки люди мысли, а не практического дела, или, говоря простым слогом, это люди кабинетные, которые имеют в виду человечество, в обширном значении этого слова, и, согласно с этим, отыскивают истину общечеловеческую, абсолютную, но которые вести человечество к осуществлению этой истины не могут. Причина такого практического бессилия заключается

все в той же страстности мысли, о которой говорено выше и которая естественно переходит в восторженность, упраздняющую необходимую для практической деятельности ясность представления о пространстве и времени. Таких людей никогда не бывает много, ибо появление их находится в зависимости от такой исключительной совокупности благоприятствующих условий, которая может быть объяснена только редкою случайностью. Да, пожалуй, оно и не худо, что их мало, потому что, если б их было изобилие, то в обществе непременно произошел бы застой и запустение. Это, собственно, аристократы мысли, которые могут быть полезными только в умеренных приемах. Задача их жизни до того высока и проста, что она удовлетворяется сама собой и не дает даже места для протестов и неудовольствий. Да, протесты, о которых идет речь, идут совсем не из этой среды, а из другой, из среды, так сказать, второго сорта, но ведущей из этого же источника свое происхождение.

След, оставляемый горячим словом истины, не ограничивается одною умозрительною сферой, но стремится проникнуть в самую жизнь. Сильные личности находят прозелитов, даже не давая себе труда искать их, а истина сама по себе до того привлекательна, что, однажды приютив в своих недрах человека, может смело рассчитывать на посильную с его стороны службу. Таких второстепенных и третьестепенных деятелей, дошедших до истины не путем самостоятельного мышления, но принявших ее готовую, уже гораздо более, и

вот в этой-то скромной среде и зарождается первая идея о необходимости протеста.

Я с намерением употребляю здесь слово «скромность», потому что, в самом деле, вся заслуга второстепенных деятелей (впрочем, не малая) в том только и состоит, что, во-первых, они умеют отличить истину от лжи и добровольно становятся на сторону первой, а не последней, а во-вторых, что они служат проводниками истины в жизнь и делают ее мирским достоянием. Их роль – роль простых чернорабочих мысли, роль, низводящая мысль с ее недостижимых высот, роль полезная, но не имеющая никаких прав на красоту. И чем теснее и даже ограниченнее они будут очерчивать сферу своей деятельности, чем менее будут прикидываться аристократами мысли, тем будет лучше, ибо только в таком случае протест их может иметь действительную силу, когда он не разбрасывается в беспорядке, а всю свою энергию сосредоточивает на известном, совершенно определенном пункте. И в этом деле, как и во всех других делах человеческих, большую роль играет разделение труда и специализация его; в этой дробности труда человек находит большую для себя помощь, но для того чтоб эта последняя была действительна, необходимо, чтобы соблюдение этого закона было обязательно. Отсюда новое подтверждение: быть скромным, не расплываться в общностях и не лезть в аристократы.

Но положение мыслителя самостоятельного слишком

привлекательно, чтобы не соблазнить собою даже таких людей, которые ни в каком случае не могут претендовать на него. Бедные смертные, которых всё значение заключается в их благонамеренной восприимчивости, охотно называют себя аристократами мысли, забывая, что у них совсем не имеется налицо необходимого для такого титула умственного капитала и что, вследствие этого отсутствия, самый характер их деятельности, по необходимости, должен быть совершенно иной. И вот они начинают облекаться ризою таинственности, делают истину каким-то недоступным для масс кастическим достоянием и вообще прикидываются понимающими более того, нежели понимают в действительности. Разумеется, на деле они никого этим не обманывают (ибо всякому, даже самому недалёковидному человеку нет ни малейшей трудности угадать в них совсем не самостоятельных мыслителей, а просто любопытную коллекцию хорошо обученных снегирей), но все-таки такого рода самообольщение производит не малую путаницу в ходячих понятиях и даже в общем направлении общественной деятельности.

Путаница эта происходит именно вследствие того, что люди эти совсем не мыслители, а по самой своей природе только пропагандисты и практические деятели. Поэтому-то главный и самый типический признак их деятельности составляет все-таки протест, но так как, вследствие разных причин, о которых говорено выше, характер их деятельности (или, лучше сказать, их мнение об этом характере) искусственно

извращается, то это извращение не остается без влияния и на характер протеста. Вместо того чтобы быть живым и целесообразным, этот последний поражает своею вялостью и апатичностью и в результате превращается, наконец, в тот жалкий протест своими боками, речью о котором я начал настоящее мое обозрение.

Предупреждаю, однако, читателя, что я вовсе не имею здесь намерения ни порицать, ни тем менее смеяться над кем и над чем бы то ни было. Цель у меня одна: показать, что опыт для того существует, чтобы мы им пользовались и чтобы мы избегали тех вольных и невольных ошибок, в которые впадали наши предшественники. И если я при этом, по неумелости или несовершенному знанию отечественного языка, не всегда употребляю те самые слова, которые наиболее в данном случае пригодны, то читатель обязывается поправить меня; если я выхожу от величин неизмеримо малых, то ничто не должно препятствовать читателю продолжать мою работу самостоятельно и доходить собственным умом до величин неизмеримо больших; если я (вследствие волнения чувства) ставлю несколько точек там, где должно стоять несколько слов, то читатель обязывается все эти пробелы пополнить, потому что он в волнении чувств не находится.

И вот эти люди протестуют. Протест их заключается: во-первых, в признании всех существующих форм жизни одинаково неразумными и одинаково лишенными способности

развиваться и, во-вторых, в уклонении от всякого участия в деятельности, которая имеет хотя малейшее отношение к действительности. Первая половина этого положения, очевидно, пришла с чужого голоса, без всякой проверки ее достоинства в практическом смысле, вторая половина составляет необходимое практическое последствие принятой на веру первой мысли. И таким образом люди, весь смысл деятельности которых заключается именно и единственно в практической ее полезности, на первых же порах впадают в безвыходное противоречие с самими собой, с своей ограниченной природой, с своим чернорабочим назначением. Противоречие это может быть выражено так: мы люди дела, а не мысли, но наше дело заключается именно в том, чтобы не было никакого дела.

Одним словом, мы встречаемся здесь с повторением того же самого явления, которое некогда очень удачно формулировалось выражением «искусство для искусства» и над которым немало-таки посмеялась наша литература последних годов. Но как ни язвительны были эти насмешки и как ни решительно объяснена ею нелепость подобной бесплодной деятельности в области искусства, должно полагать, что она сама еще надолго осуждена вращаться в этом порочном круге. И в самом деле, упразднив понятие о служении искусству для искусства, она пришла все-таки к тому, что создала другое положение, совершенно ему равносильное: понятие о служении истине для истины. И хотя она прямо не формули-

рует своего учения в этом смысле, но разве оно не сказывается ясно в ее уклонении от разрешения насущных вопросов жизни, в отвлеченной вялости всего ее содержания! Правда, что это дает ей возможность держать себя осторожно, устраняться от множества ошибок, почти всегда неизбежных при практическом разрешении вопросов, и вообще с усердием и зоркостью наблюдать за своею собственною опрятностью, но...

Но как ни почтенна истина сама по себе, действительная мера ее почтенности познается только тогда, когда она служит жизни. Жизнь требует, чтобы истина не господствовала над нею, а служила ей, и притом служила только в той степени, в какой она сама того хочет; жизнь не терпит перерывов и не убеждается идеалами, даже в таком случае, когда содержание этих идеалов имеет характер совершенно реальный; абсолютная истина действует неотразимо только в сфере мысли, то есть именно в той сфере, которая до сих пор заявляла только о своей необыкновенной способности к обособлению и сектаторству, и хотя часть этого действия проникает неминуемо в сферу жизни, но проникает медленно и отрывочно. Причина этого последнего явления заключается в тех привычках или, лучше сказать, в тех узах, которыми со всех сторон обставлена жизнь обыденная, реальная и которых совсем не знает жизнь мысли. Мысль свободна, тогда как над практической деятельностью человека тяготеет и история, и настоящая его обстановка, и, наконец,

обязательное предвидение будущего. Самое дрянное, самое неудовлетворительное практическое положение – и то имеет за себя известный установившийся строй, дающий деятельности человека особенную складку, которая, по крайней мере до поры до времени, делает его неспособным ни к какой другой деятельности. Никто, конечно, не позавидует положению нищего, да и сам он не очень-то подорожит своим ремеслом, однако ж, чтобы исторгнуть его из этого положения и обратить к промыслу более выгодному для него самого, необходимо употребить некоторое усилие и затратить известную долю времени. Ибо и у него уже образовались своего рода привычки, ибо его до известной степени даже тянет к нищенству, как к профессии, которой он достиг до виртуозности.

Итак, если, с одной стороны, невозможно отрицать (да никто этого и не отрицает), что деятельность людей мысли необходима и плодотворна, что люди эти освещают человечеству путь и открывают для него новые законы жизни, то не следует отрицать и того, что огромное большинство их подмастерьев и учеников должно, наконец, убедиться, что оно совсем не способно к подобной роли, что присвоением ее себе оно только производит путаницу и вредит тому самому делу, которому предполагает служить, и что какой-нибудь Кроличков, рассматриваемый как философ и новатор, стоит всего 15 коп. серебром, тогда как, если смотреть на него как на расторопного малого, которого можно посылать

за квасом в лавочку, то ему, быть может, и цены не сыщешь.

Назначение подмастерьев везде и всегда было чисто практическое, и непонимание этой истины всегда вело к самым плохим результатам, а именно: во-первых, к значительному потускнению самой мысли, во-вторых, к полному общественному застою, усугубляемому торжеством противных сил, и, в-третьих, наконец, к личным, совершенно глупым, бесполезным и безрезультатным невзгодам, которые я отметил выше под общим выражением протеста своими боками. Следовательно, здесь весь вопрос заключается только в том, каковы должны быть границы и каков характер предстоящей практической деятельности.

Прежде всего представляется вопрос, допускает ли практическая деятельность сохранение наших идеалов в их чистоте и неприкосновенности? Я понимаю, что для многих такой вопрос должен представлять существенную важность, но не полагаю, чтобы разрешение его представляло особенную трудность. Если мы хорошо уразумеем, что вся предстоящая деятельность именно в том и заключается, чтобы проводить эти идеалы в жизнь, то в то же время уразумеем и ту истину, что работа наша тогда только и может быть вполне успешна, когда эти идеалы будут всегда перед нашими глазами. Следовательно, заботиться об их чистоте и неприкосновенности мы вынуждены будем в видах собственных наших польз. Жизнь может вводить в ошибки, недоразумения и заблуждения – это правда, но ведь все эти ошибки и недо-

разумения тогда только могут иметь в результате потемнение идеала, когда они вошли в плоть и кровь человека, когда они сделались его второю природою, когда они допускаются уже не как ошибки, а как естественное явление всей совокупности человеческой деятельности. Понятно, что <такое> положение дела может иметь место или тогда, когда никакого идеала, в сущности, никогда и не было, а была только пустая вывеска, гласившая о присутствии идеала, или же тогда, когда к деятельности приступается с наперед обдуманною недобросовестностью. Но об этих случаях и говорить нечего, потому что они составляют только исключение, нимало не упраздняющее правило. В общем же смысле значение ошибки совсем не так важно, как можно предположить это с первого взгляда, потому что до тех пор, покуда она еще не ускользает от собственного анализа человека, ее допустившего, покуда этот человек может доказать себе, что в данном случае он уклонился от надлежащего пути, до тех пор, говорим, она никаким образом не может представлять серьезной опасности для идеала. Соглашаюсь, конечно, что практические последствия ошибки могут быть более или менее невыгодные, но, в свою очередь, не могу не принять во внимание и того обстоятельства, что все эти последствия, как бы они ни казались значительными, утопают, как капля в море, в общей сфере человеческой деятельности. Главный тон этой деятельности все-таки определится не чем иным, а именно идеалами, ибо сила последних достаточно велика,

чтобы просочить их сквозь всевозможные жизненные противоречия, и человек, которого душе однажды они были доступны, уже не в силах до такой степени отказаться от них, чтобы сделаться по-прежнему чем-то вроде *tabula rasa*.⁷⁸

Для подтверждения этой последней мысли прибегнем к примеру положительно невыгодному. Предположим человека самого слабохарактерного и мягкодушного, словом, такого человека, на которого прелестные голоса жизни оказывают особенно чарующее влияние. Несомненно, что человек этот всего более доступен всяким внешним влияниям, что он легко допустит себя засосать всякому болоту, что он может быть и хорош, и дурен, и добр, и зол, смотря по среде, которая его окружает. Но несомненно также и то, что если он, когда-нибудь, вследствие стечения счастливых случайностей, дышал тем воздухом, в котором носилось слово добра и истины, то одного этого обстоятельства уже достаточно, чтобы повлиять на всю его жизнь. У него уже получится мерило для оценки своих и чужих действий, и как бы ни являлся он доступным для всякого рода влияний, все-таки между этими влияниями и им станет раз навсегда известная граница, за которую первым никогда не удастся перешагнуть. И как ни засасывай его болото, всего его все-таки не засосет. Экземпляры такого сорта встречаются нам в жизни на каждом шагу, и мы были бы очень легкомысленны, если бы вздумали пренебрегать ими. Это экземпляры драгоценные; это пред-

⁷⁸ чистой доски.

ставители того среднего умственного уровня, который обыкновенно составляет достояние масс. На них, как на пробном камне, можно даже изучать как силу влияния идеалов, так и непосредственные результаты, производимые этим влиянием в массах.

Еще более резкий пример представляют так называемые ренегаты. Я не знаю в истории примеров счастливого ренегатства, кроме разве таких, когда ренегат переходит из одной ерунды в другую (эти называются людьми смышленными и обыкновенно бывают очень счастливы, ибо всевозможные ерунды равно дорожат ими). Где причина такого явления, как не в том, что человек, однажды узнав истину, уже не может удовлетвориться тою ерундой, в пользу которой он ее продал, и что из этого должно неминуемо произойти недовольство самим собою и полнейшее разочарование. Он начинает понимать, что увлекся выгодами мнимыми, что понятие об истине и добре слишком прочно и глубоко пускает корни, чтобы можно было его утопить в первой попавшейся луже. И вот он старается поправиться; но так как при известных обстоятельствах поправки не может быть, то кончает тем, что пускает себе в лоб пулю. Это печальный конец всех вообще ренегатств, и причина его все-таки заключается в том неотступном преследовании идеалов, которое не может быть прекращено ничем... даже ренегатством.

Следовательно, отказываться от практической деятельности из-за того, что прикосновение ее может повредить чи-

стоте и неприкосновенности идеалов, совершенно неосновательно. Вера людей крепких и истинных не только не пошатнется от столкновений с действительностью, но еще более закалится в горниле ее; что касается до людей малодушных и слабых, то, во-первых, от них всегда не бог знает сколько пользы для дела верований и убеждений, а во-вторых, даже эта малая польза делается равна нулю, если они с этими убеждениями, как с неким сокровищем, будут таиться в своих мурьях и утешать ими своих добродушных наставников.

Но чтобы окончательно развязаться с этим вопросом и доказать осязательно, что жизненные противоречия могут идти своей колеей, нимало не подрывая коренных убеждений человека, я нахожу нужным привести еще несколько примеров.

Уважение к народу (принимая это выражение в смысле массы) и служение его интересам представляют, как известно, один из тех богатых жизненных идеалов, которые могут наполнить собой все содержание человеческой мысли и деятельности. Это истина, которую могут отрицать лишь очень ограниченные люди, не понимающие, что все общественные идеалы, как бы ни было велико их разнообразие, все-таки, в окончательном результате, сливаются и сосредоточиваются в одном великом понятии о народе, как о конечной цели всех стремлений и усилий, поработавшей себе даже те высшие представления о правде, добре и истине, которые успело

выработать человечество. Системы самые нелепые и самые несправедливые – и те сознают это и не могут обойтись без того, чтобы не прикрывать свои нелепости и неправды мнимым служением интересам народа. Между тем, присматриваясь ближе к самому этому народу, к условиям его жизни, к его умственным и нравственным запросам, мы находим, во-первых, что он обладает очень малым количеством знаний, во-вторых, что в основании его обычаев и понятий лежит в большинстве случаев не здравый смысл, а предрассудок, и, в-третьих, что его симпатии и антипатии очень часто бессознательны, а иногда даже и просто безобразно-ошибочны. Безразлично оправдывать массы в их движениях и симпатиях совершенно невозможно, потому что, однажды ставши на эту почву, можно очутиться очень далеко. Таким образом, по-видимому, предстоит в этом случае одно из двух: либо оставаться глухим и слепым к жизни массы, либо относиться к ней презрительно. Но первое невозможно, во-первых, потому, что как бы ни был человек замкнут в своих идеальных сферах, он все-таки живой организм, в котором, даже помимо его воли, заговорит кровь, а во-вторых, потому, что сами массы, наконец, заставят его и видеть и слышать, если б он и усиливался затыкать себе уши и закрывать глаза. Презрительно же относиться к жизни народа тоже невозможно, потому что тогда наша мысль лишится своего естественного центра тяготения, сделается пародией на мысль, бессвязно-болезненным бредом, а не мыслью. Следователь-

но, мысль, по необходимости, должна будет выйти из своей замкнутости и заботиться о том, чтоб установить себе связь с жизнью и отыскать для себя в ней приют. Потеряет ли она от того свою ясность и чистоту? – Нимало. Тут вопрос совсем не в том заключается, чтобы слиться с жизнью органически, слиться до оправдания ее нелепостей и пороков, а в том, чтобы объяснить себе эти последние, анализировать данные, которые представляет известный момент общественного развития, и установить отношение между ними и абсолютными требованиями мысли. С выполнением этих условий путь, по которому надлежит идти, выяснится сам собой, путь чистый и прочный, путь, который заставит нас осторожно и без гнева относиться к жизненным уклонениям, но в то же время заставит видеть в этих последних не первородный какой-либо грех, вроде пятна несмываемого, а именно только временные и легко объяснимые уклонения. Такой путь не только не затемнит наших идеалов, но даже не подорвет наших надежд в будущем...

Другой такого же рода пример представляет собой критическая оценка как действий отдельного человека, так и явлений целого жизненного строя. С точки зрения чистого разума эти действия и явления являются нам совершенно безразличными, то есть не заслуживающими ни похвалы, ни порицания, ни преступными, ни добродетельными; весь умственный труд здесь заключается единственно в объяснении, то есть в сопоставлении явления с причинами его про-

изведшими. И если этот труд ведется логически, и, кроме того, если все подробности, определившие известное действие или явление, вполне раскрыты, то результат его неминуемо должен быть один: признание за фактом характера последовательности. Таким образом объясняются целые огромные категории преступлений, и статистика, приходя на помощь к этим объяснениям неопровержимыми цифрами, доказывает, что известные преступления совершаются лишь в известных условиях и даже в известной общественной среде. Убеждение в достоверности подобного закона есть одна из важных побед, сделанных человеческим разумом в области неизвестного, и полагает начало тому гуманному взгляду на человеческие заблуждения, который, приобретя уже почти бесспорное господство в литературах всех цивилизованных народов, мало-помалу начинает проникать и в самую жизнь. Тем не менее, как бы мы глубоко ни были проникнуты подобными воззрениями на человеческие действия, все-таки не можем воздержаться, чтобы не полагать между ними различия. К этому побуждает нас даже не собственная наша выгода (рассматриваемая в тесном и исключительно своекорыстном смысле), а выгода того дела, того строя понятий, которому мы сознательно или бессознательно служим. А сверх того побуждает еще и то соображение, что в делах человеческих никакой прогресс не делается сам собою, а составляет результат целой совокупности человеческих усилий. Исходя из этой точки зрения, мы находим, что известным обра-

зом направленная человеческая деятельность вредит водворению в жизни истины, и хотя, анализируя мотивы этой деятельности, убедимся наверное, что она имеет свой законный смысл, тем не менее мы не затруднимся признать ее ложною и позаботимся об ее устранении. Какие употребим мы в этом случае средства, карательные ли или просто образовательные, – это вопрос особый, но несомненно, что самый крайний и исключительный гуманист не останется, да и не может остаться равнодушным зрителем при виде преград, на каждом шагу возникающих между его идеалом и жизнью. Тем не менее разве такой образ действия может хотя на одну линию подрывать основное убеждение о неприступности человеческих действий вообще? – Нисколько. Опять-таки здесь устанавливается лишь отношение между основными идеалами и относительною, так сказать, случайною преступностью известного действия, и практическая деятельность, устанавливая это отношение, ничего не осуждает, а только анализирует, проводит нужные параллели и из всех этих посылок выводит заключение о вреде действия лишь ввиду известных целей. Коли хотите, тут есть отступление от коренного правила, но отступление временное, вынуждаемое обстоятельствами, отступление, вполне сознающее, что оно отступление, и, следовательно, нимало не нарушающее неприкосновенности самого правила.

Итак, повторяю: опасения относительно потемнения идеалов от практического столкновения с действительностью

лишены всякого правильного основания. Такой уродливый результат может быть последствием или злонамеренной умышленности, мотивированной ложно понятою выгодой, или же совершенной нравственной и умственной негодности человека, заявляющего об идеалах. Но и тот и другой случай, как составляющие чистейшую аномалию в общем порядке, которому следует человеческая мысль в своем движении, не могут подлежать никакому серьезному обсуждению.

Но где должен быть почин практической деятельности, какой ее характер, ее границы? Ответ на эти вопросы следует отыскивать в тех целях, которые поставила себе в виду деятельность, и в той обстановке, которую она встречает на пути своем. Если животворящий и возбуждающий принцип деятельности заключается в идеалах, то круг ее действий и выбор орудий, которыми она может располагать в этом смысле, должны вполне определяться теми случайными обстоятельствами, среди которых происходит ее проявление. Одно только условие обязательно здесь: постоянно держаться на реальной почве, не обнаруживать слишком громадных запросов, не смотреть на действительность как на воск мягкий и видеть в ней продукт живых и сложных сил, над которым тяготеет целый исторический процесс, не ожидать слишком легких успехов и чутко присматриваться ко всякой случайности, откуда бы она ни шла, которая может подвинуть к данной цели. Условие, конечно, очень тяжелое, но надо сказать себе раз навсегда, что без соблюдения его никакой успех

немыслим и все наши дела будут только беспорядочным метанием из угла в угол, которое не интересовать может, а только повергать в изумление.

Представьте себе адвоката, который взялся бы защищать перед судом обвиненного, и вместо того чтобы выполнить свою задачу просто, то есть, ставши на точку зрения судей (ибо они силою вещей поставлены в положение судей, а обвиняемый – в положение обвиняемого), шаг за шагом опровергнуть взводимые на его клиента напраслины (в глазах умного адвоката, раз решившегося взять на себя защиту дела, все обвинения должны быть напраслинами), наполнил бы свою защитительную речь очень гуманными рассуждениями о том, что общество само создает преступника, что оно прежде всего должно обратить свой арсенал кар против самого себя, что преступных действий в абсолютном смысле нет и не может быть, что, следовательно, наказание и в данном случае и вообще представляет такую бессмыслицу, о которой и говорить серьезному человеку стыдно и т. д. Я не отрицаю, что такого рода объяснения могут быть изложены очень ловко и даже более или менее увлечь за собой известным образом настроенную часть аудитории, но не могу отрицать и того, что в смысле защиты это будет совсем не защита, а скорее совершенное ее отсутствие, что суд, по выслушании объяснений адвоката, непременно обвинит подсудимого («разглагольствования-то эти мы знаем!» – скажет он) и что этот последний, конечно, будет горько раскаиваться в

том, что прильнул к помощи этого слишком уж глубоко забирающего адвоката.

Я уверен даже, что вскоре вслед за этим неудачным опытом защиты такой глубоко забирающий адвокат окончательно канет в Лету как адвокат и, по мнению моему, понесет только заслуженное. «Не мели, любезный друг, не мели! – скажется ему в напутствие, – а имей в виду прежде всего прямые пользы твоего клиента и, удовлетворяя им, старайся в то же время удовлетворять и своим идеалам. Этой последней цели ты можешь достигнуть, вовсе не пренебрегая годами клиента; напротив того, он даже послужит тебе рельефом, около которого будут группироваться твои доказательства, и тогда судья охотно приклонит к тебе свое ухо и не только признает обвиненного невинным, но и сделает из твоих объяснений необходимые выводы и изменения!»

Точно таким же образом (то есть противоположным взятому мною в пример адвокату) следует поступать и во всех тех случаях, когда мы имеем дело с людьми непросвещенными. Должно забыть стих:

Умолкни, чернь непросвещенна!

и помнить, что «чернь» эта заслуживает полного нашего внимания, и что мы, подступая к ней, должны начать именно с той точки, на которой она стоит. Простодушный поселянин еще убежден в существовании ведьм и домовых, а потому

если мы желаем дать ему сведение о высших силах природы, независимых от этих ведьм и домовых, то обязаны подорвать целое мирозерцание, сложившееся в нем и глубоко пустившее корни. Для достижения этой цели может быть действительна только одна метода: это переход от понятий простых к понятиям более сложным, а отнюдь не другая метода, которая гласит: ты, братец, все врешь, а послушай-ка, что я тебе стану говорить. Есть истина очень простая и даже пошлая: без арифметики невозможно изучение высшей математики, а между тем, несмотря на пошлость этой истины, ее нужно ежеминутно повторять, потому что привычка гениальничать и начинать всякое дело с конца до того овладела нами, что мы уже не видим ни перед собой, ни за собой ничего, кроме высот надзвездных.

Точно то же будет с нами, если мы к тому же простодушному поселянину приступим с соображениями чисто практическими насчет беспечального жития. Он так привык думать, что все сие так должно быть, как оно есть, и что все сие должно лежать именно на нем, что даже не задумается над вашими соображениями, да и разговаривать, пожалуй, не станет, а просто пожалуется.

А мы, конечно, хотим совсем не того.

Да, уменье сказать именно то, что нужно, и именно так, чтобы нас слушали и понимали, есть великое уменье, которое дается очень немногим, но которым никто не имеет права пренебрегать. Всякий человек, сознающий в себе ту жи-

вотворную искру, которая творит общественного деятеля, прежде всего обязан представить себе свою задачу со всею ясностью, должен строго отнестись к самому себе. И если человек этот, взвесивши внимательно все шансы pro и contra,⁷⁹ все-таки придет к деятельности только с теми, которые говорят pro, то он очень скоро сойдет со сцены, потому что будет болтать о пирожках тем, для которых даже черный хлеб составляет лакомство и которые, вследствие этого, примут его речи или за нругательство над их бедностью и убожеством, или за тарабарскую грамоту, пригодную для потехи одного говорящего. Но еще и потому скоро сойдет со сцены такого рода деятель, что, во-первых, увидит себя в самом печальном одиночестве, проповедующим в пустыне и о пустыне, а во-вторых, он сам, постоянно раздражаемый представлением о пирожках, незаметно от самого себя заразится если не презрением, то, по малой мере, полным равнодушием к тому черному, неприглядному хлебу, который составляет главный фонд скудного, насущного пропитания алчущих масс. Опять-таки мы, конечно, не этого добиваемся, а добиваемся того, чтобы наши пирожки все понимали и все их предвкушали.

Но так как мы более заботимся о светозарных наших грезах по тому, что скажут об нас вислоухие и юродствующие, то из этого выходит то весьма печальное для нас и для дела последствие, что мы из кожи лезем, чтобы создать какое-то

⁷⁹ «за» и «против».

окутанное мраком сектаторство, не мраком тайны окутанное, а мраком гораздо вреднейшим и глупейшим: мраком непережеванных мыслей и непонятых выражений.

Страсть к сектаторству достаточно-таки распространена у нас на Руси, и в большей части случаев мы довольно ловко управляемся с нею. По крайней мере, большинство так называемых расколов свидетельствует о замечательных организаторских способностях русского человека и о далеко не заурядной его силе в деле пропаганды. Мы не можем произнести слово «раскол», чтобы с этим словом в мыслях наших не соединялось представление об организации плотной и почти непроницаемой. Это последнее качество, то есть непроницаемость, представляет, конечно, их порочную сторону, но в то же время оно свидетельствует и о силе, богатой задатками в будущем. Если правда, что расколы безразлично замкнуты и для света и для тьмы, то правда и то, что это свойство временное, составляющее результат случайных, неблагоприятных обстоятельств, и что с наступлением иных условий оно должно исчезнуть само собою. Но организаторские способности останутся навсегда и, вынеся на себе целое историческое иго, конечно, могут получить в будущем только более роскошное и пышное развитие.

Совсем иной характер представляет сектаторство, так сказать, высшей школы. Здесь организаторские способности равняются нулю, и взамен того является безграничная способность расплываться и растворять все двери настежь.

Здесь даже нет сектаторства в смысле организации, а есть одиночное сектаторство мысли, то горькое, безнадежное сектаторство, которое делает человека чужим среди живого общества...

И опять-таки повторяю: я очень хорошо понимаю, что люди мысли страстной и проницательной могут оставаться в полном отчуждении от дел мира сего; я понимаю даже, что они имеют право упорствовать в этом отчуждении, несмотря на всевозможные удары судьбы. У них и цель перед глазами безмерная, высокая, да и сами они стоят так высоко, что повесть их жизни питает собой целые поколения, следовательно, их роль в этом отношении совершенно особенная. Но подобное же отчуждение со стороны простых смертных, которых все значение заключается, как я сказал выше, единственно в их благонамеренной восприимчивости, не только не понятно, но и положительно зловредно. Оно отнимает у обновляющей мысли те укрепления, которые ей необходимы для действия, и лишает ее естественной ее защиты. Являются целые легионы самозванцев-мыслителей, да и не легионы даже, а просто сброд, в котором каждая отдельная личность мнит себя самостоятельной и порывается выделить себя из общей связи. Последствие такой жалкой неурядицы может быть одно: посрамление мысли и всякого рода невзгоды для ее передовых служителей...

Тогда как сознайся все эти мнимые полководцы, что они не более как простые нижние чины мысли, не озирайтесь они

слишком самолюбиво на свои заимствованные павлиньи перья, то, нет никакого сомнения, дело обновляющей мысли имело бы совершенно иную физиономию. Они могли бы принести ему помощь скромную, но действительную, и если бы не вознесли его на вершину славы, то, во всяком случае, оградили бы от разорения.

А они, вместо того, протестуют, и протестуют не только своими боками, но и боками своих поильцев и кормильцев! И глупо, и смешно, и горько...

На днях один из знаменитейших наших ерундистов упрекнул меня: вы, говорит, для глуповцев пишете, вы глуповский писатель! И думал, вероятно, что до слез обидел меня такую острою речью. А вышло совсем наоборот: я принял эту речь себе за похвалу. Неужели же вы думали, милостивый государь, что я пишу не для глуповцев, а желаю просвещать китайского богдыхана? Нет, я в мыслях не имею такой высокой мысли и предоставляю ее ерундистам высшей школы. Я деятель скромный и в этом качестве скромно разрабатываю скромный глуповский вертоград. Поэтому-то я и говорю с глуповцами языком им понятным и очень рад, если писания мои им любезны.

Ибо, огражденный любовью глуповцев, я могу дерзать на многое: могу не обращать даже внимания на то, что будут говорить об моей деятельности наши литературные хлысты, скопцы, нетовцы, адамиты, купидоны и прочая ерундоносная братия.

Археологи свидетельствуют, что в бывалые времена, когда человечеству угрожало какое-нибудь бедствие или же когда в его среде совершался акт вопиющей и злобной нелепости, то сама природа заблаговременно предупредомяла об этом смертных и достигала этой цели посредством временного извращения обычного действия своих сил. На небе появлялись необычайные звезды, померкало солнце, потрясаясь земля, рождались уродливые младенцы с песьими головами, а в иных случаях даже ослы получали дар слова. При тогдaшней глупости это было очень удобно, потому что благодаря таким руководящим признакам человечество могло с некоторою уверенностью говорить себе: ну вот, скоро нас посетит война, или голод, или болезнь повальная, то есть вообще всякого рода мор; или же: должно быть, в настоящую минуту кто-нибудь кого-нибудь очень сильно поприжал, коль скоро, даже ослы заговорили. Разумеется, практической пользы от этого все-таки мало, потому что, с одной стороны, люди знали только одно: что будет мор, а отчего будет, в какой форме придет на них и нельзя ли от него избавиться – об этом не знали; с другой же стороны, ослы так часто получали дар слова, что люди могли из этого вывести тоже одно только заключение, а именно: что вопиющие нелепости совершаются, так сказать, непрерывно и что, следовательно, разговаривать много об этом обстоятельстве даже непристойно. Тем не менее у людей того времени все-

таки было не малое утешение: во-первых, они могли с большим основанием сказать: посудите сами, возможно ли же нам жить? во-вторых, ихние историки имели право с полной достоверностью отмечать в своих летописях, что в такую-то вот минуту, должно полагать, совершалась отлично здоровенная пакость, коль скоро сама природа сочла долгом против нее протестовать...

В нынешнее просвещенное время, хотя руководящие признаки и продолжают периодически появляться, но им уже не верят. «Мальчики» с песьими головами целыми стадами гуляют по Невскому, но никто не хочет видеть в этом никакого признака, точно так же как в периодическом появлении комет или же в выступании р. Невы из берегов. Говорят, будто ослаблению такого рода верований много способствовал какой-то плодотворный скептицизм; однако я позволяю себе думать, что этот скептицизм, при всей своей плодотворности, в настоящем случае довольно преждевременен и едва ли не свидетельствует о напрасной самоуверенности, кторую заражено большинство наших современников. Положим, что научным образом, действительно, невозможно доказать связь, которая существует между мором во всех его видах и избытком звероподобных уродцев, тем не менее сердцем мы все эту связь понимаем и все уверены, что она существует. Следовательно, тут еще бабушка надвое сказала: в самом ли деле эта связь есть только ни на чем не основанный продукт темных предчувствий нашего сердца, или

же наука только не дошла до того, чтобы определить ее с совершенною точностию. Скажу даже более: при нашей глупости такое отсутствие веры в звезды и в уродов даже очень невыгодно, потому что, сравнительно с древними, что мы, в сущности, такого приобрели, что давало бы нам право пренебрегать приметами? Мы приобрели только голую уверенность, что звезды и мальчики существуют сами по себе, а мор сам по себе, но уверенности в том, что мы в силах устранять подобного рода неприятные сюрпризы, все-таки не приобрели, и таких средств, которые служили бы нам в этом случае помощью, не придумали. И потому, сознаюсь откровенно, я отнюдь не разделяю такой современной самоуверенности, и когда вижу на Невском проспекте мальчиков с песьими головами (в особенности если они веселенько хихикают или стрекочут), то меня пронимает дрожь; я чувствую, совершенно явственно чувствую, что где-нибудь в эту минуту должна гнездиться болезнь великая и что неутолимое какое-нибудь горе должно склонять свою голову под ударами несправедливости судьбы...

Но, с другой стороны, может представиться и такой вопрос: если бы мы и признавали силу таких руководящих признаков, если бы и верили знамениям, то извлекали бы для себя из этого выгоду, уразумели бы что-нибудь, сумели бы оградить себя? Увы! на все эти вопросы я вынужден отвечать если не совершенным отрицанием, то, во всяком случае, – сомнением. Если из знаний и истин самых положи-

тельных и беспспорных мы не успели выработать для себя ничего пригодного, если даже этим прочным материалом мы не сумели воспользоваться для того, чтобы оградить, по крайней мере, свою целость, то какую же пользу мы могли бы извлечь для себя из простых примет, даже в таком случае, если бы некоторые из них, как, например, избыточное появление людей с песьими головами, могли повести к соображениям очень остроумным и далеко не безосновательным? Всмотриваясь пристально в современное наше общество, я успел различить в нем только две разновидности людей: с одной стороны, обладателей песьих голов и птичьих когтей, с другой – адамитов, купидонов и других фофанов, хотя и пользующихся человеческим образом, но в то же время украшенных чрезмерно длинными ушами. Первые хищны, плотоядны и прожорливы, вторые – смирны, травоядны и не только умеренны, но еще усугубляют свою умеренность тем, что постоянно зевают по сторонам и проносят мимо рта попадающиеся куски. Первые любят действовать с наскоку и не без удовольствия поедают последних; вторые смотрят на это, как на неотразимое зло, которое можно объяснять себе тем-то и тем-то, и только изредка для очищения совести выпускают слабый писк. Понятно, что таким сорвиголовам, каковыми являются наши купидоны и нетовцы, никакие знамения не помогут и что они в этом случае должны остановиться на том же, на чем, конечно, с удовольствием останавливались и достославные их предки, а именно на том премудром заключе-

нии, что всякой штуке от начала известный предел положен, которого не перейдешь и никакими человеческими усилиями не отворишь...

Но понятно также, что мы не должны ни удивляться, ни ахать, когда жало смерти оказывается относительно нас беспощадным. Принято говорить: в гнилой и исполненной миазмов атмосфере все хорошее безвременно увядает, все доброе варварски посекается. В этом, конечно, есть своя доля истины: увядает, действительно, не только хорошее, но и лучшее, посекается не только доброе, но и прекраснейшее. Но объяснять подобным образом это увядание и посекновение и успокаиваться на таком объяснении могут только те благонамеренные, но никуда не годные волчцы, которые бесполезно бременят собою человеческую ниву. Конечно, объяснять и философствовать можно легко, приятно и удобно, но я полагаю, что истинное дело волчцов не объяснять, а заслонять собой то лучшее и прекраснейшее, которого соками они питаются; их дело не философствовать и изрекать неизреченная, а без дальнейших разговоров несчетными грудями валиться около этого лучшего и прекраснейшего и образовать своими телами такую непроходимую трущобу, сквозь которую мудрено было бы и пробраться. Пусть знают и помнят волчцы, что когда иссякнут те соки, которые давали им жизнь, тогда неотразимо иссякнут и сами они, волчцы. И не успеют они догадаться, как некоторый древний Минотавр поглатит их всех, или же – что еще хуже – как у них у самих

вырастут на плечах песьи головы. Ибо кто тогда наставит их? Кто защитит их бедность, невинность и убожество?

Да; положение русского общественного деятеля имеет мало в себе завидного. Мало того что он должен работать и создавать: он сверх того должен позаботиться и о способах к ограждению и защите. Нет у него волчцов! нет пламенных, преданных, не размышляющих волчцов! И когда он истощит свои силы в борьбе с мелочами (она-то, собственно, и должна бы составлять занятие волчцов), то в результате получит одно: удовольствие видеть себя одиноким в поле и убедиться, что люди, сегодня еще полные жизни, могут завтра исчезнуть так же бесследно, как бесследно исчезают пузыри на поверхности воды...

Страшная мысль – не вращается ли он в пустоте и есть ли кому дело до его деятельности, должна всеминутно преследовать и терзать русского деятеля. Между ним и массой нет той полезной посредствующей среды, которая, с одной стороны, популяризирует мысль и делает ее мирским достоянием, а с другой стороны, подмечает действительный умственный уровень масс и их насущные нужды и этими живыми наблюдениями освежает и укрепляет высшую деятельность мысли. Во всяком благоустроенном обществе мысль является средоточием, около которого образуются более или менее значительные группы; у нас – мысль является средоточием пустыни. Понятно, что, находясь в такой обстановке, мысль, при всей логичности своих выводов и даже при пол-

ной реальности своего содержания, на каждом шагу рискует очутиться в самом оскорбительном одиночестве и убедиться, что вся ее работа есть не что иное, как пущенное на ветер искусство для искусства.

Нет сомнения, что подобная фантастичность обстановки в значительной степени влияет на самую энергию мысли, делает ремесло общественного деятеля до крайности рискованным, почти безнадежным, и естественно, сама собой доводит число их до тех крайних цифр, за которыми может следовать дробь или нуль. Да и тут, даже в этих немногих случаях, только крайняя страстность убеждения, крайняя восторженность мысли может вывести человека на эту омерзительную арену человеческого бессмыслия и пошлости. И таким образом, истинный деятель становится редкостью, диковиной, возбуждающей любопытство праздной толпы, но не зажигающей в ней той искры, которая объединяет мысль с делом и последнему дает характер естественного продолжения первой. И может он и умирать, и исчезать, сколько ему угодно – и никто не приметит ни смерти его, ни исчезновения. Еще вчера, вот здесь, на этом самом месте, было нечто, а сегодня уж тут пустота, которую кой-как усиливаются законопатить выдвинувшиеся вперед лилипутики и лилипутченки мысли. Точно так же безучастно освещает солнце сцену человеческой глупости и праздности, точно так же (даже веселее и ходчее) стрекочут мальчишки с песьими головами, и точно так же ежата и жмутся к сторонке адамиты, нигилисты и

купидоны... Никакого урока! никакого поучения! Неужели же есть какая-нибудь возможность не задуматься над этим?

Самоотвержение – глупость, самоотвержение – бессмыслица: положим, что вы, купидоны, и сумеете все это доказать; но не для вас тут глупость и бессмыслица, не для вас! Вы обязаны и жертвовать собой, и самоотвергаться, потому что в этом заключается ваше ремесло. Оставьте сеять сеятелям, вы же утучняйте и разрыхляйте землю и охраняйте посеянное от червей и гусениц, потому что, если вы насильственно присвоите себе роль сеятелей, то, наверное, засеете такой чепухи, которой впоследствии не переработает никакой плуг. Помните, что в вас только и есть одно драгоценное качество: благонамеренность – ну, и удовлетворяйте этому свойству, сколько сил ваших станет, а о прочем забудьте, потому что это «прочее» может только спутать вас. Правда, что и севастопольские твердыни пали, несмотря на геройское самоотвержение русского солдата, но разве это самоотвержение прошло бесследно? Нет, оно имело последствием возможность заключить непостыдный мир.

Итак, и старинные руководящие признаки не убеждают нас; да если бы мы и держались еще предрассудков настолько, чтобы убеждаться знаменами, то это не привело бы нас ни к какому существенному результату. С помощью анализа мы пришли к признанию слишком большого количества глупостей, чтобы это не оказало очень сильного влияния на наше собственное одурение. А потому, предоставимте, воз-

любленные, всё сие воле божией и будемте на прохладе беседовать о том, какие радости ждут впереди наших счастливых потомков.

Вот, например, что повествует в 16 № «Дня» г. Касьянов (тот самый г. Касьянов, который в прошлом году повествовал о подвигах русских барынь за границей и который ныне витает уже в пределах обширного нашего отечества, и чуть ли даже не на лоне Спиридоновки):

Знаете ли, что, по рассказам, случилось недавно в одном из уголков нашего пространного царства? Некоторые мальчики в одном из общественных заведений (казенных или частных – не знаю), приглашенные своим училищным начальством говеть, – объявили священнику, что они нигилисты и говеют только по приказанию, – вследствие чего, конечно, священник и не допустил их до таинства. Скандал был великий, благочестивые души местечка N были смущены, а местное начальство пришло в негодование. Мне первый поведал это мой приятель г. Оглы, городничий, – лихой малый из некрещеных татар, служивший гусаром в С. полку. Так вот этот г. Оглы первый возвестил мне это событие, которое вслед за тем подтвердил мне и Пуффендорф, его помощник, немец и лютеранин. Я было не поверил рассказу, но ужас, написанный на лицах гг. Оглы и Пуффендорфа, как официальных ревнителей «порядка», говорил убедительнее всех доказательств. Но отчего так возмутились и вознегодо-

вали мои добрые приятели-чиновники? Оскорбились ли они за веру, за православную церковь, взволновало ли их такое явное неуважение к ее обрядам и таинствам? «Да вы за что сердитесь?» – спросил я. «Помилуйте – ведь это нарушение дисциплины, ведь это...» и пр. пр.: вот что было ответом Оглы и Пуффендорфа; «ведь их свободу совести никто не стесняет, может, отцы их и не крепче были в вере, да все же ведь говели и свидетельства о говении получали и штрафу не подвергались...» – прибавляли еще мои друзья, татарин и немец.

Затем почтенный г. Касьянов, возмущаясь «благоразумным лицемерием» гг. Оглы и Пуффендорфа и тут же, кстати, припоминая себе стихи знаменитого поэта-славянофила:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых,
Не налагай на правду божью
Гнилую тягость лат земных.

Доспех Саула – ей окова,
Ей царский тягостен шелом,
Ее оружие – божье слово,
А божье слово – божий гром! –

предлагает своим читателям, а в том числе, конечно, и упомянутым выше достославным Оглы и Пуффендорфу,

убеждать «некоторых мальчиков» посредством этого не им изобретенного оружия.

Прежде всего, я нахожу педагогический прием г. Касьянова в высшей степени изнурительным и даже истязательным. Никакие «действительные меры» не пилят так нестерпимо, как пиление словесное; ничто не ожесточает человека так сильно, как неумеренное казнение посредством восторженной ерунды, вроде сейчас выписанных стихов. Настоятельнейшее и притом совершенно законное право всякого истязуемого лица заключается в том, чтобы, по крайней мере, понимать цель прилагаемых к нему истязаний. Телесное наказание причиняет боль физическую и возмущает душу; конечно, Пуффендорф и Оглы не имеют ничего привлекательного, но их можно понять, их можно сносить, как временное иго (отзвонил, да и с колокольни долой), наконец, против них можно найти известные средства обороны. Но что можно сделать против наказания стиховного, против того наказания, которое стремится высосать не тело, но самую бессмертную человеческую душу? Представьте себе такую картину: сидит педагог и декламирует:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...

– Понимаешь? – ласково спрашивает педагог.

– Не-нет... не понимаю! – отвечает ученик, которого лас-

ковость педагога вовсе не ободряет, а, напротив, заставляет подозревать нечто сугубое.

– А! не понимаешь! ну, повторим сначала!

И ты, ког-да на би-тву с ло-жью
Вос-ста-нет Прав-да дум свя-тых... –

понимаешь?

И так до бесконечности. Что будет, если ученик этот, наконец, не догадается и не скажет: понимаю? Что будет, если сам педагог, наконец, не выйдет из терпения и не закричит не своим голосом: а ну-те, подавайте-ка нам сюда розог? Поистине я недоумеваю, какой может быть выход из этого трагического положения! ведь это все равно что обнять необъятное, что изрекать неизреченное, что стараться уловить свой собственный кукиш...

Но даже если ученик и догадается сказать: «понимаю», то и тут он обязан употребить известную шноровку, то есть уметь сказать это весело, твердо, без колебаний в голосе, ибо педагоги такого рода, как г. Касьянов, очень прозорливы: сейчас усмотрят малейшее колебание в голосе, и тогда опять пошла песня в ход:

И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых...

Но даже и тогда, если педагог достаточно раздражителен,

чтобы выйти из себя при виде отчаянной непонятливости ученика, он обязывается высказать эту раздражительность как можно поспешнее, потому что при малейшем с его стороны замедлении ученик может дойти до конечного озлобления и сделать над собой что ни на есть скверное. Ибо ничто так упорно не отстаивает свои права на неприкосновенность и на невоспитываемость, как бессмертная человеческая душа.

Мы, русские, вообще довольно равнодушны к телесным исправлениям, в какой бы форме они до нас ни доходили, но душевных испытаний положительно выносить не можем. Мудрая Екатерина понимала это и наказывала своих придворных тем, что заставляла их, по мере вины, выучивать по несколько стихов из «Телемахида». Г-н Касьянов хочет применить эту методику в обширных размерах, но ведь надобно, чтоб он предварительно объявил вину, за которую россияне должны понести столь тяжкое наказание. Быть может, исправления этой вины предостаточно для гг. Оглы и Пуффендорфа.

Но дело не в педагогических приемах г. Касьянова, а в том факте, который он приводит. Говоря по совести, я ничего тут не понимаю. Что померещилось этим «некоторым мальчишкам»? о чем они мечтали? зачем они говорили? зачем говорили?.. Скорблю.

Но если такой образ действия прискорбен со стороны «мальчишек», то в какой же мере должен он огорчать, когда

исходит из среды людей взрослых? Относительно этих последних, действительно, уже ни Оглы, ни Пуффендорф не могут быть признаны целесообразными; тут надобны средства более крутые и радикальные, а именно: всякий раз, как такие люди замыслятся, следует говорить им: «А вот погодите, ужо отдам я вас г. Касьянову!» Присмирят, наверное.

«Московские ведомости» решительно намереваются устроить из своих столбцов палладиум российского либерализма. Это не то что какой-нибудь «Голос», который скрипит, скрипит о ложбине, образуемой на Невском проспекте железно-конною дорогой, или о действиях Литературного фонда, и до тех пор не сойдет с своей нотки, покуда, что называется, всю душу не вымотает. Нет, «Московские ведомости» берут всё вопросы крупные и при разрешении их высказывают ту развязную любезность, которая возможна только при полной уверенности в сочувствии даже со стороны такого строго-серьезного органа, как «Северная почта» (мысль эта, впрочем, не моя, а заимствована мной из статьи г. Самарина, опубликованной в 15 № «Дня»). Сегодня они будут рассматривать вопрос о раскольниках, завтра – вопрос о свободе слова, послезавтра – вопрос о русской общине, и везде убедят читателя, что для них нет ничего недоступного. Правда, что г. Самарин докажет им, что в суждениях их усматривается больше развязности, нежели основательности, но они сумеют вывернуться и из этого трудного об-

стоятельства и ответят г. Самарину, что ему оттого так кажется, что он «поставил мудрость своего кружка под гарантию российской империи», а они, «Московские ведомости», действовали всегда свободно и самостоятельно. Словом, либерализм стоит, так сказать, коромыслом – в столбцах этой старейшей русской газеты, и если не выедает глаз, то оттого только, что люди нынче вообще как-то изверились и всё подозревают, не скрывается ли даже в самых лучших человеческих намерениях и действиях что-нибудь злокозненное или человекоубийственное.

Меня, как присяжного литератора, всего более, разумеется, занимал вопрос о книгопечатании. Целую зиму «Московские ведомости» препирались об этом предмете с Финляндией, итак это выходило у них приятно и сладко, что мне ничего не оставалось больше, как предвкушать. Каково же было мое изумление и огорчение, когда в 85-м № я, наконец, прочитал давно ожидаемое разрешение этого трудного вопроса, – и как бы вы думали, в чем заключается это разрешение? – в установлении цензуры факультативной! Правда, что газета, предлагая эту меру, прибавляет, что это не мешает правительству предпринять, буде признает нужным, и более существенную реформу; правда, что она указывает при этом, например, Турцию, в которой факультативная цензура действует с успехом; правда, что мера эта предлагается ею в тех видах, чтобы русская печать получила возможность действовать с большею пользой, «успешнее бороться

со злом»... – все это правда: но и за всем тем делается как-то неловко при чтении этого «умеренного и непритязательно-го проекта», как выражаются «Московские ведомости». Все думается: да и в самом деле, нет ли уж в нем чего-нибудь злокозненного и человекоубийственного, если он представляется таким умеренным и непритязательным?

Чтобы уразуметь отчетливо, каким оцтом вознамерились опоить «Московские ведомости» русскую литературу под видом факультативной цензуры, необходимо, во-первых, иметь достоверное известие о положении, в котором находится эта последняя, и, во-вторых, объяснить себе истинное значение выражения «факультативная цензура».

Всем известно, что русская литература издревле имеет свою специальную цель, и именно ту, которую почтенная наша газета формулирует словами: бороться со злом. Все литературные наши органы только и занимаются тем, что борются, а добра не делают. Правда, что «Московские ведомости» прибавляют к этому небольшое словечко «успешно», но, как я докажу в своем месте, понятие об успешности или неуспешности борьбы есть понятие чисто фаталистическое: одним написано на роду бороться успешно, другим – тоже на роду написано бороться неуспешно. Дело в том, что, несмотря на то что, по словам г. Касьянова (все в том же 16 № «Дня»), в нашей литературе «все слажено и такая согласная музыка труб и литавр, что за этими звуками других почти и не слышно», несмотря на это, говорю я, понятие о зле, как о

предмете борьбы, далеко не так сложно, как это может показаться с первого взгляда. Во-первых, самая степень ясности в определении характера и содержания зла весьма различна; одни литературные органы до того уже пластично выясняют это понятие, что от этой пластичности даже воняет, что этою пластичностью они могут действовать, как обухом. При такой разухабистой простоте отношений к злу не может быть и речи о неуспешности борьбы противу него; тут чем сильнее и энергичнее производится лупка, тем лучше и приятнее; тут не только никто не станет препятствовать, но иной, видя человека до такой уже степени убежденного, даже на водку дает. Напротив того, другие литературные органы относятся к этому предмету с меньшею ясностию, робко и несколько даже спутанно. И это происходит совсем не оттого, чтобы в самом деле эти органы не понимали того, о чем говорят или с чем борются, а просто оттого, что в природе существует закон благовременности и неблагоприятности, а еще и оттого, что самое «зло» некоторым не вполне развязным умам представляется в формах далеко не столь решительных, чтобы можно было взять на себя ответственность устраивать на него ежедневные и всегда безопасные облавы.

Во-вторых, кроме различной степени ясности в формулировании зла, имеется еще весьма значительная разница в самых взглядах на зло, в самых понятиях об нем. Разумеется, есть такого рода злодейства, на которых литературные органы, от «Голоса» до «Московских ведомостей» (кто

эту бездну наполнит?), сходятся одинаково; таковы, например: социализм, демократизм, материализм и т. д., но сколько же есть и таких злодейств, о которых и «Голос» и «Московские ведомости» совершенно различных мнений? Относительно первых борьба, при всевозможных обстоятельствах печати, непременно должна сопровождаться успехом, ибо таково уже свойство самых предметов, что достаточно назвать их, чтобы видеть себя триумфатором; что же касается до вторых, то здесь, очевидно, весь успех зависит от большей или меньшей прозорливости литературного органа и от того, с тактом или без такта выбирает он сюжеты для борьбы. Литературные наши деятели почерпают сведения о зле из разных источников; говоря языком астрологов, одни борются под влиянием планеты Нептуна, другие – под влиянием Марса, третьи – под влиянием Меркурия и т. д., но понятно, что зла, указываемые этими планетами, могут быть весьма разнообразны, а следовательно, таковым же разнообразием в своих приемах должна сопровождаться и борьба с ними. Главную роль в настоящем случае, разумеется, играет понятие о большей или меньшей терпимости зла, а следовательно, и о большей или меньшей благовременности борьбы с ним. При настоящих условиях русской печати это последнее понятие устанавливается цензурой, но, устанавливая его, цензура все-таки отнюдь не подрывает другого понятия: понятия о самой благонамеренности борьбы со злом. Они говорят: вы все, действующие под влиянием Нептуна, Марса и

Меркурия, все вы люди благонамеренные, но благонамеренною я могу признать только ту борьбу, которая производится под влиянием, например, Меркурия. Коротко и ясно. Слыша это, что делают сторонники Нептуна и Марса? Они, конечно, примиряются с своим положением, но в то же время дают тонко почувствовать: не будь у нас цензуры, так и невесть что наделаем! Вот это-то их хвастовство и нужно иметь в виду, если уже признается необходимым изменить условия, в которых находится русское книгопечатание. А для того чтобы достигнуть этого, необходимо до известной степени ограничить понятие о благовременности; одним словом, необходимо, чтобы, например, «Голос» имел право высказывать свою неблагоприятную благонамеренность с тою же свободой, с какою «Московские ведомости» высказывают свою благонамеренность благовременную.

Может ли удовлетворить этому требованию цензура факультативная? Нимало. Что такое факультативная цензура? Это такого рода административная мера, которая, не изменяя ни в чем коренных условий печатного слова, ограничивается только дарованием авторам или издателям номинального права освобождать или не освобождать себя от действия предварительной цензуры. Почему я называю это право номинальным? А потому просто, что здесь возбуждается начало ответственности, но в то же время ни признаки, ни последствия этой ответственности ничем не определяются, и главным решителем вопросов остается все то же понятие

о благовременности, понятие, подвергающееся непрерывным изменениям, которые уловить не только трудно, но даже невозможно. Следовательно, в окончательных своих результатах дело сводится здесь или к интриге, или к такой сверхъестественной прозорливости, которая ни в каком случае не может быть обязательною для всех литераторов без различия.

А потому: люди прозорливые или люди характера совещательного непременно поспешат освободиться от стеснений предварительной цензуры. Не потому, чтобы эта свобода в самом деле доставила им большую возможность «успешно бороться со злом», — этою-то возможностью они, и состоя под цензурой, пользуются преестественно, — но потому, что свобода эта присовокупляет еще новую роскошь к той массе роскоши, которой они до того пользовались. С нею они приобретают не только право излагать все, что истекает из свойств того наития, под которым они действуют (этим правом они обладали и прежде), но и множество разных других материальных удобств, как, например: избавляются от сношений с цензурой и от всех формальностей, которые с этим сопряжены. Формальности эти сами по себе совсем не тяжелы, но самая необходимость подчиняться им должна возмущать человека, черпающего вдохновение из чистого источника и доведшего свою мысль до полного соответствия. Но люди непрозорливые или же хотя обладающие элементами совещательности, но совещательности неблагоприятной

ной, положительно вынуждены будут уклониться от факультативной цензуры в пользу чистой предварительной, ибо, видя перед собой только темный принцип «ответственности», они, как пловцы без кормила и весла, легко могут остаться в мучительной неизвестности насчет того, что лежит на дне этого принципа: прожорливый ли Левиафан или просто глубь водная. Будучи в существе своем чисты сердцем и непорочны душою, они увидят себя вынужденными невольно, но постоянно грешить против благовременности, которой признаки с добровольным отказом от предварительной цензуры скроются от них безвозвратно.

И таким образом, литературные органы, стоящие на равной высоте благонамеренности, очутятся в положении далеко не равном. «Голос» будет томиться в узах, а «Московские ведомости» будут разглагольствовать. Мало того, они будут еще поддразнивать:

Друг! отчего печален голос твой?
Ответствуй, друг! реши мое сомненье!
Иль он твоей судьбы изображение?
Иль счастье простилося с тобой?

И чего доброго, под влиянием этих подстрекательств, «Голос» вооружится храбростью и воскликнет: не надо и мне цензуры, хочу и я, в свою очередь, пороскошествовать!.. Ну, и погибнет.

Но может выйти из этого обстоятельства и еще горшее.

Прозорливые люди возмнят себя уже совершенно развязанными относительно людей непрозорливых и скоро потеряют последний признак стыдливости, окончательно заменив ее одною ясностью. И когда непрозорливые люди будут отвечать им вяло или неясно, то прозорливые скажут: «Сами вы виноваты! зачем же не стали в то самое положение, в какое стали мы! ведь вас не потчевали!» Вот и судитесь тогда с ними!

Так вот каким оцтом вознамерились опоить русскую литературу благовременно-благонамеренные «Московские ведомости». Ужели ли же чаша сия и в самом деле не пройдет мимо нас?

Еще одно слово. Весь петербургский чиновничий мир взволновался, экзекуторы в страхе, провинциальные секретари и сенатские регистраторы мнуттся, как домашние животные перед землетрясением. «Исправится ли девица Инна Горобец, поймет ли она, где ее истинные доброжелатели?» – вот вопрос, который, словно пожаром, охватил убеленные сединами головы этих невинных людей. В ожидании разрешения его дела остаются в запустении и в бумагах допускаются бесчисленные орфографические ошибки. Пользуясь этим административным смятением, молодые и вольнодумные чиновники даже вовсе перестали ходить на службу и с утра до вечера сибаритствуют себе в музыкальном кафе-ресторане купца Наумова.

С другой стороны, петербургские прогрессисты тоже взволнованы, но уже с некоторым оттенком уныния. До сих пор они носились с Инною, как некогда носились с Базаровым; они искренно увлекались ею и говорили: ну да, вот это наши люди, ибо на них почивает наша печать! Даже философ Кроличков – уже на что, кажется, человеконенавистник! – и тот, сказывают, одобрил сцену, когда Инна, лишенная одежды и сидя по горло в воде, знакомится с графом Бронским. «Право, хоть бы и мне так поступить!» – воскликнул он, забыв, что у него совсем не те атуры, которые могут сообщать подобному положению надлежащий интерес. И вдруг все эти прогрессисты теперь увидели, что Инна всегда только на волосок стояла от того, чтобы перейти в русановскую веру! Какое разочарование! Только что было приискали Базарову подругу жизни, и вдруг эта подруга изменяет ему – и для кого изменяет? для тихо курлыкающего каплуна Русанова!

Итак, весь Петербург взволнован – взволнован чем? – будущими судьбами девицы Инны Горобец! Как хотите, а это явление любопытное...

<XII. Октябрь <?> 1864 года>

Итак, история утешает. Бедные труженики мысли, бескорыстные созидатели будущих судеб человечества должны раз навсегда убедиться в этой истине: история пошлет заочное воздаяние за их подвиги, лишения, а иногда и за преждевременную мученическую смерть. Сходя в могилы одинокими, гонимыми, оклеветанными, да не впадут они в отчаяние, ибо имеют право сказать себе: мы умираем, но мысль наша будет жить и восторжествует в истории. А так как сверх того они в состоянии всегда и с полной ясностью определить ту сумму добра, которую прольет в мир торжество их мысли, то это должно помочь им спокойными глазами взирать и на те преследования, лишения и всякого рода покалывания, которые составляют обычную обстановку их жизни. Что лишения? что страдания? – все это не что иное, как гнилой плод временного умственного и нравственного разложения, и нет сомнения, что когда-нибудь да заклеят же их «история» надлежащим именем. Мало того: человек, которого мысль однажды познала сладость страстного убеждения и жадно к нему прилепилась, может идти даже далее этого отрицательного спокойствия; он может не только равнодушно смотреть на жизнь с ее темною свитой скорбей, неудач и невзгод, но и желать, страстно желать этой жизни, несмотря на ее скорби, невзгоды и неудачи. Ежели Иоанн Гус, всходя на эшафот,

имел право думать: я умираю, но мысль моя сделала свое дело, и семя, ею брошенное, закралось, помимо их воли, даже в сердца моих мучителей, то Фурье, ежедневно ожидавший посещения того фантастического миллионера, который, по расчету его, должен был дать ему средства для основания фаланстера, шел еще далее: он надеялся найти утешение не только в истории, но и в самой действительности. Что помогало этим людям с полным бесстрашием смотреть в глаза не только смерти, но самой жизни? Что не допускало их свернуть с однажды избранного пути, несмотря на то что личные и ближайшие их интересы, быть может, явно были противоположны их настойчивости, и они сами очень хорошо видели и понимали это? Им помогала страстная их мысль, их поддерживало живое и могущественное убеждение, что эта мысль не замрет и не погибнет бесследно, какую бы горечью ни пропитана была вся обстановка, среди которой ей суждено развиваться. Да, мысль страстная, мысль, доведенная до героизма, может сама по себе представлять неиссякающий и притом столь мало фантастический родник живых наслаждений, что человек, вкусивший сладость этого высшего блага, легко приходит в то возбужденное состояние, которое позволяет ему ко всем прочим благам относиться если не с презрением, то и не придавая им более того значения, которое обыкновенно придается вещам второстепенным или побочным.

Все это так, все это несомненно. Но отчего же от «истори-

ческих утешений» как будто бы отзывается иронией? Отчего большинство не только не увлекается ими, но даже совсем их не понимает? Отчего произносящий их уподобляется, в общем представлении, или сытому богачу, который, плотно пообедав, говорит нищему «бог подаст!», или озлобленному бедняку, который то же самое «бог подаст!» не без иронии говорит такому же, как и он, забитому и голодному бедняку? или, наконец, бедняку восторженному, который совершенно искренно (хотя и без малейшего основания) верит, что вот разверзнется немилостивое доселе небо и пошлет назавтра ту манну, которая напитает его? «Дождись! пошлет!» – говорит обыкновенно толпа такому искренно убежденному и проходит себе мимо, даже не подарив его взором участия. Ужели же это непонимающее, глумящееся большинство до того ограничено и лишено идеала, что не способно сознать и усвоить себе даже столь простое понятие, как то, что убеждение верное и справедливое в своей сущности непременно должно принести плод в будущем, что чем ближе это будущее, тем оно желательнее, что не оттягивать его приближение надлежит, а, напротив того, всеми средствами ускорять, и что, наконец, носители такого рода убеждения не только не должны быть побиваемы камнями, но имеют право на всякого рода ограждения со стороны толпы?

К сожалению, во всех этих упреках, делаемых большинству, много правды. Если людей мысли, людей убежденных можно укорить в наклонности к утопиям, в этом виноват

то большинство. Если в этих утопиях нередко звучит нечто странное, несбыточное, преувеличенное, то во всем этом опять-таки виновата толпа. Большинство само всегда вызывает на преувеличения; оно вызывает не непосредственно, конечно, а систематическим непризнанием и преследованием той правды, которая составляет первоначальное зерно утопии. Если б не было этого постоянного и жестокого *fin de non recevoir*,⁸⁰ которым толпа постоянно и, в большей части случаев без всякого соображения, встречает каждого, вносящего новую мысль в ее жизненный строй, то не могло бы существовать и преувеличений. Человек, которого мысль на каждом шагу встречает себе отпор, и даже не отпор, а простое и бездоказательное непризнание, весьма естественно все глубже и глубже уходит в нее и, не будучи в состоянии, вследствие неприязненно сложившихся обстоятельств, поверить ее на живой и органической среде, впадает в преувеличения, расплывается, создает целую мечтательную обстановку и в конце концов мысль совершенно ясную, простую и верную доводит до тех размеров, где она становится сбивчивою, противоречащею всем указаниям опыта и почти невероятною. Не довольствуясь отвлеченною сферой, которая может доставить ей лишь временное и притом призрачное питание, мысль ищет для себя практических применений, ибо в них одних может познать свою силу, в них одних может найти материал для дальнейшего развития – и

⁸⁰ отказа в признании.

встречает лишь пустоту или прямое, голое отрицание. Но потребность практических, жизненных применений слишком велика, чтоб можно было, без существенного и совершенно вознаградимого ущерба, отказаться от нее – и вот создается целая своеобразная обстановка, где действительное или основанное на действительности самым странным образом перемешивается с гадательным и фантастическим. И когда, наконец, эта смесь истины и лжи, здорового и болезненного выходит на суд толпы, то последняя не дает себе труда отличить правдивую мысль, которая, собственно, и составляет неотъемлемую собственность новатора, от наносной обстановки, которая есть результат систематических ее, толпы, несправедливостей, а прямо указывает на эту последнюю, и уж атакует же, рукоплещет же эта захмелевшая, растленная толпа.

Повторяю: большинство виновато; не будь оно до такой степени тупо-консервативно, не держись так упорно той избитой и никуда не годной колеи, в которой оно гибнет, само того не подозревая, мысль не знала бы преувеличений, а, напротив того, всегда имея перед собой возможность скорой и надежной проверки, поневоле ограничивала бы себя именно теми размерами, которые в данную минуту пригодны. Утопия потеряла бы повод для существования...

А покуда этот повод еще есть, покуда никакое новое жизненное начало не может пробить себе дорогу, не подвергаясь опасности быть заподозренным в чем-то мятежном и

угрожающем общественному спокойствию. И бедные, бескорыстные труженики будущего поневоле должны искать утешений в истории. . .

Что в этих последних скрывается очень значительная доза иронии – это не может подлежать никакому сомнению. Прежде всего, уже самая возможность такого рода утешений ясно свидетельствует о некоторой ненормальности в той совокупности жизненных условий, при которых она допускается. Всякая мысль, всякая истина, кроме результатов исторических и отдаленных, непременно должна иметь и непосредственный, ближайший результат. Существенный интерес мысли, конечно, не в том заключается, чтобы ее не признавали и не допускали в жизнь, а в том, напротив, чтоб как можно скорее получить возможность доказать на деле правдивость и силу, в ней заключающиеся. Упрек в несвоевременности, идеализации и каких-то скачках, обыкновенно делаемый в подобных случаях, всегда не основателен. Как ни далеко провидит мысль, но процесс ее развития всегда спокоен и ровен; она связана известными логическими законами, которые не позволяют ей урывками переходить от ближайшего звена к отдаленному, не допускают оставлять между ними промежутков, и ежели нередко встречаются примеры противного, ежели мысль с особенною страстностью останавливается на результатах отдаленных, оставляя перед ними как бы пустоту, то это именно доказывает ту истину, о которой было говорено выше: что мысль, при самом своем

появлении, не встретила себе ни сочувствия, ни нужной для своего осуществления среды. Следственно, если мысль, питающаяся отдаленными надеждами, и можно, с известными оговорками, назвать ненормальной, то тем с большею основательностью следует присвоить это название тем жизненным условиям, которые порождают для нее подобное положение. Среда, в которой такое явление терпится, есть положительно среда растленная, враждебная всему честному и разумному, а человек, осужденный жить в такой среде, есть человек несчастный, несмотря ни на какие «исторические утешения». Нет, конечно, сомнения, что ни в органическом, ни в умственном мире ничто не пропадает бесплодно и что, следственно, мысль человеческая, какими бы неблагоприятными условиями ни была она обставлена, все-таки где-нибудь и когда-нибудь даст свой отпрыск, но, с другой стороны, справедливо и то, что в сфере разумной никакое угнетение немислимо, что там оно всецело и немедленно обращается во вред самим угнетающим условиям. Мысль – то же семя, которое должно показать свой рост немедленно, вслед за тем, как оно брошено в землю. Ежели сеятель, не видящий этого роста, будет утешать себя тем, что семя все-таки не до конца изгибло, что оно посредством иного органического процесса в той или другой форме все-таки даст известный результат, то, хотя утешение такого рода нельзя назвать ни бессмысленным, ни смешным, тем не менее невозможно не согласиться и с тем, что это утешение половинное, утешение,

которое может назваться этим именем лишь за недостатком других более существенных и положительных утешений.

Но и помимо этого, ежели мы ближе вникнем в самую сущность так называемых «исторических утешений», то убедимся, что они возможны только для мысли восторженной, страстно возбужденной. Теперь спрашивается: при каких условиях может быть мысль доведена до возбужденного состояния и встречается ли в этом последнем существенная необходимость для того, чтобы правильность мыслительного процесса была вполне обеспечена? Конечно, творческий процесс мысли всегда сопряжен с известного рода возбуждением умственных сил человека; конечно, развитие мысли само по себе может служить источником наслаждений и восторгов самых действительных, но ведь в настоящем случае о такого рода возбуждении мысли не может быть и речи. Это возбуждение, если можно так выразиться, светлое, чуждое всякой горечи; это возбуждение торжествующее, предвидящее скорую несомненную победу. Мысль напряжена, но спокойна; она сознает себя восторженною, но не потому, чтобы провидела необходимость жертв или самоотвержения, а потому, что впереди ее ожидает несомненный успех. И ежели это страстное, ликующее состояние мысли смущается по временам сомнениями в ее практической стоимости и применимости, то сомнения эти почти всегда касаются лишь подробностей. Мысль может потерпеть частные поправки, но сущность, но зерно ее останется нетронутым. И эта уверен-

ность в полной разумности среды, для которой она предназначена, придает ей особенную энергию, которая, однако же, отнюдь не противоречит полному спокойствию и самообладанию. Совсем другого рода характер имеет возбужденное состояние той мысли, которая ожидает себе утешений только от истории. Здесь возбуждение есть всегда прямой результат бессовестным образом сложившихся условий, результат неудач, гонений и всякого рода насильств. Человек мысли приводится в восторженное состояние не ожиданием торжества, но ожиданием тех пыток, которые готовит ему будущее. В его восторгах есть нечто болезненное, лихорадочное, в них есть даже зерно своего рода фанатизма. Самое развитие мысли не может следовать своему естественному пути, ибо на каждом шагу подвергается насильственным перебивам... Вот положение восторженной мысли, питающейся «историческими утешениями», положение, исполненное яда и переносимое только благодаря тому искусственному возбуждению, которое его сопровождает. Понятно, что условия такого рода далеко не необходимы для того, чтобы обеспечить мысли ее ясность, и что, напротив того, они могут только вредоносным образом на нее действовать.

Итак... но прежде нежели продолжать, я должен оговориться. Я знаю, что найдутся люди, которые из предыдущих моих слов непременно выведут нечто грубое и пошлое. Скажут, например, что я пропагандирую теорию каплуныего самодовольства и еще более нелепого выжидания; скажут, что

я бросаю камнями в тех лучших людей, которые запечатлели силу своей мысли великим подвигом самоотвержения... Таких усердных толкователей я прошу прочитать мою настоящую хронику повнимательнее. Быть может, по зрелом размышлении, они убедятся, что здесь идет речь вовсе не о самодовольстве и выжиданиях, и всего менее о бросании камнями. Но чтобы помочь им в уразумении истинного смысла моих слов, я необходимо должен войти в некоторые разъяснения. Уже в самом начале настоящей статьи я заявил мое полное сочувствие тем лучшим людям, которые не только мыслят, но и отстаивают свою мысль с страстностью, достигающей до самоотвержения. Прошу верить, что заявление это вовсе не изворот и что слова, сказанные мною по этому поводу, совершенно чужды всякой иронии. Сам по себе взятый, жизненный подвиг этих людей не только в высшей степени замечателен, но вообще такого свойства, что напоминание об нем, и притом беспрестанное, непрерывающееся напоминание составляет предмет существенной и настоятельной необходимости. Бывают такие горькие минуты в жизни человечества, когда нужно без усталости твердить ему о самоотвержении, о великой, очищающей роли самопожертвования... Даже, пожалуй, об аскетизме. Это те минуты, когда человек мысли обязан обладать всею страстностью души, полным энергическим сознанием всей правоты и прочности своего дела, чтобы не оставить или не проклясть его; это те минуты, когда одичалое большинство, с одной сто-

роны под влиянием самодовольного и дешевого разврата, с другой – вследствие гнета невежества и всякого рода материальной и духовной нищеты, доходит до полного умственного онемения, до остервенелого отрицания всякой мысли, тревожащей его неподвижность. В такие эпохи самоотвержение есть обязательный закон для всего мыслящего, и предание о взявшем на себя бремя общественных недугов встречает себе как нельзя более своевременное осуществление. Но уже одно то, что о такого рода положении невозможно говорить без глубокого нравственного потрясения, свидетельствует о его ненормальности. Конечная цель человека, как в частности так и в сфере общей, все-таки счастье, и ежели вследствие целого строя обстоятельств представление о «счастье» до такой степени извращается, что может идти рядом с представлением о всякого рода нравственных и физических истязаниях (ибо есть люди, которые считают свой подвиг неконченным, ежели он не запечатлен страданием), то это свидетельствует ни о чем другом, как о глубоком нравственном распадении целого общества. Следовательно, ежели и встречается необходимость твердить о необходимости самоотвержения и проч., то эта необходимость печальная; ежели настояит нужда утешать людей ссылками на историю, то это нужда прискорбная, за которую чутся кровь. Во всяком случае, необходимость эта еще громче и настоятельнее говорит нам о другой необходимости: о необходимости как можно скорее избавиться от нее. Это своего рода черная немочь, с разни-

цей, что последняя губит безразлично и цвет человечества, и негодное его отребие, а первая исключительно направляет свою разрушительную силу на то, что есть лучшего и доброго на земле.

Итак, не осуждение, и тем менее насмешку, а напротив того, слово сочувствия хочу я послать тем людям страстной мысли и непоколебимого убеждения, которые в истории ищут и обретают себе силу, укрепляющую их в борьбе с жизненной неурядицей. Эти люди выполняют свою миссию как могут и насколько могут, и ежели человеческая нива представляется нам усеянную безвременно погибшими жертвами, то это еще отнюдь не значит, что жертвы эти бесплодные или бесследные. Но, рядом с этим сочувствием, я хочу высказать еще и другую мысль: не достаточно ли жертв? Оглядимся, поищем, нет ли других утешений, кроме тех, которые предлагает история? Вопрос этот возвращает меня к прерванной нити моих размышлений.

Выше я сказал, что в преувеличениях мысли более всего виновато большинство, которое почти всегда неприязненно относится ко всему новому, не представляющему прямых и наглядных выгод. Но, с другой стороны, если мы пристальнее вникнем в историю духовного и нравственного развития человеческих обществ и примем в соображение ту страшную медленность, которая всегда сопровождает накопление и распространение знаний в этих обществах, то найдем себя некоторым образом в лабиринте, в котором все до такой сте-

пени спутано, что отделить виноватых от невиноватых почти совершенно нельзя. Я очень хорошо могу, например, понимать неправильности известного порядка, а сверх того, могу даже постигать и возможность иного, лучшего общественно-го устройства, но старый порядок меня давит всем своим искони накопившимся гнетом, но он вяжет мне руки и налагает печать молчания на уста. Может быть, нас и много таких, которые могли бы сойтись и столкнуться друг с другом, может быть даже, что в самое большинство уже проникло новое слово, что оно носится, так сказать, в воздухе; но мы, сочувствующие этому слову, не знаем друг друга, мы рассеяны, как иудеи, по лицу земли, у нас нет центра, около которого мы могли бы сплотиться, – и вот хорошее слово не выговаривается, и долго еще томится человечество в оковах старого предрассудка (ведь бывает же, что положение вещей, наглядно невыгодное для самого большинства, все-таки существует многие десятки лет, искусственно защищаемое незначимым меньшинством, успевшим сплотить и организовать себя). Виноват ли я, понимающий, сознающий и чувствующий, в том, что не протестую против этого предрассудка, да и обязан ли я протестовать. Нет, я не виноват, ибо всюду, куда я ни обернусь, вижу только свидетельство своего бессилия и беспомощности, ибо мало сознавать ненужность и вред предрассудка, а нужно еще прийти к убеждению, что силы, необходимые для его сокрушения, имеются в наличности и притом достаточны для того, чтобы надолго не ском-

прометировать дорогого дела. Ибо протест дело великое, и для людей, не выходящих из общего уровня, почти невысказанное без ясных и верных шансов на успех...

Все это, конечно, нимало не умаляет подвига тех, которые, несмотря на малые шансы успеха, все-таки протестуют, все-таки страстно преследуют свою мысль сквозь все неудачи и препятствия. Но то, что весьма естественно в личности исключительной, особенно щедро одаренной природою, то является анахронизмом по отношению к заурядному человеку толпы. Последний вовсе не обязывается ни быть героем, ни самоотвергаться, ни жертвовать собою, а все, что от него можно желать, заключается в том, чтобы он был настолько понятлив, чтобы дело добра и истины находило в нем более сочувствия, нежели дело зла и лжи. Заурядный человек, по самой природе своей, слишком ограничен, чтобы отдаленные цели предпочитать ближайшим и непосредственным, чтобы искать для себя утешений в истории, а не в действительности; но все это не мешает ему быть человеком и не лишает его права на то, чтобы ка него смотрели именно как на человека, а не как на презренную тварь. Правду сказал некто: Прасковья Петровна отнюдь не виновата в том, что она родила Александра Федорыча, а не Вильгельма Карлыча, ибо она никому и ничему не обязывалась рождать Вильгельмов Карлычей. Точно так же и Александр Федорыч нимало не виноват в том, что его родила Прасковья Петровна, а не Минна Ивановна. И ежели Александр Федорыч име-

ет способности умеренные, ежели он положительно отказывается от намерения быть героем, то это нисколько не препятствует ему называться человеком и требовать, чтоб это качество было признаваемо в нем и со стороны других, и не только других Александров Федорычей, коими кишит человеческая нива, но и Вильгельмов Карлычей, составляющих на этой ниве редкое и ценное произрастание. Мало того: заурядный человек даже не имеет права быть героем, во-первых, потому, что, геройствуя, он только повредит тому делу, в пользу которого геройствует, а во-вторых, и потому, что современное человеческое общество совсем еще не в таком положении, чтобы могло вынести неограниченное число героев: ему покуда нужно, чтоб большинство его состояло из людей чернорабочих, заурядных, с которыми можно обращаться без ненависти, но и без благоговения.

Но все, что я сказал об отдельных людях толпы, еще с большим основанием применяется к самой толпе. Отдельный человек, хотя бы и самых умеренных способностей, имеет шансы очутиться в таких благоприятных обстоятельствах, которые могут воспитать его. Это может сделать его если не заправским героем, становящимся таковым вследствие собственного движения страстной души, то человеком преданным делу, преданным потому, что продолжительная обстановка жизни и постоянное повторение явлений известного характера породили в нем привычку, отказаться от которой ему гораздо мудренее, нежели принять даже такое положе-

ние, которое обещало бы наибольшую сумму спокойствия и материального благосостояния. Несравненно труднее разрешается подобный вопрос для толпы, в ее совокупности. Она слишком огромна и разнообразна, но по этому-то самому в ней странным (впрочем, только по-видимому странным, а в сущности естественным) образом сочетались и слабость, и властность. С одной стороны, огромность содействует ее разрозненности, а эта последняя положительно устраняет все средства к тесному соглашению и в то же время полагает непреодолимое препятствие к принятию каких-либо решений, кроме тех, которые навязываются рутинною, или, говоря деликатнее, силою обстоятельств. Исключений из этого правила немного, и ежели мы не можем отвергать, что у толпы все-таки бывает общий тон, то это именно тот тон рутинности, который легко дается всему ограниченному и близорукому и который постоянно проходит сквозь жизнь толпы, по временам слабнущий, а по временам подвергающийся более или менее значительной порче. С другой стороны, та же громадность толпы весьма естественно дает ей чувство силы; осматриваясь кругом и не видя себе конца, она должна ощущать некоторое самодовольство, должна сознавать, что в ее массе есть что-то неодолимое, решительное, не терпящее отговорки. Отсюда ее властность, ее способность увлекаться зрелищем материальной силы, а так как эта властность постоянно парализуется тою внутренней слабостью, о которой говорено выше, то из сочетания этих двух качеств проис-

ходит обстоятельство, крайне неблагоприятное для воспитания толпы. Разрозненность, устраняющая возможность обдуманности и соглашения, и массивность, фаталистически парализующая движение, – вот условия, среди которых совершается воспитание толпы, условия, как видится, далеко для нее не полезные.

Итак, если мы, с одной стороны, сочувствуем людям мысли, которые, несмотря на гнет обстоятельств, делают свое дело, в чаянье, что оно не погибнет и что история, рано или поздно, засвидетельствует об их торжестве, то, с другой стороны, находим и смягчающие обстоятельства для большинства, для того большинства, в котором именно и заключается гнетущее для мысли начало. И мы отнюдь не впадаем в противоречие, допуская существование рядом двух столь противоположных положений, но только констатируем живой факт в том самом виде, в каком он существует в природе. В самой действительности существует этот глубокий антагонизм между толпою и людьми мысли, в самой действительности есть нечто такое, что заставляет их взаимно исключать друг друга, и до тех пор, пока не устранится на деле причина, породившая такое явление, прогресс человечества, хотя и нельзя будет признать явлением мнимым, но, во всяком случае, процесс, через который ему суждено пройти, будет процессом медленным и мучительным.

Для человека сколько-нибудь добросовестного положение столь шаткое не может не быть предметом серьезных и го-

рестных размышлений. Силою вещей он поставлен между двумя равными крайностями, из которых одна имеет за себя силу разума, а другая – силу материальную; если победит последняя, то человечество, несомненно, должно будет прийти в дикое состояние и погибнуть; если победит первая... не может ли она победить? вправе ли победить? и что такое, наконец, самое это слово: «победить»?

В мире разумном, в том идеальном мире, до представления которого может, по временам, возвыситься наша мысль, насилие невыносимо; там прежде всего и над всем господствует равноправность и правомерность отношений. Возьмите для примера какие хотите социальные теории (ныне называемые утопиями) – и везде вы найдете, что эти, а не иные какие-либо основы составляют краеугольный камень их общественных построений и комбинаций. Отнимите эти основы – и разумный мир распадается сам собою и уступает место миру случайному, в котором не только ничто не имеет определенного места, но самое добро является чем-то произвольным и до крайности непрочным. Итак, насилие неразумно и невыносимо – это несомненно, но что же такое «победа», как не насилие, облеченное, так сказать, в более или менее учтивую форму? Какие могут быть последствия победы? Последствия эти суть гибель противника, его уничижение или, по малой мере, пристыжение. И как мы ни станем оправдываться и оговариваться, что могут быть победы более разумные, разумность эта будет влиять только на формы

факта, а отнюдь не на его сущность. Как ни постараемся мы смягчить противнику его поражение, все-таки это будет поражение, а не торжество, и ощущение, произведенное первым, всегда будет неприятно.

Справедливость этой мысли доказывается уже тем, что люди наиболее развитые всегда наименее склонны пользоваться плодами своих побед, а тем менее давать чувствовать их тяжесть своим противникам. Что руководит ими в этом случае? Очевидно, ими руководит, во-первых, то высокое чувство равноправности, которое не допускает самого представления о победе, а во-вторых, та мысль, что, поражая противника, они в то же время поражают самих себя, то есть свою собственную теорию. И таким образом, если мы поставим себя на место тех людей мысли, о которых говорится выше, то увидим, что победа до известной степени недоступна для нас уже по тому одному, что мы сами не воспользуемся ею, что мы слишком совестливы, что она претит, наконец, самым коренным нашим нравственным убеждениям.

Но, кроме того, она сомнительна для людей мысли еще и потому, что они обставлены слишком невыгодно для того, чтоб надеяться на непосредственное торжество. Прежде всего, они малочисленны, потом разъединены и, наконец, на каждом шагу своей деятельности встречаются с самодовольным упорством толпы, которая не хочет знать ни выводов, ни доказательств, а коснеет себе да коснеет в своей неподвижности. Возможно ли торжество при таких условиях? Ответ,

кажется, несомнителен: да, торжество возможно, но торжество «историческое»...

Я опять-таки очень хорошо знаю, что некоторые «юродствующие» остановятся на этом месте и, не говоря худого слова, обвинят меня и в постепеновщине, и в стачке с действительностью, и в глумлении, и невесть еще в чем. Но погодите, юродивцы, погодите! Вы и не подозреваете, что всю эту речь я не к чему иному веду, как именно к мысли о необходимости победы, о настоятельности торжества.

Да, мы живем не в Аркадии и не в Икарии. Благодушие точно так же чуждо нашему обществу, как и чувство полной правомерности отношений. Мы имеем не только право, но и обязанность защищать себя против невежества и дикости, которые не дают нам дышать, ибо тут идет речь о нашей жизни и отстаивать ее повелевает нам простое чувство самосохранения. Если, при известных условиях, жизнь представляется в форме войны, то никто не изъеется от необходимости вести ее, а ежели бы кто и вздумал сам для себя сделать это изъятие, то будет вовлечен в войну помимо собственной воли непреодолимою силою обстоятельств. Подавляющее влияние среды слишком неотразимо, чтобы даже самый сильный человек мог вполне противостоять ему. Если жизненные убеждения этого человека совершенно отличны от тех, которые составляют ходячую монету между его современниками, если в этом отношении он не пригнется и не подчинится давящей силе большинства, то он подчи-

нится ему в другом отношении, он примет его внешние жизненные обычаи, подчинится господствующим в этом большинстве привычкам. И тогда необходимость войны, необходимость победы и всех ее уродливых последствий будет для него ясна. Ибо никогда не следует забывать, что в среде ненормальной только то действие и может быть сочтено нормальным, которое соответствует окружающей его ненормальной обстановке.

Итак, речь идет совсем не о том, чтобы уклоняться и прятать свою мысль, а о том, чтобы сделать победу возможною. Для этого необходимо, во-первых, усвоить такой образ действия, который наиболее щадил бы нашу щекотливость относительно самого представления о необходимости войны, и, во-вторых, уничтожить, по мере возможности, те препятствия, которые отовсюду представляются с очевидною целью сделать торжество нашей мысли мнимым. Задача, конечно, не легкая, но в то же время и не столь трудная, как это кажется с первого взгляда.

Прежде всего, здесь необходимо убедить себя в том, что всякое стремящееся провести себя в жизнь дело имеет к своим услугам двоякого рода деятелей: во-первых, инициаторов, по мысли которых оно возникло и ведется, и, во-вторых, чернорабочих, которые суть ни больше ни меньше, как строгие и точные исполнители чужих планов и намерений. Это различие весьма важно, и всякая небрежность в этом смысле может иметь неисчислимые и очень неполезно-

го свойства последствия.

Если за инициаторами, этими людьми мысли по преимуществу, мы признаём право относиться к действительности с большим или меньшим нетерпением, если с их стороны не кажется странным то искание «исторических утешений», по поводу которых пишется настоящая статья, то никаких подобных прав не имеют и не могут иметь простые черно-рабочие мысли. В этих последних всего более ценится их преданность, их, так сказать, материальное геройство. Они представляют собой те самые окопы, за которыми мысль может жить и развиваться, не будучи каждую минуту вынуждаема заботиться о своей защите. Вне этой роли черно-рабочий приносит более вреда, чем пользы: во-первых, он наболтает, во-вторых, переверт, в-третьих, насмешит и, в-четвертых, наделает галиматьи. Горе черно-рабочему самонадеянному, лезущему в герои! Он и сам погибнет, и увлечет за собой хотя частицу того дела, которому служит! Будучи от природы ограниченным, он (смотря по тому, какой у него нрав, буйный или унылый) или без толку полезет напролом, или без толку же будет хныкать. И ни в его храбрости, ни в его хныкании не будет ни малейшего следа той искры, которая горит во всяком слове и движении учителя, а будет все тот же характер ремесленности, который не покидает никогда черно-рабочего, как бы он ни был развязан, как бы ни прикидывался героем. Посему драгоценнейшие качества черно-рабочего суть: стойкость при натиске, сознание необходимости

организации, почтительность и послушливость. И если при этом с их стороны будет выказана самоотверженность, то это будет не та высокая и очень часто слишком тяжкая самоотверженность, которая свойственна людям мысли, а простое и естественное последствие тех обязанностей, на исполнение которых они себя обрекли. Быть может, эти слова мои покажутся обидными или горькими, быть может, они возбуждают даже негодование, но не об обиде идет здесь речь, а о том, чтобы сказать наконец ту правду, от непризнания которой гибнет все лучшее, а процветают человеческие волчцы.

Да, лучшее гибнет, лучшее исчезает, – в этом мы могли убедиться не со вчерашнего дня. Волчцы! подумали ли вы когда-нибудь, что за проклятая тайна присутствует в этом деле? поставили ли вы себе когда-нибудь искренно и обстоятельно вопрос: кто виноват? Были ли вы почтительны, были ли вы послушливы? Ибо ведь недостаточно обвинять только большинство, одно большинство – это-то мы и без вас знаем, что оно виновато, – а надлежит взглядеться во всю обстановку, которая окружала мысль и которая, быть может, и могла бы ее защитить, да не защитила...

Итак, пункт первый: во всяком деле необходимо отличать инициаторов и чернорабочих. Первые имеют право мыслить, вторые имеют право исполнять; первые имеют право искать утешений в истории и даже возбуждаться и укрепляться этими утешениями в борьбе с обстоятельствами, вторые должны как можно меньше думать о таких утешениях, а заботить-

ся только о том, что у них непосредственно под руками. Такое различие, несомненно, помогает делу: оно устраивает его.

Затем, идет речь собственно о войне. Поставим себя на место людей мысли и спросим, претит ли нам такое занятие? Ответ будет несомненный: претит. Мы люди мира и гармонии, мы, даже вызванные насильственно на борьбу, по возможности, умеряем силу наших ударов, дабы не скорбеть при виде того позорного зрелища унижения, которое бывает естественным последствием всякого решительного торжества. И мы имеем право на такую гадливость, ибо сознали нашу мысль во всей ее ясности, и эта мысль не только теоретически исключает представление о необходимости войны, но и все ее практические подробности так построены, что войны нет и не может быть. А между тем она есть; она не хочет знать наших теорий, а присутствует в том раздражающем и опьяняющем воздухе, которым мы дышим. Как поступить в этом случае, чтоб не впасть в прямое противоречие с самим собою, чтобы не оскорбить, не задеть за живое своих коренных убеждений? Ответ на это очень простой: мы не обязаны даже и думать об этом. У нас должна быть организация, должны быть чернорабочие, которых преданность доходит до того, что не дает нам даже случая впасть в противоречие с нашими дорогими убеждениями. Мы люди мысли, и самое лучшее, что можем сделать, – это не покидать сферы мысли. Эта мысль сделает то практическое дело, како-

го практичнее ничего нет на свете: она оплодотворит людей действия, она прольет огонь в их сердца, она делает их почетными, послушливыми и твердыми в бедствиях. Философу Ризположенскому она скажет: не раздирай ногтями своих собственных внутренностей, не вопи на самого себя, не лай на луну, но обрати свои ногти, свои вопль и лай на противников того дела, которому ты служишь Публицисту Скорбященскому она скажет: не распространяй слухов о терпении и о вознаграждениях, имеющих последовать в будущей жизни, но будь дерзок, ибо только дерзостью получишь в сем мире желаемое. Наконец, псевдоестествоиспытателю Кроличкову она скажет: не прикидывайся естествоиспытателем, ибо ты воспитанник Кузьмы Пруткова, у которого и заимствовал свои сведения по части естествознанья... ступай вон! И тогда образуется у нас нечто правильное. Ризположенский будет раздирать внутренности действительных противников его дела, а не свои собственные (или, что все равно, внутренности противников мнимых), Скорбященский будет словом и делом пропагандировать мысль о натиске, а Кроличков совсем уйдет вон.

И тогда мы, люди мысли (повторяю, я только ставлю себя на место этих людей, а отнюдь не претендую идентифицировать себя с ними), получим именно то желаемое положение, которое одно только относительно нас и может быть названо правильным. А именно: мы получим возможность свободно и спокойно предаваться делу мысли, не будучи на каждом ша-

гу вынуждаемы впадать в противоречия с нею, возможность не знать о тех препятствиях, которые встречает эта мысль в будничной обстановке жизни. Все эти мелкие подробности, вся горечь и неприятность, неразлучные с процессом проникновения мысли в практику, падут на долю тех преданных чернорабочих, которые не только не дадут нам чувствовать их но даже скроют от нас об их существовании. Мысль наша не будет встречать задержек и потому не пойдёт, как говорится, в суп (как это нередко случается ныне), а разовьётся во всей ее гармонической стройности. Быть может, даже... мы получим возможность находить утешения и не в одной истории...

Мне могут возразить, что я проповедую аристократию мысли, которая может впоследствии развиться столь же вредоносно, как и аристократия денег, аристократия силы и т. п. Но это возражение неверное. Во-первых, я говорю о положении временном о положении, нужном лишь в данную минуту, в полном убеждении, что аристократия мысли, ежели она есть, менее всякой другой может окорениться и сделаться наследственной. Во-вторых, я вполне убежден, что по мере накопления знаний в массах не только уровень этих знаний, но и уровень самых человеческих способностей должен представлять гораздо менее уклонений против тех, которые встречаются ныне, и, следовательно, аристократия мысли будет иметь все менее и менее причин для существования. В-третьих, наконец, – и это главное, – я говорю совсем не об

аристократии, а об организации, и ежели слова могут возбуждать какие-либо недоразумения или опасения, то на это я могу отвечать одно: ежели вы желаете, то желайте, ежели не желаете, то уйдите и не мешайте другим.

Все мое намерение заключается в одном слове: дело. Самопожертвование, самоотвержение, геройство и проч. суть необходимые принадлежности человеческой деятельности, но отнюдь не должны быть целью ее, ибо в противном случае мы имели бы слишком легкий способ удовлетвориться и успокоиться. Я говорю одно: полезное и благотворное дело стоит в миллион раз дороже, нежели самая честная и безупречная деятельность человека, ибо дело вечно, а деятельность человека переходит вместе с ним и познается только в той мере, в какой она отразилась на деле.

И еще могут меня обвинить в том, что пропагандируемая мною мысль слишком жестока, что, по смыслу ее, положение так называемых чернорабочих не только утрачивает всякую красоту, но просто-напросто делается невыносимым, и что едва ли даже возможна такая организация, в которой существовал бы целый многочисленный класс людей, всегда готовых жертвовать собой в пользу мысли, в которой даже не заинтересованы страстно их личности. На это я могу отвечать моим возражателям: во-первых, что подобные организации существовали и существуют – это нам доказывает не только история, но и действительность: оглянитесь кругом и уверьтесь, а во-вторых, опять то же, чем я ответил и на пер-

вое обвинение, а именно: если вы желаете, то желайте, если не желаете, то уйдите прочь и не мешайте другим.

Затем, мне остается сказать еще несколько слов о том, что именно и составляет главный предмет настоящей статьи, то есть об устранении тех препятствий, которые на каждом шагу встречает мысль со стороны дикости и невежества, или, говоря иными словами, о наилучших способах к успешному ведению войны.

Выше я сказал, что ежели нам и случается встретиться с преувеличениями мысли, то в этом виновато исключительно большинство, раздражающее мысль постоянным преследованием и неприятием. Мысль положительно не может бороться с этим равнодушием, ибо ее дело давать тон, а не бороться. Но, с другой стороны, неприязненное отношение большинства к мысли объясняется тем глубоким невежеством, в которое оно погружено, и это обстоятельство ежели не оправдывает большинства вполне, то значительно смягчает его вину. Мысли, конечно, до этого дела нет, ибо она имеет право развиваться и независимо от подобных соображений, но тому делу, которое она проводит в жизнь, очень важно изменить такие отношения и добиться того, чтобы большинство сделалось более ручным и не смотрело на всякое проявление добра, как на что-то враждебное, тревожащее его спокойствие. Необходимо упростить мысль, сделать ее мирским достоянием, необходимо, чтоб она дошла до большинства в доступной ему форме, чтоб она завладела им неза-

метно для него самого и не оскорбляла его своею высотой и величием.

Вот эта-то цель и достигается через тех чернорабочих мысли, о которых говорено выше. Сила их заключается не только в том, что они составляют, так сказать, передовые укрепления мысли, что они защищают ее своими телами от натиска бесполезных элементов, но и в том, что они служат соединительною цепью между мыслью и большинством. Если мысль имеет право к известным явлениям жизни относиться с некоторою гадливостью, то этого права отнюдь не имеют чернорабочие мысли. Будучи по натуре своей ограничены, они принадлежат большинству всецело, и ежели выделили себя из него, если пришли к познанию иного сладчайшего вина, нежели то, которое предлагается ко всеобщему употреблению, то это произошло лишь благодаря особенно благоприятному стечению обстоятельств. Для чернорабочего непозорно обращаться к большинству, да и нет никакого резона не говорить с большинством языком этого большинства. Он не должен только забывать, откуда он идет, он должен всегда чувствовать себя членом иного мира, посланным к большинству не для того, чтоб утонуть в нем, а для того, чтобы привести его к мысли.

Вот все, что могу покамест сказать об этом предмете, но думаю, что читатель будет достаточно благоразумен, чтоб увидеть в моих словах лишь то, что они действительно означают.